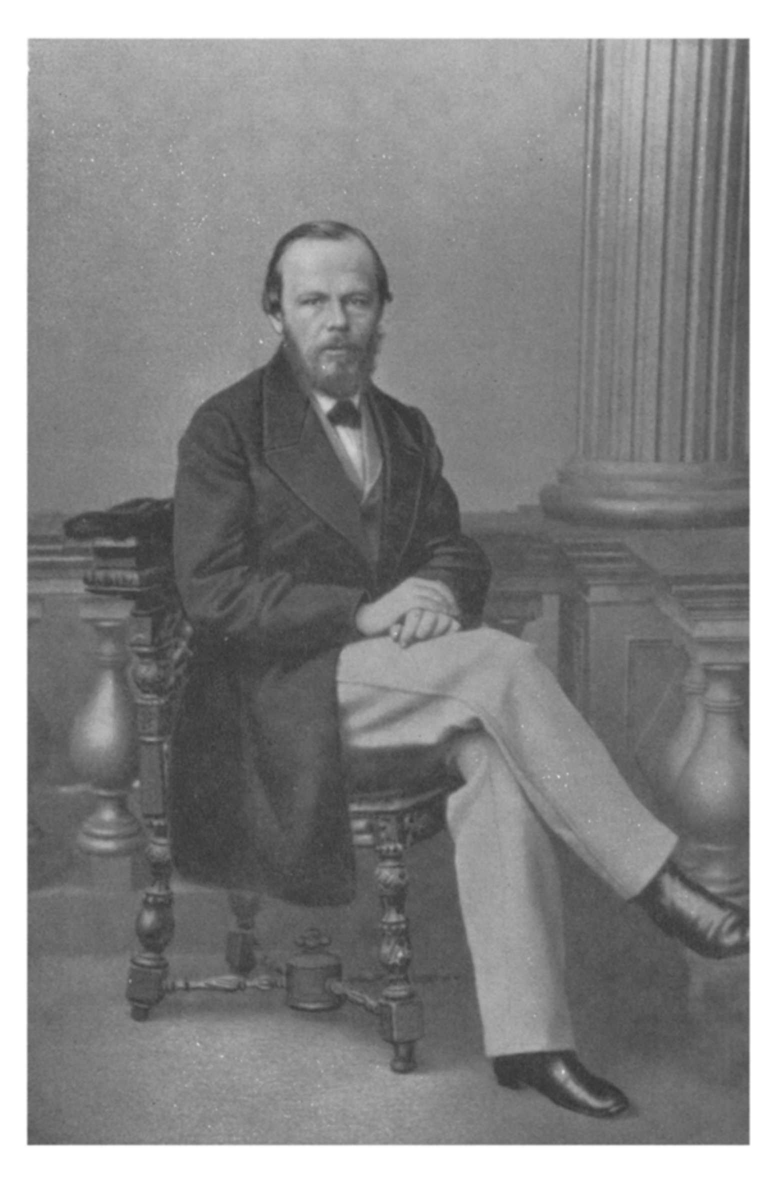
# Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



СОЧИНЕНИЯ

5



Ф. М. Достоевский.
Фотография М. Б. Тулинова. 1861 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



# Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

* * *

### ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

### ТОМА I—XVII

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1973

# Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

## ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1862—1866

## ИГРОК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1973

7-3-1
Подписное

# СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ

РАССКАЗ

Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам. Тогда, однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем часу уже в двенадцатом, три чрезвычайно почтенные мужа сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате, в одном прекрасном двухэтажном доме на Петербургской стороне и занимались солидным и превосходным разговором на весьма любопытную тему. Эти три мужа были все трое в генеральских чинах. Сидели они вокруг маленького столика, каждый в прекрасном, мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно потягивали шампанское. Бутылка стояла тут же на столике в серебряной вазе со льдом. Дело в том, что хозяин, тайный советник Степан Никифорович Никифоров, старый холостяк лет шестидесяти пяти, праздновал свое новоселье в только что купленном доме, а кстати уж и день своего рождения, который тут же пришелся и который он никогда до сих пор не праздновал. Впрочем, празднование было не бог знает какое; как мы уже видели, было только двое гостей, оба прежние сослуживцы г-на Никифорова и прежние его подчиненные, а именно: действительный статский советник Семен Иванович Шипуленко и другой, тоже действительный статский советник, Иван Ильич Пралинский. Они пришли часов в девять, кушали чай, потом принялись за вино и знали, что ровно в половине двенадцатого им надо отправляться домой. Хозяин всю жизнь любил регулярность. Два слова о нем: начал он свою карьеру мелким необеспеченным чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять сряду, очень хорошо знал, до чего дослужится, терпеть не мог хватать с неба звезды, хотя имел их уже две, и особенно не любил высказывать по какому бы то ни было поводу своѐ собственное личное мнение. Был он и честен, то есть ему не пришлось сделать чего-нибудь особенно бесчестного; был холост, потому что был эгоист; был очень не глуп, но терпеть не мог выказывать свой

ум; особенно не любил неряшества и восторженности, считая ее неряшеством нравственным, и под конец жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий, ленивый комфорт и систематическое одиночество. Хотя сам он и бывает иногда в гостях у людей получше, но еще смолоду терпеть не мог гостей у себя, а в последнее время, если не раскладывал гранпасьянс, довольствовался обществом своих столовых часов и по целым вечерам невозмутимо выслушивал, дремля в креслах, их тиканье под стеклянным колпаком на камине. Наружности был он чрезвычайно приличной и выбритой, казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить еще долго и держался самого строгого джентльменства. Место у него было довольно комфортное: он где-то заседал и что-то подписывал. Одним словом, его считали превосходнейшим человеком. Была у него одна только страсть или, лучше сказать, одно горячее желанье: это — иметь свой собственный дом, и именно дом, выстроенный на барскую, а не на капитальную ногу. Желанье его наконец осуществилось: он приглядел и купил дом на Петербургской стороне, правда далеко, но дом с садом, и притом дом изящный. Новый хозяин рассуждал, что оно и лучше, если подальше: у себя принимать он не любил, а ездить к кому-нибудь или в должность — на то была у него прекрасная двуместная карета шоколадного цвету, кучер Михей и две маленькие, но крепкие и красивые лошадки. Всё это было благоприобретенное сорокалетней, копотливой экономией, так что сердце на всё это радовалось. Вот почему, приобретя дом и переехав в него, Степан Никифорович ощутил в своем спокойном сердце такое довольство, что пригласил даже гостей на свое рожденье, которое прежде тщательно утаивал от самых близких знакомых. На одного из приглашенных он имел даже особые виды. Сам он в доме занял верхний этаж, а в нижний, точно так же выстроенный и расположенный, понадобилось жильца. Степан Никифорович и рассчитывал на Семена Ивановича Шипуленко и в этот вечер даже два раза сводил разговор на эту тему. Но Семен Иванович на этот счет отмалчивался. Это был человек тоже туго и долговременно пробивавший себе дорогу, с черными волосами и бакенбардами и с оттенком постоянного разлития желчи в физиономии. Был он женат, был угрюмый домосед, свой дом держал в страхе, служил с самоуверенностию, тоже прекрасно знал, до чего он дойдет, и еще лучше — до чего никогда не дойдет, сидел на хорошем месте и сидел очень крепко. На начинавшиеся новые порядки он смотрел хоть и не без желчи, но особенно не тревожился: он был очень уверен в себе и не без насмешливой злобы выслушивал разглагольствия Ивана Ильича Пралинского на новые темы. Впрочем, все они отчасти подвыпили, так что даже сам Степан Никифорович снизошел до господина Пралинского и вступил с ним в легкий спор о новых порядках. Но несколько слов о его превосходительстве господине Пралинском, тем более что он-то и есть главный герой предстоящего рассказа.

Действительный статский советник Иван Ильич Пралинский всего только четыре месяца как назывался вашим превосходительством, одним словом, был генерал молодой. Он и по летам был еще молод, лет сорока трех и никак не более, на вид же казался и любил казаться моложе. Это был мужчина красивый, высокого роста, щеголял костюмом и изысканной солидностью в костюме, с большим уменьем носил значительный орден на шее, умел еще с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой и даже великосветской невесте. Он о многом еще мечтал, хотя был далеко не глуп. Подчас он был большой говорун и даже любил принимать парламентские позы. Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него не много познаний, но на службе успел и дотянул до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. Степан Никифорович, под началом которого он и начал и продолжал свою службу почти до самого генеральства, никогда не считал его за человека весьма делового и надежд на него не возлагал никаких. Но ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, сродни не последним людям и, сверх того, обладает осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслие. Сам Иван Ильич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив. Странное дело: подчас на него находили припадки какой-то болезненной совестливости и даже легкого в чем-то раскаянья. С горечью и с тайной занозой в душе сознавался он иногда, что вовсе не так высоко летает, как ему думается. В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особенно когда разыгрывался его геморрой, называл свою жизнь une existence manquée,[1] переставал верить, разумеется про себя, даже в свои парламентские способности, называя себя парлером, фразером, и хотя всё это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять подымать свою голову и тем упорнее, тем заносчивее ободряться и уверять себя, что он еще успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия. Даже мерещились ему подчас монументы. Из этого видно, что Иван Ильич хватал высоко, хотя и глубоко, даже с некоторым страхом, таил про себя свои неопределенные мечты и надежды. Одним словом, человек он был добрый и даже поэт в душе. В последние годы болезненные минуты разочарованья стали было чаще посещать его. Он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен и всякое возражение готов был считать за обиду. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генеральство их довершило. Он воспрянул; он поднял голову. Он вдруг начал говорить

[1] неудавшейся жизнью *(франц.)*.

красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он искал случая говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокала четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всем Степана Никифоровича, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался. Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром. Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич горячился и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его бокал, что, неизвестно почему, начало вдруг обижать Иван Ильича, тем более что Семен Иваныч Шипуленко, которого он особенно презирал и, сверх того, даже боялся за цинизм и за злость его, тут же сбоку прековарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. «Они, кажется, принимают меня за мальчишку», — мелькнуло в голове Ивана Ильича.

— Нет-с, пора, давно уж пора было, — продолжал он с азартом. — Слишком опоздали-с, и, на мой взгляд, гуманность первое дело, гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Гуманность всё спасет и всё вывезет...

— Хи-хи-хи-хи! — послышалось со стороны Семена Ивановича.

— Да что же, однако ж, вы нас так распекаете, — возразил наконец Степан Никифорович, любезно улыбаясь. — Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не могу взять в толк, что вы изволили объяснять. Вы выставляете гуманность. Это значит человеколюбие, что ли?

— Да, пожалуй, хоть и человеколюбие. Я...

— Позвольте-с. Сколько могу судить, дело не в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформа же этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и... и... и без конца их, этих вопросов, и всё вместе, всё разом может породить большие, так сказать, колебанья. Вот мы про что опасались, а не об одной гуманности...

— Да-с, дело поглубже-с, — заметил Семен Иванович.

— Очень понимаю-с, и позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей, — язвительно и чересчур резко заметил Иван Ильич, — но, однако ж, все-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже меня вовсе не поняли...

— Не понял.

— А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность, и именно гуманность с подчиненными, от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика, — гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, краеуголь-

ным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому. Возьмите силлогизм: я гуманен, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть, веруют; веруют, стало быть, любят... то есть нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат всё дело дружески, основательно. Чего вы смеетесь, Семен Иванович? Непонятно?

Степан Никифорович молча поднял брови; он удивлялся.

— Мне кажется, я немного лишнее выпил, — заметил ядовито Семен Иваныч, — а потому и туг на соображение. Некоторое затмение в уме-с.

Ивана Ильича передернуло.

— Не выдержим, — произнес вдруг Степан Никифорыч после легкого раздумья.

— То есть как это не выдержим? — спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича.

— Так, не выдержим. — Степан Никифорович, очевидно, не хотел распространяться далее.

— Это вы уж не насчет ли нового вина и новых мехов? — не без иронии возразил Иван Ильич. — Ну, нет-с; за себя-то уж я отвечаю.

В эту минуту часы пробили половину двенадцатого.

— Сидят-сидят да и едут, — сказал Семен Иваныч, приготовляясь встать с места. Но Иван Ильич предупредил его, тотчас встал из-за стола и взял с камина свою соболью шапку. Он смотрел как обиженный.

— Так как же, Семен Иваныч, подумаете? — сказал Степан Никифорович, провожая гостей.

— Насчет квартирки-то-с? Подумаю, подумаю-с.

— А что надумаете, так уведомьте поскорее.

— Всё о делах? — любезно заметил господин Пралинский с некоторым заискиванием и поигрывая своей шапкой. Ему показалось, что его как будто забывают.

Степан Никифорович поднял брови и молчал в знак того, что не задерживает гостей. Семен Иваныч торопливо откланялся.

«А... ну... после этого как хотите... коли не понимаете простой любезности», — решил про себя господин Пралинский и как-то особенно независимо протянул руку Степану Никифоровичу.

В передней Иван Ильич закутался в свою легкую дорогую шубу, стараясь для чего-то не замечать истасканного енота Семена Иваныча, и оба стали сходить с лестницы.

— Наш старик как будто обиделся, — сказал Иван Ильич молчавшему Семену Иванычу.

— Нет, отчего же? — отвечал тот спокойно и холодно.

«Холоп!» — подумал про себя Иван Ильич.

Сошли на крыльцо, Семену Иванычу подали его сани с серым неказистым жеребчиком.

— Кой черт! Куда же Трифон девал мою карету! — вскричал Иван Ильич, не видя своего экипажа.

Туда-сюда — кареты не было. Человек Степана Никифоровича не имел об ней понятия. Обратились к Варламу, кучеру Семена Иваныча, и получили в ответ, что всё стоял тут, и карета тут же была, а теперь вот и нет.

— Скверный анекдот! — произнес господин Шипуленко, — хотите, довезу?

— Подлец народ! — с бешенством закричал господин Пралинский. — Просился у меня, каналья, на свадьбу, тут же на Петербургской, какая-то кума замуж идет, черт ее дери. Я настрого запретил ему отлучаться. И вот бьюсь об заклад, что он туда уехал!

— Он действительно, — заметил Варлам, — поехал туда-с; да обещал в одну минуту обернуться, к самому то есть времени быть.

— Ну так! Я как будто предчувствовал! Уж я ж его!

— А вы лучше посеките его хорошенько раза два в части, вот он и будет исполнять приказанья, — сказал Семен Иваныч, уже закрываясь полостью.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, Семен Иваныч!

— Так не хотите, довезу.

— Счастливый путь, merci.[1]

Семен Иваныч уехал, а Иван Ильич пошел пешком по деревянным мосткам, чувствуя себя в довольно сильном раздражении.

---

«Нет уж, я ж тебя теперь, мошенник! Нарочно пешком пойду, чтоб ты чувствовал, чтоб ты испугался! Воротится и узнает, что барин пешком пошел... мерзавец!»

Иван Ильич никогда еще так не ругался, но уж очень он был разбешен, и вдобавок в голове шумело. Он был человек непьющий, и потому какие-нибудь пять-шесть бокалов скоро подействовали. Но ночь была восхитительная. Было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно. Небо было ясное, звездное. Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском. Было так хорошо, что Иван Ильич, пройдя шагов пятьдесят, почти забыл о беде своей. Ему становилось как-то особенно приятно. К тому же люди под хмельком быстро меняют впечатления. Ему даже начали нравиться невзрачные деревянные домики пустынной улицы.

«А ведь и славно, что я пешком пошел, — думал он про себя, — и Трифону урок, да и мне удовольствие. Право, надо чаще ходить пешком. Что ж? На Большом проспекте я тотчас найду извозчика. Славная ночь! Какие тут всё домишки. Должно быть, мелкота живет, чиновники... купцы, может быть... этот Степан Никифорович! и какие все они ретрограды, старые колпаки! Именно кол-

[1] спасибо *(франц.)*.

паки, c'est le mot.[1] Впрочем, он умный человек; есть этот bon sens,[2] трезвое, практическое понимание вещей. Но зато старики, старики! Нет этого... как бишь его! Ну да чего-то нет... Не выдержим! Что он этим хотел сказать? Даже задумался, когда говорил. Он, впрочем, меня совсем не понял. А и как бы не понять? Труднее не понять, чем понять. Главное то, что я убежден, душою убежден. Гуманность... человеколюбие. Возвратить человека самому себе... возродить его собственное достоинство и тогда... с готовым матерьялом приступайте к делу. Кажется, ясно! Да-с! Уж это позвольте, ваше превосходительство, возьмите силлогизм: мы встречаем, например, чиновника, чиновника бедного, забитого. „Ну... кто ты?" Ответ: „Чиновник". Хорошо, чиновник; далее: „Какой ты чиновник?" Ответ: такой-то, дескать, и такой-то чиновник. „Служишь?" — „Служу!" — „Хочешь быть счастлив?" — „Хочу". — „Что надобно для счастья?" То-то и то-то. „Почему?" Потому... И вот человек меня понимает с двух слов: человек мой, человек уловлен, так сказать, сетями, и я делаю с ним всё, что хочу, то есть для его же блага. Скверный человек этот Семен Иваныч! И какая у него скверная рожа... Высеки в части, — это он нарочно сказал. — Нет, врешь, сам секи, а я сечь не буду; я Трифона словом дойму, попреком дойму, вот он и будет чувствовать. Насчет розог, гм... вопрос нерешенный, гм... А не заехать ли к Эмеранс? Фу ты, черт, проклятые мостки! — вскрикнул он, вдруг оступившись. — И это столица! Просвещение! Можно ногу сломать. Гм. Ненавижу я этого Семена Иваныча; препротивная рожа. Это он надо мной давеча хихикал, когда я сказал: обнимутся нравственно. Ну и обнимутся, а тебе что за дело? Уж тебя-то не обниму; скорей мужика... Мужик встретится, и с мужиком поговорю. Впрочем, я был пьян и, может быть, не так выражался. Я и теперь, может быть, не так выражаюсь... Гм. Никогда не буду пить. С вечеру наболтаешь, а назавтра раскаиваешься. Что ж, я ведь, не шатаясь, иду... А впрочем, все они мошенники!»

Так рассуждал Иван Ильич, отрывочно и бессвязно, продолжая шагать по тротуару. На него подействовал свежий воздух и, так сказать, раскачал его. Минут через пять он бы успокоился и захотел спать. Но вдруг, почти в двух шагах от Большого проспекта, ему послышалась музыка. Он огляделся. На другой стороне улицы в очень ветхом одноэтажном, но длинном деревянном доме задавался пир горой, гудели скрипки, скрипел контрбас и визгливо заливалась флейта на очень веселый кадрильный мотив. Под окнами стояла публика, больше женщины в ватных салопах и в платках на голове; они напрягали все усилия, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь щели ставен. Видно, весело было. Гул от топота танцующих достигал другой стороны улицы. Иван Ильич невдалеке от себя заметил городового и подошел к нему.

---

[1] хорошо сказано *(франц.)*.
[2] здравый смысл *(франц.)*.

— Чей это, братец, дом? — спросил он, немного распахивая свою дорогую шубу, ровно настолько, чтобы городовой мог заметить значительный орден на шее.

— Чиновника Пселдонимова, легистратора, — отвечал, выпрямившись, городовой, мигом успевший разглядеть отличие.

— Пселдонимова? Ба! Пселдонимова!.. Что ж он? женится?

— Женится, ваше высокородие, на титулярного советника дочери. Млекопитаев, титулярный советник... в управе служил. Этот дом за невестой ихней идет-с.

— Так что теперь уж это Пселдонимова, а не Млекопитаева дом?

— Пселдонимова, ваше высокородие. Млекопитаева был, а теперь Пселдонимова.

— Гм. Я потому тебя, братец, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем самым местом, где Пселдонимов служит.

— Точно так, ваше превосходительство. — Городовой вытянулся окончательно, а Иван Ильич как будто задумался. Он стоял и соображал...

Да, действительно Пселдонимов был из его ведомства, из самой его канцелярии; он припоминал это. Это был маленький чиновник, рублях на десяти в месяц жалованья. Так как господин Пралинский принял свою канцелярию еще очень недавно, то мог и не помнить слишком подробно всех своих подчиненных, но Пселдонимова он помнил, именно по случаю его фамилии. Она бросилась ему в глаза с первого разу, так что он тогда же полюбопытствовал взглянуть на обладателя такой фамилии повнимательнее. Он припомнил теперь еще очень молодого человека, с длинным горбатым носом, с белобрысыми и клочковатыми волосами, худосочного и худо выкормленного, в невозможном вицмундире и в невозможных даже до неприличия невыразимых. Он помнил, как у него тогда же мелькнула мысль: не определить ли бедняку рублей десяток к празднику для поправки? Но так как лицо этого бедняка было слишком постное, а взгляд крайне несимпатичный, даже возбуждающий отвращение, то добрая мысль сама собой как-то испарилась, так что Пселдонимов и остался без награды. Тем сильнее изумил его этот же самый Пселдонимов не более как неделю назад своей просьбой жениться. Иван Ильич помнил, что ему как-то не было времени заняться этим делом подробнее, так что дело о свадьбе решено было слегка, наскоро. Но все-таки он с точностию припоминал, что за невестой своей Пселдонимов берет деревянный дом и четыреста рублей чистыми деньгами; это обстоятельство тогда же его удивило; он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилий Пселдонимова и Млекопитаевой. Он ясно припоминал всё это.

Припоминал он и всё более и более раздумывался. Известно, что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный. Но мы постараемся перевесть

все эти ощущения героя нашего и представить читателю хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать то, что было в них самое необходимое и правдоподобное. Потому что ведь многие из ощущений наших, в переводе на обыкновенный язык, покажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никогда и на свет не являются, а у всякого есть. Разумеется, ощущения и мысли Ивана Ильича были немного бессвязны. Но ведь вы знаете причину.

«Что же! — мелькало в его голове, — вот мы все говорим, говорим, а коснется до дела, и только шиш выходит. Вот пример, хоть бы этот самый Пселдонимов: он приехал давеча от венца в волнении, в надежде, ожидая вкусить... Это один из блаженнейших дней его жизни... Теперь он возится с гостями, задает пир — скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний... Что ж, если б он узнал, что в эту самую минуту я, я, его начальник, его главный начальник, тут же стою у его дома и слушаю его музыку! А и в самом деле, что бы с ним было? Нет, что бы с ним было, если б я теперь же вдруг взял и вошел? гм... Разумеется, сначала он испугался бы, онемел бы от замешательства. Я помешал бы ему, я расстроил бы, может быть, всё... Да, так и было бы, если б вошел всякий другой генерал, но не я... В том-то и дело, что всякий, да только не я...

Да, Степан Никифорович! Вот вы не понимали меня давеча, а вот вам и готовый пример.

Да-с. Мы все кричим о гуманности, но героизма, подвига мы сделать не в состоянии.

Какого героизма? Такого. Рассудите-ка: при теперешних отношениях всех членов общества мне, мне войти в первом часу ночи на свадьбу своего подчиненного, регистратора, на десяти рублях, да ведь это замешательство, это — коловращенье идей, последний день Помпеи, сумбур! Этого никто не поймет. Степан Никифорович умрет — не поймет. Ведь сказал же он: не выдержим. Да, но это вы, люди старые, люди паралича и косности, а я вы-дер-жу! Я обращу последний день Помпеи в сладчайший день для моего подчиненного, и поступок дикий — в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? Так. Извольте прислушать...

Ну... вот я, положим, вхожу: — они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятятся. Так-с, но тут-то я и выказываюсь: я прямо иду к испуганному Пселдонимову и с самой ласковой улыбкой, так-таки в самых простых словах говорю: „Так и так, дескать, был у его превосходительства Степана Никифоровича. Полагаю, знаешь, здесь, по соседству...“ Ну, тут слегка, в смешном этак виде, рассказываю приключение с Трифоном. От Трифона перехожу к тому, как пошел пешком... „Ну — слышу музыку, любопытствую у городового и узнаю, брат, что ты женишься. Дай, думаю, зайду к подчиненному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и... женятся. Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю!“ Прогонишь! Каково словечко для подчиненного. Какой уж

тут черт прогонишь! Я думаю, он с ума сойдет, со всех ног кинется меня в кресло сажать, задрожит от восхищенья, не сообразится даже на первый раз!..

Ну, что может быть проще, изящнее такого поступка! Зачем я вошел? Это другой вопрос! Это уже, так сказать, нравственная сторона дела. Вот тут-то и сок!

Гм... Об чем, бишь, я думал? Да!

Ну уж, конечно, они меня посадят с самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный али родственник, отставной штабс-капитан с красным носом... Славно этих оригиналов Гоголь описывал. Ну знакомлюсь, разумеется, с молодой, хвалю ее, ободряю гостей. Прошу их не стесняться, веселиться, продолжать танцы, острю, смеюсь, одним словом — я любезен и мил. Я всегда любезен и мил, когда доволен собой... Гм... то-то и есть, что я всё еще, кажется, немного того... то есть не пьян, а так...

...Разумеется, я, как джентльмен, на равной с ними ноге и отнюдь не требую каких-нибудь особенных знаков... Но нравственно, нравственно дело другое: они поймут и оценят... Мой поступок воскресит в них всё благородство... Ну и сижу полчаса... Даже час. Уйду, разумеется, перед самым ужином, а уж они-то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут, но я только выпью бокал, поздравлю, а от ужина откажусь. Скажу: дела. И уж только что я произнесу „дела“, у всех тотчас же станут почтительно строгие лица. Этим я деликатно напомню, что они и я — это разница-с. Земля и небо. Я не то чтобы хотел это внушать, но надо же... даже в нравственном смысле необходимо, что уж там ни говори. Впрочем, я тотчас же улыбнусь, даже посмеюсь, пожалуй, и мигом все ободрятся... Пошучу еще раз с молодой; гм... даже вот что: намекну, что приду опять ровнешенько через девять месяцев в качестве кума, хе-хе! А она, верно, родит к тому времени. Ведь они плодятся, как кролики. Ну и все захохочут, молодая покраснеет; я с чувством поцелую ее в лоб, даже благословлю ее и... и назавтра в канцелярии мой подвиг уже известен. Назавтра я опять строг, назавтра я опять взыскателен, даже неумолим, но все они уже знают, кто я такой. Душу мою знают, суть мою знают: „Он строг как начальник, но как человек — он ангел!“ И вот я победил; я уловил каким-нибудь одним маленьким поступком, которого вам и в голову не придет; они уж мои; я отец, они дети... Ну-тка, ваше превосходительство, Степан Никифорович, подите-ка сделайте эдак...

...Да знаете ли вы, понимаете ли, что Пселдонимов будет детям своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе! Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж (а я всем этим к тому времени буду) удостоил их... и т. д. и т. д. Да ведь я униженного нравственно подыму, я самому себе его возвращу... Ведь он десять рублей в месяц жалованья получает!.. Да ведь повтори я это раз пять, али десять, али что-

нибудь в этом же роде, так повсеместную популярность приобрету... У всех в сердцах буду напечатлен, и ведь черт один знает, что из этого потом может выйти, из популярности-то!..»

Так или почти так рассуждал Иван Ильич (господа, мало ли что человек говорит иногда про себя, да еще несколько в эксцентрическом состоянии). Все эти рассуждения промелькнули в его голове в какие-нибудь полминуты, и, конечно, он, может, и ограничился бы этими мечтаньицами и, мысленно пристыдив Степана Никифоровича, преспокойно отправился бы домой и лег спать. И славно бы сделал! Но вся беда в том, что минута была эксцентрическая.

Как нарочно, вдруг, в это самое мгновение в настроенном воображении его нарисовались самодовольные лица Степана Никифоровича и Семена Ивановича.

— Не выдержим! — повторил Степан Никифорович, свысока улыбаясь.

— Хи-хи-хи! — вторил ему Семен Иванович своей самой прескверной улыбкой.

— А вот и посмотрим, как не выдержим! — решительно сказал Иван Ильич, и даже жар бросился ему в лицо. Он сошел с мостков и твердыми шагами прямо направился через улицу в дом своего подчиненного, регистратора Пселдонимова.

---

Звезда увлекала его. Он бодро вошел в отпертую калитку и с презрением оттолкнул ногой маленькую, лохматую и осипшую шавку, которая, более для приличия, чем для дела, бросилась к нему с хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до крытого крылечка, будочкой выходившего на двор, и по трем ветхим деревянным ступенькам поднялся в крошечные сени. Тут хоть и горел где-то в углу сальный огарок или что-то вроде плошки, но это не помешало Ивану Ильичу, так, как есть, в калошах, попасть левой ногой в галантир, выставленный для остужения. Иван Ильич нагнулся и, посмотрев с любопытством, увидел, что тут стоят еще два блюда с каким-то заливным, да еще две формы, очевидно, с бламанже. Раздавленный галантир его было сконфузил, и на одно самое маленькое мгновение у него промелькнула мысль: не улизнуть ли сейчас же? Но он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видал и на него уж никак не подумают, он поскорее обтер калошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, растворил ее и очутился в премаленькой передней. Одна половина ее была буквально завалена шинелями, бекешами, салопами, капорами, шарфами и калошами. В другой расположились музыканты: две скрипки, флейта и контрбас, всего четыре человека, взятые, разумеется, с улицы. Они сидели за некрашеным деревянным столиком, при одной сальной свечке, и во всю ивановскую допиливали последнюю фигуру кадрили. Из отпертой двери в залу можно было разглядеть тан-

цующих, в пыли, в табаке и в чаду. Было как-то бешено весело. Слышался хохот, крики и дамские взвизги. Кавалеры топали, как эскадрон лошадей. Над всем содомом звучала команда распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязного и даже расстегнувшегося человека: «Кавалеры вперед, шен де дам, балансе!» и проч., и проч. Иван Ильич в некотором волнении сбросил с себя шубу и калоши и с шапкой в руке вошел в комнату. Впрочем, он уж и не рассуждал...

В первую минуту его никто не заметил: все доплясывали кончавшийся танец. Иван Ильич стоял как оглушенный и ничего подробно не мог разглядеть в этой каше. Мелькали дамские платья, кавалеры с папиросами в зубах... Мелькнул светло-голубой шарф какой-то дамы, задевший его по носу. За ней в бешеном восторге промчался медицинский студент с разметанными вихрем волосами и сильно толкнул его по дороге. Мелькнул еще перед ним, длинный как верста, офицер какой-то команды. Кто-то неестественно визгливым голосом прокричал, пролетая и притопывая вместе с другими: «Э-э-эх, Пселдонимушка!» Под ногами Ивана Ильича было что-то липкое: очевидно, пол навощили воском. В комнате, впрочем не очень малой, было человек до тридцати гостей.

Но через минуту кадриль кончилась, и почти тотчас же произошло то же самое, что представлялось Ивану Ильичу, когда он еще мечтал на мостках. По гостям и танцующим, еще не успевшим отдышаться и обтереть с лица пот, прошел какой-то гул, какой-то необыкновенный шепот. Все глаза, все лица начали быстро оборачиваться к вошедшему гостю. Затем все тотчас же стали понемногу отступать и пятиться. Незамечавших дергали за платье и образумливали. Они оглядывались и тотчас же пятились вместе с прочими. Иван Ильич всё еще стоял в дверях, не двигаясь ни шагу вперед, а между ним и гостями всё более и более очищалось открытое пространство, усеянное на полу бесчисленными конфетными бумажками, билетиками и окурками папирос. Вдруг в это пространство робко выступил молодой человек, в вицмундире, с вихроватыми, белокурыми волосами и с горбатым носом. Он подвигался вперед, согнувшись и смотря на неожиданного гостя совершенно с таким же точно видом, с каким собака смотрит на своего хозяина, зовущего ее, чтоб дать ей пинка.

— Здравствуй, Пселдонимов, узнаешь?.. — сказал Иван Ильич и в то же мгновение почувствовал, что он это ужасно неловко сказал; он почувствовал тоже, что, может быть, делает в эту минуту страшнейшую глупость.

— В-в-ваше прево-сходительство!.. — пробормотал Пселдонимов.

— Ну, то-то. Я, брат, к тебе совершенно случайно зашел, как, вероятно, ты и сам можешь это себе представить...

Но Пселдонимов, очевидно, ничего не мог представить. Он стоял, выпучив глаза, в ужасающем недоумении.

— Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю... Рад не рад, а гостя принимай!.. — продолжал Иван Ильич, чувствуя, что конфузится до неприличной слабости, желает улыбнуться, но уже не может; что юмористический рассказ о Степане Никифоровиче и Трифоне становится всё более и более невозможным. Но Пселдонимов, как нарочно, не выходил из столбняка и продолжал смотреть с совершенно дурацким видом. Ивана Ильича передернуло, он чувствовал, что еще одна такая минута, и произойдет невероятный сумбур.

— Я уж не помешал ли чему... я уйду! — едва выговорил он, и какая-то жилка затрепетала у правого края его губ...

Но Пселдонимов уже опомнился...

— Ваше превосходительство, помилуйте-с... Честь... — бормотал он, уторопленно кланяясь, — удостойте присесть-с... — И еще более очнувшись, он обеими руками указывал ему на диван, от которого для танцев отодвинули стол...

Иван Ильич отдохнул душою и опустился на диван; тотчас же кто-то кинулся придвигать стол. Он бегло осмотрелся и заметил, что он один сидит, а все другие стоят, даже дамы. Признак дурной. Но напоминать и ободрять было еще не время. Гости всё еще пятились, а перед ним, скрючившись, стоял всё еще один только Пселдонимов, всё еще ничего не понимающий и далеко не улыбающийся. Было скверно, короче: в эту минуту наш герой вынес столько тоски, что действительно его гарун-аль-рашидское нашествие, ради принципа, к подчиненному могло бы почесться подвигом. Но вдруг какая-то фигурка очутилась подле Пселдонимова и начала кланяться. К невыразимому своему удовольствию и даже счастью, Иван Ильич тотчас же распознал столоначальника из своей канцелярии, Акима Петровича Зубикова, с которым он хоть, конечно, и не был знаком, но знал его за дельного и бессловесного чиновника. Он немедленно встал и протянул Акиму Петровичу руку, всю руку, а не два пальца. Тот принял ее обеими ладонями в глубочайшем почтении. Генерал торжествовал; всё было спасено.

И действительно, теперь уже Пселдонимов был, так сказать, не второе, а уже третье лицо. С рассказом можно было обратиться прямо к столоначальнику, за нужду приняв его за знакомого и даже короткого, а Пселдонимов тем временем мог только молчать и трепетать от благоговения. Следственно, приличия были соблюдены. А рассказ был необходим; Иван Ильич это чувствовал; он видел, что все гости ожидают чего-то, что в обеих дверях столпились даже все домочадцы и чуть не взлезают друг на друга, чтоб его поглядеть и послушать. Скверно было то, что столоначальник, по глупости своей, всё еще не садился.

— Что же вы! — проговорил Иван Ильич, неловко указывая ему подле себя на диване.

— Помилуйте-с... я и здесь-с... — и Аким Петрович быстро сел на стул, подставленный ему почти на лету упорно остававшимся на ногах Пселдонимовым.

— Можете себе представить случай, — начал Иван Ильич, обращаясь исключительно к Акиму Петровичу несколько дрожащим, но уже развязным голосом. Он даже растягивал и разделял слова, ударял на слоги, букву *а* стал выговаривать как-то на *э*, одним словом, сам чувствовал и сознавал, что кривляется, но уже совладать с собою не мог; действовала какая-то внешняя сила. Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту.

— Можете себе представить, я только что от Степана Никифоровича Никифорова, слышали, может быть, тайный советник. Ну... в этой комиссии...

Аким Петрович почтительно нагнулся всем корпусом вперед: «Дескать, как не слыхать-с».

— Он теперь твой сосед, — продолжал Иван Ильич, на один миг, для приличия и для непринужденности, обращаясь к Пселдонимову, но быстро отворотился, увидав тотчас же по глазам Пселдонимова, что тому это решительно всё равно.

— Старик, как вы знаете, бредил всю жизнь купить себе дом... Ну и купил. И прехорошенький дом. Да... А тут и его рождение сегодня подошло, и ведь никогда прежде не праздновал, даже таил от нас, отнекивался по скупости, хе-хе! а теперь так обрадовался новому дому, что пригласил меня и Семена Ивановича. Знаете: Шипуленко.

Аким Петрович опять нагнулся. С усердием нагнулся! Иван Ильич несколько утешился. А то уж ему приходило в голову, что столоначальник, пожалуй, догадывается, что он в эту минуту необходимая точка опоры для его превосходительства. Это было бы всего сквернее.

— Ну, посидели втроем, шампанского нам поставил, поговорили о делах... Ну о том о сем... о во-про-сах... Даже пос-по-рили... Хе-хе!

Аким Петрович почтительно поднял брови.

— Только дело не в этом. Прощаюсь с ним наконец, старик аккуратный, ложится рано, знаете, к старости. Выхожу... нет моего Трифона! Тревожусь, расспрашиваю: «Куда девал Трифон карету?» Открывается, что он, понадеясь, что я засижусь, отправился на свадьбу к какой-то своей куме или к сестре... уж бог его знает. Здесь же где-то на Петербургской. Да и карету уж кстати с собою захватил. — Генерал опять для приличия взглянул на Пселдонимова. Того немедленно скрючило, но вовсе не так, как надобно было генералу. «Сочувствия, сердца нет», — промелькнуло в его голове.

— Скажите! — проговорил глубоко пораженный Аким Петрович. Маленький гул удивления прошел по всей толпе.

— Можете себе представить мое положение... (Иван Ильич взглянул на всех.) Нечего делать, иду пешком. Думаю, добреду до Большого проспекта, да и найду какого-нибудь ваньку... хе-хе!

— Хи-хи-хи! — почтительно отозвался Аким Петрович. Опять гул, но уже на веселый лад, прошел по толпе. В это время с тре-

ском лопнуло стекло на стенной лампе. Кто-то с жаром бросился поправлять ее. Пселдонимов встрепенулся и строго посмотрел на лампу, но генерал даже не обратил внимания, и всё успокоилось.

— Иду... а ночь такая прекрасная, тихая. Вдруг слышу музыку, топот, танцуют. Любопытствую у городового: Пселдонимов женится. Да ты, брат, на всю Петербургскую сторону балы задаешь? ха-ха, — вдруг обратился он опять к Пселдонимову.

— Хи-хи-хи! да-с... — отозвался Аким Петрович; гости опять пошевелились, но всего глупее было то, что Пселдонимов хоть и поклонился опять, но даже и теперь не улыбнулся, точно он был деревянный. «Да он дурак, что ли! — подумал Иван Ильич, — тут-то бы и улыбаться ослу, и всё бы пошло как по маслу». Нетерпение бушевало в его сердце. — Думаю, дай войду к подчиненному. Ведь не прогонит же он меня... рад не рад, а принимай гостя. Ты, брат, пожалуйста, извини. Если я чем помешал, я уйду... Я ведь только зашел посмотреть...

Но мало-помалу уже начиналось всеобщее движение. Аким Петрович смотрел с услащенным видом: «Дескать, можете ли, ваше превосходительство, помешать?». Все гости пошевеливались и стали обнаруживать первые признаки развязности. Дамы почти все уже сидели. Знак добрый и положительный. Посмелее из них обмахивались платочками. Одна из них, в истертом бархатном платье, что-то нарочно громко проговорила. Офицер, к которому она обратилась, хотел было ей ответить тоже погромче, но так как они были только двое из громких, то спасовал. Мужчины, всё более канцеляристы и два-три студента, переглядывались, как бы подталкивая друг друга развернуться, откашливались и даже начали ступать по два шага в разные стороны. Впрочем, никто особенно не робел, а только все были дики и почти все про себя враждебно смотрели на персону, ввалившуюся к ним, чтоб нарушить их веселье. Офицер, устыдясь своего малодушия, начал понемногу приближаться к столу.

— Да послушай, брат, позволь спросить, как твое имя и отчество? — спросил Иван Ильич Пселдонимова.

— Порфирий Петров, ваше превосходительство, — отвечал тот, выпуча глаза, точно на смотру.

— Познакомь же меня, Порфирий Петрович, с твоей молодой женой... Поведи меня... я...

И он обнаружил было желание привстать. Но Пселдонимов кинулся со всех ног в гостиную. Впрочем, молодая стояла тут же в дверях, но, только что услыхала, что о ней идет речь, тотчас спряталась. Через минуту Пселдонимов вывел ее за руку. Все расступались, давая им ход. Иван Ильич торжественно привстал и обратился к ней с самой любезной улыбкой.

— Очень, очень рад познакомиться, — произнес он с самым великосветским полупоклоном, — и тем более в такой день...

Он прековарно улыбнулся. Дамы приятно заволновались.

— Шарме́, — произнесла дама в бархатном платье почти вслух.

Молодая стоила Пселдонимова. Это была худенькая дамочка, всего еще лет семнадцати, бледная, с очень маленьким лицом и с востреньким носиком. Маленькие глазки ее, быстрые и беглые, вовсе не конфузились, напротив, смотрели пристально и даже с оттенком какой-то злости. Очевидно, Пселдонимов брал ее не за красоту. Одета она была в белое кисейное платье на розовом чехле. Шея у нее была худенькая, тело цыплячье, выставлялись кости. На привет генерала она ровно ничего не сумела сказать.

— Да она у тебя прехорошенькая, — продолжал он вполголоса, как будто обращаясь к одному Пселдонимову, но нарочно так, чтоб и молодая слышала. Но Пселдонимов ровно ничего и тут не ответил, даже и не покачнулся на этот раз. Ивану Ильичу показалось даже, что в глазах его есть что-то холодное, затаенное, даже что-то себе на уме, особенное, злокачественное. И, однако ж, во что бы ни стало надо было добиться чувствительности. Ведь для нее-то он и пришел.

«Однако парочка! — подумал он. — Впрочем...»

И он снова обратился к молодой, поместившейся возле него на диване, но на два или на три вопроса свои получил опять только «да» и «нет», да и тех, правда, вполне не получил.

«Хоть бы она поконфузилась, — продолжал он про себя. — Я бы тогда шутить начал. А то ведь мое-то положение безвыходное». И Аким Петрович, как нарочно, тоже молчал, хоть и по глупости, но всё же было неизвинительно.

— Господа! уж я не помешал ли вашим удовольствиям? — обратился было он ко всем вообще. Он чувствовал, что у него даже ладони потеют.

— Нет-с... Не беспокойтесь, ваше превосходительство, сейчас начнем, а теперь... прохлаждаемся-с, — отвечал офицер. Молодая с удовольствием на него поглядела: офицер был еще не стар и носил мундир какой-то команды. Пселдонимов стоял тут же, подавшись вперед, и, казалось, еще более, чем прежде, выставлял свой горбатый нос. Он слушал и смотрел, как лакей, стоящий с шубой в руках и ожидающий окончания прощального разговора своих господ. Это сравнение сделал сам Иван Ильич; он терялся, он чувствовал, что ему неловко, ужасно неловко, что почва ускользает из-под его ног, что он куда-то зашел и не может выйти, точно в потемках.

---

Вдруг все расступились, и появилась невысокая и плотная женщина, уже пожилая, одетая просто, хотя и принарядившаяся, в большом платке на плечах, зашпиленном у горла, и в чепчике, к которому она, видимо, не привыкла. В руках ее был небольшой круглый поднос, на котором стояла непочатая, но уже раскупоренная бутылка шампанского и два бокала, ни больше, ни меньше. Бутылка, очевидно, назначалась только для двух гостей.

Пожилая женщина прямо приблизилась к генералу.

— Уж не взыщите, ваше превосходительство, — сказала она, кланяясь, — а уж коль не погнушались нами, оказали честь к сыночку на свадьбу пожаловать, так уж просим милости, поздравьте вином молодых. Не погнушайтесь, окажите честь.

Иван Ильич схватился за нее, как за спасение. Она была еще вовсе нестарая женщина, лет сорока пяти или шести, не больше. Но у ней было такое доброе, румяное, такое открытое, круглое русское лицо, она так добродушно улыбалась, так просто кланялась, что Иван Ильич почти утешился и начал было надеяться.

— Так вы-ы-ы ро-ди-тель-ница вашего сы-на? — сказал он, привстав с дивана.

— Родительница, ваше превосходительство, — промямлил Пселдонимов, вытягивая свою длинную шею и снова выставляя свой нос.

— А! Очень рад, о-чень рад познакомиться.

— Так не побрезгайте, ваше превосходительство.

— С превеликим даже удовольствием.

Поднос поставили, вино налил подскочивший Пселдонимов. Иван Ильич, всё еще стоя, взял бокал.

— Я особенно, особенно рад этому случаю, что могу... — начал он, — что могу... при сем засвидетельствовать... Одним словом, как начальник... желаю вам, сударыня (он обратился к новобрачной), и тебе, мой друг Порфирий, — желаю полного, благополучного и долгого счастья.

И он даже с чувством выпил бокал, счетом седьмой в этот вечер. Пселдонимов смотрел серьезно и даже угрюмо. Генерал начинал мучительно его ненавидеть.

«Да и этот верзила (он взглянул на офицера) тут же торчит. Ну что бы хоть ему прокричать: ура! И пошло бы, и пошло бы...»

— Да и вы, Аким Петрович, выпейте и поздравьте, — прибавила старуха, обращаясь к столоначальнику. — Вы начальник, он вам подчиненный. Наблюдайте сыночка-то, как мать прошу. Да и впредь нас не забывайте, голубчик наш, Аким Петрович, добрый вы человек.

«А ведь какие славные эти русские старухи! — подумал Иван Ильич. — Всех оживила. Я всегда любил народность...»

В эту минуту к столу поднесли еще поднос. Несла девка, в шумящем, еще не мытом ситцевом платье и в кринолине. Она едва обхватывала поднос руками, так он был велик. На нем стояло бесчисленное множество тарелочек с яблоками, с конфетами, с пастилой, с мармеладом, с грецкими орехами и проч. и проч. Поднос стоял до сих пор в гостиной, для угощения всех гостей, и преимущественно дам. Но теперь его перенесли к одному генералу.

— Не побрезгайте, ваше превосходительство, нашим яством. Чем богаты, тем и рады, — повторяла, кланяясь, старуха.

— Помилуйте... — сказал Иван Ильич и даже с удовольствием взял и раздавил между пальцами один грецкий орех. Он уж решился быть до конца популярным.

Между тем молодая вдруг захихикала.

— Что-с? — спросил Иван Ильич с улыбкой, обрадовавшись признакам жизни.

— Да вот-с, Иван Костенькиныч смешит, — отвечала она потупившись.

Генерал действительно рассмотрел одного белокурого юношу, очень недурного собой, спрятавшегося на стуле с другой стороны дивана и что-то нашептывавшего madame Пселдонимовой. Юноша привстал. Он, по-видимому, был очень застенчив и очень молод.

— Я про «сонник» им говорил, ваше превосходительство, — пробормотал он, как будто извиняясь.

— Про какой же это сонник? — спросил Иван Ильич снисходительно.

— Новый сонник-с есть-с, литературный-с. Я им говорил-с, если господина Панаева во сне увидеть-с, то это значит кофеем манишку залить-с.

«Экая невинность», — подумал даже со злобою Иван Ильич. Молодой человек хоть и очень разрумянился, говоря это, но до невероятности был рад, что рассказал про господина Панаева.

— Ну да, да, я слышал... — отозвался его превосходительство.

— Нет, вот еще лучше есть, — проговорил другой голос подле самого Ивана Ильича, — новый лексикон издается, так, говорят, господин Краевский будет писать статьи, Алфераки... и *а*бличительная литература...

Проговорил это молодой человек, но уже не конфузливый, а довольно развязный. Он был в перчатках, белом жилете и держал шляпу в руках. Он не танцевал, смотрел высокомерно, потому что был один из сотрудников сатирического журнала «Головешка», задавал тону и попал на свадьбу случайно, приглашенный как почетный гость Пселдонимовым, с которым был на *ты* и с которым, еще прошлого года, вместе бедствовал у одной немки «в углах». Водку он, однако ж, пил и уже неоднократно для этого отлучался в одну укромную заднюю комнатку, куда все знали дорогу. Генералу он ужасно не понравился.

— И это потому смешно-с, — с радостью перебил вдруг белокурый юноша, рассказавший про манишку и на которого сотрудник в белом жилете посмотрел за это с ненавистью, — потому смешно, ваше превосходительство, что сочинителем полагается, будто бы господин Краевский правописания не знает и думает, что «обличительную литературу» надобно писать *а*бличительная литература...

Но бедный юноша едва докончил. Он по глазам увидал, что генерал давно уже это знает, потому что сам генерал тоже как будто сконфузился и, очевидно, оттого, что знал это. Молодому человеку стало до невероятности совестно. Он успел куда-то

поскорее стушеваться и потом всё остальное время был очень грустен. Взамен того развязный сотрудник «Головешки» подошел еще ближе и, казалось, намеревался где-нибудь поблизости сесть. Такая развязность показалась Ивану Ильичу несколько щекотливой.

— Да! скажи, пожалуйста, Порфирий, — начал он, чтобы что-нибудь говорить, — почему — я всё тебя хотел спросить об этом лично — почему тебя зовут Пселдонимов, а не Псевдонимов? Ведь ты, наверное, Псевдонимов?

— Не могу в точности доложить, ваше превосходительство, — отвечал Пселдонимов.

— Это, верно, еще его отцу-с при поступлении на службу в бумагах перемешали-с, так что он и остался теперь Пселдонимов, — отозвался Аким Петрович. — Это бывает-с.

— Неп-ре-менно, — с жаром подхватил генерал, — неп-ремен-но, потому, сами посудите: Псевдонимов — ведь это происходит от литературного слова «псевдоним». Ну, а Пселдонимов ничего не означает.

— По глупости-с, — прибавил Аким Петрович.

— То есть собственно что по глупости?

— Русский народ-с; по глупости изменяет иногда литеры-с и выговаривает иногда по-своему-с. Например, говорят невалид, а надо бы сказать инвалид-с.

— Ну, да... невалид, хе-хе-хе...

— Мумер тоже говорят, ваше превосходительство, — брякнул высокий офицер, у которого давно уже зудело, чтоб как-нибудь отличиться.

— То есть как это мумер?

— Мумер вместо нумер, ваше превосходительство.

— Ах да, мумер... вместо нумер... Ну да, да... хе-хе, хе!... — Иван Ильич принужден был похихикать и для офицера.

Офицер поправил галстук.

— А вот еще говорят: нимо, — ввязался было сотрудник «Головешки». Но его превосходительство постарался этого уж не расслышать. Не для всех же было хихикать.

— *Нимо* вместо *мимо*, — приставал «сотрудник» с видимым раздражением.

Иван Ильич строго посмотрел на него.

— Ну, что пристал? — шепнул Пселдонимов сотруднику.

— Да что ж это, я разговариваю. Нельзя, что ль, и говорить, — заспорил было тот шепотом, но, однако ж, замолчал и с тайною яростью вышел из комнаты.

Он прямо пробрался в привлекательную заднюю комнатку, где для танцующих кавалеров, еще с начала вечера, поставлена была на маленьком столике, накрытом ярославскою скатертью, водка двух сортов, селедка, икра ломтиками и бутылка крепчайшего хереса из национального погребка. Со злостью в сердце он налил было себе водки, как вдруг вбежал медицинский студент,

с растрепанными волосами, первый танцор и канканер на бале Пселдонимова. Он с торопливою жадностью бросился к графину.

— Сейчас начнут! — проговорил он, наскоро распоряжаясь. — Приходи смотреть: соло сделаю вверх ногами, а после ужина рискну *рыбку*. Это будет даже идти к свадьбе-то. Так сказать, дружеский намек Пселдонимову... Славная эта Клеопатра Семеновна, с ней всё что угодно можно рискнуть.

— Это ретроград, — мрачно отвечал сотрудник, выпивая рюмку.

— Кто ретроград?

— Да вот, особа-то, перед которой пастилу поставили. Ретроград! я тебе говорю.

— Ну уж ты! — пробормотал студент и бросился вон из комнаты, услышав ритурнель кадрили.

Сотрудник, оставшись один, налил себе еще для большего куража и независимости, выпил, закусил, и никогда еще действительный статский советник Иван Ильич не приобретал себе более яростного врага и более неумолимого мстителя, как пренебреженный им сотрудник «Головешки», особенно после двух рюмок водки. Увы! Иван Ильич ничего не подозревал в этом роде. Не подозревал он и еще одного капитальнейшего обстоятельства, имевшего влияние на все дальнейшие взаимные отношения гостей к его превосходительству. Дело в том, что он хоть и дал с своей стороны приличное и даже подробное объяснение своего присутствия на свадьбе у своего подчиненного, но это объяснение в сущности никого не удовлетворило, и гости продолжали конфузиться. Но вдруг всё переменилось, как волшебством; все успокоились и готовы были веселиться, хохотать, визжать и плясать, точно так же, как если бы неожиданного гостя совсем не было в комнате. Причиной тому был неизвестно каким образом вдруг разошедшийся слух, шепот, известие, что гость-то, кажется, того... под шефе. И хоть дело носило с первого взгляда вид ужаснейшей клеветы, но мало-помалу стало как будто оправдываться, так что вдруг всё стало ясно. Мало того, стало вдруг необыкновенно свободно. И вот в это-то самое мгновение и началась кадриль, последняя перед ужином, на которую так торопился медицинский студент.

И только что было Иван Ильич хотел снова обратиться к новобрачной, пытаясь в этот раз донять ее каким-то каламбуром, как вдруг к ней подскочил высокий офицер и с размаху стал на одно колено. Она тотчас же вскочила с дивана и упорхнула с ним, чтоб встать в ряды кадрили. Офицер даже не извинился, а она даже не взглянула, уходя, на генерала, даже как будто рада была, что избавилась.

«Впрочем, в сущности, она в своем праве, — подумал Иван Ильич, — да и приличий они не знают».

— Гм... ты бы, брат Порфирий, не церемонился, — обратился он к Пселдонимову. —Может, у тебя там есть что-нибудь... насчет

распоряжений... или там что-нибудь... пожалуйста, не стесняйся. «Что он сторожит, что ли, меня?» — прибавил он про себя.

Ему становился невыносим Пселдонимов с своей длинной шеей и глазами, пристально на него устремленными. Одним словом, всё это было не то, совсем не то, но Иван Ильич далеко еще не хотел в этом сознаться.

---

Кадриль началась.

— Прикажете, ваше превосходительство? — спросил Аким Петрович, почтительно держа в руках бутылку и готовясь налить в бокал его превосходительства.

— Я... я, право, не знаю, если...

Но уж Аким Петрович с благоговейно сияющим лицом наливал шампанское. Налив бокал, он как будто украдкой, как будто воровским образом, ежась и корчась, налил и себе с тою разницею, что себе на целый палец не долил, что было как-то почтительнее. Он был как женщина в родах, сидя подле ближайшего своего начальника. Об чем в самом деле заговорить? А развлечь его превосходительство следовало даже по обязанности, так как уж он имел честь составить ему компанию. Шампанское послужило выходом, да и его превосходительству даже приятно было, что тот налил, — не для шампанского, потому что оно было теплое и гадость естественнейшая, а так, нравственно приятно.

«Старику самому хочется выпить, — подумал Иван Ильич, — а без меня не смеет. Не задерживать же... Да и смешно, если бутылка так простоит между нами».

Он прихлебнул, и все-таки оно показалось лучше, чем так-то сидеть.

— Я ведь здесь, — начал он с расстановками и ударениями, — я ведь здесь, так сказать, случайно и, конечно, может быть, иные найдут.. что мне... так сказать, не-при-лично быть на таком... собрании.

Аким Петрович молчал и вслушивался с робким любопытством.

— Но я надеюсь, вы поймете, зачем я здесь... Ведь не вино же в самом деле я пить пришел. Хе-хе!

Аким Петрович хотел было похихикать вслед за его превосходительством, но как-то осекся и опять не ответил ровно ничего утешительного.

— Я здесь... чтобы, так сказать, ободрить... показать, так сказать, нравственную, так сказать, цель, — продолжал Иван Ильич, досадуя на тупость Акима Петровича, но вдруг и сам замолчал. Он увидел, что бедный Аким Петрович даже глаза опустил, точно в чем-то виноватый. Генерал в некотором замешательстве поспешил еще раз отхлебнуть из бокала, а Аким Петрович, как будто всё спасение его было в этом, схватил бутылку и подлил снова.

«А немного ж у тебя ресурсов», — подумал Иван Ильич, строго смотря на бедного Акима Петровича. Тот же, предчувствуя на себе этот строгий генеральский взгляд, решился уж молчать окончательно и глаз не подымать. Так они просидели друг перед другом минуты две, две болезненные минуты для Акима Петровича.

Два слова об Акиме Петровиче. Это был человек смирный, как курица, самого старого закала, взлелеянный на подобострастии и между тем человек добрый и даже благородный. Он был из петербургских русских, то есть и отец и отец отца его родились, выросли и служили в Петербурге и ни разу не выезжали из Петербурга. Это совершенно особенный тип русских людей. Об России они почти не имеют ни малейшего понятия, о чем вовсе и не тревожатся. Весь интерес их сужен Петербургом и, главное, местом их службы. Все заботы их сосредоточены около копеечного преферанса, лавочки и месячного жалованья. Они не знают ни одного русского обычая, ни одной русской песни, кроме «Лучинушки», да и то потому только, что ее играют шарманки. Впрочем, есть два существенные и незыблемые признака, по которым вы тотчас же отличите настоящего русского от петербургского русского. Первый признак состоит в том, что все петербургские русские, все без исключения, никогда не говорят: «Петербургские ведомости», а всегда говорят: «Академические ведомости». Второй, одинаково существенный, признак состоит в том, что петербургский русский никогда не употребляет слово «завтрак», а всегда говорит: «фрыштик», особенно напирая на звук *фры*. По этим двум коренным и отличительным признакам вы их всегда различите; одним словом, это тип смиренный и окончательно выработавшийся в последние тридцать пять лет. Впрочем, Аким Петрович был вовсе не дурак. Спроси его генерал о чем-нибудь подходящем к нему, он бы и ответил и поддержал разговор, а то ведь неприлично подчиненному и отвечать-то на такие вопросы, хотя Аким Петрович умирал от любопытства узнать что-нибудь подробнее о настоящих намерениях его превосходительства...

А между тем Иван Ильич всё более и более впадал в раздумье и в какое-то коловращение идей; в рассеянности он неприметно, но поминутно прихлебывал из бокала. Аким Петрович тотчас же и усерднейше ему подливал. Оба молчали. Иван Ильич начал было смотреть на танцы, и вскоре они несколько привлекли его внимание. Вдруг одно обстоятельство даже удивило его...

Танцы действительно были веселы. Тут именно танцевалось в простоте сердец, чтоб веселиться и даже беситься. Из танцоров ловких было очень немного; но неловкие так сильно притопывали, что их можно было принять и за ловких. Отличался, во-первых, офицер: он особенно любил фигуры, где оставался один, вроде соло. Тут он удивительно изгибался, а именно: весь, прямой как верста, он вдруг склонялся набок, так что вот, думаешь, упадет, но с следующим шагом он вдруг склонялся в противоположную сторону, под тем же косым углом к полу. Выражение лица он наблюдал

серьезнейшее и танцевал в полном убеждении, что ему все удивляются. Другой кавалер со второй фигуры заснул подле своей дамы, нагрузившись предварительно еще до кадриля, так что дама его должна была танцевать одна. Молодой регистратор, отплясывавший с дамой в голубом шарфе, во всех фигурах и во всех пяти кадрилях, которые протанцованы были в этот вечер, выкидывал всё одну и ту же штуку, а именно: он несколько отставал от своей дамы, подхватывал кончик ее шарфа и на лету, при переходе визави, успевал влеплять в этот кончик десятка два поцелуев. Дама же, впереди его, плыла, как будто ничего не замечая. Медицинский студент действительно сделал соло вверх ногами и произвел неистовый восторг, топот и взвизги удовольствия. Одним словом, непринужденность была чрезвычайная. Иван Ильич, на которого и вино подействовало, начал было улыбаться, но мало-помалу какое-то горькое сомнение начало закрадываться в его душу: конечно, он очень любил развязность и непринужденность; он желал, он даже душевно звал ее, эту развязность, когда они все пятились, и вот теперь эта развязность уже стала выходить из границ. Одна дама, например, в истертом синем бархатном платье, перекупленном из четвертых рук, в шестой фигуре зашпилила свое платье булавками, так что выходило, как будто она в панталонах. Это была та самая Клеопатра Семеновна, с которой можно было всё рискнуть, по выражению ее кавалера, медицинского студента. Об медицинском студенте и говорить было нечего: просто Фокин. Как же это? То пятились, а тут вдруг так скоро эманципировались! Кажись бы, и ничего, но как-то странен был этот переход: он что-то предвещал. Точно совсем они и забыли, что есть на свете Иван Ильич. Разумеется, он хохотал первый и даже рискнул аплодировать. Аким Петрович почтительно хихикал ему в унисон, хотя, впрочем, с видимым удовольствием и не подозревая, что его превосходительство начинал уже откармливать в сердце своем нового червяка.

— Славно, молодой человек, танцуете, — принужден был Иван Ильич сказать студенту, проходившему мимо: только что кончилась кадриль.

Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и, приблизив свое лицо к его превосходительству на близкое до неприличия расстояние, во всё горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола. Несмотря на то, последовал залп неудержимого хохоту, потому что крик петуха был удивительно натурален, а вся гримаса совершенно неожиданна. Иван Ильич еще стоял в недоумении, как вдруг явился сам Пселдонимов и, кланяясь, стал просить к ужину. Вслед за ним явилась и мать его.

— Батюшка, ваше превосходительство, — говорила она, кланяясь, — окажите честь, не погнушайтесь нашей бедностью...

— Я... я, право, не знаю... — начал было Иван Ильич, — я ведь не для того... я... хотел было уж идти...

Действительно, он держал в руках шапку. Мало того: тут же, в это самое мгновение, он дал себе честное слово непременно, сейчас же, во что бы то ни стало уйти и ни за что не оставаться и... и остался. Через минуту он открыл шествие к столу. Пселдонимов и мать его шли перед ним и раздвигали ему дорогу. Посадили его на самое почетное место, и опять непочатая бутылка шампанского очутилась перед его прибором. Стояла закуска: селедка и водка. Он протянул руку, сам налил огромную рюмку водки и выпил. Он никогда прежде не пил водки. Он чувствовал, что как будто катится с горы, летит, летит, летит, что надо бы удержаться, уцепиться за что-нибудь, но нет к тому никакой возможности.

---

Действительно, положение его становилось всё более и более эксцентричным. Мало того: это была какая-то насмешка судьбы. С ним бог знает что произошло в какой-нибудь час. Когда он входил, он, так сказать, простирал объятия всему человечеству и всем своим подчиненным; и вот не прошло какого-нибудь часу, и он, всеми болями своего сердца, слышал и знал, что он ненавидит Пселдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того: он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Пселдонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря: «А чтоб ты провалился, проклятый! Навязался на шею!...» Всё это он уже давно прочел в его взгляде.

Конечно, Иван Ильич даже и теперь, садясь за стол, дал бы себе скорее руку отсечь, чем признался бы искренно, не только вслух, но даже себе самому, что всё это действительно точно так было. Минута еще вполне не пришла, а теперь еще было какое-то нравственное балансе. Но сердце, сердце... оно ныло! оно просилось на волю, на воздух, на отдых. Ведь слишком уж добрый человек был Иван Ильич.

Он ведь знал, очень хорошо знал, что еще давно бы надо было уйти, и не только уйти, но даже спасаться. Что всё это вдруг стало не тем, ну совершенно не так обернулось, как мечталось давеча на мостках.

«Я ведь зачем пришел? Я разве затем пришел, чтоб здесь есть и пить?» — спрашивал он себя, закусывая селедку. Он даже приходил в отрицание. В душе его шевелилась мгновениями ирония на собственный подвиг. Он начинал даже сам не понимать, зачем, в самом деле, он вошел?

Но как было уйти? Так уйти, не докончив, было невозможно. «Что скажут? Скажут, что я по неприличным местам таскаюсь. Оно даже и в самом деле выйдет так, если не докончить. Что скажет, например, завтра же (потому что ведь везде разнесется) Степан Никифорыч, Семен Иваныч, в канцеляриях, у Шембелей, у Шубиных? Нет, надо так уйти, чтоб они все поняли, зачем я приходил, надо нравственную цель обнаружить... — А между тем патети-

ческий момент никак не давался. — Они даже не уважают меня, — продолжал он. — Чему они смеются? Они так развязны, как будто бесчувственные... Да, я давно подозревал всё молодое поколение в бесчувственности! Надо остаться во что бы то ни стало!.. Теперь они танцевали, а вот за столом будут в сборе... Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России... я их еще увлеку! Да! Может быть, еще совершенно ничего не потеряно... Может быть, так и всегда бывает в действительности. С чего бы только с ними начать, чтоб их привлечь? Какой бы это такой прием изобресть? Теряюсь, просто теряюсь... И чего им надо, чего они требуют?.. Я вижу, они там пересмеиваются... Уж не надо мной ли, господи боже! Да чего мне-то надо... я-то чего здесь, чего я-то не ухожу, чего добиваюсь?..» Он думал это, и какой-то стыд, какой-то глубокий, невыносимый стыд всё более и более надрывал его сердце.

---

Но всё уж так и шло, одно к другому.

Ровно две минуты спустя, как он сел за стол, одна страшная мысль овладела всем существом его. Он вдруг почувствовал, что ужасно пьян, то есть не так, как прежде, а пьян окончательно. Причиною тому была рюмка водки, выпитая вслед за шампанским и оказавшая немедленно действие. Он чувствовал, слышал всем существом своим, что слабеет окончательно. Конечно, куражу прибавилось много, но сознание не оставляло его и кричало ему: «Нехорошо, очень нехорошо, и даже совсем неприлично!» Конечно, неустойчивые пьяные думы не могли остановиться на одной точке: в нем вдруг явились, даже осязательно для него же самого, какие-то две стороны. В одной был кураж, желание победы, ниспровержение препятствий и отчаянная уверенность в том, что он еще достигнет цели. Другая сторона давала себя знать мучительным нытьем в душе и каким-то засосом на сердце. «Что скажут? чем это кончится? что завтра-то будет, завтра, завтра!..»

Прежде он как-то глухо предчувствовал, что между гостями у него уже есть враги. «Это оттого, что я, верно, и давеча был пьян», — подумал он с мучительным сомнением. Каков же был его ужас, когда он действительно, по несомненнейшим признакам, уверился теперь, что за столом действительно были враги его и что в этом уже нельзя сомневаться.

«И за что! за что!» — думал он.

За этим столом поместились все человек тридцать гостей, из которых уже некоторые были окончательно готовы. Другие вели себя с какою-то небрежною, злокачественною независимостью, кричали, говорили все вслух, провозглашали преждевременно тосты, перестреливались с дамами хлебными шариками. Один, какая-то невзрачная личность в засаленном сюртуке, упал со стула, как только сел за стол, и так и оставался до самого окончания ужина. Другой хотел непременно влезть на стол и провоз-

гласить тост, и только офицер, схватив его за фалды, умерил преждевременный восторг его. Ужин был совершенно разночинный, хотя и нанимался для него повар, крепостной человек какого-то генерала: был галантир, был язык под картофелем, были котлетки с зеленым горошком, был, наконец, гусь, и под конец всего бламанже. Из вин было: пиво, водка и херес. Бутылка шампанского стояла перед одним генералом, что принудило его самого налить и Акиму Петровичу, который собственной своей инициативой за ужином уже не смел распорядиться. Для тостов же прочим гостям предназначалось горское или что попало. Самый стол состоял из многих столов, составленных вместе, в число которых пошел даже ломберный. Накрыт он был многими скатертями, в числе которых была одна ярославская цветная. Гости сидели вперемежку с дамами. Родительница Пселдонимова сидеть за столом не захотела; она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась одна злокачественная женская фигура, не показывавшаяся прежде, в каком-то красноватом шелковом платье, с подвязанными зубами и в высочайшем чепчике. Оказалось, что это была мать невесты, согласившаяся выйти наконец из задней комнаты к ужину. До сих пор она не выходила по причине непримиримой своей вражды к матери Пселдонимова; но об этом упомянем после. На генерала эта дама смотрела злобно, даже насмешливо и, очевидно, не хотела быть ему представленной. Ивану Ильичу эта фигура показалась до крайности подозрительною. Но кроме нее и некоторые другие лица были подозрительны и вселяли невольное опасение и беспокойство. Казалось даже, что они в каком-то заговоре между собою, и именно против Ивана Ильича. По крайней мере ему самому так казалось, и в продолжение всего ужина он всё более и более в том убеждался. А именно: злокачествен был один господин с бородкой, какой-то вольный художник; он даже несколько раз посмотрел на Ивана Ильича и потом, повернувшись к соседу, что-то ему нашептывал. Другой, из учащихся, был, правда, совершенно уж пьян, но все-таки по некоторым признакам подозрителен. Худые надежды подавал тоже и медицинский студент. Даже сам офицер был не совсем благонадежен. Но особенною и видимою ненавистью сиял сотрудник «Головешки»: он так развалился на стуле, он так гордо и заносчиво смотрел, так независимо фыркал! И хоть прочие гости и не обращали никакого особенного внимания на сотрудника, написавшего в «Головешке» только четыре стишка и сделавшегося оттого либералом, даже, видимо, не любили его, но когда возле Ивана Ильича упал вдруг хлебный шарик, очевидно назначавшийся в его сторону, то он готов был дать голову на отсечение, что виновник этого шарика был не кто другой, как сотрудник «Головешки».

Всё это, конечно, действовало на него плачевным образом.

Особенно неприятно было и еще одно наблюдение: Иван Ильич совершенно убедился, что он начинает как-то неясно и

затруднительно выговаривать слова, что сказать хочется очень много, но язык не двигается. Потом, что вдруг он как будто стал забываться и, главное, ни с того ни с сего вдруг фыркнет и засмеется, тогда как вовсе нечему было смеяться. Это расположение скоро прошло после стакана шампанского, который Иван Ильич хоть и налил было себе, но не хотел пить, и вдруг выпил как-то совершенно нечаянно. Ему вдруг после этого стакана захотелось чуть не плакать. Он чувствовал, что впадает в самую эксцентрическую чувствительность; он снова начинал любить, любить всех, даже Пселдонимова, даже сотрудника «Головешки». Ему захотелось вдруг обняться с ними со всеми, забыть всё и помириться. Мало того: рассказать им всё откровенно, всё, всё, то есть какой он добрый и славный человек, с какими великолепными способностями. Как будет он полезен отечеству, как умеет смешить дамский пол и, главное, какой он прогрессист, как гуманно он готов снизойти до всех, до самых низших, и, наконец, в заключение, откровенно рассказать все мотивы, побудившие его, незваного, явиться к Пселдонимову, выпить у него две бутылки шампанского и осчастливить его своим присутствием.

«Правда, святая правда прежде всего и откровенность! Я откровенностью их дойму. Они мне поверят, я вижу ясно; они даже смотрят враждебно, но когда я открою им всё, я их покорю неотразимо. Они наполнят рюмки и с криком выпьют за мое здоровье. Офицер, я уверен в этом, разобьет свою рюмку о шпору. Даже можно бы прокричать „ура!“. Даже если б покачать вздумали по-гусарски, я бы и этому не противился, даже и весьма бы хорошо было. Новобрачную я поцелую в лоб; она миленькая. Аким Петрович тоже очень хороший человек. Пселдонимов, конечно, впоследствии исправится. Ему недостает, так сказать, этого светского лоску... И хотя, конечно, нет этой сердечной деликатности у всего этого нового поколения, но... но я скажу им о современном назначении России в числе прочих европейских держав. Упомяну и о крестьянском вопросе, да и... и все они будут любить меня, и я выйду со славою!..»

Эти мечты, конечно, были очень приятны, но неприятно было то, что среди всех этих розовых надежд Иван Ильич вдруг открыл в себе еще одну неожиданную способность: именно плеваться. По крайней мере слюна вдруг начала выскакивать из его рта совершенно помимо его воли. Заметил он это на Акиме Петровиче, которому забрызгал щеку и который сидел, на смея сейчас же утереться из почтительности. Иван Ильич взял салфетку и вдруг сам утер его. Но это тотчас же показалось ему самому до того нелепым, до того вне всего здравого, что он замолчал и начал удивляться. Аким Петрович хоть и выпил, но все-таки сидел как обваренный. Иван Ильич сообразил теперь, что он уже чуть не четверть часа говорит ему о какой-то самой интереснейшей теме, но что Аким Петрович, слушая его, не только как будто конфузился, но даже чего-то боялся. Пселдонимов, сидевший через стул от него,

тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив набок голову, с самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто сторожил его. Окинув глазами гостей, он увидал, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было то, что при этом он вовсе не сконфузился, напротив того, он хлебнул еще раз из бокала и вдруг во всеуслышание начал говорить.

— Я сказал уже! — начал он как можно громче, — я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия... да, именно Россия... одним словом, вы понимаете, что я хочу ска-ка-зать... Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гу-гуманность...

— Гу-гуманность! — раздалось на другом конце стола.

— Гу-гу!

— Тю-тю!

Иван Ильич было остановился. Пселдонимов встал со стула и начал разглядывать: кто крикнул? Аким Петрович украдкой покачивал головою, как бы усовещивая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал.

— Гуманность! — упорно продолжал он, — и давеча... и именно давеча я говорил Степану Ники-ки-форовичу... да... что... что обновление, так сказать, вещей...

— Ваше превосходительство! — громко раздалось на другом конце стола.

— Что прикажете? — отвечал прерванный Иван Ильич, стараясь разглядеть, кто ему крикнул.

— Ровно ничего, ваше превосходительство, я увлекся, продолжайте! пра-дал-жайте! — послышался опять голос.

Ивана Ильича передернуло.

— Обновление, так сказать, этих самых вещей...

— Ваше превосходительство! — крикнул опять голос.

— Что вам угодно?

— Здравствуйте!

На этот раз Иван Ильич не выдержал. Он прервал речь и оборотился к нарушителю порядка и обидчику. Это был один еще очень молодой учащийся, сильно наклюкавшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он уже давно орал и даже разбил стакан и две тарелки, утверждая, что на свадьбе будто бы так и следует. В ту минуту, когда Иван Ильич оборотился к нему, офицер строго начал распекать крикуна.

— Что ты, чего орешь? Вывести тебя, вот что!

— Не про вас, ваше превосходительство, не про вас! продолжайте! — кричал развеселившийся школьник, развалясь на стуле, — продолжайте, я слушаю и очень, о-чень, о-чень вами доволен! Па-хвально, па-хвально!

— Пьяный мальчишка! — шепотом подсказал Пселдонимов.

— Вижу, что пьяный, но...

— Это я рассказал сейчас один забавный анекдот-с, ваше превосходительство! — начал офицер, — про одного поручика

нашей команды, который точно так же разговаривал с начальством; так вот он теперь и подражает ему. К каждому слову начальника он всё говорил: па-хвально, па-хвально! Его еще десять лет назад за это из службы выключили.

— Ка-кой же это поручик?

— Нашей команды, ваше превосходительство, сошел с ума на похвальном. Сначала увещевали мерами кротости, потом под арест... Начальник родительским образом усовещивал; а тот ему: па-хвально, па-хвально! И странно: мужественный был офицер, девяти вершков росту. Хотели под суд отдать, но заметили, что помешанный.

— Значит... школьник. За школьничество можно бы и не так строго... Я, с своей стороны, готов простить...

— Медициной свидетельствовали, ваше превосходительство.

— Как! ана-то-мировали?

— Помилуйте, да ведь он был совершенно живой-с.

Громкий и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала было державшими себя чинно. Иван Ильич рассвирепел.

— Господа, господа! — закричал он, на первое время даже почти не заикаясь, — я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомируют. Я полагал, что он в помешательстве был уже не живой... то есть умер... то есть я хочу сказать... что вы меня не любите... А между тем я люблю вас всех... да, и люблю Пор... Порфирия... Я унижаю себя, что так говорю...

В эту минуту преогромная салива вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть, на самое видное место. Пселдонимов бросился обтирать ее салфеткой. Это последнее несчастье окончательно подавило его.

— Господа, это уж слишком! — прокричал он в отчаянии.

— Пьяный человек, ваше превосходительство, — снова было подсказал Пселдонимов.

— Порфирий! Я вижу, что вы... все... да! Я говорю, что я надеюсь... да, я вызываю всех сказать: чем я унизил себя?

Иван Ильич чуть не плакал.

— Ваше превосходительство, помилуйте-с!

— Порфирий, обращаюсь к тебе... Скажи, если я пришел... да... да, на свадьбу, я имел цель. Я хотел нравственно поднять... я хотел, чтоб чувствовали. Я обращаюсь ко всем: очень я унижен в ваших глазах или нет?

Гробовое молчание. В том-то и дело, что гробовое молчанье, да еще на такой категорический вопрос. «Ну, что бы им, что бы им хоть в эту минуту прокричать!» — мелькнуло в голове его превосходительства. Но гости только переглядывались. Аким Петрович сидел ни жив ни мертв, а Пселдонимов, немея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся:

«А что-то мне за всё это завтра будет?»

Вдруг сотрудник «Головешки», уже сильно пьяный, но сидевший до сих пор в угрюмом молчании, обратился прямо к Ивану Ильичу и с сверкающими глазами стал отвечать от лица всего общества.

— Да-с! — закричал он громовым голосом, — да-с, вы унизили себя, да-с, вы ретроград... Рет-ро-град!

— Молодой человек, опомнитесь! с кем вы, так сказать, говорите! — яростно закричал Иван Ильич, снова вскочив с своего места.

— С вами, и, во-вторых, я не молодой человек... Вы пришли ломаться и искать популярности.

— Пселдонимов, что это! — вскричал Иван Ильич.

Но Пселдонимов вскочил в таком ужасе, что остановился как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже онемели на своих местах. Художник и учащийся аплодировали, кричали «браво, браво!».

Сотрудник продолжал кричать с неудержимою яростью:

— Да, вы пришли, чтоб похвалиться гуманностью! Вы помешали всеобщему веселью. Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с десятью рублями в месяц жалованья, и я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы до молоденьких жен своих подчиненных! Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа... Да, да, да!

— Пселдонимов, Пселдонимов! — кричал Иван Ильич, простирая к нему руки. Он чувствовал, что каждое слово сотрудника было новым кинжалом для его сердца.

— Сейчас, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться! — энергически вскрикнул Пселдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола. Даже и нельзя было ожидать от тщедушного Пселдонимова такой физической силы. Но сотрудник был очень пьян, а Пселдонимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в двери.

— Все вы подлецы! — кричал сотрудник, — я вас всех завтра же в «Головешке» окарикатурю!..

Все повскакали с мест.

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство! — кричали Пселдонимов, его мать и некоторые из гостей, толпясь около генерала, — ваше превосходительство, успокойтесь!

— Нет, нет! — кричал генерал, — я уничтожен... я пришел... я хотел, так сказать, крестить. И вот за всё, за всё!

Он опустился на стул, как без памяти, положил обе руки на стол и склонил на них свою голову, прямо в тарелку с бламанже. Нечего и описывать всеобщий ужас. Через минуту он встал, очевидно желая уйти, покачнулся, запнулся за ножку стула, упал со всего размаха на пол и захрапел...

Это бывает с непьющими, когда они случайно напьются. До последней черты, до последнего мгновенья сохраняют они сознание

и потом вдруг падают как подкошенные. Иван Ильич лежал на полу, потеряв всякое сознание. Пселдонимов схватил себя за волосы и замер в этом положении. Гости стали поспешно расходиться, каждый по-своему толкуя о происшедшем. Было уже около трех часов утра.

---

Главное дело в том, что обстоятельства Пселдонимова были гораздо хуже того, чем можно было их представить, несмотря на всю непривлекательность и одной теперешней обстановки. И покамест Иван Ильич лежит на полу, а Пселдонимов стоит над ним, в отчаянии теребя свои волосы, прервем избранное нами течение рассказа и скажем несколько пояснительных слов собственно о Порфирии Петровиче Пселдонимове.

Еще не далее как за месяц до своего брака он погибал совершенно безвозвратно. Происходил он из губернии, где отец его чем-то когда-то служил и где умер под судом. Когда, месяцев пять до женитьбы, Пселдонимов, целый уже год погибавший в Петербурге, получил свое десятирублевое место, он было воскрес и телом и духом, но вскоре опять принизился обстоятельствами. На всем свете Пселдонимовых осталось только двое, он и мать его, бросившая губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали вдвоем на морозе и питались сомнительными материалами. Бывали дни, что Пселдонимов с кружкой сам ходил на Фонтанку за водой, чтоб там и напиться. Получив место, он кое-как устроился вместе с матерью где-то в углах. Она принялась стирать на людей белье, а он месяца четыре сколачивал экономию, чтоб как-нибудь завести себе сапоги и шинелишку. И сколько бедствий он вынес в своей канцелярии: к нему подходило начальство с вопросом, давно ли он был в бане? Про него ходила молва, что у него под воротником вицмундира гнездами заводятся клопы. Но Пселдонимов был характера твердого. С виду он был и смирен и тих; образование имел самое маленькое, разговору от него почти не было слышно никогда. Не знаю положительно: мыслил ли он, созидал ли планы и системы, мечтал ли об чем-нибудь? Но взамен того в нем вырабатывалась какая-то инстинктивная, кряжевая, бессознательная решимость выбиться на дорогу из скверного положения. В нем было упорство муравьиное: у муравьев разорите гнездо, и они тотчас же вновь начнут созидать его, разорите другой раз — и другой раз начнут, и так далее без устали. Это было существо устроительное и домовитое. На лбу его было видно, что он добьется дороги, устроит гнездо и, может быть, даже скопит и про запас. Одна только мать и любила его в целом свете и любила без памяти. Женщина она была твердая, неустанная, работящая, а вместе с тем и добрая. Так бы и жили они в своих углах, может быть, еще лет пять или шесть, до перемены обстоятельств, если б не столкнулись они с отставным титулярным советником Млекопитаевым, бывшим казначеем и служившим когда-то в губернии,

в последнее же время основавшимся и устроившим себя в Петербурге с своим семейством. Пселдонимова он знал и отцу его был чем-то когда-то обязан. Деньжонки у него водились, конечно небольшие, но они были; сколько их действительно было, — про это никто не знал, ни жена его, ни старшая дочь, ни родственники. Было у него две дочери, а так как он был страшный самодур, пьяница, домашний тиран и, сверх того, больной человек, то и вздумалось ему вдруг выдать одну дочь за Пселдонимова: «Я, дескать, знаю его, отец его был хороший человек, и сын будет хороший человек». Млекопитаев что хотел, то и делал; сказано — сделано. Это был очень странный самодур. Большею частию он проводил время, сидя на креслах, лишившись употребления ног от какой-то болезни, что не мешало ему, однако ж, пить водку. По целым дням он пил и ругался. Человек он был злой; ему надобно было непременно кого-нибудь и беспрерывно мучить. Для этого он держал при себе несколько дальних родственниц: свою сестру, больную и сварливую; двух сестер жены своей, тоже злых и многоязычных; потом свою старую тетку, у которой по какому-то случаю было сломано одно ребро. Держал еще одну приживалку, обрусевшую немку, за талант ее рассказывать ему сказки из «Тысячи одной ночи». Всё удовольствие его состояло шпынять над всеми этими несчастными нахлебницами, ругать их поминутно и на чем свет стоит, хотя те, не исключая и жены его, родившейся с зубною болью, не смели пред ним пикнуть слова. Он ссорил их между собою, изобретал и заводил между ними сплетни и раздоры и потом хохотал и радовался, видя, как все они чуть не дерутся между собою. Он очень обрадовался, когда старшая дочь его, бедствовавшая лет десять с каким-то офицером, своим мужем, и наконец овдовевшая, переселилась к нему с тремя маленькими больными детьми. Детей ее он терпеть не мог, но так как с появлением их увеличился матерьял, над которым можно было производить ежедневные эксперименты, то старик был очень доволен. Вся эта куча злых женщин и больных детей вместе с их мучителем теснилась в деревянном доме на Петербургской, недоедала, потому что старик был скуп и деньги выдавал копейками, хотя и не жалел себе на водку; недосыпала, потому что старик страдал бессонницею и требовал развлечений. Одним словом, всё это бедствовало и проклинало судьбу свою. В это-то время Млекопитаев и наглядел Пселдонимова. Он был поражен его длинным носом и смиренным видом. Тщедушной и невзрачной младшей дочке его минуло тогда семнадцать лет. Она хотя и ходила когда-то в какую-то немецкую шу́ле, но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Затем росла, золотушная и худосочная, под костылем безногого и пьяного родителя, в содоме домашних сплетней, шпионств и наговоров. Подруг у ней никогда не бывало, ума тоже. Замуж ей давно уже хотелось. При людях была она бессловесна, а дома, возле маиньки и приживалок, зла и сверлива, как буравчик. Она особенно любила щипаться и раздавать коло-

тушки детям сестры своей, фискалить на них за утащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой ее существовала бесконечная и неутолимая ссора. Старик сам предложил ее Пселдонимову. Как ни бедствовал тот, но, однако, попросил несколько времени на размышленье. Долго они вместе с матерью раздумывали. Но на невестино имя записывали дом, хоть и деревянный, хоть и одноэтажный и гаденький, но все-таки чего-нибудь стоивший. Сверх того, давали четыреста рублей, — когда-то их сам-то накопишь! «Я ведь к чему беру в дом человека? — кричал пьяный самодур. — Во-первых, для того, что все вы бабье, а мне надоело одно бабье. Я хочу, чтоб и Пселдонимов по моей дудке плясал, потому я ему благодетель. Во-вторых, потому беру, что вы все того не хотите и злитесь. Ну так вот назло вам и сделаю. Что сказал, то и сделаю! А ты, Порфирка, ее бей, когда женой тебе будет; в ней семь бесов от рождения сидит. Всех изгони, и клюку изготовлю...»

Пселдонимов молчал, но он уж решился. Их с матерью приняли в дом еще до свадьбы, обмыли, одели, обули, дали денег на свадьбу. Старик их покровительствовал, может быть, именно потому, что всё семейство на них злобствовало. Старуха Пселдонимова ему даже понравилась, так что он удерживался и над ней не шпынял. Впрочем, самого Пселдонимова заставил еще за неделю до свадьбы проплясать перед собой казачка. «Ну довольно, я хотел только видеть, не забываешься ли ты передо мной», — сказал он по окончании танца. Денег он дал на свадьбу в обрез и созвал всех родственников и знакомых своих. Со стороны Пселдонимова был только сотрудник «Головешки» и Аким Петрович, почетный гость. Пселдонимов очень хорошо знал, что невеста к нему питает отвращение и что ей очень бы хотелось за офицера, а не за него. Но он всё переносил, уж такой у них уговор был с матерью. Весь свадебный день и весь вечер старик ругался скверными словами и пьянствовал. Вся семья по случаю свадьбы приютилась в задних комнатах и стеснилась там до смрада. Передние же комнаты предназначались для бала и ужина. Наконец, когда старик заснул, совершенно пьяный, часов в одиннадцать вечера, мать невесты, особенно злившаяся в этот день на мать Пселдонимова, решилась переменить гнев на милость и выйти к балу и к ужину. Появление Ивана Ильича всё перевернуло. Млекопитаева сконфузилась, обиделась и начала ругаться, зачем ее не предуведомили, что звали самого генерала. Ее уверяли, что он пришел сам, незваный, — она была так глупа, что не хотела верить. Потребовалось шампанское. У матери Пселдонимова нашелся один только целковый, у самого Пселдонимова ни копейки. Надо было кланяться злой старухе Млекопитаевой, просить денег на одну бутылку, потом на другую. Ей представляли будущность служебных отношений, карьеру, усовещивали. Она дала наконец собственные деньги, но заставила Пселдонимова выпить такую чашу желчи и оцта, что он, уже неоднократно вбегая в комнатку, где приго-

товлено было брачное ложе, схватывал себя молча за волосы и бросался головой на постель, предназначенную для райских наслаждений, весь дрожа от бессильной злости. Да! Иван Ильич не знал, чего стоили две бутылки джаксона, выпитые им в этот вечер. Каковы же были ужас Пселдонимова, тоска и даже отчаяние, когда дело с Иваном Ильичом окончилось таким неожиданным образом. Опять представлялись хлопоты и, может быть, на целую ночь взвизги и слезы капризной новобрачной, укоры бестолковой невестиной родни. У него и без того уже голова болела, и без того уже чад и мрак застилали ему глаза. А тут Ивану Ильичу потребовалась помощь, надо было искать в три часа утра доктора или карету, чтобы свезти его домой, и непременно карету, потому что на ваньке в таком виде и такую особу нельзя было отправить домой. А где взять денег хотя бы для кареты? Млекопитаева, взбешенная тем, что генерал не сказал с ней двух слов и даже не посмотрел на нее за ужином, объявила, что у ней нет ни копейки. Может быть, и в самом деле не было ни копейки. Где взять? Что делать? Да, было отчего теребить себе волосы.

---

Между тем Ивана Ильича покамест перенесли на маленький кожаный диван, стоявший тут же в столовой. Покамест убирали со столов и разбирали их, Пселдонимов бросался во все углы занять денег, пробовал даже занять у прислуги, но ни у кого ничего не оказалось. Он даже рискнул было побеспокоить Акима Петровича, остававшегося дольше других. Но тот, хоть и добрый человек, услышав о деньгах, пришел в такое недоуменье и в такой даже испуг, что наговорил самой неожиданной дряни.

— В другое время я с удовольствием, — бормотал он, — а теперь... право, меня извините...

И, взяв шапку, поскорей бежал из дому. Один только добросердечный юноша, рассказывавший про сонник, еще пригодился на что-нибудь, да и то некстати. Он тоже оставался дольше всех, принимая сердечное участие в бедствиях Пселдонимова. Наконец, Пселдонимов, мать его и юноша решили на общем совете не посылать за доктором, а лучше послать за каретой и свезти больного домой, а покамест, до кареты, испробовать над ним некоторые домашние средства, как-то: смачивать виски и голову холодной водой, прикладывать к темени льду и проч. За это уж взялась мать Пселдонимова. Юноша полетел отыскивать карету. Так как на Петербургской даже и ванек в этот час уже не было, то он отправился к извозчикам куда-то далеко на подворье, разбудил кучеров. Стали торговаться, говорили, что в такой час за карету и пяти рублей взять мало. Согласились, однако ж, на трех. Но когда, уже в исходе четвертого часа, юноша прибыл в нанятой карете к Пселдонимовым, у них уже давно переменилось решенье.

Оказалось, что Иван Ильич, который был всё еще не в памяти, до того разболелся, до того стонал и метался, что переносить его и везти в таком состоянии домой стало совершенно невозможным и даже рискованным. «Еще что из этого выйдет?» — говорил совершенно обескураженный Пселдонимов. Что было делать? Возник новый вопрос. Если уж оставить больного дома, то куда же перенести его и где положить? Во всем доме было только две кровати: одна огромная, двуспальная, на которой спали старик Млекопитаев с супругою, и другая новокупленная, под орех, тоже двуспальная и назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели, или, лучше сказать, обитательницы дома, спали на полу, вповалку, более на перинах, отчасти уже попортившихся и продушенных, то есть вовсе неприличных, да и тех было ровно в обрез; даже и того не было. Куда же положить больного? Перина-то бы еще, пожалуй, и нашлась — можно было вытащить из-под кого-нибудь в крайнем случае, но где и на чем постлать? Оказалось, что постлать надо в зале, так как комната эта была отдаленнейшею от недр семейства и имела свой особый выход. Но на чем постлать? неужели на стульях? Известно, что на стульях стелют только одним гимназистам, когда они приходят с субботы на воскресенье домой, а для особы, как Иван Ильич, это было бы очень неуважительно. Что сказал бы он назавтра, увидя себя на стульях? Пселдонимов и слышать не хотел об этом. Оставалось одно: перенести его на брачное ложе. Это брачное ложе, как мы уже сказали, было устроено в маленькой комнатке, тотчас же подле столовой. На кровати был двуспальный, еще не обновленный, новокупленный матрас, чистое белье, четыре подушки в розовом коленкоре, а сверху в кисейных чехлах, обшитых рюшем. Одеяло было атласное, розовое, выстеганное узорами. Из золотого кольца сверху опускались кисейные занавески. Одним словом, всё было как следует, и гости, почти все перебывавшие в спальне, похвалили убранство. Новобрачная, хоть и терпеть не могла Пселдонимова, но в продолжение вечера несколько раз, и особенно украдкой, забегала сюда посмотреть. Каково же было ее негодование, ее злость, когда она узнала, что на ее брачное ложе хотят перенести больного, заболевшего чем-то вроде холерины! Маменька новобрачной вступилась было за нее, бранилась, обещалась назавтра же жаловаться мужу; но Пселдонимов показал себя и настоял: Ивана Ильича перенесли, а новобрачным постлали в зале на стульях. Молодая хныкала, готова была щипаться, но ослушаться не посмела: у папаши был костыль, ей очень знакомый, и она знала, что папаша непременно завтра потребует кой в чем подробного отчета. В утешение ее перенесли в залу розовое одеяло и подушки в кисейных чехлах. В эту-то минуту и прибыл юноша с каретой; узнав, что карета уже не нужна, он ужасно испугался. Приходилось платить ему самому, а у него и гривенника еще никогда не было. Пселдонимов объявил свое полное банкротство. Пробовали уговорить извозчика. Но он начал шуметь

и даже стучать в ставни. Чем это кончилось, подробно не знаю. Кажется, юноша отправился в этой карете пленником на Пески, в четвертую Рождественскую улицу, где он надеялся разбудить одного студента, заночевавшего у своих знакомых, и попытаться: нет ли у него денег? Был уже пятый час утра, когда молодых оставили и заперли в зале. У постели страждущего осталась на всю ночь мать Пселдонимова. Она приютилась на полу, на коврике, и накрылась шубенкой, но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно: с Иваном Ильичом сделалось ужасное расстройство желудка. Пселдонимова, женщина мужественная и великодушная, раздела его сама, сняла с него всё платье, ухаживала за ним, как за родным сыном, и всю ночь выносила через коридор из спальни необходимую посуду и вносила ее опять. И, однако ж, несчастия этой ночи еще далеко не кончились.

---

Не прошло десяти минут, после того как молодых заперли одних в зале, как вдруг послышался раздирающий крик, не отрадный крик, а самого злокачественного свойства. Вслед за криками послышался шум, треск, как будто падение стульев, и вмиг в комнату, еще темную, неожиданно ворвалась целая толпа ахающих и испуганных женщин во всевозможных дезабилье. Эти женщины были: мать новобрачной, старшая сестра ее, бросившая на это время своих больных детей, три ее тетки, приплелась даже и та, у которой было сломанное ребро. Даже кухарка была тут же, даже приживалка-немка, рассказывавшая сказки, из-под которой вытащили силой для новобрачных ее собственную перину, лучшую в доме и составлявшую всё ее имение, приплелась вместе с прочими. Все эти почтенные и прозорливые женщины уже с четверть часа как пробрались из кухни через коридор на цыпочках и подслушивали в передней, пожираемые самым необъяснимым любопытством. Между тем кто-то наскоро зажег свечку, и всем представилось неожиданное зрелище. Стулья, не выдержавшие двойной тяжести и подпиравшие широкую перину только с краев, разъехались, и перина провалилась между ними на пол. Молодая хныкала от злости; в этот раз она была до сердца обижена. Нравственно убитый Пселдонимов стоял как преступник, уличенный в злодействе. Он даже не пробовал оправдываться. Со всех сторон раздавались ахи и взвизги. На шум прибежала и мать Пселдонимова, но маинька новобрачной на этот раз одержала полный верх. Она сначала осыпала Пселдонимова странными и по большей части несправедливыми упреками на тему: «Какой ты, батюшка, муж после этого? Куда ты, батюшка, годен, после такого сраму?» — и прочее и, наконец, взяв дочку за руку, увела ее от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность назавтра перед грозным отцом, потребующим отчета. За нею убрались и все, ахая и покивая головами своими. С Пселдонимовым осталась только

мать его и попробовала его утешить. Но он немедленно прогнал ее от себя.

Ему было не до утешений. Он добрался до дивана и сел в угрюмейшем раздумье, так как был босой и в необходимейшем белье. Мысли перекрещивались и путались в его голове. Порой, как бы машинально, он оглядывал кругом эту комнату, где еще так недавно бесились танцующие и где еще ходил по воздуху папиросный дым. Окурки папирос и конфетные бумажки всё еще валялись на залитом и изгаженном полу. Развалина брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний. Таким образом он просидел почти час. Ему приходили в голову всё тяжелые мысли, как например: что-то теперь ожидает его на службе? он мучительно сознавал, что надо переменить место службы во что бы ни стало, а оставаться на прежнем невозможно, именно вследствие всего, что случилось в сей вечер. Приходил ему в голову и Млекопитаев, который, пожалуй, завтра же заставит его опять плясать казачка, чтоб испытать его кротость. Сообразил он тоже, что Млекопитаев хоть и дал пятьдесят рублей на свадебный день, которые ушли до копейки, но четыреста рублей приданых и не думал еще отдавать, даже помину о том еще не было. Да и на самый дом еще не было полной формальной записи. Задумывался он еще о жене своей, покинувшей его в самую критическую минуту его жизни, о высоком офицере, становившемся на одно колено перед его женой. Он это уже успел заметить; думал он о семи бесах, сидевших в жене его, по собственному свидетельству ее родителя, и о клюке, приготовленной для изгнания их... Конечно, он чувствовал себя в силах многое перенести, но судьба подпускала, наконец, такие сюрпризы, что можно было, наконец, и усомниться в силах своих.

Так горевал Пселдонимов. Между тем огарок погасал. Мерцающий свет его, падавший прямо на профиль Пселдонимова, отражал его в колоссальном виде на стене, с вытянутой шеей, с горбатым носом и с двумя вихрами волос, торчавшими на лбу и на затылке. Наконец, когда уже повеяло утренней свежестью, он встал, издрогший и онемевший душевно, добрался до перины, лежавшей между стульями, и, не поправляя ничего, не потушив огарка, даже не подложив под голову подушки, всполз на четвереньках на постель и заснул тем свинцовым, мертвенным сном, каким, должно быть, спят приговоренные назавтра к торговой казни.

---

С другой стороны, что могло сравниться и с той мучительной ночью, которую провел Иван Ильич Пралинский на брачном ложе несчастного Пселдонимова! Некоторое время головная боль, рвота и прочие неприятнейшие припадки не оставляли его ни на минуту. Это были адские муки. Сознание, хотя и едва мелькавшее

в его голове, озаряло такие бездны ужаса, такие мрачные и отвратительные картины, что лучше, если бы он и не приходил в сознание. Впрочем, всё еще мешалось в его голове. Он узнавал, например, мать Пселдонимова — слышал ее незлобивые увещания вроде: «Потерпи, мой голубчик, потерпи, батюшка, стерпится — слюбится», узнавал и не мог, однако, дать себе никакого логического отчета в ее присутствии подле себя. Отвратительные привидения представлялись ему: чаще всех представлялся ему Семен Иваныч, но, вглядываясь пристальнее, он замечал, что это вовсе не Семен Иваныч, а нос Пселдонимова. Мелькали перед ним и вольный художник, и офицер, и старуха с подвязанной щекой. Более всего занимало его золотое кольцо, висевшее над его головою, в которое продеты были занавески. Он различал его ясно при свете тусклого огарка, освещавшего комнату, и всё добивался мысленно: к чему служит это кольцо, зачем оно здесь, что означает? Он несколько раз спрашивал об этом старуху, но говорил, очевидно, не то, что хотел выговорить, да и та, видимо, его не понимала, как он ни добивался объяснить. Наконец, уже под утро, припадки прекратились, и он заснул, заснул крепко, без снов. Он проспал около часу, и когда проснулся, то был уже почти в полном сознании, чувствуя нестерпимую головную боль, а во рту, на языке, обратившемся в какой-то кусок сукна, сквернейший вкус. Он привстал на кровати, огляделся и задумался. Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь щели ставен узкою полоскою, дрожал на стене. Было около семи часов утра. Но когда Иван Ильич вдруг сообразил и припомнил всё, что с ним случилось с вечера; когда припомнил все приключения за ужином, свой манкированный подвиг, свою речь за столом; когда представилось ему разом, с ужасающей ясностью всё, что может теперь из этого выйти, всё, что скажут теперь про него и подумают; когда он огляделся и увидал, наконец, до какого грустного и безобразного состояния довел он мирное брачное ложе своего подчиненного, — о, тогда такой смертельный стыд, такие мучения сошли вдруг в его сердце, что он вскрикнул, закрыл лицо руками и в отчаянии бросился на подушку. Через минуту он вскочил с постели, увидал тут же на стуле свое платье, в порядке сложенное и уже вычищенное, схватил его и поскорее, торопясь, оглядываясь и чего-то ужасно боясь, начал его напяливать. Тут же на другом стуле лежала и шуба его, и шапка, и желтые перчатки в шапке. Он хотел было улизнуть тихонько. Но вдруг отворилась дверь, и вошла старуха Пселдонимова, с глиняным тазом и рукомойником. На плече ее висело полотенце. Она поставила рукомойник и без дальних разговоров объявила, что умыться надобно непременно.

— Как же, батюшка, умойся, нельзя же не умывшись-то...

И в это мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться и не бояться, так это именно эта старуха. Он умылся. И долго

потом в тяжелые минуты его жизни припоминалась ему, в числе прочих угрызений совести, и вся обстановка этого пробуждения, и этот глиняный таз с фаянсовым рукомойником, наполненным холодной водой, в которой еще плавали льдинки, и мыло, в розовой бумажке, овальной формы, с какими-то вытравленными на нем буквами, копеек в пятнадцать ценою, очевидно, купленное для новобрачных, но которое пришлось почать Ивану Ильичу; и старуха с камчатным полотенцем на левом плече. Холодная вода освежила его, он утерся и, не сказав ни слова, не поблагодарив даже свою сестру милосердия, схватил шапку, подхватил на плеча шубу, поданную ему Пселдонимовой, и через коридор, через кухню, в которой уже мяукала кошка и где кухарка, приподнявшись на своей подстилке, с жадным любопытством посмотрела ему вслед, выбежал на двор, на улицу и бросился к проезжавшему извозчику. Утро было морозное, мерзлый желтоватый туман застилал еще дома и все предметы. Иван Ильич поднял воротник. Он думал, что на него все смотрят, что его все зна́ют, все узнаю́т...

---

Восемь дней он не выходил из дому и не являлся в должность. Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В эти восемь дней он выжил целый ад, и, должно быть, они зачлись ему на том свете. Были минуты, когда он было думал постричься в монахи. Право, были. Даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представлялось тихое, подземное пенье, отверзтый гроб, житье в уединенной келье, леса и пещеры; но, очнувшись, он почти тотчас же сознавался, что всё это ужаснейший вздор и преувеличения, и стыдился этого вздора. Потом начинались нравственные припадки, имевшие в виду его existence manquée. Потом стыд снова вспыхивал в душе его, разом овладевал ею и всё выжигал и растравливал. Он содрогался, представляя себе разные картины. Что скажут о нем, что подумают, как он войдет в канцелярию, какой шепот его будет преследовать целый год, десять лет, всю жизнь. Анекдот его пройдет в потомство. Он впадал даже иногда в такое малодушие, что готов был сейчас же ехать к Семену Ивановичу и просить у него прощения и дружбы. Сам себя он даже и не оправдывал, он порицал себя окончательно: он не находил себе оправданий и стыдился их.

Думал он тоже подать немедленно в отставку и так, просто, в уединении посвятить себя счастью человечества. Во всяком случае, надо было непременно переменить всех знакомых и даже так, чтоб искоренить всякое о себе воспоминание. Потом ему приходили мысли, что и это вздор и что при усиленной строгости с подчиненными всё дело еще можно поправить. Тогда он начинал надеяться и ободряться. Наконец, по прошествии целых восьми дней сомнений и муки, он почувствовал, что не может более

выносить неизвестности, и un beau matin [1] решился отправиться в канцелярию.

Прежде, когда еще он сидел дома, в тоске, он тысячу раз представлял себе, как он войдет в свою канцелярию. С ужасом убеждался он, что непременно услышит за собою двусмысленный шепот, увидит двусмысленные лица, пожнет злокачественнейшие улыбки. Каково же было его изумление, когда на деле ничего этого не случилось. Его встретили почтительно; ему кланялись; все были серьезны; все были заняты. Радость наполнила его сердце, когда он пробрался к себе в кабинет.

Он тотчас же и пресерьезно занялся делом, выслушал некоторые доклады и объясненья, положил решения. Он чувствовал, что никогда еще он не рассуждал и не решал так умно, так дельно, как в это утро. Он видел, что им довольны, что его почитают, что относятся к нему с уважением. Самая щекотливая мнительность не могла бы ничего заметить. Дело шло великолепно.

Наконец явился и Аким Петрович с какими-то бумагами. При появлении его что-то как будто кольнуло Ивана Ильича в самое сердце, но только на один миг. Он занялся с Аким Петровичем, толковал важно, указывал ему, как надо сделать, и разъяснял. Он заметил только, что он как будто избегает слишком долго глядеть на Акима Петровича или, лучше сказать, что Аким Петрович боялся глядеть на него. Но вот Аким Петрович кончил и стал собирать бумаги.

— А вот еще просьба есть, — начал он как можно суше, — чиновника Пселдонимова о переводе его в департамент... Его превосходительство Семен Иванович Шипуленко обещали ему место. Просит вашего милостивого содействия, ваше превосходительство.

— А, так он переходит, — сказал Иван Ильич и почувствовал, что огромная тяжесть отошла от его сердца. Он взглянул на Акима Петровича, и в это мгновение взгляды их встретились.

— Что ж, я с моей стороны... я употреблю, — отвечал Иван Ильич, — я готов.

Аким Петрович, видимо, хотел поскорей улизнуть. Но Иван Ильич вдруг, в порыве благородства, решился высказаться окончательно. На него, очевидно, опять нашло вдохновение.

— Передайте ему, — начал он, устремляя ясный и полный глубокого значения взгляд на Акима Петровича, — передайте Пселдонимову, что я ему не желаю зла; да, не желаю!.. Что, напротив, я готов даже забыть всё прошедшее, забыть всё, всё...

Но вдруг Иван Ильич осекся, смотря в изумлении на странное поведение Акима Петровича, который из рассудительного чело-

---

[1] в одно прекрасное утро *(франц.)*.

века, неизвестно почему, оказался вдруг ужаснейшим дураком. Вместо того чтоб слушать и дослушать, он вдруг покраснел до последней глупости, начал как-то уторопленно и даже неприлично кланяться какими-то маленькими поклонами и вместе с тем пятиться к дверям. Весь вид его выражал желание провалиться сквозь землю или, лучше сказать, добраться поскорее до своего стола. Иван Ильич, оставшись один, встал в замешательстве со стула. Он смотрел в зеркало и не замечал лица своего.

— Нет, строгость, одна строгость и строгость! — шептал он почти бессознательно про себя, и вдруг яркая краска облила всё его лицо. Ему стало вдруг до того стыдно, до того тяжело, как не бывало в самые невыносимые минуты его восьмидневной болезни. «Не выдержал!» — сказал он про себя и в бессилии опустился на стул.

# ЗИМНИЕ ЗАМЕТКИ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

## *Глава I*

### ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз. К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально знаете, что мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и всё это, всё это я объехал ровно в два с половиною месяца! Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца? Вы помните, маршрут мой я составил себе заранее еще в Петербурге. За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже всё осмотреть, непременно всё, несмотря на срок. К тому же хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно, — думал я, — зато я всё видел,

везде побывал; зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся „страна святых чудес" представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление. Ведь я теперь, сидя дома, об чем тоскую наиболее, вспоминая о моих летних странствованиях? Не о том, что я ничего не разглядел в подробности, а о том, что вот почти ведь везде побывал, а в Риме, например, так и не был. А в Риме я бы, может быть, пропустил папу...» Одним словом, на меня напала какая-то неутолимая жажда нового, перемены мест, общих, синтетических, панорамных, перспективных впечатлений. Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? что изображу? Панораму, перспективу? Что-нибудь с птичьего полета? Но, пожалуй, вы же первые скажете мне, что я высоко залетел. Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу и даже вовсе не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами: Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват перед Берлином, что я не смею положительно утверждать, будто он производит кислое впечатление. Уж по крайней мере хоть кисло-сладкое, а не просто кислое. А отчего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина и, приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные улицы, те же запахи, те же... (а впрочем, не пересчитывать же всего того же!). Фу ты, бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидать то же самое, от чего ускакал? Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же сами берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже и на фрески Каульбаха (о ужас!), поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать и что с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах. А в Дрездене я даже и перед немками провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, Всеволод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призвании. Я, конечно, в ту же минуту почувствовал, что говорю вздор и что усомниться в своем призвании он не мог

бы даже ни при каких обстоятельствах. Через два часа мне всё объяснилось: воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык мой был желтый, злокачественный... «И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, — подумал я, — что за низость!» С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. Признаюсь, я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом. Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою. «Величественного мало», — решил я, точно так, как в старину наши деды решали про Пушкина: «Легко, дескать, слишком сочиняет, мало высокого». Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и первое: одеколонь. Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора, и в каком бы вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в особенности, его клиенты вас найдут непременно и уж тут: «Одеколонь ou la vie [1]», одно из двух, выбора не представляется. Не могу утверждать слишком наверное, что так и кричат именно этими словами: «Одеколонь ou la vie!», но кто знает — может быть и так. Помню, мне тогда всё что-то казалось и слышалось. Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. Притом же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится. «Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», — подумал я. По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий русский, — ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста». Согласитесь сами, что это обидно. Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но ведь это всё равно: я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что вскипел окончательно.

[1] или жизнь (*франц.*).

«Черт возьми, — думал я, — мы тоже изобрели самовар... у нас есть журналы... у нас делают офицерские вещи... у нас...» — одним словом, я рассердился и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться), немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее. Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде. Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому...

Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы. Одним словом, что вам надобны только собственные, но искренние мои наблюдения.

— А! — восклицаю я, — так вам надобно простой болтовни, легких очерков, личных впечатлений, схваченных на лету. На это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу. Прошу только помнить, что, может быть, очень многое, что я вам напишу теперь, будет с ошибками. Разумеется, не всё же с ошибками. Невозможно ведь ошибиться, например, в таких фактах, что в Париже есть Нотр-Дам и Баль-Мабиль. Особенно последний факт до того засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже, что в нем уже почти нельзя сомневаться. В этом-то, может, и я не ошибусь, а, впрочем, в строгом смысле и за это не ручаюсь. Ведь говорят же вот, что быть в Риме и не видать собора Петра невозможно. Ну так посудите же: я был в Лондоне, а ведь не видал же Павла. Право, не видал. Собора св. Павла не видал. Оно конечно, между Петром и Павлом есть разница, но все-таки как-то неприлично для путешественника. Вот вам и первое приключение мое, не доставляющее мне большой славы (то есть я, пожалуй, и видел издали, сажен за двести, да торопился в Пентонвиль, махнул

рукой и проехал мимо). Но к делу, к делу! И знаете ли: ведь я не всё только ездил и смотрел с птичьего полета (с птичьего полета не значит *свысока*. Это архитектурный термин, вы знаете). Я целый месяц без восьми дней, употребленных в Лондоне, в Париже прожил. Ну вот я вам и напишу что-нибудь по поводу Парижа, потому что его все-таки лучше разглядел, чем собор св. Павла или дрезденских дам. Ну, начинаю.

## *Глава II.*

## В ВАГОНЕ

«Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье». Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фонвизин, и, боже мой, как, должно быть, весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после Фонвизина, три-четыре поколенья сряду, читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от самих себя в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся, а между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил. Помню я тогда, лет пятнадцать назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция — это было в сорок шестом году. И не то что, например, обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю-Роллен и т. д. Нет, а так просто, сморчки какие-нибудь, самые мизерные фамильишки, которые тотчас же и сбрендили, когда до них дошло потом дело, и те были на высоком счету. И от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении человечеству. О некоторых из них говорилось с особенным шепотом благоговения... И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал всё русское. Я по некоторым данным это всё теперь соображаю и припоминаю. Так вот, кто знает, может быть, это словцо Фонвизина даже и Белинскому подчас казалось не очень скандальным. Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная опека не очень-то

нравится. О, ради бога, не считайте, что любить родину — значит ругать иностранцев и что я так именно думаю. Совсем я так не думаю и не намерен думать, и даже напротив... Жаль только, что объясниться-то яснее мне теперь некогда.

А кстати: уж не думаете ли вы, что я вместо Парижа в русскую литературу пустился? Критическую статью пишу? Нет, это я только так, от нечего делать.

По записной моей книжке приходится, что я теперь сижу в вагоне и приготовляюсь на завтра к Эйдткунену, то есть к первому заграничному впечатлению, и у меня подчас даже сердце вздрагивает. Как это вот я увижу наконец Европу, я, который бесплодно мечтал о ней почти сорок лет, я, который еще с шестнадцати лет, и пресерьезно, как Белопяткин у Некрасова,

Бежать хотел в Швейцарию, —

но не бежал, и вот теперь и я въезжаю наконец в «страну святых чудес», в страну таких долгих томлений и ожиданий моих, таких упорных моих верований. «Господи, да какие же мы русские? — мелькало у меня подчас в голове в эту минуту, всё в том же вагоне. — Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь всё, решительно почти всё, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, всё, всё ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились — с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостию, другие, разумеется, со злобою за то, что мы *не доросли* до перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что мы не переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек! Он, барич, Пуга-

чева угадал и в пугачевскую душу проник, да еще тогда, когда никто ни во что не проникал. Он, аристократ, Белкина в своей душе заключал. Он художнической силой от своей среды отрешился и с точки народного духа ее в Онегине великим судом судил. Ведь это пророк и провозвестник. Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься. Ведь не с неба же, в самом деле, свалилось к нам славянофильство, и хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая, сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем не похож на начало...» И вот все-то эти праздные мысли поневоле осаждали меня перед Европой в вагоне, отчасти, впрочем, от скуки и от нечего делать. Ведь надо же быть откровенным! До сих пор у нас о таких предметах только те, которым нечего делать, задумываются. Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще довезут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, нужды нет! Зато сам, своими ногами иду, зато себе дело нашел и сам его делаю, зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду сложа руки запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать...

Бог знает что иногда на безделье вздумается!

А между тем уж смеркалось. В вагонах стали зажигать огни. Напротив меня помещались муж и жена, уже пожилые, помещики, и, кажется, хорошие люди. Они спешили на выставку в Лондон и всего-то на несколько дней, а дома оставили семейство. Справа подле меня находился один русский, проживавший сряду десять лет в Лондоне по коммерческим делам в конторе, только на две недели приезжавший теперь по делам в Петербург и, кажется, совершенно потерявший понятие о тоске по родине. Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка ни на каком языке, днем читал, не отрываясь, какую-то книжку той мельчайшей английской печати, которую только могут переносить англичане да еще похваливать за удобство, и, как только стало

десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и в вагоне. Скоро все задремали; свист и постукиванье машины нагоняли какую-то неотразимую дремоту. Я сидел, думал-думал и, уж не знаю как, додумался до того, что «рассудка француз не имеет», чем и начал эту главу. А знаете ли что: меня что-то подмывает, покамест доберемся мы до Парижа, сообщить вам мои вагонные размышления, так, во имя гуманности: ведь было же мне скучно в вагоне, ну так пусть теперь будет скучно и вам. Впрочем, других читателей надобно выгородить, а для этого включу-ка я все эти размышления нарочно в особую главу и назову ее *лишней*. Вы-то над ней поскучайте, а другие, как лишнюю, могут и выкинуть. С читателем нужно обращаться осторожно и совестливо, ну а с друзьями можно и покороче. Итак:

## *Глава III*

## И СОВЕРШЕННО ЛИШНЯЯ

Это, впрочем, были не размышления, а так, какие-то созерцания, произвольные представления, даже мечтания «о том, о сем, а больше ни о чем». Во-первых, я заехал в старину и раздумался прежде всего о человеке, сотворившем вышеприведенный афоризм о французском рассудке, так, ни с того ни с сего раздумался, именно по поводу афоризма. Этот человек по своему времени был большой либерал. Но хоть и таскал он всю жизнь на себе неизвестно зачем французский кафтан, пудру и шпажонку сзади, для означения рыцарского своего происхождения (которого у нас совсем не было) и для защиты своей личной чести в передней у Потемкина, но только что высунул свой нос за границу, как и пошел отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами и решил, что «рассудка француз не имеет», да еще и иметь-то его почел бы за величайшее для себя несчастие. Кстати, уж не думаете ли вы, что я заговорил о шпажонке и бархатном кафтане в укор Фонвизину? Ничуть не бывало! Не зипу́н же было ему надевать на себя, да еще в то время, когда и теперь иные господа, чтобы *быть русскими* и слиться с народом, не надели-таки зипуна, а изобрели себе балетный костюм, немного не тот самый, в котором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх Услады, влюбленные в своих Людмил, носящих кокошники. Нет уж, по крайней мере французский кафтан был тогда народу понятнее: «Барина, дескать, видно, не в зипуне ж ходить барину». Слышал я недавно, что какой-то современный помещик, чтоб слиться с народом, тоже стал носить *русский костюм* и повадился было в нем на сходки ходить; так крестьяне, как завидят его, так и говорят промеж себя: «Чего к нам этот ряженый таскается?» Да так ведь и не слился с народом помещик-то.

— Нет, уж я, — сказал мне другой господин, — нет, уж я ничего не уступлю. Нарочно буду бороду брить, а коли надо, так и во фраке ходить. Дело-то я буду делать, а и виду не покажу, что сходиться хочу. Буду хозяином, буду скупым и расчетливым, даже прижималой или вымогалой буду, если понадобится. Больше уважать будут. А ведь всё главное в том и состоит, чтоб сначала настоящего уважения добиться.

«Фу ты черт! — подумал я, — точно на иноплеменников каких собираются. Военный совет — да и только».

— Да, — сказал мне третий, впрочем премилейший господин, — я вот куда-нибудь припишусь, а меня вдруг на сходке мирским приговором за что-нибудь высечь приговорят. Ну что тогда будет?

«А хошь бы и так, — захотелось мне вдруг сказать, да и не сказал я, потому что струсил. (Что это, отчего это мы подчас до сих пор трусим иные наши мысли высказывать?) Хошь бы и так, — думалось мне про себя, — хошь и высекли бы, что ж? Такие обороты дела называются у профессоров эстетики трагическим в жизни, и больше ничего. Неужели ж из-за этого только особняком от всех жить? Нет, уж коль все, так уж и совсем со всеми, а особняком, так уж и совсем особняком. В других местах и не то выносили, да еще слабые жены и дети».

— Да помилуйте, какие тут жены и дети! — закричал бы мне мой противник, — выдрал бы мир ни с того ни с сего, за корову какую-нибудь, что в огород чужой затесалась, а у вас уж это и общее дело.

— Ну да, оно, конечно, смешно, да и дело-то само смешное, грязное такое, рук марать не хочется. Даже и говорить-то об нем неприлично. Провались они все: пусть их всех стегают, ведь не меня же. А я вот, с своей стороны, чем хотите готов отвечать за мирской приговор: ни одной-таки розочки не досталось бы моему милейшему спорщику, если б даже и возможно было с ним распорядиться по мирскому приговору: «С него деньгами штраф возьмем, братцы, потому и дело это у него благородное. Не привычен. Вот, у нашего брата так на то и сиденье, чтоб его стегать», — порешил бы мир словами старосты в одном из губернских очерков Щедрина...

— Ретроградство! — закричит кто-нибудь, прочтя это. — За розги стоять! (Ей-богу, кто-нибудь из этого выведет, что я за розги стою.)

— Да помилуйте, про что вы говорите, — скажет другой. — Вы про Париж хотели, да на розги съехали. Где же тут Париж?

— Да что же это, — прибавит третий, — обо всем этом вы сами пишете, что слышали недавно, а путешествовали летом. Как же вы могли обо всем этом в вагоне тогда еще думать?

— Вот это так действительно задача, — отвечаю я, — но позвольте: ведь это зимние воспоминания о летних впечатлениях. Так уж к зимним и примешалось зимнее. Притом же, подъезжая

к Эйдткунену, я помню, особенно раздумался я про всё наше отечественное, которое покидал для Европы, и помню, что иные мечтания мои были в этом же духе. Я именно размышлял на тему о том: каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались, и сколько именно нас счетом до сих пор отцивилизовалось? Теперь я сам вижу, что всё это тут как бы лишнее. Да я же вас и предуведомил, что вся глава лишняя. А впрочем, на чем я остановился? Да! на французском кафтане. С него и началось!

Ну так вот, один из этих французских кафтанов и написал тогда «Бригадира». «Бригадир» был по-тогдашнему вещь удивительная и произвел чрезвычайный эффект. «Умри, Денис, лучше ничего не напишешь», — говорил сам Потемкин. Все как бы спросонья зашевелились. Что ж, неужели ж и тогда, — продолжал я свои произвольные созерцания, — уж наскучило людям ничего не делать и ходить на чужих помочах? Я не об одних тогдашних французских помочах говорю и хочу кстати прибавить, что мы чрезвычайно легковерная нация и что всё это у нас от нашего добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело нашлось, вот мы так все и накинемся и непременно уверены, что сейчас начинается. Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Неопытность юности, ну и голодуха к тому же. Это у нас чуть не раньше «Бригадира» еще началось, конечно, тогда еще в микроскопическом размере, и неизменно до сих пор продолжается: нашли дело и визжим от восторга. Увизжаться и провраться от восторга — это у нас самое первое дело; смотришь, года через два и расходимся врозь, повесив носы. И ведь не устаем, хоть еще сто раз начинай. Что же касается до других помочей, то в фонвизинское время в массе-то почти ведь никто не сомневался, что это были самые святые, самые европейские помочи и самая милая опека. Конечно, и теперь мало сомневающихся. Вся наша крайне прогрессивная партия до ярости стоит за чужие помочи. Но тогда, о, тогда было время такой веры во всякие помочи, что удивительно, как это мы горы тогда не сдвигали с места и как это все эти наши алаунские плоские возвышенности, парголовские вершины, валдайские пики стоят еще на своих местах. Правда, упоминал один тогдашний поэт про одного героя, что

Ляжет на горы, горы трещат

и что

Башни рукою за облак бросает.

Но, кажется, это была только метафора. Кстати, господа: я ведь только об одной литературе теперь говорю, и именно об изящной литературе. По ней я проследить хочу постепенное и благотворное влияние Европы на наше отечество. То есть какие тогда (до

«Бригадира» и в его время) издавались и читались книжки, так это представить себе нельзя без некоторого радостного высокомерия с нашей стороны! Есть у нас теперь один замечательнейший писатель, краса нашего времени, некто Кузьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой скромности: до сих пор не издал еще полного собрания своих сочинений. Ну так вот, раз напечатал он в смеси в «Современнике» очень давно уже «Записки моего деда». Вообразите, что мог записать тогда этот дебелый, семидесятилетний, екатерининский дед, видавший виды, бывавший на куртагах и под Очаковом, воротившись в свою вотчину и принявшись за свои воспоминания. То-то, должно быть, интересно было записать. Чего-чего не перевидал человек! Ну так вот у него всё состоит из следующих анекдотов:

«*Остроумный ответ кавалера де Монбазона*. Некогда одна молодая и весьма пригожая девица кавалера де Монбазона в присутствии короля хладнокровно спрашивала: „Государь мой, что к чему привешено, собака к хвосту или хвост к собаке?" На что сей кавалер, будучи в отповедях весьма искусен, нисколько не смятенным, но, напротив, постоянным голосом ответствовал: „Никому, сударыня, собаку за хвост, как и за голову, взять невозбранно". Сей ответ оному королю большое удовольствие причинивши, и кавалер тот не без награды за него остался».

Вы думаете, что это надуванье, вздор, что никогда такого деда и на свете не было. Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем, когда мне было десять лет от роду, читал одну книжку екатерининского времени, в которой и прочел следующий анекдот. Я тогда же его затвердил наизусть — так он приманил меня — и с тех пор не забыл:

«*Остроумный ответ кавалера де Рогана*. Известно, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло. Однажды, присутствуя при пробуждении принца де Конде, сей последний сказал ему: „Отстранитесь, кавалер де Роган, ибо от вас весьма дурно пахнет". На что сей кавалер немедленно ответствовал: „Это не от меня, всемилостивейший принц, а от вас, ибо вы только что встаете с постели"».

То есть вообразите только себе этого помещика, старого воина, пожалуй еще без руки, со старухой помещицей, с сотней дворни, с детьми Митрофанушками, ходящего по субботам в баню и парящегося до самозабвения; и вот он, в очках на носу, важно и торжественно читает по складам подобные анекдоты, да еще принимает всё за самую настоящую суть, чуть-чуть не за обязанность по службе. И что за наивная тогдашняя вера в дельность и необходимость подобных европейских известий. «Известно, дескать, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло»... Кому известно, зачем известно, каким медведям в Тамбовской губернии это известно? Да кто еще и знать-то про это захочет? Но подобные вольнодумные вопросы деда не смущают. С самой детской верой соображает он, что сие «собранье острых слов» при дворе известно, и довольно с него. Да, конечно, тогда нам легко давалась Европа, физически, разумеется. Нравственно-то, конечно,

обходилось не без плетей. Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки — вот и европеец. И не только не мешало всё это, но даже нравилось. На деле же всё оставалось попрежнему: так же отложив де Рогана (о котором, впрочем, только всего и знали, что у него весьма дурно изо рту пахло) в сторону и сняв очки, расправлялись с своей дворней, так же патриархально обходились с семейством, так же драли на конюшне мелкопоместного соседа, если сгрубит, так же подличали перед высшим лицом. Даже мужику были понятнее: меньше его презирали, меньше его обычаем брезгали, больше знали о нем, меньше чужими были ему, меньше немцами. А что важничали перед ним, так как же барину не поважничать, — на то барин. Хоть и до смерти засекали, а все-таки были народу как-то милее теперешних, потому что были больше свои. Одним словом, все эти господа были народ простой, кряжевой; до корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули с умилением, и мирно и жирно проживали свой век «в добросовестном ребяческом разврате». Мне даже сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны, даже в отношении де Роганов и Монбазонов.

Даже, может, и пребольшие подчас были плуты и себе на уме в отношении ко всем тогдашним европейским влияниям сверху. Вся эта фантасмагория, весь этот маскарад, все эти французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки, все эти дебелые, неуклюжие ноги, влезавшие в шелковые чулки; эти тогдашние солдатики в немецких париках и штиблетах — всё это, мне кажется, были ужасные плутни, подобострастно-лакейское надувание снизу, так что даже сам народ иной раз это замечал и понимал. Конечно, можно быть и подьячим, и плутом, и бригадиром и в то же время пренаивно и трогательно быть уверену, что кавалер де Роган и есть самый «субдительный суперфлю». Но ведь это ничему не мешало: Гвоздиловы гвоздили по-прежнему, наших де Роганов наш Потемкин и всякий подобный ему чуть не секли у себя на конюшне, Монбазоны драли с живого и с мертвого, кулаками в манжетах и ногами в шелковых чулках давались подзатыльники и подспинники, а маркизы валялись на куртагах,

Отважно жертвуя затылком.

Одним словом, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно как удобно уживалась у нас тогда, начиная с Петербурга — самого фантастического города, с самой фантастической историей из всех городов земного шара.

Ну теперь уж не то, и Петербург взял свое. Теперь уж мы вполне европейцы и доросли. Теперь уж сам Гвоздилов сноровку держит, когда гвоздить приходится, приличие наблюдает, французским буржуа делается, а еще немного пройдет, и, как североамериканец Южных штатов, текстами начнет защищать необходимость торговли неграми. Впрочем, защита текстами из американских штатов сильно и в Европу теперь переходит. Вот приеду

туда — сам своими глазами увижу, — думал я. Никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь. А кстати, по поводу Гвоздилова: почему именно не Софье, представительнице благородного и гуманно-европейского развития в комедии, вложил Фонвизин одну из замечательнейших фраз в своем «Бригадире», а дуре бригадирше, которую уж он до того подделывал дурой, да еще не простой, а ретроградной дурой, что все нитки наружу вышли и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то другой, спрятавшийся сзади? А когда надо было правду сказать, ее все-таки сказала не Софья, а бригадирша. Ведь он ее не только круглой дурой, даже и дурной женщиной сделал; а все-таки как будто побоялся и даже художественно-невозможным почел, чтоб такая фраза из уст благовоспитанной по-оранжерейному Софьи выскочила, и почел как бы натуральнее, чтоб ее изрекла простая, глупая баба. Вот это место, его стоит вспомнить. Это чрезвычайно любопытно и именно тем, что написано безо всякого намерения и заднего слова, наивно и даже, может быть, нечаянно. Бригадирша говорит Софье:

«...У нас был нашего полку первой роты капитан, по прозванию Гвоздилов; жена у него была такая изрядная-изрядная молодка. Так, бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной; так веришь ли богу, мать моя, что гвоздит он, гвоздит ее, бывало, в чем душа останется, а ни дай, ни вынеси за што. Ну мы, наша сторона дело, а ино наплачешься, на нее глядя.

Софья. Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество.

Бригадирша. Вот, матушка, ты *и слушать* об этом не хочешь, каково ж было *терпеть* капитанше?»

Таким-то образом и сбрендила благовоспитанная Софья с своей оранжерейной чувствительностью перед простой бабой. Это удивительное репарти (сиречь отповедь) у Фонвизина, и нет ничего у него метче, гуманнее и... нечаяннее. И сколько у нас до сих пор таких оранжерейных прогрессистов из самых передовых наших деятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не требуют большего. Но замечательнее всего, что Гвоздилов до сих пор еще гвоздит свою капитаншу, и чуть ли еще не с бóльшим комфортом, чем прежде. Право, так. Говорят, прежде это более по душе, по сердцу делалось! Кого люблю, того, дескать, и бью. Даже жены, говорят, беспокоились, если их не били: не бьет, значит, не любит. Но это всё первобытное, стихийное, родовое. Теперь уж и это подверглось развитию. Теперь уж Гвоздилов гвоздит чуть не из принципа, да и то потому, что всё еще дурак, то есть человек старого времени, новых порядков не знает. По новым порядкам и без кулачной расправы можно еще лучше распорядиться. Я потому распространяюсь теперь о Гвоздилове, что о нем до сих пор у нас пишут преглубокие и прегуманные фразы. И столько пишут, что даже публике надоели. Гвоздилов у нас до того живуч, несмотря на все статьи, что чуть не бессмертен. Да-с, он жив и здоров, сыт и пьян. Теперь он без руки и без ноги и, как капитан Копейкин, «в некотором смысле кровь про-

ливал». Жена его уж давно не «изрядная-изрядная молодка», как прежде была. Она постарела, лицо ее осунулось и побледнело, морщины и страдания избороздили его. Но когда ее муж и капитан лежал больной, без руки, она от постели его не отходила, бессонные ночи над ним просиживала, утешала его, горючими слезами по нем обливалась, своим милым, своим добрым молодцем, своим ясным соколом его называла, удалой солдатской головушкой величала. Пусть это возмущает душу, с одной стороны, пусть! пусть! Но, с другой стороны: да здравствует русская женщина, и нет ничего лучше ее безгранично прощающей любви на нашем русском свете. Ведь так, не правда ли? Тем более что и Гвоздилов-то теперь, в трезвом виде, иногда и не бьет жену, то есть пореже, приличие наблюдает, даже ласковое слово ей подчас скажет. Он ведь почувствовал в старости, что без нее обойтиться не может; он расчетлив, он буржуа, а если бьет и теперь когда, так разве только под пьяную руку да по старой привычке, когда уж очень стоскуется. Ну, а ведь как хотите, это прогресс, все-таки утешение. Мы же такие охотники до утешений...

Да-с, мы теперь совершенно утешились, сами собою утешились. Пусть всё вокруг нас и теперь еще не очень красиво; зато сами мы до того прекрасны, до того цивилизованы, до того европейцы, что даже народу стошнило, на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает, — а ведь это, как хотите, прогресс. Теперь уж мы до того глубоко презираем народ и начала народные, что даже относимся к нему с какою-то новою, небывалою брезгливостью, которой не было даже во времена наших Монбазонов и де Роганов, а ведь это, как хотите, прогресс. Зато как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность — это только известная система податей, душа — tabula rasa,[1] вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула — стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки. Зато как мы спокойны, величаво спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и всё разрешили и подписали. С каким спокойным самодовольствием мы отхлестали, например, Тургенева за то, что он осмелился не успокоиться с нами и не удовлетвориться нашими величавыми личностями и отказался принять их за свой идеал, а искал чего-то получше, чем мы. Лучше, чем мы, господи помилуй! Да что же нас краше и безошибочнее в подсолнечной? Ну и досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы его и за Кукшину, за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из русской

---

[1] чистая доска *(лат.)*.

действительности нам на показ, да еще прибавили, что он идет против эманципации женщины. А ведь это всё прогресс, как хотите! Теперь мы с такою капральскою самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации стоим над народом, что любо-дорого посмотреть: руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом, — смотрим да только поплевываем: «Чему у тебя, сипа-мужик, нам учиться, когда вся национальность-то, вся народность-то, в сущности, одно ретроградство да раскладка податей, и ничего больше!» Не спускать же предрассудкам, помилуйте! Ах боже мой, кстати теперь... Господа, положим на минутку, что я уж кончил мое путешествие и воротился в Россию. Позвольте рассказать анекдот. Раз, нынешней осенью, беру я одну газету из прогрессивнейших. Смотрю: известие из Москвы. Рубрика: «Еще остатки варварства» (или что-то в этом роде, только очень сильное. Жаль только, что теперь газеты перед глазами нет). И вот рассказывается анекдот, как однажды, нынешней же осенью, в Москве, поутру, усмотрены были дрожки; на дрожках сидела пьяная сваха, разодетая в лентах, и пела песню. Кучер тоже был в каких-то бантах и тоже пьян, тоже мурлыкал какую-то песню! Даже лошадь была в бантах. Не знаю только, пьяна или нет? верно, пьяна. В руках у свахи был узелок, который она везла напоказ от некоторых новобрачных, очевидно, проведших счастливую ночь. В узелке, разумеется, заключалась некоторая легкая одежда, которую в простонародье обыкновенно на другой же день показывают родителям невесты. Народ смеялся, смотря на сваху: предмет игривый. Газета с негодованием, с форсом, поплевывая, передавала об этом неслыханном варварстве, «даже до сих пор сохранившемся, при всех успехах цивилизации!» Господа, признаюсь вам, я расхохотался ужасно. О, пожалуйста, не думайте, что я защищаю первобытное каннибальство, легкие одежды, покровы и проч. Это скверно, это нецеломудренно, это дико, это по-славянски, знаю, согласен, хотя всё это сделалось, конечно, без худого намерения, а напротив, с целью торжества новобрачной, в простоте души, от незнания лучшего, высшего, европейского. Нет, я другому засмеялся. А именно: вспомнились мне вдруг наши барыни и модные магазины наши. Конечно, цивилизованные дамы уже не отсылают теперь легких покровов к родителям, но когда, например, придется заказывать модистке платье, с каким тактом, с каким тонким расчетом и знанием дела они умеют подложить вату в известные места своей очаровательной европейской одежды! Для чего вату? Разумеется, для изящества, для эстетики, pour paraître...[1] Мало того: их дочери, эти невинные, семнадцатилетние создания, едва покинувшие пансион, и те знают про вату, всё знают: и к чему служит вата, и где именно, в каких частях нужно употребить эту вату, и зачем, с какой то есть именно целью всё это употребляется... Ну что ж, подумал я

[1] чтобы выглядеть *(франц.)*.

со смехом, эти хлопоты, эти заботы, *сознательные* заботы о ватных приумножениях, — что же, чище, нравственнее, целомудреннее, что ли, они несчастной легкой одежды, везомой с простодушной уверенностью к родителям, с уверенностью, что так именно надобно, так именно нравственно!..

Ради бога, не думайте, друзья мои, что я теперь вдруг хочу пуститься в рацею о том, что цивилизация — не развитие, а, напротив, в последнее время в Европе всегда стояла с кнутом и тюрьмой над всяким развитием! Не думайте, что я стану доказывать, что у нас варварски смешивают цивилизацию и законы нормального, истинного развития, доказывать, что цивилизация уже осуждена давно на самом Западе и что за нее стоит только там один собственник (хотя там все собственники или хотят быть собственниками), чтоб спасти свои деньги. Не думайте, что я стану доказывать, что душа человеческая не tabula rasa, не вощичек, из которого можно слепить общечеловечка; что прежде всего нужна натура, потом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, нестесненная, и вера в свои собственные, национальные силы. Не думайте, что я скажу вам, будто не знаю, что наши прогрессисты (хотя и далеко не все) вовсе не стоят за вату и так же точно клеймят ее, как и легкие покровы. Нет, я только одно хочу теперь сказать: в статье ведь неспроста охуждали и проклинали покровы, не просто говорили, что это варварство, а очевидно изобличали простонародное, национальное, стихийное варварство, в противоположность европейской цивилизации нашего высшего благородного общества. Статья куражилась, статья как бы знать не хотела, что у самих обличителей-то, может быть, в тысячу раз гаже и хуже, что мы только променяли одни предрассудки и мерзости на другие, еще бо́льшие предрассудки и мерзости. Статья как будто не замечала этих наших-то, собственных-то предрассудков и мерзостей. К чему же, к чему же таким фертом стоять над народом, руки в боки да поплевывая!.. Ведь смешна, смешна уморительно эта вера в непогрешимость и в право такого обличения. Вера это или просто кураж над народом, или, наконец, нерассуждающее, рабское преклонение именно перед европейскими формами цивилизации; так ведь это еще смешнее.

Да что! ведь таких фактов тысяча каждодневно найдется. Простите за анекдот.

А, впрочем, что же я грешу. Ведь я грешу! Это оттого, что я слишком скоро от дедов к внукам перепрыгнул. Были и промежутки. Вспомните Чацкого. Это и не наивно-плутоватый дед, это и не самодовольный потомок, фертом стоящий и всё порешивший. Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать,

Где оскорбленному есть чувству уголок... —

одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то. Это фразер, говорун, но сердечный фразер и совестливо тоскующий о своей бесполезности. Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы, мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он сознáет, кроме того, к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а, может быть, под носом, и найдет, что делать, и станет делать. И знаете ли что: я вот уверен, что не всё и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и европейские самодуры; я уверен, я стою за то, что юный человек уже народился... но об этом после. А мне хочется сказать еще два слова о Чацком. Не понимаю я только одного: ведь Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашел себе дела? Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Это факт, против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела. Этот пункт, говорят, спорный, но в глубине моего сердца я ему вовсе не верю. На то и ум, чтоб достичь того, чего хочешь. Нельзя версты пройти, так пройди только сто шагов, всё же лучше, всё ближе к цели, если к цели идешь. И если хочешь непременно одним шагом до цели дойти, так ведь это, по-моему, вовсе не ум. Это даже называется белоручничеством. Трудов мы не любим, по одному шагу шагать не привычны, а лучше прямо одним шагом перелететь до цели или попасть в Регулы. Ну вот это-то и есть белоручничанье. Однако ж Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу: промешкал бы маленько — и отправился бы на восток, а не на запад. Любят у нас Запад, любят, и в крайнем случае, как дойдет до точки, все туда едут. Ну вот и я туда еду. «Mais moi c-est autre chose».[1] Я видел их там всех, то есть очень многих, а всех и не пересчитаешь, и все-то они, кажется, ищут уголка для оскорбленного чувства. По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоего пола после бала у Фамусова, и вообще когда был кончен бал, размножилось там, подобно песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь из Москвы туда они все поехали. Сколько там теперь Репетиловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и отправленных к водам за негодностью. Наталья Дмитриевна с мужем там непременный член. Даже графиню Хлестову каждый год туда возят. Даже и Москва всем этим господам надоела. Одного Молчалина нет: он распорядился иначе и остался дома, он один только и остался дома. Он посвятил себя отечеству, так сказать, родине... Теперь до него и рукой не достанешь; Фамусова он и в переднюю теперь к себе не пустит:

---

[1] Но я — другое дело *(франц.)*.

«Деревенские, дескать, соседи: в городе с ними не кланяются». Он при делах и нашел себе дело. Он в Петербурге и... и успел. «Он знает Русь, и Русь его знает». Да, уж его-то крепко знает и долго не забудет. Он даже и не молчит теперь, напротив, только он и говорит. Ему и книги в руки... Но что об нем. Я заговорил об них об всех, что ищут отрадного уголка в Европе, и, право, я думал, что им там лучше. А между тем на их лицах такая тоска... Бедненькие! И что за всегдашнее в них беспокойство, что за болезненная, тоскливая подвижность! Все они ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе смотреть редкости и, право, точно по обязанности, точно службу продолжают отечественную: не пропустят ни одного дворца о трех окнах, если только он означен в гиде, ни одного бургомистерского дома, чрезвычайно похожего на самый обыкновенный московский или петербургский дом; глазеют на говядину Рубенса и верят, что это три грации, потому что так велено верить по гиду; бросаются на Сикстинскую мадонну и стоят перед ней с тупым ожиданием: вот-вот случится что-то, кто-нибудь вылезет из-под пола и рассеет их беспредметную тоску и усталость. И отходят удивленные, что ничего не случилось. Это не самодовольное и совершенно машинальное любопытство английских туристов и туристок, смотрящих более в свой гид, чем на редкости, ничего не ожидающих, ни нового, ни удивительного, и проверяющих только: так ли в гиде означено и сколько именно футов или фунтов в предмете? Нет, наше любопытство какое-то дикое, нервное, крепко-жаждущее, а про себя заранее убежденное, что ничего никогда не случится, разумеется до первой мухи; пролетела муха — значит, опять сейчас начинается... Я ведь только про умных людей теперь говорю. Про других же заботиться нечего: их всегда бог хранит. И не про тех тоже, которые окончательно там поселились, забывают свой язык и начинают слушать католических патеров. Впрочем, про всю массу можно только вот что сказать: как только все мы переваливаем за Эйдткунен, тотчас же становимся разительно похожи на тех маленьких несчастных собачек, которые бегают, потерявши своего хозяина. Да вы что думаете, что я с насмешкой пишу, виню когонибудь, что вот-де «в настоящее время, когда и т. д., а вы за границей! крестьянский вопрос идет, а вы за границей!» и т. д. и т. д. О, ничуть и нисколько. Да я-то кто такой, чтоб винить? За что винить, кого винить? «И рады делу, да дела нет, а что есть, так и без нас делается. Места заняты, вакансии не предвидится. Охота совать свой нос, где его не спрашивают». Вот и отговорка, и вся недолга. Отговорку-то мы наизусть знаем. Но что это? Куда я заехал? Где ж это я успел перевидать за границею русских? Ведь мы только к Эйдткунену подъезжаем... Аль уж проехали? И вправду, и Берлин, и Дрезден, и Кельн — всё проехали. Я, правда, всё еще в вагоне, но уж перед нами не Эйдткунен, а Аркелин, и мы въезжаем во Францию. Париж-то, Париж-то, ведь я о нем хотел говорить, да и забыл! Уж очень про нашу рус-

скую Европу раздумался; простительное дело, когда сам в европейскую Европу в гости едешь. А впрочем, что ж уж очень-то прощения просить. Ведь моя глава лишняя.

## *Глава IV*

## И НЕ ЛИШНЯЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

**Окончательное решение о том: действительно ли «рассудка француз не имеет»?**

Но нет, однако, почему же рассудка француз не имеет, спрашивал я себя, рассматривая четырех новых пассажиров, французов, только что вошедших в наш вагон. Это были первые французы, которых я встретил на их родной почве, если не считать таможенных в Аркелине, откуда мы только что тронулись. Таможенные были чрезвычайно вежливы, свое дело сделали скоро, и я вошел в вагон, очень довольный первым шагом моим во Франции. До Аркелина, в восьмиместном отделении нашем, нас помещалось всего только двое, я и один швейцарец, простой и скромный человек, средних лет, чрезвычайно приятный собеседник, с которым мы часа два проболтали без умолку. Теперь же нас было шестеро, и, к удивлению моему, мой швейцарец, при новых четырех спутниках наших, вдруг сделался чрезвычайно несловоохотлив. Я было обратился к нему с продолжением прежнего разговора, но он видимо поспешил замять его, отвечал что-то уклончиво, сухо, чуть не с досадой, отворотился к окну и начал рассматривать виды, а через минуту вытащил свой немецкий гид и совершенно углубился в него. Я тотчас же его и оставил и молча занялся нашими новыми спутниками. Это был какой-то странный народ. Ехали они налегке и вовсе не походили на путешественников. Ни узелка, ни даже платья, которое бы сколько-нибудь напоминало человека дорожного. Все они были в каких-то легоньких сюртучках, страшно потертых и изношенных, немного лучше тех, какие носят у нас офицерские денщики или дворовые люди в деревнях у среднего рода помещиков. Белье было на всех грязное, галстуки очень ярких цветов и тоже очень грязные; на одном из них был намотан остаток шелкового платка из таких, которые вечно носятся и пропитываются целым фунтом жира после пятнадцатилетнего соприкосновения с шеей носителя. У этого же носителя были еще какие-то запонки с фальшивыми брильянтами в орех величиною. Впрочем, держали они себя с каким-то шиком, даже молодцевато. Все четверо казались одних и тех же лет, тридцати пяти или около, и, не будучи сходны лицом, были чрезвычайно похожи один на другого. Лица их были помятые, с казенными французскими бородками, тоже очень похожими одна на другую. Видно было, что это народ, прошедший сквозь разные

трубы и усвоивший себе навеки хоть и кислое, но чрезвычайно деловое выражение лица. Показалось мне тоже, что они были знакомы друг с другом, но не помню, сказали ль хоть одно слово между собою. На нас, то есть на меня и на швейцарца, они как-то, видимо, не хотели смотреть и, небрежно посвистывая, небрежно рассевшись на местах, равнодушно, но упорно поглядывали в окна кареты. Я закурил папиросу и от нечего делать их разглядывал. У меня, правда, мелькал вопрос: что ж это в самом деле за народ? Работники не работники, буржуа не буржуа. Неужели ж отставные военные, что-нибудь à la demi-solde[1] или в этом роде? Впрочем, я как-то не очень ими заботился. Через десять минут, только что мы подъехали к следующей станции, они все четверо один за другим тотчас же выскочили из вагона, дверца захлопнулась, и мы полетели. На этой дороге почти не ждут на станциях: минуты две, много три — и уже летят далее. Везут прекрасно, то есть чрезвычайно быстро.

Только что мы остались одни, швейцарец мигом захлопнул свой гид, отложил его в сторону и с довольным видом посмотрел на меня, с видимым желанием продолжать разговор.

— Эти господа недолго посидели, — начал я, с любопытством смотря на него.

— Да ведь они только на одну станцию и садились.

— Вы их знаете?

— Их?.. но ведь это полицейские...

— Как? какие полицейские? — спросил я с удивлением.

— То-то... я ведь тотчас же заметил давеча, что вы не догадываетесь.

— И... неужель шпионы? (я всё еще не хотел верить).

— Ну да; для нас и садились.

— Вы наверно это знаете?

— О, это без сомнения! Я уж несколько раз здесь проезжал. Нас указали им еще в таможне, когда читали наши паспорты, сообщили им наши имена и проч. Ну вот они и сели, чтобы нас проводить.

— Да зачем же, однако ж, провожать, коль они нас уж видели? Ведь вы говорите, им нас еще на той станции указали?

— Ну да, и сообщили им наши имена. Но этого мало. Теперь же они нас изучили в подробности: лицо, костюм, саквояж, одним словом, всё, чем вы смотрите. Запонки ваши приметили. Вот вы сигарочницу вынимали, ну и сигарочницу заметили, знаете, всякие мелочи, особенности, то есть как можно больше особенностей. Вы в Париже могли бы потеряться, имя переменить (то есть если вы подозрительный). Ну, так эти мелочи могут способствовать розыску. Всё это с той же станции сейчас же и телеграфируется в Париж. Там и сохраняется на всякий случай, где следует.

[1] на половинном жалованье *(франц.)*.

К тому же содержатели отелей должны сообщать все подробности об иностранцах, тоже до мелочи.

— Но зачем же их столько было, ведь их было четверо, — продолжал я спрашивать, всё еще немного озадаченный.

— О, их здесь очень много. Вероятно, на этот раз мало иностранцев, а если б больше было, они бы разбились по вагонам.

— Да помилуйте, они на нас совсем и не смотрели. Они в окошки смотрели.

— О, не беспокойтесь, всё рассмотрели... Для нас и садились.

«Ну-ну, — подумал я, — вот те и „рассудка француз не имеет“», — и (признаюсь со стыдом) как-то недоверчиво накосился на швейцарца: «Да уж и ты, брат, не того ли, а только так прикидываешься», — мелькнуло у меня в голове, но только на миг, уверяю вас. Нелепо, но что ж будешь делать; невольно подумается...

Швейцарец не обманул меня. В отеле, в котором я остановился, немедленно описали все малейшие приметы мои и сообщили их, куда следует. По точности и мелочности, с которой рассматривают вас при описании примет, можно заключить, что и вся дальнейшая ваша жизнь в отеле, так сказать, все ваши шаги скрупулезно наблюдаются и сосчитываются. Впрочем, на первый раз в отеле меня лично не много беспокоили и описали меня втихомолку, кроме, разумеется, тех вопросов, какие задаются вам по книге, и в нее же вы вписываете показания ваши: кто, как, откуда, с какими помыслами? и проч. Но во втором отеле, в котором я остановился, не найдя места в прежнем Hôtel Coquillière после восьмидневной моей отлучки в Лондон, со мной обошлись гораздо откровеннее. Этот второй Hôtel des Empéreurs смотрел вообще как-то патриархальнее во всех отношениях. Хозяин и хозяйка действительно были очень хорошие люди и чрезвычайно деликатны, уже пожилые супруги, необыкновенно внимательные к своим постояльцам. В тот же день, как я у них стал, хозяйка вечером, поймав меня в сенях, пригласила в комнату, где была контора. Тут же находился и муж, но хозяйка, очевидно, заправляла всем по хозяйству.

— Извините, — начала она очень вежливо, — нам надо ваши приметы.

— Но ведь я сообщил... паспорт мой у вас.

— Так, но... votre état? [1]

Это: «Votre état?» — чрезвычайно сбивчивая вещь и нигде мне не нравилось. Ну что тут написать? Путешественник — слишком отвлеченно. Homme de lettres? [2] — никакого уважения не будут иметь.

— Напишемте лучше propriétaire,[3] как вы думаете? — спросила меня хозяйка. — Это будет лучше всего.

---

[1] ваше общественное положение? *(франц.)*
[2] Литератор *(франц.)*.
[3] собственник *(франц.)*.

— О да, это будет лучше всего, — поддакнул супруг.

— Написали. Ну теперь: причина вашего приезда в Париж?

— Как путешественник, проездом.

— Гм, да, pour voir Paris.[1] Позвольте, мсье: ваш рост?

— То есть как это рост?

— Какого вы именно росту?

— Вы видите, среднего.

— Это так, мсье... Но желалось бы знать подробнее... Я думаю, я думаю... — продолжала она в некотором затруднении, советуясь глазами с мужем.

— Я думаю, *столько-то,* — решил муж, определяя мой рост на глазомер в метрах.

— Да зачем вам это нужно? — спросил я.

— Ох, это необ-хо-димо, — отвечала хозяйка, любезно протянув на слове «необходимо» и все-таки записывая в книгу мой рост. — Теперь, мсье, ваши волосы? Блондин, гм... довольно светлого оттенка... прямые...

Она записала и волосы.

— Позвольте, мсье, — продолжала она, кладя перо, вставая со стула и подходя ко мне с самым любезным видом, — вот сюда, два шага, к окну. Надо разглядеть цвет ваших глаз. Гм, светлые...

И она опять посоветовалась глазами с мужем. Они, видимо, чрезвычайно любили друг друга.

— Более серого оттенка, — заметил муж с особенно деловым, даже озабоченным видом. — Voilà,[2] — мигнул он жене, указывая что-то над своею бровью, но я очень хорошо понял, на что он указывал. У меня маленький шрам на лбу, и ему хотелось, чтобы жена заметила и эту особую примету.

— Позвольте ж теперь спросить, — сказал я хозяйке, когда кончился весь экзамен, — неужели с вас требуют такой отчетности?

— О мсье, это необ-хо-димо!..

— Мсье! — поддакнул муж с каким-то особенно внушительным видом.

— Но в Hôtel Coquillière меня не спрашивали.

— Не может быть, — живо подхватила хозяйка. — Они за это могли очень ответить. Вероятно, они оглядели вас молча, но только непременно, непременно оглядели. Мы же проще и откровеннее с нашими постояльцами, мы живем с ними как с родными. Вы останетесь довольны нами. Вы увидите...

— О мсье!.. — скрепил муж с торжественностью, и даже умиление изобразилось на лице его.

И это были пречестные, прелюбезные супруги, насколько, по крайней мере, я их узнал потом. Но слово «необ-хо-димо» произносилось вовсе не в каком-нибудь извинительном или уменьши-

---

[1] чтобы видеть Париж *(франц.)*.
[2] Вот *(франц.)*.

тельном тоне, а именно в смысле полнейшей необходимости и чуть ли не совпадающей с собственными личными их убеждениями.

Итак, я в Париже...

## *Глава V*

### ВААЛ

Итак, я в Париже... Но не думайте, однако, что я вам много расскажу собственно о городе Париже. Я думаю, вы столько уже перечитали о нем по-русски, что, наконец, уж и надоело читать. К тому же вы сами в нем были и, наверное, всё лучше меня заметили. Да и терпеть я не мог, за границей, осматривать по гиду, по заказу, по обязанности путешественника, а потому и просмотрел в иных местах такие вещи, что даже стыдно сказать. И в Париже просмотрел. Так и не скажу, что именно просмотрел, но зато вот что скажу: я сделал определение Парижу, прибрал к нему эпитет и стою за этот эпитет. Именно: это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения; как всё обеспечено и разлиновано; как все довольны, как все стараются уверить себя, что довольны и совершенно счастливы, и как все, наконец, до того достарались, что и действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастливы, и... и... остановились на этом. Далее и дороги нет. Вы не поверите тому, что остановились на этом; вы закричите, что я преувеличиваю, что это всё желчная патриотическая клевета, что не могло же всё это остановиться совсем, в самом деле. Но, друзья мои, ведь предуведомил же я вас еще в первой главе этих заметок, что, может быть, ужасно навру. Ну и не мешайте мне. Вы знаете тоже наверно, что если я и навру, то навру, будучи убежден, что не вру. А, по-моему, этого уже слишком довольно. Ну так и дайте мне свободу.

Да, Париж удивительный город. И что за комфорт, что за всевозможные удобства для тех, которые имеют право на удобства, и опять-таки какой порядок, какое, так сказать, *затишье порядка*. Я всё возвращаюсь к порядку. Право, еще немного, и полуторамиллионный Париж обратится в какой-нибудь окаменелый в затишье и порядке профессорский немецкий городок, вроде, например, какого-нибудь Гейдельберга. Как-то тянет к тому. И будто не может быть Гейдельберга в колоссальном размере? И какая регламентация! Поймите меня: не столько внешняя регламентация, которая ничтожна (сравнительно, разумеется), а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая. Париж суживается, как-то охотно, с любовью умаляется, с умилением ежится. Куды в этом отношении, например, Лондон! Я был в Лондоне всего восемь дней, и, по крайней мере наружно, — какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными,

нерегулированными под одну мерку планами оттушевался он в моих воспоминаниях. Всё так громадно и резко в своей своеобразности. Даже обмануться можно этой своеобразностью. Каждая резкость, каждое противоречие уживаются рядом с своим антитезом и упрямо идут рука об руку, противореча друг другу и, по-видимому, никак не исключая друг друга. Всё это, кажется, упорно стоит за себя и живет по-своему и, по-видимому, не мешает друг другу. А между тем и тут та же упорная, глухая и уже застарелая борьба, борьба на смерть всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном муравейнике; хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг друга — не то обращение в антропофаги! В этом отношении, с другой стороны, замечается то же, что и в Париже: такое же отчаянное стремление с отчаяния остановиться на statu quo,[1] вырвать с мясом из себя все желания и надежды, проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, может быть, у самих предводителей прогресса, и поклониться Ваалу. Пожалуйста, однако ж, не увлекайтесь высоким слогом: всё это замечается сознательно только в душе передовых сознающих да бессознательно инстинктивно — в жизненных отправлениях всей массы. Но буржуа, например в Париже, сознательно почти очень доволен и уверен, что всё так и следует, и прибьет даже вас, если вы усомнитесь в том, что так и следует быть, прибьет, потому что до сих пор всё что-то побаивается, несмотря на всю самоуверенность. В Лондоне хоть и так же, но зато какие широкие, подавляющие картины! Даже наружно какая разница с Парижем. Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка... Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; — не конец ли тут? не это ли уж, и в самом деле, «едино стадо». Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Всё это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух

[1] существующее положение *(лат.)*.

теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, — людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал...

— Ну, это вздор, — скажете вы, — болезненный вздор, нервы, преувеличение. Не остановится на этом никто, и никто не примет этого за свой идеал. К тому же голод и рабство не свой брат и лучше всего подскажут отрицание и зародят скептицизм. А сытые дилетанты, прогуливающиеся для своего удовольствия, конечно, могут создавать картины из Апокалипсиса и тешить свои нервы, преувеличивая и вымогая из всякого явления для возбуждения себя сильные ощущения...

— Так, — отвечаю я, — положим, что я был увлечен декорацией, это всё так. Но если бы вы видели, как горд тот могучий дух, который создал эту колоссальную декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и в своем торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот гордый дух. При такой колоссальности, при такой исполинской гордости владычествующего духа, при такой торжественной оконченности созданий этого духа, замирает нередко и голодная душа, смиряется, подчиняется, ищет спасения в джине и в разврате и начинает веровать, что так всему тому и следует быть. Факт давит, масса деревенеет и прихватывает китайщины, или если и рождается скептицизм, то мрачно и с проклятием ищет спасения в чем-нибудь вроде мормоновщины. А в Лондоне можно увидеть массу в таком размере и при такой обстановке, в какой вы нигде в свете ее наяву не увидите. Говорили мне, например, что ночью по субботам полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются как море по всему городу, наиболее группируясь в иных кварталах, и всю ночь до пяти часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, как скоты, за всю неделю. Всё это несет свои еженедельные экономии, всё наработанное тяжким трудом и проклятием. В мясных и съестных лавках толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. Точно бал устраивается для этих белых негров. Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Всё пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело, и всё как-то странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Всё это поскорей торопится напиться до потери сознания... Жены не отстают от мужей и напиваются вместе с мужьями; дети бегают

и ползают между ними. В такую ночь, во втором часу, я заблудился однажды и долго таскался по улицам среди неисчислимой толпы этого мрачного народа, расспрашивая почти знаками дорогу, потому что по-английски я не знаю ни слова. Я добился дороги, но впечатление того, что я видел, мучило меня дня три после этого. Народ везде народ, но тут всё было так колоссально, так ярко, что вы как бы ощупали то, что до сих пор только воображали. Тут уж вы видите даже и не народ, а потерю сознания, систематическую, покорную, поощряемую. И вы чувствуете, глядя на всех этих париев общества, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд и что долго еще будут они взывать к престолу всевышнего: «доколе, господи». И они сами знают это и покамест отмщают за себя обществу какими-то подземными мормонами, трясучками, странниками... Мы удивляемся глупости идти в какие-то трясучки и странники и не догадываемся, что тут — отделение от нашей общественной формулы, отделение упорное, бессознательное; инстинктивное отделение во что бы то ни стало для ради спасения, отделение с отвращением от нас и ужасом. Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтоб не задохнуться в темном подвале. Тут последняя, отчаянная попытка сбиться в свою кучу, в свою массу и отделиться от всего, хотя бы даже от образа человеческого, только бы быть по-своему, только бы не быть вместе с нами...

Я видел в Лондоне еще одну подобную же этой массу, которую тоже нигде не увидите в таком размере, как в Лондоне. Тоже декорация в своем роде. Кто бывал в Лондоне, тот, наверно, хоть раз сходил ночью в Гай-Маркет. Это квартал, в котором по ночам, в некоторых улицах, тысячами толпятся публичные женщины. Улицы освещены пучками газа, о которых у нас не имеют понятия. Великолепные кофейни, разубранные зеркалами и золотом, на каждом шагу. Тут и сборища, тут и приюты. Даже жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена. Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки. Всё это с трудом толпится в улицах, тесно, густо. Толпа не умещается на тротуарах и заливает всю улицу. Всё это жаждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и блестящие дорогие одежды и почти лохмотья, и резкое различие лет, всё вместе. В этой ужасной толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач. Слышны ругательства, ссоры, зазыванье и тихий, призывный шепот еще робкой красавицы. И какая иногда красота! Лица точно из кипсеков. Помню, раз я зашел в одно «Casino». Там гремела музыка, шли танцы, толпилась бездна народу. Убранство было великолепное.

Но мрачный характер не оставляет англичан и среди веселья: они и танцуют серьезно, даже угрюмо, чуть не выделывая па и как будто по обязанности. Наверху, в галерее, я увидел одну девушку и остановился просто изумленный: ничего подобного такой идеальной красоте я еще не встречал никогда. Она сидела за столиком вместе с молодым человеком, кажется богатым джентльменом и, по всему видно, непривычным посетителем казино. Он, может быть, отыскивал ее, и наконец они свиделись или условились видеться здесь. Он мало говорил с нею и всё как-то отрывисто, как будто не о том, о чем они хотели бы говорить. Разговор часто прерывался долгим молчанием. Она тоже была очень грустна. Черты лица ее были нежны, тонки, что-то затаенное и грустное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде, что-то мыслящее и тоскующее. Мне кажется, у ней была чахотка. Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы несчастных женщин своим развитием: иначе что же значит лицо человеческое? А между тем она тут же пила джин, за который заплатил молодой человек. Наконец он встал, пожал ей руку, и они расстались. Он ушел из казино, а она, с румянцем, разгоревшимся от водки густыми пятнами на ее бледных щеках, пошла и затерялась в толпе промышляющих женщин. В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, чтоб вы шли с ними. Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидал одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, бог знает зачем шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило — она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она всё качала своей всклоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги. Вообще предметы игривые...

И вот, раз ночью, в толпе этих потерянных женщин и развратников остановила меня женщина, торопливо пробиравшаяся сквозь толпу. Она была одета вся в черном, в шляпке, почти закрывавшей ее лицо; я почти и не успел разглядеть его; помню только пристальный ее взгляд. Она сказала что-то, что я не мог разобрать, ломаным французским языком, сунула мне в руку какую-то маленькую бумажку и быстро прошла далее. У освещенного окна кофейной я рассмотрел бумажку: это был маленький квадратный

лоскуток; на одной стороне его было напечатано: «Crois-tu cela?».[1] На другой стороне, по-французски же: «Аз есмь воскресение и живот...» и т. д. — несколько известных строк. Согласитесь, что это тоже довольно оригинально. Мне растолковали потом, что это католическая пропаганда, шныряющая всюду, упорная, неустанная. То раздаются эти бумажки на улицах, то книжки, состоящие из разных отдельных выдержек из Евангелия и Библии. Раздают их даром, навязывают, суют в руки. Пропагаторов бездна, и мужчин и женщин. Это пропаганда тонкая и расчетливая. Католический священник сам выследит и вотрется в бедное семейство какого-нибудь работника. Найдет он, например, больного, лежащего в отребьи на сыром полу, окруженного одичавшими с голоду и с холоду детьми, с голодной, а зачастую и пьяной женой. Он всех накормит, оденет, обогреет, начнет лечить больного, покупает лекарство, делается другом дома и под конец обращает всех в католичество. Иногда, впрочем, уже после излечения, его прогоняют с ругательствами и побоями. Он не устает и идет к другим. Его оттуда вытолкают; он всё снесет, но уж кого-нибудь да уловит. Англиканский же священник не пойдет к бедному. Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить за место на скамье. Браки между работниками и вообще между бедными почти зачастую незаконные, потому что дорого стоит венчаться. Кстати, многие из этих мужей ужасно бьют своих жен, уродуют их насмерть и больше всё кочергами, которыми разворачиваются в камине уголья. Это у них какой-то уже определенный к битью инструмент. По крайней мере в газетах, при описании семейных ссор, увечий и убийств, всегда упоминается кочерга. Дети у них, чуть-чуть подросши, зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям. Англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых приходах и жиреют в совершенном спокойствии совести. Они большие педанты, очень образованны и сами важно и серьезно верят в свое тупонравственное достоинство, в свое право читать спокойную и самоуверенную мораль, жиреть и жить тут для богатых. Это религия богатых и уж без маски. По крайней мере рационально и без обмана. У этих убежденных до отупения профессоров религии есть одна своего рода забава: это миссионерство. Исходят всю землю, зайдут в глубь Африки, чтоб обратить одного дикого, и забывают миллион диких в Лондоне за то, что у тех нечем платить им. Но богатые англичане и вообще все тамошние золотые тельцы чрезвычайно религиозны, мрачно, угрюмо и своеобразно. Английские поэты испокон веку любят воспевать красоту пасторских жилищ в провинции, осененных столетними дубами и вязами, их добродетельных жен и идеально прекрасных, белокурых дочерей с голубыми глазами.

---

[1] Веришь ли ты в это? *(франц.)*.

Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова царственно проносится над исполинским городом. Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична; он презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную милостыню, и затем поколебать его самоуверенность невозможно. Ваал не прячет от себя, как делают, например, в Париже, иных диких, подозрительных и тревожных явлений жизни. Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько. Он презрительно позволяет всем этим подозрительным и зловещим явлениям жить рядом с его жизнью, подле, наяву. Он не старается трусливо, как парижанин, усиленно разуверять себя, ободрять и доносить самому себе, что всё спокойно и благополучно. Он не прячет, как в Париже, куда-то бедных, чтоб те не тревожили и не пугали напрасно его сна. Парижанин, как птица страус, любит затыкать свою голову в песок, чтоб так уж и не видать настигающих его охотников. В Париже... Но, однако, что ж это я! Я опять не в Париже... Да когда ж это, господи, я приучусь к порядку...

## *Глава VI*

### ОПЫТ О БУРЖУА

Отчего же здесь всё это ежится, отчего всё это хочет разменяться на мелкую монету, стесниться, стушеваться; «нет меня, нет совсем на свете; я спрятался, проходите, пожалуйста, мимо и не замечайте меня, сделайте вид, как будто вы меня не видите, проходите, проходите!»

— Да о ком вы говорите? Кто ежится?

— Да буржуа.

— Помилуйте, он король, он всё, le tiers état c'est tout,[1] а вы — ежится!

— Да-с, а отчего он так спрятался под императора Наполеона? Отчего он забыл высокий слог в палате депутатов, который он так любил прежде? Отчего он не хочет ничего вспоминать и руками машет, когда ему напомнят о чем-нибудь, что было в старину? Отчего у него тотчас же на уме, и в глазах, и на языке тревога, когда другие чего-нибудь осмелятся пожелать в его присутствии? Отчего, когда он сам сдуру разблажится и чего-нибудь вдруг пожелает, то тотчас же вздрогнет и начнет открещиваться: «Господи! да что это я, наконец!» — и долго еще после того совестливо старается загладить свое поведение старанием и послушанием? Отчего он смотрит и чуть не говорит: «Вот, поторгую сегодня

---

[1] третье сословие — это всё *(франц.)*.

маленько в лавочке, да бог даст завтра опять поторгую, может, и послезавтра, если будет великая милость господня... Ну, а там, а там, только бы вот поскорее накопить хоть крошечку, и — après moi le déluge!».[1] Отчего он куда-то прибрал всех бедных и уверяет, что их совсем нет? Отчего он довольствуется казенной литературой? Отчего ему ужасно хочется уверить себя, что его журналы неподкупны? Отчего он соглашается давать столько денег на шпионов? Отчего он не смеет пикнуть слова о мексиканской экспедиции? Отчего в театре мужья выставляются в таком благороднейшем и денежном виде, а любовники всё такие оборванные, без места и без протекции, приказчики какие-то или художники, дрянцо в высочайшей степени? Отчего ему мерещится, что эпузы все до единой верны до последней крайности, что фойе благоденствует, pot-au-feu[2] варится на добродетельнейшем огне, а головная прическа в самом лучшем виде, в каком только можно себе представить? Насчет прически уж это так непременно решено, так уж условлено, безо всяких разговоров, так, само собою условилось, и хотя поминутно проезжают по бульварам фиакры с опущенными сторами, хотя везде есть приюты для всех интересных надобностей, хотя туалеты эпуз даже и весьма часто дороже, чем можно было бы предположить, судя по карману супруга, но так решено, так подписано, и чего же вам более? А почему так решено и подписано? Как же-с: если не так, так ведь, пожалуй, подумают, что идеал не достигнут, что в Париже еще не совершенный рай земной, что можно, пожалуй, чего-нибудь еще пожелать, что, стало быть, буржуа и сам не совершенно доволен тем порядком, за который стоит и который всем навязывает; что в обществе есть прорехи, которые надо чинить. Вот почему буржуа и замазывает дырочки на сапогах чернилами, только бы, боже сохрани, чего не заметили! А эпузы кушают конфетки, гантируются, так что русские барыни в отдаленном Петербурге им завидуют до истерики, показывают свои ножки и преграциозно приподымают свои платья на бульварах. Чего же более для совершенного счастья? Вот почему заглавия романов, как например «Жена, муж и любовник», уже невозможны при теперешних обстоятельствах, потому что любовников нет и не может быть. И будь их в Париже так же много, как песку морского (а их там, может, и больше), все-таки их там нет и не может быть, потому что так решено и подписано, потому что всё блестит добродетелями. Так надо, чтоб всё блестело добродетелями. Если посмотреть на большой двор в Палерояле вечером, до одиннадцати часов ночи, то придется непременно пролить слезу умиления. Бесчисленные мужья прогуливаются с своими бесчисленными эпузами под руку, кругом резвятся их милые и благонравные детки, фонтанчик шумит и однообразным плеском струй напоминает вам о чем-то покойном, тихом, всег-

[1] после меня хоть потоп! *(франц.)*
[2] суп *(франц.)*.

дашнем, постоянном, гейдельбергском. И ведь не один фонтанчик в Париже шумит таким образом: фонтанчиков много, и везде то же самое, так что сердце радуется.

Потребность добродетели в Париже неугасима. Теперь француз серьезен, солиден и даже часто умиляется сердцем, так что я не понимаю, почему даже до сих пор он так ужасно чего-то трусит, трусит, несмотря даже на всю gloire militaire,[1] процветающую во Франции, и за которую Jacques Bonhomme [2] так дорого платит. Парижанин ужасно любит торговать, но, кажется, и торгуя и облупливая вас, как липку, в своем магазине, он облупливает не просто для барышей, как бывало прежде, а из добродетели, из какой-то священнейшей необходимости. Накопить фортуну и иметь как можно больше вещей — это обратилось в самый главный кодекс нравственности, в катехизм парижанина. Это и прежде было, но теперь, теперь это имеет какой-то, так сказать, священнейший вид. Прежде хоть что-нибудь признавалось, кроме денег, так что человек и без денег, но с другими качествами мог рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение; ну, а теперь ни-ни. Теперь надо накопить денежки и завести как можно больше вещей, тогда и можно рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение. И не только на уважение других, но даже на самоуважение нельзя иначе рассчитывать. Парижанин себя в грош не ставит, если чувствует, что у него карманы пусты, и это сознательно, совестливо, с великим убеждением. Вам позволяются удивительные вещи, если у вас только есть деньги. Бедный Сократ есть только глупый и вредный фразёр и уважается только разве на театре, потому что буржуа всё еще любит уважать добродетель на театре. Странный человек этот буржуа: провозглашает прямо, что деньги есть высочайшая добродетель и обязанность человеческая, а между тем ужасно любит поиграть и в высшее благородство. Все французы имеют удивительно благородный вид. У самого подлого французика, который за четвертак продаст вам родного отца, да еще сам, без спросу, прибавит вам что-нибудь в придачу, в то же время, даже в ту самую минуту, как он вам продает своего отца, такая внушительная осанка, что на вас даже нападает недоумение. Войдите в магазин купить что-нибудь, и последний приказчик раздавит, просто раздавит вас своим неизъяснимым благородством. Это те самые приказчики, которые служат моделью самого субдительного суперфлю для нашего Михайловского театра. Вы подавлены, вы просто чувствуете себя в чем-то виноватым перед этим приказчиком. Вы пришли, например, чтоб издержать десять франков, а между тем вас встречают как лорда Девоншира. Вам тотчас же делается отчего-то ужасно совестно, вам хочется поскорей уверить, что вы вовсе не лорд Девоншир, а только так себе, скромный путешественник, и вошли, чтоб купить только на десять франков.

---

[1] воинская слава *(франц.)*.

[2] Жак Простак *(франц.)*.

Но молодой человек самой счастливой наружности и с неизъяснимейшим благородством в душе, при виде которого вы готовы себя признать даже подлецом (потому что уж до такой степени он благороден!), начинает вам развертывать товару на десятки тысяч франков. Он в одну минуту забросал для вас весь прилавок, и как подумаешь тут же, сколько ему, бедненькому, придется после вас опять завертывать, ему, Грандисону, Алкивиаду, Монморанси, да еще после кого? после вас, имевшего дерзость с вашей незавидной наружностью, с вашими пороками и недостатками, с вашими отвратительными десятью франками прийти беспокоить такого маркиза, — как подумаешь всё это, то поневоле мигом, тут же за прилавком, начинаешь в высочайшей степени презирать себя. Вы раскаиваетесь и проклинаете судьбу, зачем у вас в кармане теперь только сто франков; вы бросаете их, прося взглядом прощения. Но вам великодушно завертывают товар на ваши мизерные сто франков, прощают вам всю тревогу, всё беспокойство, которое вы произвели в магазине, и вы спешите как-нибудь поскорее стушеваться. Придя домой, вы ужасно удивляетесь, что хотели истратить только десять франков, а истратили сто. Сколько раз, проходя бульвары или Rue Vivienne, где столько громадных магазинов с галантерейностями, я мечтал про себя: вот бы напустить сюда русских барынь и... но о том, что следует дальше, лучше всего знают приказчики и старосты в орловских, тамбовских и разных прочих губерниях. Русским вообще ужасно хочется показать в магазинах, что у них необъятно много денег. Зато находится же на свете такое бесстыдство, как например в англичанках, которые не только не смущаются, что какой-нибудь Адонис, Вильгельм Телль забросал для них весь прилавок товарами и переворотил весь магазин, но даже начинают — о ужас! — торговаться из-за каких-нибудь десяти франков. Но и Вильгельм Телль не промах: уж он отмстит за себя и за какую-нибудь шаль в тысячу пятьсот франков слупит с миледи двенадцать тысяч, да еще так, что та остается совершенно довольна. Но, несмотря на то, буржуа до страсти любит неизъяснимое благородство. На театре подавай ему непременно бессребренников. Гюстав должен сиять только одним благородством, и буржуа плачет от умиления. Без неизъяснимого благородства он и спать не может спокойно. А что он взял двенадцать тысяч вместо тысячи пятисот франков, то это даже обязанность: он взял из добродетели. Воровать гадко, подло, — за это на галеры; буржуа многое готов простить, но не простит воровства, хотя бы вы или дети ваши умирали с голоду. Но если вы украдете из добродетели, о, вам тогда совершенно всё прощается. Вы, стало быть, хотите faire fortune [1] и накопить много вещей, то есть исполнить долг природы и человечества. Вот почему в кодексе совершенно ясно обозначены пункты воровства из низкой цели, то есть из-за какого-нибудь

[1] составить состояние *(франц.)*.

куска хлеба, и воровство из высокой добродетели. Последнее в высочайшей степени обеспечено, поощряется и необыкновенно прочно организовано.

Почему же, наконец, — опять-таки я всё на прежнее, — почему же, наконец, буржуа до сих пор как будто чего-то трусит, как будто не в своей тарелке сидит? Чего ему беспокоиться? Парлеров, фразеров? Да ведь он их одним толчком ноги пошлет теперь к черту. Доводов чистого разума? Да ведь разум оказался несостоятельным перед действительностью, да, сверх того, сами-то разумные, сами-то ученые начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума, что чистого разума и не существует на свете, что отвлеченная логика неприложима к человечеству, что есть разум Иванов, Петров, Гюставов, а чистого разума совсем не бывало; что это только неосновательная выдумка восемнадцатого столетия. Кого же бояться? Работников? Да ведь работники тоже все в душе собственники: весь идеал их в том, чтоб быть собственниками и накопить как можно больше вещей; такая уж натура. Натура даром не дается. Всё это веками взращено и веками воспитано. Национальность не легко переделывается, не легко отстать от вековых привычек, вошедших в плоть и кровь. Земледельцев? Да ведь французские земледельцы архисобственники, самые тупые собственники, то есть самый лучший и самый полный идеал собственника, какой только можно себе представить. Коммунистов? Социалистов, наконец? Но ведь этот народ сильно в свое время профершпилился, и буржуа в душе глубоко его презирает; презирает, а между тем все-таки боится. Да; вот этого-то народа он до сих пор и боится. А чего бы, кажется, бояться? Ведь предрек же аббат Сийес в своем знаменитом памфлете, что буржуа — это *всё*. *«Что такое tiers état? Ничего. Чем должно оно быть? Всем»*. Ну так и случилось, как он сказал. Одни только эти слова и осуществились из всех слов, сказанных в то время; они одни и остались. А буржуа всё еще как-то не верит, несмотря на то, что всё, что было сказано после слов Сийеса, сбрендило и лопнуло, как мыльный пузырь. В самом деле: провозгласили вскоре после него: Liberté, égalité, fraternité.[1] Очень хорошо-с. Что такое liberté? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать всё что угодно в пределах закона. Когда можно делать всё что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым делают всё что угодно. Что ж из этого следует? А следует то, что кроме свободы, есть еще равенство, и именно равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно только сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен принять его за личную для себя обиду. Что ж остается из формулы? Братство. Ну эта статья

---

[1] Свобода, равенство, братство *(франц.)*.

самая курьезная и, надо признаться, до сих пор составляет главный камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы ни стало. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном *Я*, сопоставления этого *Я* всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну, а из такого самопоставления не могло произойти братства. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не *Я*, должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем *остальным*, а все-то это *остальное* должно бы было *само* прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному *Я*, и само, без его просьбы должно бы было признать его равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была всё свое *Я*, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу дела: она требует с бою, она требует права, она хочет *делиться* — ну и не выходит братства. Конечно, можно переродиться? Но перерождение это совершается тысячелетиями, ибо подобные идеи должны сначала в кровь и плоть войти, чтобы стать действительностью. Что ж, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтоб быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека. Но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который если попадется под машину, то всё разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь

самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Например: я приношу и жертвую всего себя для всех; ну, вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать всё и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как же это сделать? Ведь это всё равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться. Как же сделать? Сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно *само собой сделалось, чтоб оно было в натуре,* бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб было братское, любящее начало — надо любить. Надо, чтоб самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплеменников, — одним словом, чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе такую привычку искони веков. В чем состояло бы это братство, если б переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая отдельная личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу: «Мы крепки только все вместе, возьмите же меня всего, если вам во мне надобность, не думайте обо мне, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, я все свои права вам отдаю, и, пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое — вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то братство процветало и осталось». А братство, напротив, должно сказать: «Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом всё твое счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце и за твое счастие. Возьми же всё и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни природы теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе безопасность, мы неусыпно о тебе стараемся, потому что мы братья, мы все твои братья, а нас много и мы сильны; будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас».

После этого, разумеется, уж нечего делиться, тут уж всё само собою разделится. Любите друг друга, и всё сие вам приложится.

Эка ведь в самом деле утопия, господа! Всё основано на чувстве, на натуре, а не на разуме. Ведь это даже как будто унижение для разума. Как вы думаете? Утопия это или нет?

Но опять-таки что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала, а, напротив, начало единичное,

личное, беспрерывно ослабляющееся, требующее с мечом в руке своих прав. Социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство. За неимением братства он хочет сделать, составить братство. Чтоб сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть не имеется натуры, способной к братству, натуры, верующей в братство, которую само собою тянет на братство. В отчаянии социалист начинает делать, определять будущее братство, рассчитывает на вес и на меру, соблазняет выгодой, толкует, учит, рассказывает, сколько кому от этого братства выгоды придется, кто сколько выиграет, определяет, чем каждая личность смотрит, насколько тяготеет и определяет заранее расчет благ земных; насколько кто их заслужит и сколько каждый за них должен добровольно внести в ущерб своей личности в общину. А уж какое тут братство, когда заране делятся и определяют, кто сколько заслужил и что каждому надо делать? Впрочем, провозглашена была формула: «Каждый для всех и все для каждого». Уж лучше этого, разумеется, ничего нельзя было выдумать, тем более что вся формула целиком взята из одной всем известной книжки. Но вот начали прикладывать эту формулу к делу, и через шесть месяцев братья потянули основателя братства Кабета к суду. Фурьеристы, говорят, взяли свои последние девятьсот тысяч франков из своего капитала, а всё еще пробуют, как бы устроить братство. Ничего не выходит. Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему всё кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду и воли у него нет никакой, так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды; что муравей, какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его умнее, потому что в муравейнике всё так хорошо, всё так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело, одним словом: далеко еще человеку до муравейника!

Другими словами: хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции.

И вот в самом последнем отчаянии социалист провозглашает наконец: Liberté, égalité, fraternité *où la mort*.[1] Ну, уж тут нечего говорить, и буржуа окончательно торжествует.

---

[1] Свобода, равенство, братство или смерть *(франц.)*.

А если буржуа торжествует, так, стало быть, и сбылась формула Сийеса, буквально и в последней точности. Итак, буржуа всё, отчего же он конфузится, отчего ежится, чего боится? Все сбрендили, все перед ним оказались несостоятельными. Прежде, при Луи-Филиппе например, буржуа вовсе не так конфузился и боялся, а ведь он и тогда царил. Да, но он тогда еще боролся, предчувствовал, что ему есть враги и, последний раз разделался с ними на июньских баррикадах ружьем и штыком. Но бой кончился, и вдруг буржуа увидел, что он один на земле, что лучше его и нет ничего, что он идеал и что ему осталось теперь не то чтоб, как прежде, уверять весь свет, что он идеал, а просто спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих. Положение, как хотите, конфузное. Выручил Наполеон III. Он как с неба им упал, как единственный выход из затруднения, как единственная тогдашняя возможность. С тех самых пор буржуа благоденствует, за благоденствие свое платит ужасно и всего боится, именно потому, что всего достиг. Когда всего достигаешь, тяжело становится *всё* потерять. Из этого прямо выходит, друзья мои, что кто наиболее боится, значит тот наиболее благоденствует. Не смейтесь, пожалуйста. Ведь что же такое теперь буржуа?

## *Глава VII*

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО

И почему *между буржуа столько лакеев,* да еще при такой благородной наружности? Пожалуйста, на обвиняйте меня, не кричите, что я преувеличиваю, клевещу, что во мне говорит ненависть. К чему? к кому? зачем ненависть? Просто много лакеев, и это так. Лакейство въедается в натуру буржуа всё более и более и всё более и более считается добродетелью. Так и должно быть при теперешнем порядке вещей. Естественное следствие. А главное, главное — натура помогает. Я уж не говорю, например, что в буржуа много прирожденного шпионства. Мое мнение именно в том состоит, что необычайное развитие шпионства во Франции, и не простого, а мастерского шпионства, шпионства по призванию, дошедшего до искусства, имеющего свои научные приемы, происходит у них от врожденного лакейства. Какой идеально благородный Гюстав, если только он не имеет еще вещей, не предоставит сейчас же за десять тысяч франков письма своей возлюбленной и не выдаст свою любовницу ее мужу? Может, я и преувеличиваю это, но, может быть, я говорю, основываясь на каких-нибудь фактах. Француз любит ужасно забежать вперед, как-нибудь на глаза к власти и слакейничать перед ней что-нибудь даже совершенно бескорыстно, даже и не ожидая сейчашней награды, в долг, на книжку. Вспомните всех этих искателей

мест, например, при частой перемене правительств, бывших во Франции. Вспомните, какие штучки и коленца они выделывали и в чем сами признавались. Вспомните один из ямбов Барбие по этому поводу. Взял я раз в кафе одну газету от 3 июля. Смотрю: письма из Виши́. В Виши́ гостил тогда император, ну и двор, разумеется; были кавалькады, гулянья. Корреспондент всё это описывает. Он начинает:

«У нас много превосходных наездников. Разумеется, вы тотчас же угадали самого блестящего из всех. Его величество прогуливается каждый день в сопровождении своей свиты и т. д.».

Оно понятно, пусть увлекается блестящими качествами своего императора. Можно благоговеть перед его умом, расчетливостью, совершенствами и т. д. Такому увлекающемуся господину и нельзя сказать в глаза, что он притворяется. «Мое убеждение — и кончено», — ответит он вам, ни дать ни взять как ответят вам некоторые из наших современных журналистов. Понимаете: он гарантирован; ему есть, что вам отвечать, чтоб зажать вам рот. Свобода совести и убеждений есть первая и главная свобода в мире. Но тут, в этом случае, что может он вам ответить? Тут ведь уж он не смотрит на законы действительности, попирает всякое правдоподобие и делает это намеренно. А для чего бы, кажется, это делать намеренно? Ведь ему никто не поверит. Сам наездник, наверно, этого не прочтет, а если и прочтет, то неужели французик, писавший «correspondence»,[1] газета, ее поместившая у себя, и редакция газеты, неужели ж все они до того глупы, чтоб не разобрать, что владыке вовсе не нужна слава первого наездника во Франции, что он под старость вовсе и не рассчитывает на эту славу и, конечно, не поверит, если его будут уверять, что он самый ловкий наездник из всей Франции; говорят, он человек чрезвычайно умный. Нет-с, тут другой расчет: пусть неправдоподобно, смешно, пусть сам владыка посмотрит на это с отвращением и презрительным смехом, пусть, пусть, но зато увидит слепую покорность, увидит безграничное па́дам до ног, рабское, глупое, неправдоподобное, но зато *па́дам до ног*, а это главное. Теперь рассудите: если б это было не в духе нации, если б такая пошлая лесть не считалась совершенно возможной, обыкновенной, совершенно в порядке вещей, и даже приличной — возможно ли было бы поместить в парижской газете такую корреспонденцию? Где вы встретите в печати подобную лесть, кроме Франции? Я именно потому и говорю о духе нации, что не одна газета так толкует, а почти все такие же в таком же точно роде, кроме двух-трех не совсем зависимых.

Сидел я раз за одним табльдотом — это уж было не во Франции, а в Италии, но за табльдотом было много французов. Толковали о Гарибальди. Тогда везде толковали о Гарибальди. Это было недели за две до Аспромонте. Разумеется, говорили загадочно;

[1] корреспонденцию *(франц.)*.

иные молчали и не хотели совсем высказываться; другие качали головами. Общий смысл разговора был тот, что Гарибальди затеял дело рискованное, даже неблагоразумное; но, конечно, высказывали это мнение с недоговорками, потому что Гарибальди — человек до того всем не в уровень, что у него, пожалуй, и выйдет благоразумно даже и то, что по обыкновенным соображениям выходит слишком рискованным. Мало-помалу перешли собственно к личности Гарибальди. Стали перечислять его качества — приговор был довольно благоприятный для итальянского героя.

— Нет, я одному только в нем удивляюсь, — громко проговорил один француз, приятной и внушительной наружности, лет тридцати и с отпечатком на лице того необыкновенного благородства, которое до нахальства бросается вам в глаза во всех французах. — Одно только обстоятельство меня в нем наиболее удивляет!

Разумеется, все с любопытством обратились к оратору.

Новое качество, открытое в Гарибальди, долженствовало быть для всех интересным.

— В шестидесятом году, некоторое время, в Неаполе, он пользовался неограниченною и самою бесконтрольною властью. В руках у него была сумма в двадцать миллионов казенных денег! В этой сумме он никому не давал отчета! Он мог взять и утаить сколько угодно из этой суммы, и никто бы с него не спросил! Он не утаил ничего и сдал правительству всё счетом до последнего су. Это почти невероятно!!

Даже глаза его разгорелись, когда он говорил о двадцати миллионах франков.

Про Гарибальди, конечно, можно рассказывать всё что угодно. Но сопоставить имя Гарибальди с хаптурками из казенного мешка — это, разумеется, мог сделать только один француз.

И как наивно, как чистосердечно он это проговорил. За чистосердечие, разумеется, всё прощается, даже утраченная способность пониманья и чутья настоящей чести; но, заглянув в лицо, так и заигравшее при воспоминании о двадцати миллионах, я совершенно нечаянно подумал:

«А что, брат, если б ты вместо Гарибальди находился тогда при казенном мешке!»

Вы скажете мне, что это опять неправда, что всё это только частные случаи, что и у нас точно так же происходит и что не могу же я ручаться за всех французов. Конечно, так, я и не говорю про всех. Везде есть неизъяснимое благородство, а у нас, может быть, даже и гораздо хуже бывало. Но в добродетель-то, в добродетель-то зачем возводить? Знаете что? Можно быть даже и подлецом, да чутья о чести не потерять; а тут ведь очень много честных людей, но зато чутье чести совершенно потеряли и потому подличают, не ведая, что творят, из добродетели. Первое, разумеется, порочнее, но последнее, как хотите, презрительнее. Такой катехизис о добродетелях составляет худой симптом в жизни

нации. Ну, а насчет частных случаев я не хочу с вами спорить. Даже вся нация-то состоит ведь из одних только частных случаев, не правда ли?

Даже я вот что думаю. Я, может быть, ошибся и в том, что буржуа ежится, что он всё еще чего-то боится. Ежится-то он действительно ежится, и побаивается, но если подвести итог, то буржуа совершенно благоденствует. Хоть он и сам обманывает себя, хоть и докладывает себе поминутно, что всё обстоит благополучно, но, однако ж, это нисколько не мешает наружной его самоуверенности. Мало того: даже и внутри он ужасно самоуверен, когда разыграется. Как всё это в нем уживается вместе — действительно задача, но это так. Вообще буржуа очень не глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дров на зиму, и он серьезно намеревается прожить с ними хоть тысячу лет. Впрочем, что же тысячу лет: про тысячу лет буржуа заговаривает редко, только разве когда впадает в красноречие. «Aprés moi le déluge» гораздо употребительнее и чаще прилагается к делу. И какое ко всему равнодушие, какие мимолетные, пустые интересы. Мне случалось в Париже бывать в обществе, в доме, где в мое время перебывало множество людей. Точно все они как будто боятся и заговорить о чем-нибудь необыденном, о чем-нибудь не так мелочном, о каких-нибудь всеобщих интересах, ну там о каких бы то ни было общественных интересах. Тут не мог, мне кажется, быть страх шпионов, тут просто все разучились о чем-нибудь мыслить и говорить посерьезнее. Впрочем, встречались тут люди, которые ужасно интересовались, какое впечатление на меня произвел Париж, насколько я благоговею, насколько я удивлен, раздавлен, уничтожен. Француз до сих пор думает, что он способен нравственно давить и уничтожать. Это тоже довольно забавный признак. Особенно я помню одного премилого, прелюбезного, предобрейшего старичка, которого я искренно полюбил. Он так и заглядывал мне в глаза, выспрашивая мое мнение о Париже, и ужасно огорчался, когда я не изъявлял особенного восторга. Даже страдание изображалось на добром лице его, — буквально страдание, я не преувеличиваю. О милый m-r Le M—re! Француза, то есть парижанина (потому что ведь, в сущности, все французы парижане), никогда не разуверишь в том, что он не первый человек на всем земном шаре. Впрочем, о всем земном шаре, кроме Парижа, он весьма мало знает. Да и знать-то очень не хочет. Это уж национальное свойство и даже самое характеристичное. Но самое характеристичное свойство француза — это красноречие. Любовь к красноречию в нем неугасима и с годами разгорается всё больше и больше. Мне бы ужасно хотелось узнать, когда именно началась во Франции эта любовь к красноречию. Разумеется, главное началось с Людовика XIV. Замечательно, что во Франции всё началось с Людовика XIV, право так. Но всего замечательнее, что и во всей Европе всё началось с Лю-

довика XIV. И чем взял этот король, — понять не могу! Ведь не особенно же он выше всех прежних других королей. Разве тем, что первый сказал: «l'Etat c'est moi».[1] Это ужасно понравилось, это всю Европу тогда облетело. Я думаю, одним этим-то словцом он и прославился. Даже у нас оно удивительно скоро стало известно. Националънейший государь был этот Людовик XIV, вполне во французском духе, так что я даже и не понимаю, как это во Франции могли случиться все эти маленькие шалости... ну вот в конце прошлого столетия. Пошалили и воротились к прежнему духу; на то идет; но красноречие, красноречие, о — это камень преткновения для парижанина. Он всё готов забыть из прежнего, всё, всё, готов вести самые благоразумные разговоры и быть самым послушным и прилежным мальчиком, но красноречия, одного только красноречия он до сих пор никак не может забыть. Он тоскует и вздыхает по красноречию; припоминает Тьера, Гизо, Одилона Барро. То-то красноречия-то было тогда, говорит он иногда про себя и начинает задумываться. Наполеон III это понял, тотчас же порешил, что Jacques Bonhomme не должен задумываться, и мало-помалу завел красноречие. Для сей цели в законодательном корпусе содержится шесть либеральных депутатов, шесть постоянных, неизменных настоящих либеральных депутатов, то есть таких, что, может быть, их и не подкупишь, если начать подкупать, и, однако ж, их все-таки шесть, — шесть было, шесть есть и шесть только и останется. Больше не прибудет, будьте покойны, да и не убудет тоже. И это прехитрая штука на первый взгляд. Дело-то, однако ж, гораздо проще в действительности и обходится при помощи suffrage universel.[2] Разумеется, чтоб они очень-то не заговаривались, приняты все надлежащие меры. Но поболтать позволяется. Ежегодно в нужное время обсуживаются важнейшие государственные вопросы, и парижанин сладко волнуется. Он знает, что будет красноречие, и рад. Разумеется, он очень хорошо знает, что будет только одно красноречие и больше ничего, что будут слова, слова и слова и что из слов этих решительно ничего не выйдет. Но он и этим очень, очень доволен. И сам, первый, находит всё это чрезвычайно благоразумным. Речи некоторых из этих шести представителей пользуются особенною популярностью. И представитель всегда готов говорить речи для увеселения публики. Странное дело: ведь и сам он совершенно уверен, что из речей его ничего не выйдет, что всё это только одна шутка, шутка и больше ничего, невинная игра, маскарад, а между тем говорит, несколько лет сряду говорит, и прекрасно говорит, даже с большим удовольствием. И у всех членов, которые слушают его, даже слюнки текут от удовольствия. «Хорошо говорит человек!» — и у президента и у всей Франции слюнки текут. Но вот представитель кончил, а

---

[1] Государство — это я *(франц.)*.
[2] всеобщего избирательного права *(франц.)*.

затем встает и гувернер сих милых и благонравных детей. Он торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему «Восход солнца» было отлично развито и обработано почтенным представителем. Мы удивлялись таланту почтенного оратора, говорит он, его мыслям и благонравному поведению, выраженному в этих мыслях, мы наслаждались все, все... Но хотя почтенный член и вполне заслужил в награду книжку с надписью: «За благонравие и успехи в науках», несмотря на то, господа, речь почтенного представителя по некоторым высшим соображениям никуда не годится. Надеюсь, господа, что вы совершенно со мною согласны. Тут он обращается ко всем представителям, и взгляд его начинает сверкать строгостью. Представители, у которых текли слюнки, немедленно с неистовым восторгом рукоплещут гувернеру, а между тем тут же благодарят и трогательно жмут руки и либеральному представителю за доставленное удовольствие, просят доставить им это либеральное удовольствие с позволения гувернера и к следующему разу. Гувернер благосклонно позволяет; сочинитель описания на «Восход солнца» удаляется, гордый своим успехом, представители удаляются, облизываясь, в недра своих семейств и вечером от радости гуляют под ручку с эпузами в Палерояле, прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков, а гувернер, отрапортовав кому следует обо всем, объявляет всей Франции, что всё обстоит благополучно.

Иногда впрочем, когда начинаются дела поважнее, заводят и игру поважнее. В одно из собраний приводят самого принца Наполеона. Принц Наполеон вдруг начинает делать оппозицию, к совершенному испугу всех этих учащихся юношей. В классе торжественная тишина. Принц Наполеон либеральничает, принц не согласен с правительством, по его мнению, надо то-то и то-то. Принц осуждает правительство, одним словом, говорится то самое, что (предполагается) могли бы высказать эти же самые милые дети, если б гувернер хоть на минутку вышел из класса. Разумеется, и тут в меру; да и предположение нелепое, потому что все эти милые дети до того мило воспитаны, что даже и не пошевелятся, если б гувернер даже на целую неделю от них отлучился. И вот, когда принц Наполеон кончает, встает гувернер и торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему «Восход солнца» было отлично развито и обработано почтенным оратором. Мы удивлялись таланту, красноречивым мыслям и благонравию всемилостивейшего принца... Мы готовы выдать книжку за прилежание и успехи в науках, но... и т. д., то есть всё, что было сказано прежде; разумеется, весь класс аплодирует с восторгом, доходящим до неистовства, принца уводят домой, благонравные ученики расходятся из класса, как настоящие благонравные паиньки, а вечером гуляют с эпузами в Палерояле, прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков и т. д., и т. д., и т. д., одним словом, порядок заведен удивительный.

Однажды мы заблудились в la salle de pas perdus [1] и вместо отделения, где судятся уголовные процессы, попали в отделение гражданских процессов. Курчавый адвокат в мантии и в шапке говорил речь и сыпал перлами красноречия. Президент, судьи, адвокаты, слушатели плавали в восторге. Была благоговейная тишина; мы вошли на цыпочках. Дело шло об одном наследстве; в дело замешаны были отцы-пустынники. Отцы-пустынники поминутно замешиваются теперь в процессы, преимущественно по наследствам. Самые скандальные, самые гадкие происшествия выводятся наружу; но публика молчит и очень мало скандализируется, потому что отцы-пустынники имеют теперь значительную власть, а буржуа чрезвычайно благонравен. Отцы всё более и более останавливаются на том мнении, что капитальчик лучше всего, всех этих мечтаний и прочего, и что как поприкопишь деньжонок, так и силу можно иметь, а то что красноречие-то! Красноречием одним теперь не возьмешь. Но они в последнем случае, на мой взгляд, немного ошибаются. Конечно, капитальчик — всеблагое дело, но и красноречием много можно сделать с французом. Эпузы по преимуществу поддаются отцам-пустынникам, даже теперь гораздо более, чем замечалось прежде. Есть надежда, что и буржуа на это поворотит. В процессе изъяснялось, как пустынники долголетним, хитрым, даже ученым (у них есть для этого наука) тяготеньем отяготели над душой одной прекрасной и весьма денежной дамы, как они соблазнили ее идти жить к себе в монастырь, как там пугали ее до болезни, до истерики разными страхами и всё с расчетом, с ученою постепенностью. Как, наконец, довели ее до болезни, до идиотства, представили ей, наконец, что видеться с родственниками великий грех перед господом богом, и мало-помалу удалили совершенно родственников. «Даже ее племянница, эта девственная, младенческая душа, пятнадцатилетний ангел чистоты и невинности, даже и она не смела войти в келью своей обожаемой тетки, которая ее любила более всего на свете и которая уже не могла вследствие коварных ухищрений обнять ее и облобызать ее front virginal,[2] где восседал белый ангел невинности...» Одним словом, всё в этом роде; было удивительно хорошо. Говоривший адвокат сам, видимо, таял от радости, что он умеет так хорошо говорить, таял президент, таяла публика. Отцы-пустынники проиграли сражение единственно вследствие красноречия. Они, конечно, не унывают. Проиграли одно, выиграют пятнадцать.

— Кто адвокат? — спросил я одного молодого студента, бывшего в числе благоговевших слушателей. Студентов тут было множество, и всё такие благонравные. Он посмотрел на меня с изумлением.

---

[1] зал ожидания *(франц.)*.
[2] девственный лоб *(франц.)*.

— Jules Favre! [1] — ответил он наконец с таким презрительным сожалением, что я, конечно, сконфузился. Таким образом, я имел случай познакомиться с цветами французского красноречия, так сказать, в самом главном его источнике.

Но источников этих бездна. Буржуа проеден до конца ногтей красноречием. Однажды мы вошли в Пантеон поглядеть на великих людей. Время было неурочное, и с нас спросили два франка. Затем дряхлый и почтенный инвалид взял ключи и повел нас в церковные склепы. Дорогой он говорил всё еще как человек, немного только шамкая за недостатком зубов. Но, сойдя в склепы, немедленно запел, только что подвел нас к первой гробнице:

— Ci-gît Voltaire,[2] — Вольтер, сей великий гений прекрасной Франции. Он искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и держал светильник просвещения. В своих трагедиях он достигнул великого, хотя Франция уже имела Корнеля.

Он говорил, очевидно, по заученному. Кто-нибудь когда-нибудь написал ему на бумажке рацею, и он ее вытвердил на всю жизнь; даже удовольствие засияло на его старом добродушном лице, когда он начал перед нами выкладывать свой высокий слог.

— Ci-gît Jean Jacques Rousseau, — продолжал он, подходя к другой гробнице, — Jean Jacques, l'homme de la nature et de la vérité! [3]

Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом всё можно опошлить. Да и видно было, что бедный старик, говоря об nature и vérité, решительно не понимал, о чем идет речь.

— Странно! — сказал я ему. — Из этих двух великих людей один всю жизнь называл другого лгуном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком. И вот они сошлись здесь почти рядом.

— Мсье, мсье! — заметил было инвалид, желая что-то возразить, но, однако ж, не возразил и поскорей повел нас еще к гробнице.

— Ci-gît Lannes,[4] маршал Ланн, — запел он еще раз, — один из величайших героев, которыми обладала Франция, столь обильно наделенная героями. Это был не только великий маршал, искуснейший предводитель войск, исключая великого императора, но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом...

— Ну да, это был друг Наполеона, — сказал я, желая сократить речь.

— Мсье! Позвольте говорить мне, — прервал инвалид как будто несколько обиженным голосом.

— Говорите, говорите, я слушаю.

---

[1] Жюль Фавр *(франц.)*.
[2] Здесь погребен Вольтер *(франц.)*.
[3] Здесь погребен Жан-Жак Руссо... человек природы и истины! *(франц.)*
[4] Здесь погребен Ланн *(франц.)*.

— Но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом великого императора. Никто другой из всех его маршалов не имел счастья сделаться другом великого человека. Один маршал Ланн удостоился сей великой чести. Когда он умирал на поле сражения за свое отечество...

— Ну да, ему оторвало ядром обе ноги.

— Мсье, мсье! позвольте же мне самому говорить, — вскричал инвалид почти жалобным голосом. — Вы, может быть, и знаете это всё... Но позвольте и мне рассказать!

Чудаку ужасно хотелось самому рассказать, хотя бы мы всё это и прежде знали.

— Когда он умирал, — подхватил он снова, — на поле сражения за свое отечество, тогда император, пораженный в самое сердце и оплакивая великую потерю...

— Пришел к нему проститься, — дернуло меня прервать его снова, и я тотчас почувствовал, что я дурно сделал; мне даже сделалось стыдно.

— Мсье, мсье! — сказал старик, с жалобным укором смотря мне в глаза и качая седой головой, — мсье! я знаю, я уверен, что вы всё это знаете, может быть, лучше меня. Но ведь вы сами взяли меня вам показывать: позвольте ж мне говорить самому. Теперь уж немного осталось...

— Тогда император, пораженный в самое сердце и оплакивая (увы, бесполезно) великую потерю, которую понесли он, армия и вся Франция, приблизился к его смертной постели и последним прощанием своим смягчил жестокие страдания умершего почти на глазах его полководца. C'est fini, monsieur,[1] — прибавил он, с упреком посмотрев на меня, и пошел далее.

— А вот здесь тоже гробница; ну это... quelques sénateurs,[2] — прибавил он равнодушно и небрежно кивнул головою еще на несколько гробниц, стоявших неподалеку. Всё его красноречие истратилось на Вольтера, Жан-Жака и маршала Ланна. Это уже был непосредственный, так сказать, народный пример любви к красноречию. Неужели ж все эти речи ораторов национального собрания, конвента и клубов, в которых народ принимал почти непосредственное участие и на которых он перевоспитался, оставили в нем только один след — любовь к красноречию для красноречия?

## *Глава VIII*

### БРИБРИ И МАБИШЬ

А что ж эпузы? Эпузы благоденствуют, уже сказано. Кстати: почему, спросите вы, пишу я эпузы вместо жены? Высокий слог, господа, вот почему. Буржуа, если заговорит высоким слогом,

---

[1] Кончено, сударь *(франц.)*.
[2] несколько сенаторов *(франц.)*.

говорит всегда: mon épouse.[1] И хоть в других слоях общества и говорят просто, как и везде: ma femme — моя жена, но уж лучше последовать национальному духу большинства и высокого изложения. Оно характернее. К тому же есть и другие наименования. Когда буржуа расчувствуется или захочет обмануть жену, он всегда называет ее: ma biche.[2] И обратно, любящая жена в припадке грациозной игривости называет своего милого буржуа: bribri,[3] чем буржуа, с своей стороны, очень доволен. Брибри и мабишь постоянно процветают, а теперь более, чем когда-нибудь. Кроме того, что так уж условлено (и почти без всякого разговору), что мабишь и брибри должны в наше хлопотливое время служить моделью добродетели, согласия и райского состояния общества в упрек гнусным бредням нелепых бродяг-коммунистов, кроме того, брибри с каждым годом становится всё сговорчивее и сговорчивее в супружеском отношении. Он понимает, что как ни говори, как ни устроивай, а мабишь нельзя удержать, что парижанка создана для любовника, что мужу почти невозможно обойтись без прически, он и молчит, разумеется, покамест у него еще мало прикоплено денег и не заведено еще много вещей. Когда же то и другое выполнится, брибри становится вообще требовательнее, потому что начинает ужасно уважать себя. Ну тут уже и на Гюстава он начинает смотреть иначе, особенно если тот вдобавок и оборванец и не имеет много вещей. Вообще парижанин, чуть-чуть с деньжонками, желая жениться, и выбирает невесту с деньжонками. Мало того: предварительно сосчитываются, и если окажется, что франки и вещи с той и другой стороны одинаковы, то и совокупляются. Это и везде так происходит, но тут уж в особенный обычай вошел закон равенства карманов. Если, например, у невесты хоть копейкой больше денег, то ее уж и не отдадут такому искателю, у которого меньше, а ищут брибри получше. Кроме того, браки по любви становятся всё более и более невозможными и считаются почти неприличными. Благоразумный этот обычай непременного равенства карманов и бракосочетания капиталов нарушается весьма редко, и я думаю, гораздо реже, чем везде в другом месте. Обладание жениными денежками буржуа очень хорошо устроил в свою пользу. Вот почему он и готов во многих случаях смотреть сквозь пальцы на похождения своей мабишь и не замечать иных досадных вещей, потому что тогда, то есть при размолвке, может неприятно подняться вопрос о приданом. К тому же, если мабишь и защеголяет не по состоянию, то брибри, хоть и всё заметивший, про себя примиряется: меньше с него спросит жена на наряды. Мабишь тогда гораздо сговорчивее. Наконец, так как брак большею частью есть бракосочетание капиталов и о взаимной склонности заботятся

---

[1] моя супруга *(франц.)*.
[2] моя козочка *(франц.)*.
[3] птичка *(франц.)*.

очень немного, то и брибри не прочь заглянуть куда-нибудь от своей мабишь на сторону. А потому всего лучше не мешать друг другу. Да и согласия в доме больше и милый лепет милых имен: брибри и мабишь— раздается между супругами всего чаще и чаще. А наконец, если всё сказать, так ведь брибри и на этот случай удивительно хорошо успел себя обеспечить. Полицейский комиссар во всякую минуту к его услугам. Уж так по законам, которые устроил он себе сам. В крайнем случае, застав любовников en flagrant délit,[1] он ведь убить их может обоих и за это ничем не отвечает. Мабишь это знает и сама это похваливает. Долгой опекой довели до того мабишь, что она не ропщет и не мечтает, как в иных варварских и смешных землях, учиться, например, в университетах и заседать в клубах и депутатах. Она лучше хочет оставаться в теперешнем воздушном и, так сказать, канареечном состоянии. Ее рядят, ее гантируют, ее возят на гулянья, она танцует, она кушает конфетки, наружно принимают ее как царицу, и мужчина перед ней наружно во прахе. Эта форма отношений удивительно удачно и прилично выработана. Одним словом, рыцарские отношения соблюдены, и чего же более? Ведь Гюстава у ней не отымут. Каких-нибудь там добродетельных, высоких целей в жизни и т. д., и т. д. ей тоже не надо: она, в сущности, такая же капиталистка и копеечница, как и супруг. Когда проходят канареечные годы, то есть дойдет до того, что уж никаким образом нельзя более себя обманывать и считать канарейкой; когда возможность нового Гюстава становится уже решительною нелепостью, даже при самом пылком и самолюбивом воображении, тогда мабишь вдруг быстро и скверно перерождается. Куды девается кокетство, наряды, игривость. Она делается большею частью такой злой, такой хозяйкой. Ходит по церквам, копит с мужем деньги, и какой-то цинизм проглянет вдруг со всех сторон: являются вдруг какая-то усталость, досада, грубые инстинкты, бесцельность существования, цинический разговор. Даже неряхами какими-то становятся иные из них. Разумеется, не всё так; разумеется, бывают и другие, более светлые явления; разумеется, и везде есть такие же социальные отношения, но... тут всё это более на своей почве, оригинальнее, самобытнее, полнее, тут всё это национальнее. Тут родник и зародыш той буржуазной общественной формы, которая царит теперь по всему свету в виде вечного подражания великой нации.

Да, наружно мабишь — царица. Трудно и вообразить, какая утонченная вежливость, какое навязчивое внимание окружает ее всюду в обществе и на улице. Субдительность удивительная; доходит подчас до такой маниловщины, что иная честная душа и не стерпела бы. Явная плутня подделки оскорбила бы ее до глубины сердца. Но мабишь сама большая плутовка, и... ей только того и надобно... Свое-то она всегда возьмет и всегда предпочтет

[1] на месте преступления *(франц.)*.

сплутовать, чем идти честно напрямик: и вернее, по ее мнению, да и игры больше. А ведь игра, интрига — в этом всё для мабиши; в этом самое главное дело. Зато как они одеваются, как ходят по улице. Мабишь манерна, выломана, вся неестественна, но это-то и пленяет, особенно блазированных и отчасти развращенных людей, потерявших вкус к свежей, непосредственной красоте. Мабишь развита весьма плохо; умишки и сердчишки у них птичьи, но зато она грациозна, зато она обладает бесчисленными секретами таких штучек и вывертов, что вы покоряетесь и идете за нею, как за пикантной новинкой. Она даже редко и хороша собой. Что-то даже злое в лице. Но это ничего: это лицо подвижно, игриво и обладает тайною подделки под чувство, под натуру в высочайшей степени. Вам, может быть, нравится-то в ней не то именно, что она этой подделкой достигает натуры, но самый этот процесс достижения подделкой вас очаровывает, искусство очаровывает. Для парижанина большею частью всё равно, что настоящая любовь, что хорошая подделка под любовь. Даже подделка, может быть, больше нравится. Какой-то восточный взгляд на женщину проявляется в Париже всё более и более. Камелия всё более и более в моде. «Возьми деньги, да обмани хорошенько, то есть подделай любовь», — вот что требуют от камелии. Почти не более требуют и от эпузы, по крайней мере довольны и этим, а потому Гюстав молча и снисходительно позволяется. К тому же буржуа знает, что мабишь к старости войдет вся в его интересы и будет усерднейшая ему помощница копить деньги. Даже и в молодости помогает чрезвычайно. Она иногда ведет всю торговлю, заманивает покупателей, одним словом, правая рука, старший приказчик. Как не простить тут какого-нибудь Гюстава. На улице женщина неприкосновенна. Никто не оскорбит ее, все перед ней расступаются, не так, как у нас, где женщина мало-мальски нестарая двух шагов пройти не может по улице без того, чтоб какая-нибудь воинственная или потаскливая физиономия не заглянула ей под шляпку и не предложила познакомиться.

Впрочем, несмотря на возможность Гюстава, обыденная, обрядная форма отношений между брибри и мабишью довольно мила и даже часто наивна. Вообще, заграничные люди — это мне в глаза бросилось — почти все несравненно наивнее русских. Трудно объяснить это подробнее; нужно самому заметить. Le Russe est sceptique et moqueur,[1] говорят про нас французы, и это так. Мы больше циники, меньше дорожим своим, даже не любим свое, по крайней мере не уважаем его в высшей степени, не понимая, в чем дело; лезем в европейские, общечеловеческие интересы, не принадлежа ни к какой нации, а потому, естественно, относимся ко всему холоднее, как бы по обязанности, и во всяком случае отвлеченнее. Впрочем, и я отвлекся от предмета. Брибри подчас чрезвычайно наивен. Гуляя, например, вокруг фонтан-

[1] Русский — скептик и насмешник *(франц.)*.

чиков, он пустится объяснять своей мабишь, отчего бьют фонтаны кверху, объясняет ей законы природы, национально гордится перед ней красотою Булонского леса, иллюминацией, игрою версальских les grandes eaux,[1] успехами императора Наполеона и gloire militaire, наслаждается ее любопытством и удовольствием и много доволен этим. Самая плутоватая мабишь тоже довольно нежно относится к супругу, то есть не то что подделкой какой-нибудь, а бескорыстно нежно, несмотря даже на прическу супруга. Разумеется, я не претендую, как Лесажев бес, снимать крыши с домов. Я рассказываю только, что мне в глаза бросилось, что мне показалось. «Mon mari n'a pas encore vu la mer»,[2] — говорит вам иная мабишь, и голос ее изображает искреннее, наивное соболезнование. Это означает, что муж еще не ездил куда-нибудь в Брест или в Булонь посмотреть на море. Нужно знать, что у буржуа есть некоторые пренаивные и пресерьезные потребности, почти обратившиеся в общую буржуазную привычку. Буржуа, например, кроме потребности накопить и потребности красноречия, имеет еще две потребности, две законнейшие потребности, освященные всеобщей привычкой и к которым он относится чрезвычайно серьезно, чуть не патетически. Первая потребность это — voir la mer, видеть море. Парижанин проживает и торгует иногда в Париже всю жизнь и не видит моря. Для чего ему видеть море? он и сам не знает, но он желает усиленно, чувствительно, откладывает поездку с году на год, потому что обыкновенно задерживают дела, тоскует, и жена искренно разделяет тоску его. Вообще тут даже много чувствительного, и я уважаю это. Наконец ему удается улучить время и средства; он собирается и на несколько дней едет «видеть море». Возвратясь, он рассказывает напыщенно и с восторгом о своих впечатлениях жене, родне, приятелям и сладко вспоминает всю жизнь о том, что он видел море. Другая законная и не менее сильная потребность буржуа, и особенно парижского буржуа, — это se rouler dans l'herbe.[3] Дело в том, что парижанин, выехав за город, чрезвычайно любит и даже за долг почитает поваляться в траве, исполняет это даже с достоинством, чувствуя, что соединяется при этом avec la nature,[4] и особенно любит, если на него кто-нибудь в это время смотрит. Вообще парижанин за городом считает немедленною своею обязанностью стать тотчас же развязнее, игривее, даже молодцеватее, одним словом, смотреть более естественным, более близким к la nature человеком. L'homme de la nature et de la vérité! Уж не с Жан-Жака ли и проявилось в буржуа это усиленное почтение к la nature? Впрочем, обе эти потребности: voir la mer и se rouler dans l'herbe — парижанин позволяет себе большею частью только тогда, когда уже накопит

---

[1] больших фонтанов *(франц.)*.
[2] Мой муж еще не видел моря *(франц.)*.
[3] поваляться на траве *(франц.)*.
[4] с природой *(франц.)*.

себе состояние, одним словом, когда сам начинает уважать себя, гордиться собою и смотреть на себя как на человека. Se rouler dans l'herbe бывает даже вдвое, вдесятеро слаще, когда происходит на собственной, купленной на трудовые деньги земле. Вообще буржуа, удаляясь от дел, любит купить где-нибудь землю, завести свой дом, сад, свой забор, своих кур, свою корову. И будь всё это даже в самом микроскопическом размере, всё равно — буржуа в самом детском, в самом трогательном восторге: «Mon arbre, mon mur»,[1] — твердит он себе и всем, кого зазовет к себе, поминутно и затем не перестает уже повторять себе это всю свою жизнь. Вот тут и слаще всего se rouler dans l'herbe. Чтоб исполнить эту обязанность, он заводит себе непременно лужок перед домом. Кто-то рассказывал, что у одного буржуа никак не вырастала трава на месте, определенном для лужайки. Он растил, поливал, накладывал срезанный в другом месте газон — ничего на песке не выходило и не принималось. Такое уж место случилось перед домом. Тогда он будто бы купил себе деланый газон; нарочно ездил за этим в Париж, заказал себе там кружок травки величиною в сажень в диаметре и расстилал этот коверчик с длинной травой каждые послеобеда, чтоб хоть обмануть себя, да утолить свою законную потребность и поваляться в траве. От буржуа в первые минуты упоения своей благоприобретенной собственностью, пожалуй, это и станется, так что нравственно тут ничего нет невероятного.

Но два слова и о Гюставе. Гюстав, конечно, то же самое, что и буржуа, то есть приказчик, купец, чиновник, homme de lettres, офицер. Гюстав — это неженатый, но тот же самый брибри. Но не в том дело, а в том, во что рядится и драпируется теперь Гюстав, чем он теперь смотрит, какие на нем теперь перья. Идеал Гюстава изменяется сообразно эпохам и всегда отражается на театре в том виде, в котором носится в обществе. Буржуа особенно любит водевиль, но еще более любит мелодраму. Скромный и веселый водевиль — единственное произведение искусства, которое почти не пересадимо ни на какую другую почву, а может жить только в месте своего зарождения, в Париже, — водевиль, хоть и прельщает буржуа, но не удовлетворяет его вполне. Буржуа все-таки считает его за пустяки. Ему надо высокого, надо неизъяснимого благородства, надо чувствительности, а мелодрама всё это в себе заключает. Без мелодрамы парижанин прожить не может. Мелодрама не умрет, покамест жив буржуа. Любопытно, что даже самый водевиль теперь перерождается. Он хоть и всё еще весел и уморительно смешон по-прежнему, но теперь уже сильно начинает примешиваться к нему другой элемент — нравоучение. Буржуа чрезвычайно любит и считает теперь священнейшим и необходимейшим делом читать при всяком удобном случае себе и своей мабишь наставления. К тому же буржуа теперь

---

[1] Мое дерево, моя стена *(франц.)*.

властвует неограниченно; он сила; а сочинителишки водевилей и мелодрам всегда лакеи и всегда льстят силе. Вот почему буржуа теперь торжествует, даже выставленный в смешном виде, и под конец ему всегда докладывают, что всё обстоит благополучно. Надо думать, что подобные доклады серьезно успокоивают буржуа. У всякого малодушного человека, не совсем уверенного в успехе своего дела, является мучительная потребность разуверять себя, ободрять себя, успокоивать. Он даже начинает верить в благоприятные приметы. Так точно и тут. В мелодраме же предлагаются высокие черты и высокие уроки. Тут уж не юмор; тут уже патетическое торжество всего того, что так любит брибри и что ему нравится. Нравится ему более всего политическое спокойствие и право копить себе деньги с целью устроить поспокойнее недра. В этом характере пишутся теперь и мелодрамы. В этом же характере является теперь и Гюстав. По Гюставу всегда можно проверить всё то, что в данную минуту брибри считает идеалом неизъяснимого благородства. Прежде, давно уже, Гюстав являлся каким-то поэтом, художником, непризнанным гением, загнанным, замученным гонениями и несправедливостями. Он боролся похвально, и кончалось всегда так, что виконтесса, втайне по нем страдающая, но к которой он презрительно равнодушен, соединяла его с своей воспитанницей Сесиль, не имевшей ни копейки, но у которой вдруг оказывались бесчисленные деньги. Гюстав обыкновенно бунтовался и отказывался от денег. Но вот на выставке произведение его увенчалось успехом. В квартиру его тотчас же врываются три смешные милорда и предлагают ему по сту тысяч франков за будущую картину. Гюстав презрительно смеется над ними и в горьком отчаянии объявляет, что все люди подлецы, недостойные его кисти, что он не понесет искусства, святого искусства, на профанацию пигмеям, до сих пор не заметившим, как он велик. Но врывается виконтесса и объявляет, что Сесиль умирает от любви к нему и что поэтому следует писать картины. Тут-то Гюстав догадывается, что виконтесса, прежний враг его, через которую ни одно из произведений его до сих пор не попадало на выставку, втайне его любит; что она мстила ему из ревности. Разумеется, Гюстав немедленно берет от трех милордов деньги, обругав их в другой раз, чем они остаются очень довольны, потом бежит к Сесиль, соглашается взять ее миллион, прощает виконтессу, которая уезжает в свое поместье, и, совокупившись законным браком, начинает заводить детей, фланелевую фуфайку, bonnet de coton [1] и прогуливается с мабишью по вечерам возле благодетельных фонтанчиков, которые тихим плеском своих струй, разумеется, напоминают ему о постоянстве, прочности и тишине его земного счастья.

Иногда случается, что Гюстав не приказчик, а какой-нибудь загнанный, забитый сирота, но в душе полный самого неизъясни-

---

[1] ночной колпак *(франц.)*.

мого благородства. Вдруг оказывается, что он вовсе не сирота, а законный сын Ротшильда. Получаются миллионы. Но Гюстав гордо и презрительно отвергает миллионы. Зачем? Уж так нужно для красноречия. Но вот врывается мадам Бопре, банкирша, влюбленная в него и у мужа которой он находится в услужении. Она объявляет, что Сесиль сейчас умрет от любви к нему и чтоб он шел ее спасать. Гюстав догадывается, что мадам Бопре в него влюблена, подбирает миллионы и, обругав всех самыми скверными словами за то, что во всем роде человеческом нет такого же неизъяснимого благородства, как в нем, идет к Сесиль и совокупляется с нею. Банкирша едет в свое поместье. Бопре торжествует, ибо жена, бывшая на краю гибели, всё еще остается чистою и непорочною, а Гюстав заводит детей и по вечерам ходит гулять около благодетельных фонтанчиков, которые плесками струй напоминают ему и т. д., и т. д.

Теперь неизъяснимое благородство чаще всего изображается или в военном офицере, или в военном инженере, или что-нибудь в этом роде, только чаще всего в военном и непременно с ленточкой Почетного легиона, «купленной своею кровью». Кстати, эта ленточка ужасна. Носитель до того ею чванится, что с ним нельзя почти встретиться, нельзя с ним ни ехать в вагоне, ни сидеть в театре, ни встречаться в ресторане. Он только что не плюет на вас, он куражится над вами бесстыдно, он пыхтит, задыхается от куражу, так что вас наконец начинает тошнить, у вас разливается желчь и вы принуждены посылать за доктором. Но французы это очень любят. Замечательно еще, что в театре слишком особенное внимание обращается теперь и на мосье Бопре, по крайней мере более гораздо, чем прежде. Бопре, разумеется, накопил много денег и завел очень много вещей. Он прям, прост, немного смешон своими буржуазными привычками и тем, что он муж; но он добр, честен, великодушен и неизъяснимо благороден в том акте, в котором он должен страдать от подозрения, что мабишь ему неверна. Но все-таки он великодушно решается простить ее. Оказывается, разумеется, что она чиста, как голубь, что она только пошалила, увлеклась Гюставом, и что брибри, раздавливающий ее своим великодушием, ей дороже всего. Сесиль, разумеется, по-прежнему без гроша, но только в первом акте; впоследствии же у ней оказывается миллион. Гюстав горд и презрительно благороден, как и всегда, только куражу больше, потому что военная косточка. У него всего дороже на свете его крест, купленный кровью, и «l'épée de mon père».[1] Об этой шпаге своего отца он говорит поминутно, некстати, всюду; вы даже не понимаете, в чем дело; он ругается, плюется, но все ему кланяются, а зрители плачут и аплодируют (плачут, буквально). Разумеется, у него ни гроша, это sine que non.[2] Мадам Бопре, разумеется, влюблена

[1] шпага моего отца *(франц.)*.
[2] обязательное условие *(лат.)*.

в него, Сесиль тоже, но он не подозревает любви Сесили. Сесиль кряхтит от любви в продолжение пяти актов. Идет, наконец, снег или что-нибудь в этом роде. Сесиль хочет броситься в окно. Но под окошком раздаются два выстрела, все сбегаются; Гюстав, бледный, с подвязанной рукой, медленно входит на сцену. Ленточка, купленная кровью, сверкает на его сюртуке. Клеветник и обольститель Сесили наказан. Гюстав забывает наконец, что Сесиль его любит и что всё это штуки мадам Бопре. Но мадам Бопре бледная, испуганная, и Гюстав догадывается, что она его любит. Но раздается опять выстрел. Это Бопре, убивающий себя от отчаяния. Мадам Бопре вскрикивает, бросается к дверям, но является сам Бопре и несет убитую лисицу или что-нибудь в этом роде. Урок дан; мабишь его никогда не забудет. Она льнет к брибри, который всё прощает. Но вдруг является у Сесиль миллион, и Гюстав опять бунтуется. Он не хочет жениться, Гюстав ломается, Гюстав ругается скверными словами. Надо непременно, чтоб Гюстав ругался скверными словами и плевал на миллион, иначе буржуа не простит ему; неизъяснимого благородства будет мало; пожалуйста, не думайте, чтоб буржуа противоречил себе. Не беспокойтесь: миллион не минует счастливую чету, он неизбежен и под конец всегда является в виде награды за добродетель. Буржуа себе не изменит. Гюстав берет под конец миллион Сесиль, и затем начинаются неизбежные фонтанчики, котоновые колпаки, плеск струй и проч., и проч. Таким образом, и чувствительности выходит много, и неизъяснимого благородства с три короба, и Бопре, торжествующий и раздавивший всех своими семейными добродетелями, и, главное, главное миллион, в виде фатума, в виде закона природы, которому вся честь, слава и поклонение, и т. д., и т. д. Брибри и мабишь выходят из театра совершенно довольные, успокоенные и утешенные. Гюстав их сопровождает и, подсаживая чужую мабишь в фиакр, потихоньку целует у нее ручку... Всё идет как следует.

# ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

## I

## ПОДПОЛЬЕ*

### I

Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверно, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности; ну, хоть настолько, чтоб уважать медицину. (Я достаточно образован, чтоб не быть суеверным, но я суеверен.) Нет-с, я не хочу лечиться со злости. Вот вы этого, наверно, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью; я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу «нагадить» тем, что у них не лечусь; я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит!

Я уже давно так живу — лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал,

---

* И автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени. Это — один из представителей еще доживающего поколения. В этом отрывке, озаглавленном «Подполье», это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие «записки» этого лица о некоторых событиях его жизни.

*Федор Достоевский.*

стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. (Плохая острота; но я ее не вычеркну. Я ее написал, думая, что выйдет очень остро; а теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, — нарочно не вычеркну!) Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, — я зубами на них скрежетал и чувствовал неутолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большею частию всё был народ робкий: известно — просители. Но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я наконец одолел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось еще в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, и успокоюсь. Даже душой умилюсь, хоть уж, наверно, потом буду сам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай.

Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я знал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились, но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда; до конвульсий меня доводили и — надоели мне наконец, как надоели! Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощенья прошу?.. Я уверен, что вам это кажется... А впрочем, уверяю вас, что мне всё равно, если и кажется...

Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, — существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет — это вся жизнь; ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно! Кто живет дольше сорока лет, — отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и негодяи живут. Я всем

старцам это в глаза скажу, всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым и благоухающим старцам! Всему свету в глаза скажу! Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу. До семидесяти лет проживу! До восьмидесяти лет проживу!.. Постойте! Дайте дух перевести...

Наверно, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу? Ошиблись и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется или как вам, может быть, кажется; впрочем, если вы, раздраженные всей этой болтовней (а я уже чувствую, что вы раздражены), вздумаете спросить меня: кто ж я таков именно? — то я вам отвечу: я один коллежский асессор. Я служил, чтоб было что-нибудь есть (но единственно для этого), и когда прошлого года один из отдаленных моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Служанка моя — деревенская баба, старая, злая от глупости, и от нее к тому же всегда скверно пахнет. Мне говорят, что климат петербургский мне становится вреден и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я всё это знаю, лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге; я не выеду из Петербурга! Я потому не выеду... Эх! да ведь это совершенно всё равно — выеду я иль не выеду.

А впрочем: о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?

Ответ: о себе.

Ну так и я буду говорить о себе.

## II

Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается иль не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные.) Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу всё это из форсу, чтоб поострить насчет деятелей, да еще из форсу дурного тона гремлю саблей, как мой

офицер. Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, да еще ими форсить?

Впрочем, что ж я? — все это делают; болезнями-то и тщеславятся, а я, пожалуй, и больше всех. Не будем спорить; мое возражение нелепо. Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости «всего прекрасного и высокого», как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деянья, такие, которые... ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем больше я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что всё это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало так быть. Как будто это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча, так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил (а может, и в самом деле поверил), что это, пожалуй, и есть нормальное мое состояние. А сперва-то, вначале-то, сколько я муки вытерпел в этой борьбе! Я не верил, чтоб так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился (даже, может быть, и теперь стыжусь); до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась наконец в какую-то позорную, проклятую сладость и наконец — в решительное, серьезное наслаждение! Да, в наслаждение, в наслаждение! Я стою на том. Я потому и заговорил, что мне всё хочется наверно узнать: бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню: наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж сам чувствуешь, что до последней стены дошел; что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть; что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если б даже и оставалось еще время и вера, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам бы не захотел переделываться; а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то, может быть, не во что. А главное и конец концов, что всё это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов, а следственно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например,

вследствие усиленного сознания: прав, что подлец, как будто это подлецу утешение, коль он уже сам ощущает, что он действительно подлец. Но довольно... Эх, нагородил-то, а что объяснил?.. Чем объясняется тут наслаждение? Но я объяснюсь! Я-таки доведу до конца! Я и перо затем в руки взял...

Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик, но, право, бывали со мною такие минуты, что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже и этому рад. Говорю серьезно: наверно, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение, разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения. А тут при пощечине-то — да тут так и придавит сознание о том, в какую мазь тебя растерли. Главное же, как ни раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. (Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не мог смотреть людям прямо в глаза.) Потому, наконец, виноват, что если б и было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверно, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия: ни простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать; ни забыть, потому что хоть и законы природы, а все-таки обидно. Наконец, если б даже я захотел быть вовсе невеликодушным, а напротив, пожелал бы отмстить обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверно, не решился бы что-нибудь сделать, если б даже и мог. Отчего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо.

## III

Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, — как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. (Кстати: перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена — не отвод, как например для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй,

даже что-то мистическое... Но об стене после.) Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать — природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в этом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, а следственно..., и проч. И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышь; его об этом никто не просит; а это важный пункт. Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l'homme de la nature et de la vérité. Гадкое, низкое желаньице воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l'homme de la nature et de la vérité, потому что l'homme de la nature et de la vérité, по своей врожденной глупости, считает свое мщенье просто-запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит наконец до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастная мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на всё своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки всё припомнит, всё переберет, навыдумает на себя небывальщины, под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему

праву мстить, ни успеху своего мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. На смертном одре опять-таки всё припомнит, с накопившимися за всё время процентами и... Но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний — и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Оно до того тонкое, до того иногда не поддающееся сознанью, что чуть-чуть ограниченные люди или даже просто люди с крепкими нервами не поймут в нем ни единой черты. «Может, еще и те не поймут, — прибавите вы от себя, осклабляясь, — которые никогда не получали пощечин», — и таким образом вежливо намекнете мне, что я в мою жизнь, может быть, тоже испытал пощечину, а потому и говорю как знаток. Бьюсь об заклад, что вы это думаете. Но успокойтесь, господа, я не получал пощечин, хотя мне совершенно всё равно, как бы вы об этом ни думали. Я, может быть, еще сам-то жалею, что в мою жизнь мало роздал пощечин. Но довольно, ни слова больше об этой чрезвычайно для вас интересной теме.

Продолжаю спокойно о людях с крепкими нервами, не понимающих известной утонченности наслаждений. Эти господа при иных казусах, например, хотя и ревут, как быки, во всё горло, хоть это, положим, и приносит им величайшую честь, но, как уже сказал я, перед невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность — значит каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных и что в этом результате разрешатся под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие бредни и предрассудки, так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два — математика. Попробуйте возразить.

«Помилуйте, — закричат вам, — восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена... и т. д., и т. д.». Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней

потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило.

Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей! То ли дело всё понимать, всё сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, — неизвестно что и неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит!

## IV

— Ха-ха-ха! да вы после этого и в зубной боли отыщете наслаждение! — вскрикнете вы со смехом.

— А что ж? и в зубной боли есть наслаждение, — отвечу я. — У меня целый месяц болели зубы; я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут; но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего; не ощущал бы он в них наслаждения — он бы и стонать не стал. Это хороший пример, господа, и я его разовью. В этих стонах выражается, во-первых, вся для нашего сознания унизительная бесцельность вашей боли; вся законность природы, на которую вам, разумеется, наплевать, но от которой вы все-таки страдаете, а она-то нет. Выражается сознание, что врага у вас не находится, а что боль есть; сознание, что вы, со всевозможными Вагенгеймами, вполне в рабстве у ваших зубов; что захочет кто-то, и перестанут болеть ваши зубы, а не захочет, так и еще три месяца проболят; и что, наконец, если вы всё еще несогласны и все-таки протестуете, то вам остается для собственного утешения только самого себя высечь или прибить побольнее кулаком вашу стену, а более решительно ничего. Ну-с, вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается наконец наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия. Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, этак на второй или на третий день болезни, когда он начинает уже не так стонать, как

в первый день стонал, то есть не просто оттого, что зубы болят; не так, как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек, «отрешившийся от почвы и народных начал», как теперь выражаются. Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает; знает, что даже и публика, перед которой он старается, и всё семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так со злости, с ехидства балуется. Ну так вот в этих-то всех сознаниях и позорах и заключается сладострастие. «Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, чувствуйте же и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан. Ну так пусть же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю...» Не понимаете и теперь, господа? Нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтоб понять все изгибы этого сладострастия! Вы смеетесь? Очень рад-с. Мои шутки, господа, конечно, дурного тона, неровны, сбивчивы, с самонедоверчивостью. Но ведь это оттого, что я сам себя не уважаю. Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?

## V

Ну разве можно, разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение? Я не от приторного какого-нибудь раскаянья так теперь говорю. Да и вообще терпеть я не мог говорить: «Простите, папаша, вперед не буду», — не потому, чтоб я не способен был это сказать, а напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен на это бывал, да еще как? Как нарочно и влопаюсь, бывало, в таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уже было всего гаже. При этом я опять-таки душою умилялся, раскаивался, слезы проливал и, конечно, самого себя надувал, хоть и вовсе не притворялся. Сердце уж тут как-то гадило... Тут уж даже и законов природы нельзя было обвинить, хотя все-таки законы природы постоянно и более всего всю жизнь меня обижали. Гадко это всё вспоминать, да и тогда гадко было. Ведь через минуту какую-нибудь я уже с злобою соображаю, бывало, что всё это ложь, ложь, отвратительная напускная ложь, то есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения. А спросите, для чего я так сам себя

коверкал и мучил? Ответ: затем, что скучно уж очень было сложа руки сидеть; вот и пускался на выверты. Право, так. Замечайте получше сами за собой, господа, тогда и поймете, что это так. Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить. Сколько раз мне случалось — ну, хоть, например, обижаться, так, не из-за чего, нарочно; и ведь сам знаешь, бывало, что не из-за чего обиделся, напустил на себя, но до того себя доведешь, что под конец, право, и в самом деле обидишься. Меня как-то всю жизнь тянуло такие штуки выкидывать, так что уж я стал под конец и в себе не властен. Другой раз влюбиться насильно захотел, даже два раза. Страдал ведь, господа, уверяю вас. В глубине-то души не верится, что страдаешь, насмешка шевелится, а все-таки страдаю, да еще настоящим, заправским образом; ревную, из себя выхожу... И всё от скуки, господа, всё от скуки; инерция задавила. Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания — это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье. Я уж об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот как: они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокоиваются; а ведь это главное. Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы. Что же наконец в результате? Да то же самое. Вспомните: давеча вот я говорил о мщении. (Вы, верно, не вникли.) Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно: справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно, и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только из злости. Злость, конечно, могла бы всё пересилить, все мои сомнения, и, стало быть, могла бы совершенно успешно послужить вместо первоначальной причины именно потому, что она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет (я давеча ведь с этого и начал). Злоба у меня опять-таки вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается. Смотришь — предмет улетучивается, резоны испаряются, виновник не отыскивается, обида становится не обидой, а фатумом, чем-то

вроде зубной боли, в которой никто не виноват, а следовательно, остается опять-таки тот же самый выход — то есть стену побольнее прибить. Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины. А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя презирать начнешь за то, что самого себя зазнамо надул. В результате: мыльный пузырь и инерция. О господа, ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть, пусть я болтун, безвредный, досадный болтун, как и все мы. Но что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпанье из пустого в порожнее.

## VI

О, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой? Ответ: лентяй; да ведь это преприятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен, значит, есть что сказать обо мне. «Лентяй!» — да ведь это званье и назначенье, это карьера-с. Не шутите, это так. Я тогда член самого первейшего клуба по праву и занимаюсь только тем, что беспрерывно себя уважаю. Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что с покойной, а с торжествующей совестью, и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру: я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? Мне это давно мерещилось. Это «прекрасное и высокое» сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда — о, тогда было бы иначе! Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, — а именно: пить за здоровье всего прекрасного и высокого. Я бы придирался ко всякому случаю, чтоб сначала пролить в свой бокал слезу, а потом выпить его за всё прекрасное и высокое. Я бы всё на свете обратил тогда в прекрасное и высокое; в гадчайшей, бесспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое. Я сделался бы слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину Ге. Тотчас же пью за здоровье художника, написавшего картину Ге, потому что люблю всё прекрасное и высокое. Автор написал *«как кому угодно»*; тотчас же пью за здоровье «кого угодно», потому что люблю всё «прекрасное и высокое». Уважения к себе за это потребую, преследовать буду того, кто не будет мне оказывать уваже-

ния. Живу спокойно, умираю торжественно, — да ведь это прелесть, целая прелесть! И такое себе отрастил бы я тогда брюхо, такой тройной подбородок соорудил, такой бы сандальный нос себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня: «Вот так плюс! вот так уж настоящее положительное!» А ведь как хотите, такие отзывы преприятно слышать в наш отрицательный век, господа.

## VII

Но всё это золотые мечты. О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О младенец! о чистое, невинное дитя! да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди *зазнамо*, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды... Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что если так случится, что человеческая выгода *иной раз* не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только может быть этот случай, то всё правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; смейтесь, господа, но только отвечайте: совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды — это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все

эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занесть в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается. У меня, например, есть приятель... Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того: с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели; и — ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, — выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего... Предупрежду, что мой приятель — лицо собирательное, и потому только его одного винить как-то трудно. То-то и есть, господа, не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили), которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, — одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего.

— Ну, так все-таки выгоды же, — перебиваете вы меня. — Позвольте-с, мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело, а в том, что эта выгода именно тем и замечательна, что все наши классификации разрушает и все системы, составленные любителями рода человеческого для счастья рода человеческого, постоянно разбивает. Одним словом, всему мешает. Но прежде чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснения человечеству настоящих, нормальных его интересов с тем, чтоб оно, необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным, — покамест, по моему мненью, одна логистика! Да-с, логистика! Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же ... ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается, следственно, становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то,

кажется, у него и так выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам всё наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон — и великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка — вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация выработывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случалось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверно, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? — сами решите. Говорят, Клеопатра (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не *приучился* поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет *добровольно* ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет рознить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что всё, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему бу-

дет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых всё будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений.

Тогда-то, — это всё вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностию, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда всё будет расчислено по табличке), зато всё будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы всё ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам всё это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И всё это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и *положительно должно* (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо — одного только *самостоятельного* хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь черт знает...

## VIII

— Ха-ха-ха! да ведь хотенья-то, в сущности, если хотите, и нет! — прерываете вы с хохотом. — Наука даже о сю пору до того успела разанатомировать человека, что уж и теперь нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля есть не что иное, как...

— Постойте, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотенье ведь черт знает от чего зависит и что это, пожалуй, и слава богу, да вспомнил про науку-то и... оселся. А вы тут и заговорили. Ведь в самом деле, ну, если вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов, то есть от чего они зависят, по каким именно законам происходят, как именно распространяются, куда стремятся в таком-то и в таком-то случае и проч., и проч., то есть настоящую математическую формулу, — так ведь тогда человек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть, да еще, пожалуй, и наверно перестанет. Ну что за охота хотеть по табличке? Мало того: тотчас же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того; потому, что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале? Как вы думаете? Сосчитаем вероятности, — может это случиться или нет?

— Гм... — решаете вы, — наши хотенья большею частию бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим, по глупости нашей, легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды. Ну, а когда всё это будет растолковано, расчислено на бумажке (что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить, что иных законов природы человек никогда не узнает), то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний. Ведь если хотенье стакнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так ведь уж мы будем тогда рассуждать, а не хотеть собственно потому, что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, *хотеть* бессмыслицы и таким образом зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного... А так как все хотенья и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли, то, стало быть, и, кроме шуток, может устроиться что-нибудь вроде таблички, так что мы и действительно хотеть будем по этой табличке. Ведь если мне, например, когда-нибудь расчислят и докажут, что если я показал такому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать и что непременно таким-то пальцем должен был его показать, так что же тогда во мне *свободного-то* останется, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил? Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на тридцать лет рассчитать могу; одним словом, если и устроится это, так ведь нам уж нечего будет делать; всё равно надо будет принять. Да

и вообще мы должны, не уставая, повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких-то обстоятельствах природа нас не спрашивается; что нужно принимать ее так, как она есть, а не так, как мы фантазируем, и если мы действительно стремимся к табличке и к календарю, ну, и... ну хоть бы даже и к реторте, то что же делать, надо принять и реторту! не то она сама, без вас примется...

— Да-с, но вот тут-то для меня и запятая! Господа, вы меня извините, что я зафилософствовался; тут сорок лет подполья! позвольте пофантазировать. Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтоб удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает; это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет. Я подозреваю, господа, что вы смотрите на меня с сожалением; вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика. Совершенно согласен, действительно математика. Но повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб *иметь право* пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз, и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности, может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, — потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность. Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже; хотенье, конечно, может, если хочет, и сходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно; это и полезно и даже иногда похвально. Но хотенье очень часто и даже большею частию совершенно и упрямо разногласит с рассудком и... и... и знаете ли, что и это полезно и даже иногда очень похвально? Господа, положим, что человек не глуп. (Дей-

ствительно, ведь никак нельзя этого сказать про него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умен?) Но если и не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен! Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не всё; это еще не главный недостаток его; главнейший недостаток его — это постоянное неблагонравие, постоянное, начиная от Всемирного потопа до Шлезвиг-Гольштейнского периода судеб человеческих. Неблагонравие, а следственно, и неблагоразумие; ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит! Недаром же г-н Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских — уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, — согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, всё можно сказать о всемирной истории, всё, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, — что благоразумно. На первом слове поперхнетесь. И даже вот какая тут штука поминутно встречается: постоянно ведь являются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее, так сказать, светить собой ближним, собственно для того, чтоб доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно, и благоразумно. И что ж? Известно, многие из этих любителей, рано ли, поздно ли, под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас спрошу: чего же можно ожидать от человека как от существа, одаренного такими странными качествами? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, — так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты,

свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди всё еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности; собственно чтоб настоять на своем. А в том случае, если средств у него не окажется, — выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша! Если вы скажете, что и это всё можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета всё остановит и рассудок возьмет свое, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь всё дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет и что хотенье покамест еще черт знает от чего зависит...

Вы кричите мне (если только еще удостоите меня вашим криком), что ведь тут никто с меня воли не снимает; что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтоб воля моя сама, своей собственной волей, совпадала с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой.

— Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!

## IX

Господа, я, конечно, шучу, и сам знаю, что неудачно шучу, но ведь и нельзя же всё принимать за шутку. Я, может быть, скрыня зубами шучу. Господа, меня мучат вопросы; разрешите их мне. Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить, сообразно с требованиями науки и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и *нужно* так переделывать? из чего вы заключаете, что

хотенью человеческому так необходимо *надо* исправиться? Одним словом, почему вы знаете, что такое исправление действительно принесет человеку выгоду? И, если уж всё говорить, почему вы так *наверно* убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества? Ведь это покамест еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечества. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен: человек есть животное, по преимуществу созидающее, присужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хотя *куда бы то ни было*. Но вот именно потому-то, может быть, ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он *присужден* пробивать эту дорогу, да еще, пожалуй, потому, что как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что дорога-то, оказывается, почти всегда идет *куда бы то ни было* и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтоб она только шла и чтоб благонравное дитя, пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? Вот это скажите-ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может быть, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestiques, [1] как-то муравьям, баранам и проч., и проч. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое, — муравейник.

С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблаговидное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И, кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало

---

[1] домашним животным *(франц.)*.

смерти. По крайней мере человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, — ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере деньги получат, в кабачок пойдут, потом в часть попадут, — ну вот и занятия на неделю. А человек куда пойдет? По крайней мере каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем, и это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, человек устроен комически; во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но дважды два четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уже всё хвалить, то и дважды два пять — премилая иногда вещица.

И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, — одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего; спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание — да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Всё, что тогда можно будет, это — заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну, а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но по крайней мере самого себя иногда можно посечь, а это все-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а всё же лучше, чем ничего.

## X

Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить.

Вот видите ли: если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы — всё равно. Да, — отвечаю я, — если б надо было жить только для того, чтоб не замочиться.

Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого и что если уж жить, так уж жить в хоромах. Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А покамест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается. Не всё ли равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться; я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу; все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы и существует *действительно*. Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться; но в таком случае ведь и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно; а не хотите меня удостоить вашим вниманием, так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье.

А покамест я еще живу и желаю, — да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу! Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык, из одной благодарности, если б только уст-

роилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами. Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что всё мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не верю.

А, впрочем, знаете что: я убежден, что нашего брата подпольного нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит...

## XI

Конец концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть (хотя все-таки не перестану ему завидовать. Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее!) Там по крайней мере можно... Эх! да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!

Даже вот что тут было бы лучше: это — если б я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настрочил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник.

— Так для чего же писали всё это? — говорите вы мне.

— А вот посадил бы я вас лет на сорок безо всякого занятия, да и пришел бы к вам через сорок лет, в подполье, наведаться, до чего вы дошли? Разве можно человека без дела на сорок лет одного оставлять?

— И это не стыдно, и это не унизительно! — может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами. — Вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь! Вы говорите вздор и довольны им; вы говорите дерзости, а сами беспрерывно боитесь за них и просите извинения. Вы уверяете, что ничего не боитесь, и в то же время в нашем мнении заискиваете. Вы уверяете, что скрежещете зубами, и в то же время острите, чтоб нас рассмешить. Вы знаете, что остроты ваши неостроумны, но вы, очевидно, очень довольны их литературным достоинством. Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок... Вы действительно

хотите что-то сказать, но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что у вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца — полного, правильного сознания не будет. И сколько в вас назойливости, как вы напрашиваетесь, как вы кривляетесь! Ложь, ложь и ложь!

Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья. Я там сорок лет сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал, ведь только это и выдумывалось. Не мудрено, что наизусть заучилось и литературную форму приняло...

Но неужели, неужели вы и в самом деле до того легковерны, что воображаете, будто я это всё напечатаю да еще вам дам читать? И вот еще для меня задача: для чего, в самом деле, называю я вас «господами», для чего обращаюсь к вам, как будто и вправду к читателям? Таких признаний, какие я намерен начать излагать, не печатают и другим читать не дают. По крайней мере, я настолько твердости в себе не имею да и нужным не считаю иметь. Но видите ли: мне в голову пришла одна фантазия, и я во что бы ни стало ее хочу осуществить. Вот в чем дело.

Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. То есть даже так: чем более он порядочный человек, тем более у него их и есть. По крайней мере, я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения, а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством. Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже решился записывать, теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды? Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие. Но Гейне судил о человеке, исповедовавшемся перед публикой. Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это...

Я ничем не хочу стесняться в редакции моих записок. Порядка и системы заводить не буду. Что припомнится, то и запишу.

Ну вот, например: могли бы придраться к слову и спросить меня: если вы действительно не рассчитываете на читателей, то для чего же вы теперь делаете с самим собой, да еще на бумаге, такие уговоры, то есть что порядка и системы заводить не будете, что запишете то, что припомнится, и т. д., и т. д.? К чему вы объясняетесь? К чему извиняетесь?

— А вот поди же, — отвечаю я.

Тут, впрочем, целая психология. Может быть, и то, что я просто трус. А может быть, и то, что я нарочно воображаю перед собой публику, чтоб вести себя приличнее, в то время когда буду записывать. Причин может быть тысяча.

Но вот что еще: для чего, зачем собственно я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно бы и так, мысленно всё припомнить, не переводя на бумагу?

Так-с; но на бумаге оно выйдет как-то торжественнее. В этом есть что-то внушающее, суда больше над собой будет, слогу прибавится. Кроме того: может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно давит одно давнишнее воспоминание. Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною, как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем надобно от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни; но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. Отчего ж не испробовать?

Наконец: мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записыванье же действительно как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот шанс по крайней мере.

Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега.

## II

## ПО ПОВОДУ МОКРОГО СНЕГА

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок;
Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня,
И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена...
И т. д., и т. д., и т. д.

*Из поэзии Н. А. Некрасова*

### I

В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить и всё более и более забивался в свой угол. В должности, в канцелярии, я даже старался не глядеть ни на кого, и я очень хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но — всё казалось мне и это — будто бы смотрели на меня с каким-то омерзением. Мне приходило в голову: отчего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрят на него с омерзением? У одного из наших канцелярских было отвратительное и прерябое лицо, и даже как будто разбойничье. Я бы, кажется, и взглянуть ни на кого не посмел с таким неприличным лицом. У другого вицмундир был до того заношенный, что близ него уже дурно пахло. А между тем ни один из этих господ не конфузился — ни по поводу платья, ни по поводу лица, ни как-нибудь там нравственно. Ни тот, ни другой не воображали, что смотрят на них с омерзением; да если б и воображали, так им было бы всё равно, только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, что я сам вследствие неограниченного моего тщеславия, а стало быть, и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, а оттого, мысленно, и приписывал мой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение, и потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтоб не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородства. «Пусть уж будет и некрасивое лицо, — думал я, — но зато пусть будет оно благородное, выразительное и, главное, *чрезвычайно* умное». Но я наверно и страдальчески знал, что всех этих совер-

шенств мне никогда моим лицом не выразить. Но что всего ужаснее, я находил его положительно глупым. А я бы вполне помирился на уме. Даже так, что согласился бы даже и на подлое выражение, с тем только, чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным.

Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел, с первого до последнего, и всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось: то презираю, то ставлю выше себя. Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. Но, презирая ли, ставя ли выше, я чуть не перед каждым встречным опускал глаза. Я даже опыты делал: стерплю ли я взгляд вот хоть такого-то на себе, и всегда опускал я первый. Это меня мучило до бешенства. До болезни тоже боялся я быть смешным и потому рабски обожал рутину во всём, что касалось наружного; с любовию вдавался в общую колею и всей душою пугался в себе всякой эксцентричности. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего времени. Они же все были тупы и один на другого похожи, как бараны в стаде. Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно казалось, что я был трус и раб; именно потому и казалось, что я был развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле: я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это — нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если и случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается: всё равно перед другим сбрендит. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки, но ведь и те до известной стены. На них и внимания обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают.

Мучило меня тогда еще одно обстоятельство: именно то, что на меня никто не похож и я ни на кого не похож. «Я-то один, а они-то *все*», — думал я и — задумывался.

Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка.

Случались и противоположности. Ведь уж как иногда гадко становилось ходить в канцелярию: доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной. Но вдруг ни с того ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия (у меня всё было полосами), и вот я же сам смеюсь над моею нетерпимостью и брезгливостью, сам себя в *романтизме* упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговорюсь, но еще вздумаю с ними сойтись по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разом ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее

у меня никогда и не было, а была она напускная, из книжек? Я до сих пор этого вопроса еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть, водку пить, о производстве толковать... Но здесь позвольте мне сделать одно отступление.

У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, — они всё те же, даже для приличия не изменятся, и всё будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков; это известно; тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следственно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии. Это всё наши «положительные» тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами и сдуру приняв их за наш идеал, навыдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит. (Уж позвольте мне употреблять это слово: «романтик» — словечко старинное, почтенное, заслуженное и всем знакомое.) Свойства нашего романтика — это всё понимать, *всё видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы*; ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать; всё обойти, всему уступить, со всеми поступить политично; постоянно не терять из виду полезную, практическую цель (какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки) — усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков и в то же время «и прекрасное и высокое» по гроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже кстати вполне сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь, хотя бы, например, для пользы того же «прекрасного и высокого». Широкий человек наш романтик и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том... даже по опыту. Разумеется, всё это, если романтик умен. То есть что ж это я! романтик и всегда умен, я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки-романтики, но это не в счет и единственно потому, что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались и, чтоб удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу, поселялись там где-нибудь, больше в Веймаре или в Шварцвальде. Я, например, искренно презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, — заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорей сойдет с ума (что, впрочем, очень редко бывает), а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется, и в толчки его никогда не выгонят, а разве свезут в сумасшедший дом в виде «испанского короля», да и то

если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только жиденькие и белокуренькие. Неисчетное же число романтиков — значительные чины впоследствии происходят. Многосторонность необыкновенная! И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям! Я и тогда был этим утешен, да и теперь тех же мыслей. Оттого-то у нас так и много «широких натур», которые даже при самом последнем паденьи никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово «шельмы» я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают.

Многосторонность поистине изумительная, и бог знает во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах и что сулит нам в нашем дальнейшем? А недурен матерьял-с! Не из патриотизма какого-нибудь, смешного или квасного, я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеюсь. А кто знает, может быть, и обратно, то есть уверены, что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и особенное удовольствие. А отступление мое мне простите.

С товарищами моими я, разумеется, дружества не выдерживал и очень скоро расплевывался и вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал, точно отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один раз и случилось. Вообще же я всегда был один.

Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями всё беспрерывно внутри меня накипавшее. А из внешних ощущений было для меня в возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, — волновало, услаждало и мучило. Но по временам наскучало ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий — не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения, идти было некуда, — то есть не было ничего, чтобы мог я тогда уважать в моем окружающем и к чему бы потянуло меня. Накипала, сверх того, тоска; являлась истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развратничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас столько наговорил... А впрочем, нет! соврал! Я именно себя оправдать хотел. Это я для себя, господа, заметочку делаю. Не хочу лгать. Слово дал.

Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж и тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам.

Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями подрались у биллиарда и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало; но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал, и до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в биллиардную: «Авось, дескать, и я подерусь, и меня тоже из окна спустят».

Я не был пьян, но что прикажете делать, — до такой ведь истерики может тоска заесть! Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен, и я ушел не подравшись.

Осадил меня там с первого же шагу один офицер.

Я стоял у биллиарда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти; он взял меня за плечи и молча, — не предуведомив и не объяснившись, — переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил.

Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, *литературную*! Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков десяти росту; я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках: стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и предпочел... озлобленно стушеваться.

Вышел я из трактира смущенный и взволнованный, прямо домой, а на другой день продолжал мой развратик еще робче, забитее и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах, — а все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил офицера от трусости: я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле, но — подождите смеяться, на это есть объяснение; у меня на всё есть объяснение, будьте уверены.

О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль! Но нет, это был именно из тех господ (увы! давно исчезнувших), которые предпочитали действовать киями или, как поручик Пирогов у Гоголя, — по начальству. На дуэль же не выходили, а с нашим братом, с штафиркой, считали бы дуэль во всяком случае неприличною, — да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти вершков росту.

Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят; физической храбрости, право, хватило бы; но нравственной храбрости недостало. Я испугался того, что

меня все присутствующие, начиная с нахала маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивавшегося, с воротником из сала, — не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point d'honneur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о «пункте чести» не упоминается. Я вполне был уверен (чутье-то действительности, несмотря на весь романтизм!), что все они просто лопнут со смеха, а офицер не просто, то есть не безобидно, прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг биллиарда, и потом уж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли он меня. Должно быть, нет; заключаю по некоторым признакам. Но я-то, я, — смотрел на него со злобою и ненавистью, и так продолжалось... несколько лет-с! Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами. Сначала я, потихоньку, начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему, и вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры и за гривенник узнал у дворника, где он живет, в каком этаже, один или с кем-нибудь и т. д. — одним словом, всё, что можно узнать от дворника. Раз поутру, хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в абличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я абличил, даже поклеветал; фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в «Отечественные записки». Но тогда еще не было абличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться; в случае же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал «прекрасное и высокое», то непременно бы прибежал ко мне, чтоб броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как бы это было хорошо! Мы бы так зажили! так зажили! Он бы защищал меня своей сановитостью; я бы облагораживал его своей развитостью, ну и... идеями, и много кой-чего бы могло быть! Вообразите, что тогда прошло уже два года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но, слава богу (до сих пор благодарю всевышнего со слезами), я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню, что бы могло выйти, если б я послал.

И вдруг... и вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом! Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невский и гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлития желчи; но того-то мне, верно, и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, самым некрасивым образом, между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то барыням; я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука-мученская, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха, перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха, — всех умнее, всех развитее, всех благороднее, — это уж само собою, — но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя эту муку, для чего я ходил на Невский — не знаю? но меня просто *тянуло* туда при каждой возможности.

Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть: на Невском-то я его и встречал наиболее, там-то я и любовался им. Он тоже ходил туда более в праздники. Он хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особами сановитыми и тоже вилял, как вьюн, между ними, но таких, как наш брат, или даже почище нашего брата, он просто давил; шел прямо на них, как будто перед ним было пустое пространство, и ни в каком случае дороги не уступал. Я упивался моей злобой, на него глядя, и... озлобленно перед ним каждый раз сворачивал. Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на равной ноге. «Отчего ты непременно первый сворачиваешь? — приставал я сам к себе, в бешеной истерике, проснувшись иногда часу в третьем ночи. — Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет, ведь это нигде не написано? Ну пусть будет поровну, как обыкновенно бывает, когда деликатные люди встречаются: он уступит половину, и ты половину, вы и пройдете, взаимно уважая друг друга». Но так не было, и все-таки сворачивал я, а он даже и не замечал, что я ему уступаю. И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня. «А что, — вздумал я, — что, если встретиться с ним и... не посторониться? Нарочно не посторониться, хоть бы даже пришлось толкнуть его: а, каково это будет?» Дерзкая мысль эта мало-помалу до того овладела мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно, ужасно и нарочно чаще ходил на Невский, чтоб еще яснее себе представить, как я это сделаю, когда буду делать. Я был в восторге. Всё более и более мне казалось это намерение и вероятным и возможным. «Разумеется, не совсем толкнуть, — думал я, уже заранее добрея от радости, — а так, просто не

посторониться, состукнуться с ним, не так, чтобы очень больно, а так, плечо о плечо, ровно на столько, сколько определено приличием; так что на сколько он меня стукнет, на столько и я его стукну». Я решился наконец совершенно. Но приготовления взяли очень много времени. Первое то, что во время исполнения нужно было быть в более приличнейшем виде и позаботиться о костюме. «На всякий случай, если, например, завяжется публичная история (а публика-то тут суперфлю: графиня ходит, князь Д. ходит, вся литература ходит), нужно быть хорошо одетым; это внушает и прямо поставит нас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества». С этою целью я выпросил вперед жалованья и купил черные перчатки и порядочную шляпу у Чуркина. Черные перчатки казались мне и солиднее, и бонтоннее, чем лимонные, на которые я посягал сначала. «Цвет слишком резкий, слишком как будто хочет выставиться человек», и я не взял лимонных. Хорошую рубашку, с белыми костяными запонками, я уж давно приготовил; но задержала очень шинель. Сама-то по себе шинель моя очень была недурна, грела; но она была на вате, а воротник был енотовый, что составляло уже верх лакейства. Надо было переменить воротник во что бы ни стало и завести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по Гостиному двору и после нескольких попыток нацелился на один дешевый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала, с обновки, смотрят даже и очень прилично; а ведь мне только для одного разу и надо было. Спросил я цену: все-таки было дорого. По основательном рассуждении я решился продать мой енотовый воротник. Недостающую же и весьма для меня значительную сумму решился выпросить взаймы у Антона Антоныча Сеточкина, моего столоначальника, человека смиренного, но серьезного и положительного, никому не дававшего взаймы денег, но которому я был когда-то, при вступлении в должность, особенно рекомендован определившим меня на службу значительным лицом. Мучился я ужасно. Попросить денег у Антона Антоныча мне казалось чудовищным и постыдным. Я даже две-три ночи не спал, да и вообще я тогда мало спал, был в лихорадке; сердце у меня как-то смутно замирало или вдруг начинало прыгать, прыгать, прыгать!.. Антон Антонович сначала удивился, потом поморщился, потом рассудил и все-таки дал взаймы, взяв с меня расписку на право получения данных заимообразно денег через две недели из жалованья. Таким образом, всё было наконец готово; красивый бобрик воцарился на месте паскудного енота, и я начал помаленьку приступать к делу. Нельзя же было решиться с первого разу, зря; надо было это дело обделать умеючи, именно помаленьку. Но признаюсь, что после многократных попыток я даже было начал отчаиваться: не состукиваемся никак — да и только! Уж я ль не приготовлялся, я ль не намеревался, — кажется, вот-вот сейчас состукнемся, смотрю — и опять я уступил дорогу, а он и прошел,

не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему, чтоб бог вселил в меня решимость. Один раз я было и совсем уже решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение, на двухвершковом каком-нибудь расстоянии, не хватило духу. Он преспокойно прошел по мне, и я, как мячик, отлетел в сторону. В эту ночь я был опять болен в лихорадке и бредил. И вдруг всё закончилось как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного намерения и всё оставить втуне и с этою целью в последний раз вышел на Невский, чтобы только так посмотреть, — как это я оставлю всё это втуне? Вдруг, в трех шагах от врага моего, я неожиданно решился, зажмурил глаза и — мы плотно стукнулись плечо о плечо! Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге! Он даже и не оглянулся и сделал вид, что не заметил; но он только вид сделал, я уверен в этом. Я до сих пор в этом уверен! Разумеется, мне досталось больше; он был сильнее, но не в том было дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на шаг и публично поставил себя с ним на равной социальной ноге. Воротился я домой совершенно отмщенный за всё. Я был в восторге. Я торжествовал и пел итальянские арии. Разумеется, я вам не буду описывать того, что произошло со мной через три дня; если читали мою первую главу «Подполье», то можете сами догадаться. Офицера потом куда-то перевели; лет уже четырнадцать я его теперь не видал. Что-то он теперь, мой голубчик? Кого давит?

## II

Но кончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние, я его гнал: слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однако же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал, то есть не то что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, всё примирявший, это — спасаться во «всё прекрасное и высокое», конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол, и уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который, в смятении куриного сердца, пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем. Моего десятивершкового поручика я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда. Что такое были мои мечты и как мог я ими довольствоваться — об этом трудно сказать теперь, но тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты особенно слаще и сильнее приходили ко мне после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось, ей-богу. Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо

верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством всё это вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, *совсем готовой* (какой именно — я никогда не знал, но, главное, — совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет божий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второстепенной роли я и понять не мог и вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь, средины не было. Это-то меня и сгубило, потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собой грязь: обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться, следственно, можно грязниться. Замечательно, что эти приливы «всего прекрасного и высокого» приходили ко мне и во время развратика, и именно тогда, когда я уже на самом дне находился, приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли, однако ж, развратика своим появлением; напротив, как будто подживляли его контрастом и приходили ровно на столько, сколько было нужно для хорошего соуса. Соус тут состоял из противоречия и страдания, из мучительного внутреннего анализа, и все эти мученья и мученьица и придавали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику, — одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Всё это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный, писарский развратишко и вынести на себе всю эту грязь! Что ж бы могло тогда в ней прельстить меня и выманить ночью на улицу? Нет-с, у меня была благородная лазейка на всё...

Но сколько любви, господи, сколько любви переживал я, бывало, в этих мечтах моих, в этих «спасеньях во всё прекрасное и высокое»: хоть и фантастической любви, хоть и никогда ни к чему человеческому на деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом, на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать: излишняя б уж это роскошь была. Всё, впрочем, преблагополучно всегда оканчивалось ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я всех их прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много «прекрасного и высокого», чего-то манфредовского. Все плачут и целуют меня (иначе что же бы они были за болваны), а я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем. Затем

играется марш, выдается амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию; затем бал для всей Италии на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо, так как озеро Комо нарочно переносится для этого случая в Рим; затем сцена в кустах и т. д., и т. д. — будто не знаете? Вы скажете, что пошло и подло выводить всё это теперь на рынок, после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего же подло-с? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого и что всё это было глупее хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни? И к тому же поверьте, что у меня кой-что было вовсе недурно составлено... Не всё же происходило на озере Комо. А впрочем, вы правы; действительно, и пошло и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться. А еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь: всё будет одно другого подлее...

Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столоначальнику, Антону Антонычу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь, и я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству. Но и к нему я ходил разве только тогда, когда уж наступала такая полоса, а мечты мои доходили до такого счастия, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством; а для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности, действительно существующего. К Антону Антонычу надо было, впрочем, являться по вторникам (его день), следственно, и подгонять потребность обняться со всем человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антоныч у Пяти углов, в четвертом этаже и в четырех комнатках, низеньких и мал мала меньше, имевших самый экономический и желтенький вид. Были у него две дочери и их тетка, разливавшая чай. Дочкам — одной было тринадцать, а другой четырнадцать лет, обе были курносенькие, и я их ужасно конфузился, потому что они всё шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в кабинете, на кожаном диване, перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновником из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше двух-трех гостей, и все тех же самых, я никогда там не видывал. Толковали про акциз, про торги в Сенате, о жалованье, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравиться и проч., и проч. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком часа по четыре и их слушать, сам не смея и не умея ни об чем с ними заговорить. Я тупел, по нескольку раз принимался потеть, надо мной носился паралич; но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством.

Был, впрочем, у меня и еще как будто один знакомый, Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у меня было, пожалуй, и много в Петербурге, но я с ними не водился и даже

перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтоб не быть вместе с ними и разом отрезать со всем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы! Одним словом, с товарищами я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставались два-три человека, с которыми я еще кланялся, встречаясь. В том числе был и Симонов, который в школе у нас ничем не отличался, был ровен и тих, но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность. Даже не думаю, что он был очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты, но недолго продолжались и как-то вдруг задернулись туманом. Он, видимо, тяготился этими воспоминаниями и, кажется, всё боялся, что я впаду в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен, но все-таки ходил к нему, не уверенный в том наверно.

Вот однажды, в четверг, не выдержав моего одиночества и зная, что в четверг у Антона Антоныча дверь заперта, я вспомнил о Симонове. Подымаясь к нему в четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мною и что напрасно я это иду. Но так как кончалось всегда тем, что подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в двусмысленное положение, то я и вошел. Был почти год, как я последний раз перед тем видел Симонова.

## III

Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, по-видимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не видался с ними уж годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе, хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уж очень опустился, ходил в дурном платье и проч., что в их глазах составляло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу. Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Всё это меня озадачило; я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали.

Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обеде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща, отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицером. Мосье Зверков был всё время и моим школьным товарищем. Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький, резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик.

Учился он всегда постоянно плохо и чем дальше, тем хуже; однако ж вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство, двести душ, а так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени, но, однако ж, добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные, фантастические и фразерские формы чести и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. Притом же как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, несомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык; я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо (на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое *умное*) и развязно-офицерские приемы сороковых годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами (он не решался начинать с женщинами, не имея еще офицерских эполет, и ждал их с нетерпением) и о том, как он поминутно будет выходить на дуэли. Помню, как я, всегда молчаливый, вдруг сцепился с Зверковым, когда он, толкуя раз в свободное время с товарищами о будущей клубничке и разыгравшись наконец как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это — droit de seigneur,[1] а мужиков, если осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им, бородатым канальям, вдвое наложит оброку. Наши хамы аплодировали, я же сцепился и вовсе не из жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявке так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков, хоть и глуп был, но был весел и дерзок, а потому отсмеялся и даже так, что я, по правде, не совсем и одолел: смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы, а как-то так, шутя, мимоходом, смеясь. Я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он было сделал ко мне шаг; я не очень противился, потому что мне это польстило; но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменно-поручичьих успехах, о том, как он *кутит*. Потом пошли другие слухи — о том, как он *успевает* по службе. На улице он мне уже не кланялся, и я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь с такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, хотя был по-прежнему довольно красив и ловок; как-то отек, стал жиреть; видно было, что к тридцати годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то уезжавшему наконец

[1] право владельца *(франц.)*.

Зверкову и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно все три года водились с ним, хотя сами, внутренно, не считали себя с ним на равной ноге, я уверен в этом.

Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин, из русских немцев, — маленький ростом, с обезьяньим лицом, всех пересмеивающий глупец, злейший враг мой еще с низших классов, — подлый, дерзкий, фанфаронишка и игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста, с холодною физиономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился каким-то дальним родственником, и это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что; обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно.

— Что ж, коль по семи рублей, — заговорил Трудолюбов, — нас трое, двадцать один *рупь*, — можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит.

— Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, — решил Симонов.

— Неужели ж вы думаете, — заносчиво и с пылкостию ввязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала барина, — неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? Из деликатности примет, но зато от себя *полдюжины* выставит.

— Ну, куда нам четверым полдюжины, — заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину.

— Так, трое, с Зверковым четверо, двадцать один рубль в Hôtel de Paris, завтра в пять часов, — окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем.

— Как же двадцать один? — сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись, — если считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей.

Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением.

— Разве вы тоже хотите? — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знает меня наизусть.

— Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ, и, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли, — заклокотал было я опять.

— А где вас было искать? — грубо ввязался Ферфичкин.

— Вы всегда были не в ладах с Зверковым, — прибавил Трудолюбов нахмурившись. Но я уж ухватился и не выпускал.

— Мне кажется, об этом никто не вправе судить, — возразил я с дрожью в голосе, точно и бог знает что случилось. — Именно

потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах.

— Ну, кто вас поймет... возвышенности-то эти... — усмехнулся Трудолюбов.

— Вас запишут, — решил, обращаясь ко мне, Симонов, — завтра в пять часов, в Hôtel de Paris; не ошибитесь.

— Деньги-то! — начал было Ферфичкин вполголоса, кивая на меня Симонову, но осекся, потому что даже Симонов сконфузился.

— Довольно, — сказал Трудолюбов, вставая. — Если ему так уж очень захотелось, пусть придет.

— Да ведь у нас кружок свой, приятельский, — злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. — Это не официальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим...

Они ушли; Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился, Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал.

— Гм... да... так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтоб верно знать, — пробормотал он сконфузившись.

Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда.

— Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда... и мне очень досадно, что я забыл...

— Хорошо, хорошо, всё равно. Расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только, чтоб знать... Вы, пожалуйста...

Он осекся и стал ходить по комнате с еще большей досадой. Шагая, он начал становиться на каблуки и при этом сильнее топать.

— Я вас не задерживаю ли? — спросил я после двухминутного молчанья.

— О нет! — встрепенулся он вдруг, — то есть, по правде, — да. Видите ли, мне еще бы надо зайти... Тут недалеко... — прибавил он каким-то извиняющимся голосом и отчасти стыдясь.

— Ах, боже мой! Что же вы не ска-же-те! — вскрикнул я, схватив фуражку, с удивительно, впрочем, развязным видом, бог знает откуда налетевшим.

— Это ведь недалеко... Тут два шага... — повторял Симонов, провожая меня до передней с суетливым видом, который ему вовсе не шел. — Так завтра в пять часов ровно! — крикнул он мне на лестницу: очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве.

— Ведь дернуло же, дернуло же выскочить! — скрежетал я зубами, шагая по улице, — и этакому подлецу, поросенку, Зверкову! Разумеется, не надо ехать; разумеется, наплевать: что я, связан, что ли? Завтра же уведомлю Симонова по городской почте...

Но потому-то я и бесился, что наверно знал, что поеду; что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду.

И даже препятствие положительное было не ехать: денег не было. Всего-навсего лежало у меня девять рублей. Но из них семь надо было отдать завтра же месячного жалованья Аполлону, моему слуге, который жил у меня за семь рублей на своих харчах.

Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона. Но об этой каналье, об этой язве моей, я когда-нибудь после поговорю.

Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, а непременно поеду.

В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Не мудрено: весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни, и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия, — сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на всё озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить; я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмущала. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой; а между тем какие глупые у них самих были лица! В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Чрез несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Не оскорбленное тщеславие подбивало меня к тому, и, ради бога, не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенными возражениями: «что я только мечтал, а они уж и тогда действительную жизнь понимали». Ничего они не понимали, никакой действительной жизни, и, клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Всё, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности; разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них даже из-за разврата; но непривлекательна была в них даже и свежесть и проявлялась в каком-то ёрничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они

мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения. Но я уже не желал их любви; напротив, я постоянно жаждал их унижения. Чтоб избавить себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которых они не могли читать, и понимал такие вещи (не входившие в состав нашего специального курса), о которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись, тем более что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал: с летами развивалась потребность в людях, в друзьях. Я попробовал было начать сближаться с иными; но всегда это сближение выходило неестественно и так само собой и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, — точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить; мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, к которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклясть прошлое и прахом его посыпать... И черт знает зачем после того я потащился к этому Симонову!..

Утром я рано схватился с постели, вскочил с волнением, точно всё это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает и непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки, что ли, но мне всю жизнь, при всяком внешнем, хотя бы мельчайшем событии, всё казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни. Я, впрочем, отправился в должность по-обыкновенному, но улизнул домой двумя часами раньше, чтоб приготовиться. Главное, думал я, надо приехать не первым, а то подумают, что я уж очень обрадовался. Но таких главных вещей были тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги; Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их два раза в день, находя, что это не порядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтоб он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что всё старо, потерто, заношено. Слишком я уж обнеряшился. Вицмундир, пожалуй, был исправен, но не в вицмундире же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на

самой коленке было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня девять десятых собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать. «Но теперь не до думанья; теперь наступает действительность», — думал я и падал духом. Знал я тоже отлично, тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличиваю; но что же было делать: совладать я с собой уж не мог, и меня трясла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот «подлец» Зверков; с каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица Трудолюбов; как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявка Ферфичкин, чтоб подслужиться Зверкову; как отлично поймет про себя всё это Симонов и как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия, и, главное, — как всё это будет мизерно, не *литературно*, обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать. Но это-то уж было больше всего невозможно: уж когда меня начинало тянуть, так уж я так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом: «А что, струсил, струсил *действительности,* струсил!» Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой «шушере», что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того: в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя — ну хоть «за возвышенность мыслей и несомненное остроумие». Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на *ты,* но что всего было злее и обиднее для меня, это, что я тогда же знал, знал вполне и наверно, что ничего мне этого, в сущности, не надо, что, в сущности, я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать и что за весь-то результат, если б только я и достиг его, я сам, первый, гроша бы не дал. О, как я молил бога, чтоб уж прошел поскорее этот день! В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега...

Наконец на моих дрянных стенных часишках прошипело пять. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, — который еще с утра всё ждал от меня выдачи жалованья, но по гордости своей не хотел заговорить первый, — скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил барином к Hôtel de Paris.

## IV

Я еще накануне знал, что приеду первый. Но уж дело было не в первенстве.

Их не только никого не было, но я даже едва отыскал нашу комнату. На столе было еще не совсем накрыто. Что же это значило? После многих расспросов я добился наконец от слуг, что

обед заказан к шести часам, а не к пяти. Это подтвердили и в буфете. Даже стыдно стало расспрашивать. Было еще только двадцать пять минут шестого. Если они переменили час, то во всяком случае должны же были известить; на то городская почта, а не подвергать меня «позору» и перед собой и... и хоть перед слугами. Я сел; слуга стал накрывать; при нем стало как-то еще обиднее. К шести часам, кроме горевших ламп, в комнату внесены были свечи. Слуга не подумал, однако ж, внести их тотчас же, как я приехал. В соседней комнате обедали, на разных столах, два каких-то мрачных посетителя, сердитые с виду и молчавшие. В одной из дальних комнат было очень шумно; даже кричали; слышен был хохот целой ватаги людей; слышались какие-то скверные французские взвизги: обед был с дамами. Одним словом, было очень тошно. Редко я проводил более скверную минуту, так что когда они, ровно в шесть часов, явились все разом, я, на первый миг, обрадовался им как каким-то освободителям и чуть не забыл, что обязан смотреть обиженным.

Зверков вошел впереди всех, видимо предводительствуя. И он и все они смеялись; но, увидя меня, Зверков приосанился, подошел неторопливо, несколько перегибаясь в талье, точно кокетничая, и подал мне руку, ласково, но не очень, с какой-то осторожной, чуть не генеральской вежливостию, точно, подавая руку, оберегал себя от чего-то. Я воображал, напротив, что он, тотчас же как войдет, захохочет своим прежним хохотом, тоненьким и со взвизгами, и с первых же слов пойдут плоские его шутки и остроты. К ним-то я и готовился еще с вечера, но никак уж не ожидал я такого свысока, такой превосходительной ласки. Стало быть, он уж вполне считал себя теперь неизмеримо выше меня во всех отношениях? Если б он только обидеть меня хотел этим генеральством, то ничего еще, думал я; я бы как-нибудь там отплевался. Но что, если и в самом деле, без всякого желанья обидеть, в его баранью башку серьезно заползла идейка, что он неизмеримо выше меня и может на меня смотреть не иначе, как только с покровительством? От одного этого предположения я уже стал задыхаться.

— Я с удивлением узнал о вашем желании участвовать с нами, — начал он, сюсюкивая и пришепетывая, и растягивая слова, чего прежде с ним не бывало. — Мы с вами как-то всё не встречались. Вы нас дичитесь. Напрасно. Мы не так страшны, как вам кажется. Ну-с, во всяком случае рад во-зоб-но-вить...

И он небрежно повернулся положить на окно шляпу.

— Давно ждете? — спросил Трудолюбов.

— Я приехал ровно в пять часов, как мне вчера назначили, — отвечал я громко и с раздражением, обещавшим близкий взрыв.

— Разве ты не дал ему знать, что переменили часы? — оборотился Трудолюбов к Симонову.

— Не дал. Забыл, — отвечал тот, но без всякого раскаяния и, даже не извинившись передо мной, пошел распоряжаться закуской.

— Так вы здесь уж час, ах, бедный! — вскрикнул насмешливо Зверков, потому что, по его понятиям, это действительно должно было быть ужасно смешно. За ним, подленьким, звонким, как у собачонки, голоском закатился подлец Ферфичкин. Очень уж и ему показалось смешно и конфузно мое положение.

— Это вовсе не смешно! — закричал я Ферфичкину, раздражаясь всё более и более, — виноваты другие, а не я. Мне пренебрегли дать знать. Это-это-это... просто нелепо.

— Не только нелепо, а и еще что-нибудь, — проворчал Трудолюбов, наивно за меня заступаясь. — Вы уж слишком мягки. Просто невежливость. Конечно, не умышленная. И как это Симонов... гм!

— Если б со мной этак сыграли, — заметил Ферфичкин, — я бы...

— Да вы бы велели себе что-нибудь подать, — перебил Зверков, — или просто спросили бы обедать не дожидаясь.

— Согласитесь, что я бы мог это сделать без всякого позволения, — отрезал я. — Если я ждал, то...

— Садимся, господа, — закричал вошедший Симонов, — всё готово; за шампанское отвечаю, отлично заморожено... Ведь я вашей квартиры не знал, где ж вас отыскивать? — оборотился он вдруг ко мне, но опять как-то не глядя на меня. Очевидно, он имел что-то против. Знать, после вчерашнего надумался.

Все сели; сел и я. Стол был круглый. По левую руку от меня пришелся Трудолюбов, по правую Симонов. Зверков сел напротив; Ферфичкин подле него, между ним и Трудолюбовым.

— Ска-а-ажите, вы... в департаменте? — продолжал заниматься мною Зверков. Видя, что я сконфужен, он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. «Что ж он, хочет, что ли, чтоб я в него бутылкой пустил», — подумал я в бешенстве. Раздражался я, с непривычки, как-то неестественно скоро.

— В ...й канцелярии, — ответил я отрывисто, глядя в тарелку.

— И... ввам ввыгодно? Ска-ажите, что вас паанудило оставить прежнюю службу?

— То и па-а-анудило, что захотелось оставить прежнюю службу, — протянул я втрое больше, уже почти не владея собою. Ферфичкин фыркнул. Симонов иронически посмотрел на меня; Трудолюбов остановился есть и стал меня рассматривать с любопытством.

Зверкова покоробило, но он не хотел заметить.

— Ну-у-у, а как ваше содержание?

— Какое это содержание?

— То есть ж-жалованье?

— Да что вы меня экзаменуете!

Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалованья. Я ужасно краснел.

— Небогато, — важно заметил Зверков.

— Да-с, нельзя в кафе-ресторанах обедать! — нагло прибавил Ферфичкин.

— По-моему, так даже просто бедно, — серьезно заметил Трудолюбов.

— И как вы похудели, как переменились... с тех пор... — прибавил Зверков, уже не без яду, с каким-то нахальным сожалением, рассматривая меня и мой костюм.

— Да полно конфузить-то, — хихикая, вскрикнул Ферфичкин.

— Милостивый государь, знайте, что я не конфужусь, — прорвался я наконец, — слышите-с! Я обедаю здесь, «в кафе-ресторане», на свои деньги, на свои, а не на чужие, заметьте это, monsieur Ферфичкин.

— Ка-ак! кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как будто... — вцепился Ферфичкин, покраснев, как рак, и с остервенением смотря мне в глаза.

— Та-ак, — отвечал я, чувствуя, что далеко зашел, — и полагаю, что лучше бы нам заняться разговором поумней.

— Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать?

— Не беспокойтесь, это было бы совершенно здесь лишнее.

— Да вы это что, сударь вы мой, раскудахтались — а? вы не с ума ли уж спятили, в вашем *л*епартаменте?

— Довольно, господа, довольно! — закричал всевластно Зверков.

— Как это глупо! — проворчал Симонов.

— Действительно, глупо, мы собрались в дружеской компании, чтоб проводить в вояж доброго приятеля, а вы считаетесь, — заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне одному. — Вы к нам сами вчера напросились, не расстраивайте же общей гармонии...

— Довольно, довольно, — кричал Зверков. — Перестаньте, господа, это нейдет. А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился...

И вот начался какой-то пашквиль о том, как этот господин третьего дня чуть не женился. О женитьбе, впрочем, не было ни слова, но в рассказе всё мелькали генералы, полковники и даже камер-юнкеры, а Зверков между ними чуть не в главе. Начался одобрительный смех; Ферфичкин даже взвизгивал.

Все меня бросили, и я сидел раздавленный и уничтоженный. «Господи, мое ли это общество! — думал я. — И каким дураком я выставил себя сам перед ними! Я, однако ж, много позволил Ферфичкину. Думают балбесы, что честь мне сделали, дав место за своим столом, тогда как не понимают, что это я, я им делаю честь, а не мне они! „Похудел! Костюм!“ О проклятые панталоны! Зверков еще давеча заметил желтое пятно на коленке... Да чего тут! Сейчас же, сию минуту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова... Из презренья! А завтра хоть на дуэль. Подлецы. Ведь не семи же рублей мне жалеть. Пожалуй, поду-

мают... Черт возьми! Не жаль мне семи рублей! Сию минуту ухожу!..»

Разумеется, я остался.

Я пил с горя лафит и херес стаканами. С непривычки быстро хмелел, а с хмелем росла и досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом и потом уж уйти. Улучить минуту и показать себя — пусть же скажут: хоть и смешон, да умен... и... и... одним словом, черт с ними!

Я нагло обвел их всех осоловелыми глазами. Но они точно уж меня позабыли совсем. У *них* было шумно, крикливо, весело. Говорил всё Зверков. Я начал прислушиваться. Зверков рассказывал о какой-то пышной даме, которую он довел-таки наконец до признанья (разумеется, лгал, как лошадь), и что в этом деле особенно помогал ему его интимный друг, какой-то князек, гусар Коля, у которого три тысячи душ.

— А между тем этого Коли, у которого три тысячи душ, здесь нет как нет проводить-то вас, — ввязался я вдруг в разговор. На минуту все замолчали.

— Вы уж о сю пору пьяны, — согласился наконец заметить меня Трудолюбов, презрительно накосясь в мою сторону. Зверков молча рассматривал меня, как букашку. Я опустил глаза. Симонов поскорей начал разливать шампанское.

Трудолюбов поднял бокал, за ним все, кроме меня.

— Твое здоровье и счастливого пути! — крикнул он Зверкову; — за старые годы, господа, за наше будущее, ура!

Все выпили и полезли целоваться с Зверковым. Я не трогался; полный бокал стоял передо мной непочатый.

— А вы разве не станете пить? — заревел потерявший терпение Трудолюбов, грозно обращаясь ко мне.

— Я хочу сказать спич с своей стороны, особо... и тогда выпью, господин Трудолюбов.

— Противная злючка! — проворчал Симонов.

Я выпрямился на стуле и взял бокал в лихорадке, готовясь к чему-то необыкновенному и сам еще не зная, что именно я скажу.

— Silence! [1] — крикнул Ферфичкин. — То-то ума-то будет! — Зверков ждал очень серьезно, понимая, в чем дело.

— Господин поручик Зверков, — начал я, — знайте, что я ненавижу фразу, фразеров и тальи с перехватами... Это первый пункт, а за сим последует второй.

Все сильно пошевелились.

— Второй пункт: ненавижу клубничку и клубничников. И особенно клубничников!

— Третий пункт: люблю правду, искренность и честность, — продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уж леденеть от ужаса, не понимая, как это я так говорю... — Я люблю мысль, мсье Зверков; я люблю настоящее товарищество, на равной

[1] Тише! *(франц.)*

ноге, а не... гм... Я люблю... А впрочем, отчего ж? И я выпью за ваше здоровье, мсье Зверков. Прельщайте черкешенок, стреляйте врагов отечества и... и... За ваше здоровье, мсье Зверков!

Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал:

— Очень вам благодарен.

Он был ужасно обижен и даже побледнел.

— Черт возьми, — заревел Трудолюбов, ударив по столу кулаком.

— Нет-с, за это по роже бьют! — взвизгнул Ферфичкин.

— Выгнать его надо! — проворчал Симонов.

— Ни слова, господа, ни жеста! — торжественно крикнул Зверков, останавливая общее негодованье. — Благодарю вас всех, но я сам сумею доказать ему, насколько ценю его слова.

— Господин Ферфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворенье за ваши сейчашние слова! — громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину.

— То есть дуэль-с? Извольте, — отвечал тот, но, верно, я был так смешон, вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все, а за всеми и Ферфичкин, так и легли со смеху.

— Да, конечно, бросить его! Ведь совсем уж пьян! — с омерзением проговорил Трудолюбов.

— Никогда не прощу себе, что его записал! — проворчал опять Симонов.

«Вот теперь бы и пустить бутылкой во всех», — подумал я, взял бутылку и... налил себе полный стакан.

«...Нет, лучше досижу до конца! — продолжал я думать, — вы были бы рады, господа, чтоб я ушел. Ни за что. Нарочно буду сидеть и пить до конца, в знак того, что не придаю вам ни малейшей важности. Буду сидеть и пить, потому что здесь кабак, а я деньги за вход заплатил. Буду сидеть и пить, потому что вас за пешек считаю, за пешек несуществующих. Буду сидеть и пить... и петь, если захочу, да-с, и петь, потому что право такое имею... чтоб петь... гм».

Но я не пел. Я старался только ни на кого из них не глядеть; принимал независимейшие позы и с нетерпеньем ждал, когда со мной они сами, *первые*, заговорят. Но, увы, они не заговорили. И как бы, как бы я желал в эту минуту с ними помириться! Пробило восемь часов, наконец девять. Они перешли со стола на диван. Зверков разлегся на кушетке, положив одну ногу на круглый столик. Туда перенесли и вино. Он действительно выставил им три бутылки своих. Меня, разумеется, не пригласил. Все обсели его на диване. Они слушали его чуть не с благоговеньем. Видно было, что его любили. «За что? за что?» — думал я про себя. Изредка они приходили в пьяный восторг и целовались. Они говорили о Кавказе, о том, что такое истинная страсть, о гальбике, о выгодных местах по службе; о том, сколько доходу у гусара Подхаржевского, которого никто из них не знал лично, и радовались, что у него много доходу; о необыкновенной красоте и грации княгини Д—й,

которую тоже никто из них никогда не видал; наконец дошло до того, что Шекспир бессмертен.

Я презрительно улыбался и ходил по другую сторону комнаты, прямо против дивана, вдоль стены, от стола до печки и обратно. Всеми силами я хотел показать, что могу и без них обойтись; а между тем нарочно стучал сапогами, становясь на каблуки. Но всё было напрасно. *Они-то* и не обращали внимания. Я имел терпенье проходить так, прямо перед ними, с восьми до одиннадцати часов, всё по одному и тому же месту, от стола до печки и от печки обратно к столу. «Так хожу себе, и никто не может мне запретить». Входивший в комнату слуга несколько раз останавливался смотреть на меня; от частых оборотов у меня кружилась голова; минутами мне казалось, что я в бреду. В эти три часа я три раза вспотел и просох. Порой с глубочайшею, с ядовитою болью вонзалась в мое сердце мысль: что пройдет десять лет, двадцать лет, сорок лет, а я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и с унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уж невозможно, и я вполне, вполне понимал это и все-таки продолжал ходить от стола до печки и обратно. «О, если б вы только знали, на какие чувства и мысли способен я и как я развит!» — думал я минутами, мысленно обращаясь к дивану, где сидели враги мои. Но враги мои вели себя так, как будто меня и не было в комнате. Раз, один только раз они обернулись ко мне, именно когда Зверков заговорил о Шекспире, а я вдруг презрительно захохотал. Я так выделанно и гадко фыркнул, что они все разом прервали разговор и молча наблюдали минуты две, серьезно, не смеясь, как я хожу по стенке, от стола до печки, и как я *не обращаю на них никакого внимания.* Но ничего не вышло: они не заговорили и через две минуты опять меня бросили. Пробило одиннадцать.

— Господа, — закричал Зверков, подымаясь с дивана, — теперь все *туда.*

— Конечно, конечно! — заговорили другие.

Я круто поворотил к Зверкову. Я был до того измучен, до того изломан, что хоть зарезаться, а покончить! У меня была лихорадка; смоченные потом волосы присохли ко лбу и вискам.

— Зверков! я прошу у вас прощенья, — сказал я резко и решительно, — Ферфичкин, и у вас тоже, у всех, у всех, я обидел всех!

— Ага! дуэль-то не свой брат! — ядовито прошипел Ферфичкин.

Меня больно резнуло по сердцу.

— Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин! Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения. Я даже настаиваю на этом, и вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на воздух.

— Сам себя тешит, — заметил Симонов.

— Просто сбрендил! — отозвался Трудолюбов.

— Да позвольте пройти, что вы поперек дороги стали!.. Ну чего вам надобно? — презрительно отвечал Зверков. Все они были красные; глаза у всех блистали: много пили.

— Я прошу вашей дружбы, Зверков, я вас обидел, но...

— Обидели? В-вы! Ми-ня! Знайте, милостивый государь, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете *меня* обидеть!

— И довольно с вас, прочь! — скрепил Трудолюбов. —Едем.

— Олимпия моя, господа, уговор! — крикнул Зверков.

— Не оспариваем! не оспариваем! — отвечали ему смеясь.

Я стоял оплеванный. Ватага шумно выходила из комнаты, Трудолюбов затянул какую-то глупую песню. Симонов остался на крошечную минутку, чтоб дать на чай слугам. Я вдруг подошел к нему.

— Симонов! дайте мне шесть рублей! — сказал я решительно и отчаянно.

Он поглядел на меня в чрезвычайном изумлении какими-то тупыми глазами. Он тоже был пьян.

— Да разве вы и *туда* с нами?

— Да!

— У меня денег нет! — отрезал он, презрительно усмехнулся и пошел из комнаты.

Я схватил его за шинель. Это был кошмар.

— Симонов! я видел у вас деньги, зачем вы мне отказываете? Разве я подлец? Берегитесь мне отказать: если б вы знали, если б вы знали, для чего я прошу! От этого зависит всё, всё мое будущее, все мои планы...

Симонов вынул деньги и чуть не бросил их мне.

— Возьмите, если вы так бессовестны! — безжалостно проговорил он и побежал догонять их.

Я остался на минуту один. Беспорядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце и, наконец, лакей, всё видевший и всё слышавший и любопытно заглядывавший мне в глаза.

— *Туда!* — вскрикнул я. — Или они все на коленах, обнимая ноги мои, будут вымаливать моей дружбы, или... или я дам Зверкову пощечину!

## V

— Так вот оно, так вот оно наконец столкновенье-то с действительностью, — бормотал я, сбегая стремглав с лестницы. — Это, знать, уж не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию; это, знать, уж не бал на озере Комо!

«Подлец ты! — пронеслось в моей голове, — коли над этим теперь смеешься».

— Пусть! — крикнул я, отвечая себе. — Теперь ведь уж всё погибло!

Их уж и след простыл; но всё равно: я знал, куда они поехали.

У крыльца стоял одинокий ванька, ночник, в сермяге, весь запорошенный всё еще валившимся мокрым и как будто теплым снегом. Было парно и душно. Маленькая лохматая, пегая лошаденка его была тоже вся запорошёна и кашляла; я это очень помню. Я бросился в лубошные санки; но только было я занес ногу, чтоб сесть, воспоминание о том, как Симонов сейчас давал мне шесть рублей, так и подкосило меня, и я, как мешок, повалился в санки.

— Нет! Надо много сделать, чтоб всё это выкупить! — прокричал я, — но я выкуплю или в эту же ночь погибну на месте. Пошел!

Мы тронулись. Целый вихрь кружился в моей голове.

«На коленах умолять о моей дружбе — они не станут. Это мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический и фантастический; тот же бал на озере Комо. И потому я *должен* дать Зверкову пощечину! Я обязан дать. Итак, решено; я лечу теперь дать ему пощечину».

— Погоняй!

Ванька задергал вожжами.

«Как войду, так и дам. Надобно ли сказать перед пощечиной несколько слов в виде предисловия? Нет! Просто войду и дам. Они все будут сидеть в зале, а он на диване с Олимпией. Проклятая Олимпия! Она смеялась раз над моим лицом и отказалась от меня. Я оттаскаю Олимпию за волосы, а Зверкова за уши! Нет, лучше за одно ухо и за ухо проведу его по всей комнате. Они, может быть, все начнут меня бить и вытолкают. Это даже наверно. Пусть! Всё же я первый дал пощечину: моя инициатива; а по законам чести — это всё; он уже заклеймен и никакими побоями уж не смоет с себя пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться. Да и пусть они теперь бьют меня. Пусть, неблагородные! Особенно будет бить Трудолюбов: он такой сильный; Ферфичкин прицепится сбоку и непременно за волосы, наверно. Но пусть, пусть! Я на то пошел. Их бараньи башки принуждены же будут раскусить наконец во всем этом трагическое! Когда они будут тащить меня к дверям, я закричу им, что, в сущности, они не стоят моего одного мизинца».

— Погоняй, извозчик, погоняй! — закричал я на ваньку. Он даже вздрогнул и взмахнул кнутом. Очень уж дико я крикнул.

«На рассвете деремся, это уж решено. С департаментом кончено. Ферфичкин сказал давеча вместо департамента — лепартамент. Но где взять пистолетов? Вздор! Я возьму вперед жалованья и куплю. А пороху, а пуль? Это дело секунданта. И как успеть всё это к рассвету? И где я возьму секунданта? У меня нет знакомых...»

— Вздор! — крикнул я, взвихриваясь еще больше, — вздор!

«Первый встречный на улице, к которому я обращусь, обязан быть моим секундантом точно так же, как вытащить из воды

утопающего. Самые эксцентрические случаи должны быть допущены. Да если б я самого даже директора завтра попросил в секунданты, то и тот должен бы был согласиться из одного рыцарского чувства и сохранить тайну! Антон Антоныч...»

Дело в том, что в ту же самую минуту мне яснее и ярче, чем кому бы то ни было во всем мире, представлялась вся гнуснейшая нелепость моих предположений и весь оборот медали, но...

— Погоняй, извозчик, погоняй, шельмец, погоняй!

— Эх, барин! — проговорила земская сила.

Холод вдруг обдал меня.

«А не лучше ли... а не лучше ли... прямо теперь же домой? О боже мой! зачем, зачем вчера я вызвался на этот обед! Но нет, невозможно! А прогулка-то три часа от стола до печки? Нет, они, они, а не кто другой должны расплатиться со мною за эту прогулку! Они должны смыть это бесчестие!»

— Погоняй!

«А что, если они меня в часть отдадут? Не посмеют! Скандала побоятся. А что, если Зверков из презренья откажется от дуэли? Это даже наверно; но я докажу им тогда... Я брошусь тогда на почтовый двор, когда он будет завтра уезжать, схвачу его за ногу, сорву с него шинель, когда он будет в повозку влезать. Я зубами вцеплюсь ему в руку, я укушу его. „Смотрите все, до чего можно довести отчаянного человека!" Пусть он бьет меня в голову, а все они сзади. Я всей публике закричу: „Смотрите, вот молодой щенок, который едет пленять черкешенок с моим плевком на лице!"

Разумеется, после этого всё уже кончено! Департамент исчез с лица земли. Меня схватят, меня будут судить, меня выгонят из службы, посадят в острог, пошлют в Сибирь, на поселение. Нужды нет! Через пятнадцать лет я потащусь за ним в рубище, нищим, когда меня выпустят из острога. Я отыщу его где-нибудь в губернском городе. Он будет женат и счастлив. У него будет взрослая дочь... Я скажу: „Смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище! Я потерял всё — карьеру, счастье, искусство, науку, *любимую женщину*, и всё из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и... и прощаю тебя". Тут я выстрелю на воздух, и обо мне ни слуху ни духу...»

Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что всё это из Сильвио и из «Маскарада» Лермонтова. И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из саней и стал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня.

Что было делать? И туда было нельзя — выходил вздор; и оставить дела нельзя, потому что уж тут выйдет... Господи! Как же это можно оставить! И после таких обид!»

— Нет! — вскликнул я, снова кидаясь в сани, — это предназначено, это рок! погоняй, погоняй, туда!

И в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею.

— Да что ты, чего дерешься? — закричал мужичонка, стегая, однако ж, клячу, так что та начала лягаться задними ногами.

Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него. Я забыл всё прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уж *непременно сейчас,* теперь случится, и *уж никакими силами остановить нельзя.* Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстух и там таял; я не закрывался: ведь уж и без того всё было потеряно! Наконец мы подъехали. Я выскочил почти без памяти, взбежал по ступенькам и начал стучать в дверь руками и ногами. Особенно ноги, в коленках, у меня ужасно слабели. Как-то скоро отворили; точно знали о моем приезде. (Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один, а здесь надо было предуведомлять и вообще брать предосторожности. Это был один из тех тогдашних «модных магазинов», которые давно уже теперь истреблены полицией. Днем и в самом деле это был магазин; а по вечерам имеющим рекомендацию можно было приезжать в гости.) Я прошел скорыми шагами через темную лавку в знакомый мне зал, где горела всего одна свечка, и остановился в недоумении: никого не было.

— Где же они? — спросил я кого-то.

Но они, разумеется, уже успели разойтись...

Передо мной стояла одна личность, с глупой улыбкой, сама хозяйка, отчасти меня знавшая. Через минуту отворилась дверь, и вошла другая личность.

Не обращая ни на что внимания, я шагал по комнате и, кажется, говорил сам с собой. Я был точно от смерти спасен и всем существом своим радостно это предчувствовал: ведь я бы дал пощечину, я бы непременно, непременно дал пощечину! Но теперь их нет и... всё исчезло, всё переменилось!.. Я оглядывался. Я еще не мог сообразить. Машинально я взглянул на вошедшую девушку: передо мной мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо, с прямыми темными бровями, с серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне это тотчас же понравилось; я бы возненавидел ее, если б она улыбалась. Я стал вглядываться пристальнее и как бы с усилием: мысли еще не все собрались. Что-то простодушное и доброе было в этом лице, но как-то до странности серьезное. Я уверен, что она этим здесь проигрывала, и из тех дураков ее никто не заметил. Впрочем, она не могла назваться красавицей, хоть и была высокого роста, сильна, хорошо сложена. Одета чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня; я подошел прямо к ней...

Я случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным: бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. «Это пусть, этому я рад, — подумал я, — я именно рад, что покажусь ей отвратительным; мне это приятно...»

## VI

...Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, — захрипели часы. После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон, — точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытьи.

В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и заброcанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, — было почти совсем темно. Огарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма.

Я приходил в себя недолго; всё разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтоб опять накинуться. Да и в самом забытьи все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было: всё, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь, по пробуждении, уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого.

В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мной и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно-безучастный, угрюмый, точно совсем чужой; тяжело от него было.

Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжение двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным; даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало наконец отчего-то жутко.

— Как тебя зовут? — спросил я отрывисто, чтоб поскорей кончить.

— Лизой, — ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо и отвела глаза.

Я помолчал.

— Сегодня погода... снег... гадко! — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок.

Она не отвечала. Безобразно всё это было.

— Ты здешняя? — спросил я через минуту, почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову.

— Нет.
— Откуда?
— Из Риги, — проговорила она нехотя.
— Немка?
— Русская.
— Давно здесь?
— Где?
— В доме.
— Две недели. — Она говорила всё отрывистее и отрывистее. Свечка совершенно потухла; я не мог уже различать ее лица.
— Отец и мать есть?
— Да... нет... есть.
— Где они?
— Там... в Риге.
— Кто они?
— Так...
— Как так? Кто, какого звания?
— Мещане.
— Ты всё с ними жила?
— Да.
— Сколько тебе лет?
— Двадцать.
— Зачем же ты от них ушла?
— Так...

Это *так* означало: отвяжись, тошно. Мы замолчали.

Бог знает почему я не уходил. Мне самому становилось всё тошнее и тоскливее. Образы всего прошедшего дня как-то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность.

— Сегодня гроб выносили и чуть не уронили, — вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора, а так, почти нечаянно.

— Гроб?
— Да, на Сенной; выносили из подвала.
— Из подвала?
— Не из подвала, а из подвального этажа... ну знаешь... там внизу... из дурного дома... Грязь такая была кругом... Скорлупа, сор... пахло... мерзко было.

Молчание.

— Скверно сегодня хоронить! — начал я опять, чтобы только не молчать.
— Чем скверно?
— Снег, мокрять... (Я зевнул.)
— Всё равно, — вдруг сказала она после некоторого молчания.
— Нет, гадко... (Я опять зевнул.) Могильщики, верно, ругались, оттого что снег мочил. А в могиле, верно, была вода.
— Отчего в могиле вода? — спросила она с каким-то любопыт-

ством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать.

— Как же, вода, на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы, на Волковом, сухой не выроешь.

— Отчего?

— Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам... много раз...

(Ни одного разу я не видал, да и на Волковом никогда не был, а только слышал, как рассказывали.)

— Неужели тебе всё равно, умирать-то?

— Да зачем я помру? — отвечала она, как бы защищаясь.

— Когда-нибудь да умрешь же, и так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была... тоже девушка одна... В чахотке померла.

— Девка в больнице бы померла... (Она уж об этом знает, подумал я, — и сказала: девка, а не девушка.)

— Она хозяйке должна была, — возразил я, всё более и более подзадориваясь спором, — и до самого почти конца ей служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие. Смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. (Я и тут много приврал.)

Молчание, глубокое молчание. Она даже не шевелилась.

— А в больнице-то лучше, что ль, помирать?

— Не всё ль одно?.. Да с чего мне помирать? — прибавила она раздражительно.

— Не теперь, так потом?

— Ну и потом...

— Как бы не так! Ты вот теперь молода, хороша, свежа — тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь.

— Через год?

— Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена, — продолжал я с злорадством. — Ты и перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом. Еще через год — в третий дом, всё ниже и ниже, а лет через семь и дойдешь на Сенной до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь, ну, там слабость груди... аль сама простудишься, али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь.

— Ну и помру, — ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась.

— Да ведь жалко.

— Кого?

— Жизни жалко.

Молчанье.

— У тебя был жених? а?

— Вам на что?

— Да я тебя не допытываю. Мне что. Чего ты сердишься?

У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так, жаль.

— Кого?

— Тебя жаль.

— Нечего... — шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась.

Меня это тотчас же подозлило. Как! я так было кротко с ней, а она...

— Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а?

— Ничего я не думаю.

— То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша; могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть...

— Не все замужем-то счастливые, — отрезала она прежней грубой скороговоркой.

— Не все, конечно, — а все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше. А с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша, хорошо жить на свете, даже как бы ни жить. А здесь что, кроме... смрада. Фуй!

Я повернулся с омерзеньем; я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные *идейки*, в углу выжитые, жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель «явилась».

— Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, — поспешил я все-таки оправдать себя. — К тому ж мужчина женщине совсем не пример. Дело розное; я хоть и гажу себя и мараю, да зато ничей я не раб; был да пошел, и нет меня. Стряхнул с себя и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала — раба. Да, раба! Ты всё отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет: всё крепче и крепче тебя будут опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй, а вот скажи-ка: ведь ты, наверно, уж хозяйке должна? Ну, вот видишь! — прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча, всем существом своим слушала; — вот тебе и цепь! Уж никогда не откупишься. Так сделают. Всё равно что черту душу...

...И к тому ж я... может быть, тоже такой же несчастный, почем ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя: ну, а я вот здесь — с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего: вот мы с тобой... сошлись... давеча, и слова мы во всё время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дикая, уж потом рассматривать стала; и я тебя также. Разве эдак любят? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что!

— Да! — резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого *да*. Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала? Значит, и она уже способна к некоторым мыслям?..

«Черт возьми, это любопытно, это — *сродни,* — думал я, — чуть не потирая себе руки. — Да и как с молодой такой душой не справиться?..»

Более всего меня игра увлекала.

Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалось мне в темноте, подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыханье.

— Зачем ты сюда приехала? — начал я уже с некоторою властью.

— Так...

— А ведь как хорошо в отцовском-то бы доме жить! Тепло, привольно; гнездо свое.

— А коль того хуже?

«В тон надо попасть, — мелькнуло во мне, — сантиментальностью-то, пожалуй, не много возьмешь».

Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством.

— Кто говорит! — поспешил я ответить, — всё бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел и скорей перед тобой виноваты, чем ты перед *ними.* Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадет...

— Какая такая я девушка? — прошептала она едва слышно; но я расслышал.

«Черт возьми, да я льщу. Это гадко. А может, и хорошо...» Она молчала.

— Видишь, Лиза, — я про себя скажу! Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы ни было в семье худо — всё отец с матерью, а не враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос; оттого, верно, такой и вышел... бесчувственный.

Я выждал опять.

«Пожалуй, и не понимает, — думал я, — да и смешно — мораль».

— Если б я был отец и была б у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил, право, — начал я сбоку, точно не об том, чтоб развлечь ее. Признаюсь, я краснел.

— Это зачем? — спросила она.

А, стало быть, слушает!

— Так; не знаю, Лиза. Видишь: я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаивал, руки-ноги ее целовал, налюбоваться не мог, право. Она танцует на вечере, а он стоит пять часов на одном месте, с нее глаз не спускает. Помешался на ней; я это понимаю. Она ночью устанет — заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам в сюртучишке засаленном ходит, для всех скупой, а ей

из последнего покупает, подарки дарит богатые, и уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить! А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал.

— Да как же? — спросила она, чуть-чуть усмехнувшись.

— Ревновал бы, ей-богу. Ну, как это другого она станет целовать? чужого больше отца любить? Тяжело это и вообразить. Конечно, всё это вздор; конечно, всякий под конец образумится. Но я б, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил: всех бы женихов перебраковал. А кончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семьях худа бывает.

— Другие-то продать рады дочь, не то что честью отдать, — проговорила она вдруг.

А! вон оно что!

— Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни бога, ни любви не бывает, — с жаром подхватил я, — а где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда, да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видала добра, что так говоришь. Подлинно несчастная ты какая-нибудь. Гм... Больше по бедности всё это бывает.

— А у господ-то лучше, что ль? И по бедности честные люди хорошо живут.

— Гм... да. Может быть. Опять и то, Лиза: человек только свое горе любит считать, а счастья своего не считает. А счел бы как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну, а что, коли в семье всё удастся, бог благословит, муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя! хорошо в той семье! Даже иной раз и с горем пополам хорошо; да и где горя нет? Выйдешь, может, замуж, *сама узнаешь*. Зато взять хоть первое-то время замужем за тем, кого любишь: счастья-то, счастья-то сколько иной раз придет! да и сплошь да рядом. В первое-то время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право; я знал такую: «Так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй». Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? Всё больше женщины. А сама про себя думает: «Зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить». И в доме все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно... Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда, — я знал одну, — не стерпит, да в самую ночь и выскочит, да и бежит потихоньку смотреть: не там ли, не в том ли доме, не с той ли? Это уж худо. И сама знает, что худо, и сердце у ней замирает и казнится, да ведь любит; всё от любви. А как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повиниться али простить! И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет, — точно вновь они встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась. И никто-то,

никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, — мать родную, и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь — тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло. Святее от этого, лучше. Друг друга больше уважают, а на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить! Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж человек добрый и честный удастся, так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда, а там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся, все дела свои сообща положут; тайны друг от друга не будет. А дети пойдут, так тут каждое, хоть и самое трудное время счастьем покажется; только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело. Ведь они ж тебя будут за это потом любить; себе же, значит, копишь. Дети растут, — чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка; что и умрешь ты, они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе, так как от тебя получили, твой образ и подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись тесней отцу с матерью? Говорят вот, детей иметь тяжело? Кто это говорит? Это счастье небесное! Любишь ты маленьких детей, Лиза? я ужасно люблю. Знаешь — розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет, да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит! Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится; ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно, глазки, точно уж он всё понимает. А сосет — грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет, — оторвется от груди, перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется, — точно уж и бог знает как смешно, — и опять, опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь, коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками-то косит на нее: «Видишь, прикусил!» Да разве не всё тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок, вместе? За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знать самому сначала нужно жить выучиться, а потом уж других обвинять!

«Картинками, вот этими-то картинками тебя надо! — подумал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил, и вдруг покраснел.— А ну если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу?» — Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее.

— Чтой-то вы... — начала она вдруг и остановилась.

Но я уже всё понял: в ее голосе уже что-то другое дрожало, не резкое, не грубое и несдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое, до того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновато стало.

— Что? — спросил я с нежным любопытством.

— Да вы...

— Что?

— Что-то вы... точно как по книге, — сказала она, и что-то как будто насмешливое вдруг опять послышалось в ее голосе. Больно ущипнуло меня это замечанье. Я не того ожидал.

Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу и которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала, в несколько приемов, к своей насмешке, и наконец только решилась высказать, я бы должен был догадаться. Но я не догадался, и злое чувство обхватило меня.

«Постой же», — подумал я.

## VII

— Э, полно, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко вчуже. Да и не вчуже. У меня всё это теперь в душе проснулось... Неужели, неужели тебе самой не гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка! Черт знает, что привычка может из человека сделать. Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не состареешься, вечно хороша будешь и что тебя здесь веки вечные держать будут? Я не говорю уж про то, что и здесь пакость... А впрочем, я вот что тебе про это скажу, про теперешнее-то твое житье: вот ты теперь хоть и молодая, пригожая, хорошая, с душой, с чувством; ну, а знаешь ли ты, что вот я, как только давеча очнулся, мне тотчас и гадко стало быть здесь с тобой! Только в пьяном виде ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, живи, как добрые люди живут, так я, может быть, не то что волочился б за тобой, а просто влюбился б в тебя, рад бы взгляду был твоему, не то что слову; у ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал; как на невесту б свою на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про тебя что-нибудь нечистое не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистни, и ты, хочешь не хочешь, иди за мной, и уж не я с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работники — все-таки не всего себя закабалит, да и знает, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только: что ты здесь отдаешь? что кабалишь? Душу, душу, в которой ты невластна, кабалишь вместе с телом! Любовь свою на поругание всякому пьянице отдаешь! Любовь! — да ведь это всё, да ведь это алмаз, девичье сокровище, любовь-то! Ведь чтоб заслужить эту любовь, иной готов душу положить, на смерть пойти. А во что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком, и зачем уж тут любви добиваться, когда и без любви всё возможно. Да ведь обиды сильнее для девушки нет, понимаешь ли ты? Вот, слышал я, тешат вас, дур, — позволяют вам

любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, один обман, один смех над вами, а вы верите. Что он, в самом деле, что ли, любит тебя, любовник-то? Не верю. Как он будет любить, коли знает, что тебя от него сейчас кликнут. Пакостник он после этого! Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он над тобой да тебя же обкрадывает — вот и вся его любовь! Хорошо еще, что не бьет. А может, и бьет. Спроси-ка его, коли есть такой у тебя: женится ли он на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет иль не прибьет, — а ему самому, может, всей-то цены — два сломанных гроша. И за что, подумаешь, ты здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поят да кормят сытно? Да ведь для чего кормят-то? У другой бы, честной, в горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормят. Ты здесь должна, ну и всё будешь должна и до конца концов должна будешь, до тех самых пор, что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет, не надейся на молодость. Тут ведь это всё на почтовых летит. Тебя и вытолкают. Да и не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут, попрекать начнут, ругать начнут, — как будто не ты ей здоровье свое отдала, молодость и душу даром для нее загубила, а как будто ты-то ее и разорила, по миру пустила, обокрала. И не жди поддержки: другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться, потому что здесь все в рабстве, совесть и жалость давно потеряли. Исподлились, и уж гаже, подлее, обиднее этих ругательств и на земле не бывает. И всё-то ты здесь положишь, всё, без завета, — и здоровье, и молодость, и красоту, и надежды, и в двадцать два года будешь смотреть как тридцатипятилетняя, и хорошо еще, коль не больная, моли бога за это. Ведь ты теперь небось думаешь, что тебе и работы нет, гульба! Да тяжеле и каторжнее работы на свете нет и никогда не бывало. Одно сердце, кажется, всё бы слезами изошло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда, пойдешь как виноватая. Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь и доберешься наконец до Сенной. А там уж походя бить начнут; это любезность тамошняя; там гость и приласкать, не прибив, не умеет. Ты не веришь. что там так противно? Ступай, посмотри когда-нибудь, может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну, у дверей. Ее вытолкали в насмешку свои же проморозить маленько за то, что уж очень ревела, а дверь за ней притворили. В девять-то часов утра она уж была совсем пьяная, растрепанная, полунагая, вся избитая. Сама набелена, а глаза в черняках; из носа и из зубов кровь течет: извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке, в руках у ней какая-то соленая рыба была; она ревела, что-то причитала про свою «учась», а рыбой колотила по лестничным ступеням. А у крыльца столпились извозчики да пьяные солдаты и дразнили ее. Ты не веришь, что и ты такая же будешь? И я бы не хотел верить, а почем ты знаешь, может быть, лет десять, восемь

назад, эта же самая, с соленой-то рыбой, — приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик, невинная, чистенькая; зла не знала, на каждом слове краснела. Может быть, такая же, как ты, была, гордая, обидчивая, на других не похожая, королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось? И что, если в ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяная да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние, чистые годы в отцовском доме, когда еще она в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу свою ей положит, и когда они вместе положили любить друг друга навеки и обвенчаться, только что вырастут большие! Нет, Лиза, счастье, счастье тебе, если где-нибудь там, в углу, в подвале, как давешняя, в чахотке поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты? Хорошо — свезут, а если ты еще хозяйке нужна? Чахотка такая болезнь; это не горячка. Тут до последней минуты человек надеется и говорит, что здоров. Сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно. Не беспокойся, это так; душу, значит, продала, а к тому же деньги должна, значит и пикнуть не смеешь. А умирать будешь, все тебя бросят, все отвернутся, — потому, что с тебя тогда взять? Еще тебя же попрекнут, что даром место занимаешь, не скоро помираешь. Пить не допросишься, с ругательством подадут: «Когда, дескать, ты, подлячка, издохнешь; спать мешаешь — стонешь, гости брезгают». Это верно; я сам подслушал такие слова. Сунут тебя, издыхающую, в самый смрадный угол в подвале, — темень, сырость; что ты, лежа-то одна, тогда передумаешь? Помрешь, — соберут наскоро, чужой рукой, с ворчаньем, с нетерпением, — никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнет по тебе, только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, как сегодня ту, бедную, выносили, в кабак поминать пойдут. В могиле слякоть, мразь, снег мокрый, — не для тебя же церемониться? «Спущай-ка ее, Ванюха; ишь ведь „учась" и тут верх ногами пошла, таковская. Укороти веревки-то, пострел». — «Ладно и так». — «Чего ладно? Ишь на боку лежит. Человек тоже был али нет? Ну да ладно, засыпай». И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорей мокрой синей глиной и уйдут в кабак... Тут и конец твоей памяти на земле; к другим дети на могилу ходят, отцы, мужья, а у тебя — ни слезы, ни вздоха, ни поминания, и никто-то, никто-то, никогда в целом мире не придет к тебе; имя твое исчезнет с лица земли — так, как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалось! Грязь да болото, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают, в гробовую крышу: «Пустите, добрые люди, на свет пожить! Я жила — жизни не видала, моя жизнь на обтирку пошла; ее в кабаке на Сенной пропили; пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить!..»

Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась, и... вдруг я остановился, приподнялся в испуге

и, наклонив боязливо голову, с бьющимся сердцем начал прислушиваться. Было от чего и смутиться.

Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце, и, чем больше я удостоверялся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели. Игра, игра увлекла меня; впрочем, не одна игра...

Я знал, что говорю туго, выделанно, даже книжно, одним словом, я иначе и не умел, как «точно по книжке». Но это не смущало меня; я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут и что самая эта книжность может еще больше подспорить делу. Но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния! Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Всё молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырывались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подушке: ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы. Я было начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею, и вдруг сам, весь в каком-то ознобе, почти в ужасе, бросился ощупью, кое-как наскоро сбираться в дорогу. Было темно: как ни старался я, но не мог кончить скоро. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату, Лиза вдруг вскочила, села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, почти бессмысленно посмотрела на меня. Я сел подле нее и взял ее руки; она опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мной голову.

— Лиза, друг мой, я напрасно... ты прости меня, — начал было я, — но она сжала в своих пальцах мои руки с такою силою, что я догадался, что не то говорю, и перестал.

— Вот мой адрес, Лиза, приходи ко мне.

— Приду... — прошептала она решительно, всё еще не подымая своей головы.

— А теперь я уйду, прощай... до свидания.

Я встал, встала и она и вдруг вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросила себе на плечи до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то болезненно улыбнулась, покраснела и странно поглядела на меня. Мне было больно; я спешил уйти, стушеваться.

— Подождите, — сказала она вдруг, уже в сенях у самых дверей, останавливая меня рукою за шинель, поставила впопыхах свечу и убежала, — видно, вспомнила про что-то или хотела мне принести показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели, на губах показалась улыбка, — что бы такое? Я поневоле

дождался; она воротилась через минуту, со взглядом, как будто просившим прощения за что-то. Вообще это уже было не то лицо, не тот взгляд, как давеча, — угрюмый, недоверчивый и упорный. Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, а вместе с тем доверчивый, ласковый, робкий. Так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят. Глаза у ней были светло-карие, прекрасные глаза, живые, умевшие отразить в себе и любовь, и угрюмую ненависть.

Не объясняя мне ничего, — как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать всё без объяснений, — она протянула мне бумажку. Всё лицо ее так и просияло в это мгновение самым наивным, почти детским торжеством. Я развернул. Это было письмо к ней от какого-то медицинского студента или в этом роде, — очень высокопарное, цветистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви. Не припомню теперь выражений, но помню очень хорошо, что сквозь высокий слог проглядывало истинное чувство, которого не подделаешь. Когда я дочитал, то встретил горячий, любопытный и детски-нетерпеливый взгляд ее на себе. Она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала — что я скажу? В нескольких словах, наскоро, но как-то радостно и как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере, в семейном доме, у одних «очень, очень хороших людей, *семейных людей* и где *ничего еще не знают,* совсем ничего», — потому что она и здесь-то еще только внове и только так... а вовсе еще не решилась остаться и непременно уйдет, как только долг заплатит... «Ну и там был этот студент, весь вечер танцевал, говорил с ней, и оказалось, что он еще в Риге, еще ребенком был с ней знаком, вместе играли, только уж очень давно, — и родителей ее знает, но что *об этом* он ничего-ничего-ничего не знает и не подозревает! И вот на другой день после танцев (три дня назад) он и прислал через приятельницу, с которой она на вечер ездила, это письмо... и... ну вот и всё».

Она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать.

Бедненькая, она хранила письмо этого студента как драгоценность и сбегала за этой единственной своей драгоценностью, не желая, чтоб я ушел, не узнав о том, что и ее любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно. Наверно, этому письму так и суждено было пролежать в шкатулке без последствий. Но всё равно; я уверен, что она всю жизнь его хранила бы как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание, и вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтоб наивно погордиться передо мной, восстановить себя в моих глазах, чтоб и я видел, чтоб и я похвалил. Я ничего не сказал, пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти... Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег всё еще валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении. Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина!

## VIII

Я, впрочем, не скоро согласился признать эту истину. Проснувшись наутро после нескольких часов глубокого, свинцового сна и тотчас же сообразив весь вчерашний день, я даже изумился моей вчерашней *сантиментальности* с Лизой, всем этим «вчерашним ужасам и жалостям». «Ведь нападет же такое бабье расстройство нервов, тьфу! — порешил я. — И на что это мой адрес всучил я ей? Что, если она придет? А впрочем, пожалуй, пусть и придет; ничего...» Но, *очевидно,* главное и самое важное дело теперь было не в этом: надо было спешить и во что бы ни стало скорее спасать мою репутацию в глазах Зверкова и Симонова. Вот в чем было главное дело. А про Лизу я даже совсем и забыл в это утро, захлопотавшись.

Прежде всего надо было немедленно отдать вчерашний долг Симонову. Я решился на отчаянное средство: занять целых пятнадцать рублей у Антона Антоновича. Как нарочно, он был в это утро в прекраснейшем расположении духа и тотчас же выдал, по первой просьбе. Я так этому обрадовался, что, подписывая расписку, с каким-то ухарским видом, *небрежно* сообщил ему, что вчера «покутили с приятелями в Hôtel de Paris; провожали товарища, даже, можно сказать, друга детства, и, знаете, — кутила он большой, избалован, — ну, разумеется, хорошей фамилии, значительное состояние, блестящая карьера, остроумен, мил, интригует с этими дамами, понимаете: выпили лишних „полдюжины“ и...» И ведь ничего; произносилось всё это очень легко, развязно и самодовольно.

Придя домой, я немедленно написал Симонову.

До сих пор любуюсь, вспоминая истинно джентльменский, добродушный, открытый тон моего письма. Ловко и благородно, а, главное, совершенно без лишних слов, я обвинил себя во всем. Оправдывался я, «если только позволительно мне еще оправдываться», тем, что, по совершенной непривычке к вину, опьянел с первой рюмки, которую (будто бы) выпил еще до них, когда поджидал их в Hôtel de Paris с пяти до шести часов. Извинения просил я преимущественно у Симонова; его же просил передать мои объяснения и всем другим, особенно Зверкову, которого, «помнится мне, как сквозь сон», я, кажется, оскорбил. Я прибавлял, что и сам бы ко всем поехал, да голова болит, а пуще всего — совестно. Особенно доволен остался я этой «некоторой легкостью», даже чуть не небрежностию (впрочем, совершенно приличною), которая вдруг отразилась в моем пере и лучше всех возможных резонов, сразу, давала им понять, что я смотрю «на всю эту вчерашнюю гадость» довольно независимо; совсем-таки, вовсе-таки не убит наповал, как вы, господа, вероятно, думаете, а напротив, смотрю так, как следует смотреть на это спокойно уважающему себя джентльмену. Быль, дескать, молодцу не укор.

— Даже ведь какая-то игривость маркизская? — любовался я, перечитывая записку. — А всё оттого, что развитой и образованный человек! Другие бы на моем месте не знали, как и выпутаться, а я вот вывернулся и кучу́ себе вновь, и всё потому, что «образованный и развитой человек нашего времени». Да и впрямь, пожалуй, это всё от вина вчера произошло. Гм... ну нет, не от вина. Водки-то я вовсе не пил, от пяти-то до шести часов, когда их поджидал. Солгал Симонову; солгал бессовестно; да и теперь не совестно...

А впрочем, наплевать! Главное то, что отделался.

Я вложил в письмо шесть рублей, запечатал и упросил Аполлона снести к Симонову. Узнав, что в письме деньги, Аполлон стал почтительнее и согласился сходить. К вечеру я вышел пройтись. Голова у меня еще болела и кружилась со вчерашнего. Но чем более наступал вечер и чем гуще становились сумерки, тем более менялись и путались мои впечатления, а за ними и мысли. Что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести, не хотело умереть и сказывалось жгучей тоской. Толкался я больше по самым людным, промышленным улицам, по Мещанским, по Садовой, у Юсупова сада. Особенно любил я всегда прохаживаться по этим улицам в сумерки, именно когда там густеет толпа всякого прохожего, промышленного и ремесленного люду, с озабоченными до злости лицами, расходящаяся по домам с дневных заработков. Нравилась мне именно эта грошовая суетня, эта наглая прозаичность. В этот раз вся эта уличная толкотня еще больше меня раздражала. Я никак не мог с собой справиться, концов найти. Что-то подымалось, подымалось в душе беспрерывно, с болью, и не хотело угомониться. Совсем расстроенный я воротился домой. Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление.

Мучила меня постоянно мысль, что придет Лиза. Странно мне было то, что из всех этих вчерашних воспоминаний воспоминание о ней как-то особенно, как-то совсем отдельно меня мучило. Обо всем другом я к вечеру уже совсем успел забыть, рукой махнул и всё еще совершенно оставался доволен моим письмом к Симонову. Но тут я как-то уж не был доволен. Точно как будто я одной Лизой и мучился. «Что, если она придет? — думал я беспрерывно. — Ну что ж, ничего, пусть и придет. Гм. Скверно уж одно то, что она увидит, например, как я живу. Вчера я таким перед ней показался... героем... а теперь, гм! Это, впрочем, скверно, что я так опустился. Просто нищета в квартире. И я решился вчера ехать в таком платье обедать! А клеенчатый диван-то мой, из которого мочалка торчит! А халат-то мой, которым нельзя закрыться! Какие клочья... И она это всё увидит; и Аполлона увидит. Эта скотина, наверно, ее оскорбит. Он придерется к ней, чтоб мне сделать грубость. А я уж, разумеется, по обычаю, струшу, семенить перед ней начну, закрываться полами халата, улыбаться начну, лгать начну. У, скверность! Да и не в этом главная-то скверность! Тут есть что-то главнее, гаже, подлее!

да, подлее! И опять, опять надевать эту бесчестную лживую маску!..»

Дойдя до этой мысли, я так и вспыхнул:

«Для чего бесчестную? Какую бесчестную? Я говорил вчера искренно. Я помню, во мне тоже было настоящее чувство. Я именно хотел вызвать в ней благородные чувства... если она поплакала, то это хорошо, это благотворно подействует...»

Но все-таки я никак не мог успокоиться.

Весь этот вечер, уже когда я и домой воротился, уже после девяти часов, когда, по расчету, никак не могла прийти Лиза, мне все-таки она мерещилась и, главное, вспоминалась всё в одном и том же положении. Именно один момент из всего вчерашнего мне особенно ярко представлялся: это когда я осветил спичкой комнату и увидал ее бледное, искривленное лицо, с мученическим взглядом. И какая жалкая, какая неестественная, какая искривленная улыбка у ней была в ту минуту! Но я еще не знал тогда, что и через пятнадцать лет я все-таки буду представлять себе Лизу именно с этой жалкой, искривленной, ненужной улыбкой, которая у ней была в ту минуту.

На другой день я уже опять готов был считать всё это вздором, развозившимися нервами, а главное — *преувеличением*. Я всегда сознавал эту мою слабую струнку и иногда очень боялся ее: «всё-то я преувеличиваю, тем и хромаю», — повторял я себе ежечасно. Но, впрочем, «впрочем, все-таки Лиза, пожалуй, придет» — вот припев, которым заключались все мои тогдашние рассуждения. До того я беспокоился, что приходил иногда в бешенство. «Придет! непременно придет! — восклицал я, бегая по комнате, — не сегодня, так завтра придет, а уж отыщет! И таков проклятый романтизм всех этих *чистых сердец*! О мерзость, о глупость, о ограниченность этих „поганых сентиментальных душ“! Ну, как не понять, как бы, кажется, не понять?..» — Но тут я сам останавливался и даже в большом смущении.

«И как мало, мало, — думал я мимоходом, — нужно было слов, как мало нужно было идиллии (да и идиллии-то еще напускной, книжной, сочиненной), чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то! То-то свежесть-то почвы!»

Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, «рассказать ей всё» и упросить ее не приходить ко мне. Но тут, при этой мысли, во мне подымалась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту «проклятую» Лизу, если б она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!

Прошел, однако ж, день, другой, третий — она не приходила, и я начинал успокоиваться. Особенно ободрялся и разгуливался я после девяти часов, даже начинал иногда мечтать и довольно сладко: «Я, например, спасаю Лизу, именно тем, что она ко мне ходит, а я ей говорю... Я ее развиваю, образовываю. Я, наконец, замечаю, что она меня любит, страстно любит. Я прикидываюсь,

что не понимаю (не знаю, впрочем, для чего прикидываюсь; так, для красы, вероятно). Наконец она, вся смущенная, прекрасная, дрожа и рыдая, бросается к ногам моим и говорит, что я ее спаситель и что она меня любит больше всего на свете. Я изумляюсь, но... „Лиза, — говорю я, — неужели ж ты думаешь, что я не заметил твоей любви? Я видел всё, я угадал, но я не смел посягать на твое сердце первый, потому что имел на тебя влияние и боялся, что ты, из благодарности, нарочно заставишь себя отвечать на любовь мою, сама насильно вызовешь в себе чувство, которого, может быть, нет, а я этого не хотел, потому что это... деспотизм... Это неделикатно (ну, одним словом, я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской, неизъяснимо благородной тонкости...). Но теперь, теперь — ты моя, ты мое созданье, ты чиста, прекрасна, ты — прекрасная жена моя.

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!“

Затем мы начинаем жить-поживать, едем за границу и т. д., и т. д.». Одним словом, самому подло становилось, и я кончал тем, что дразнил себя языком.

«Да и не пустят ее, „мерзавку“! — думал я. — Их ведь, кажется, гулять-то не очень пускают, тем более вечером (мне почему-то непременно казалось, что она должна прийти вечером и именно в семь часов). А впрочем, она сказала, что еще не совсем там закабалилась, на особых правах состоит; значит, гм! Черт возьми, придет, непременно придет!»

Хорошо еще, что развлекал меня в это время Аполлон своими грубостями. Из терпенья последнего выводил! Это была язва моя, бич, посланный на меня провиденьем. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! Никого в жизни я еще, кажется, так не ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти портняжеством. Но неизвестно почему, он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока. Взглянуть только на эту белобрысую, гладко причесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей, — и вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле; и при этом с самолюбием, приличным разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждый свой ноготь — непременно влюблен, он тем смотрел! Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной, а если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял

он свою должность с таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-нибудь делать. Сомнения быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всем свете, и если «держал меня при себе», то единственно потому только, что от меня можно было получать каждый месяц жалованье. Он соглашался «ничего не делать» у меня за семь рублей в месяц. Мне за него много простится грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришепетывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого, оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывало, начнет читать у себя за перегородкой Псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтенья. Но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ровным голосом, нараспев, точно как по мертвом. Любопытно, что он тем и кончил: он теперь нанимается читать Псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. Но тогда я не мог прогнать его, точно он был слит с существованием моим химически. К тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в шамбргарни: моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества, а Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его.

Задержать, например, его жалованье хоть два, хоть три дня было невозможно. Он бы такую завел историю, что я бы не знал, куда и деваться. Но в эти дни я до того был на всех озлоблен, что решился, почему-то и для чего-то, *наказать* Аполлона и не выдавать ему еще две недели жалованья. Я давно уж, года два, собирался это сделать — единственно чтоб доказать ему, что он не смеет так уж важничать надо мной и что если я захочу, то всегда могу не выдать ему жалованья. Я положил не говорить ему об этом и даже нарочно молчать, чтоб победить его гордость и заставить его самого, первого, заговорить о жалованье. Тогда я выну все семь рублей из ящика, покажу ему, что они у меня есть и нарочно отложены, но что я «не хочу, не хочу, просто не хочу выдать ему жалованье, не хочу, потому что *так хочу*», потому что на это «моя воля господская», потому что он непочтителен, потому что он грубиян; но что если он попросит почтительно, то я, пожалуй, смягчусь и дам; не то еще две недели прождет, три прождет, целый месяц прождет...

Но как я ни был зол, а все-таки он победил. Я и четырех дней не выдержал. Он начал с того, с чего всегда начинал в подобных случаях, потому что подобные случаи уже бывали, пробовались (и, замечу, я знал всё это заранее, я знал наизусть его подлую

тактику), именно: он начинал с того, что устремит, бывало, на меня чрезвычайно строгий взгляд, не спускает его несколько минут сряду, особенно встречая меня или провожая из дому. Если, например, я выдерживал и делал вид, что не замечаю этих взглядов, он, по-прежнему молча, приступал к дальнейшим истязаниям. Вдруг, бывало, ни с того ни с сего, войдет тихо и плавно в мою комнату, когда я хожу или читаю, остановится у дверей, заложит одну руку за спину, отставит ногу и устремит на меня свой взгляд, уж не то что строгий, а совсем презрительный. Если я вдруг спрошу его, что ему надо? — он не ответит ничего, продолжает смотреть на меня в упор еще несколько секунд, потом, как-то особенно сжав губы, с многозначительным видом, медленно повернется на месте и медленно уйдет в свою комнату. Часа через два вдруг опять выйдет и опять так же передо мной появится. Случалось, что я, в бешенстве, уж и не спрашивал его: чего ему надо? а просто сам резко и повелительно подымал голову и тоже начинал смотреть на него в упор. Так смотрим мы, бывало, друг на друга минуты две; наконец он повернется, медленно и важно, и уйдет опять на два часа.

Если я и этим всё еще не вразумлялся и продолжал бунтоваться, то он вдруг начнет вздыхать, на меня глядя, вздыхать долго, глубоко, точно измеряя одним этим вздохом всю глубину моего нравственного падения, и, разумеется, кончалось наконец тем, что он одолевал вполне: я бесился, кричал, но то, об чем дело шло, все-таки принуждаем был исполнить.

В этот же раз едва только начались обыкновенные маневры «строгих взглядов», как я тотчас же вышел из себя и в бешенстве на него накинулся. Слишком уж я был и без того раздражен.

— Стой! — закричал я в исступлении, когда он медленно и молча повертывался, с одной рукой за спиной, чтоб уйти в свою комнату, — стой! воротись, воротись, говорю я тебе! — и, должно быть, я так неестественно рявкнул, что он повернулся и даже с некоторым удивлением стал меня разглядывать. Впрочем, продолжал не говорить ни слова, а это-то меня и бесило.

— Как ты смеешь входить ко мне без спросу и так глядеть на меня? Отвечай!

Но посмотрев на меня спокойно с полминуты, он снова начал повертываться.

— Стой! — заревел я, подбегая к нему, — ни с места! Так. Отвечай теперь: чего ты входил смотреть?

— Если таперича вам есть что мне приказать, то мое дело исполнить, — отвечал он, опять-таки помолчав, тихо и размеренно сюсюкая, подняв брови и спокойно перегнув голову с одного плеча на другое, — и всё это с ужасающим спокойствием.

— Не об этом, не об этом я тебя спрашиваю, палач! — закричал я, трясясь от злобы. — Я скажу тебе, палач, сам, для чего ты приходишь сюда: ты видишь, что я не выдаю тебе жалованья, сам не хочешь, по гордости, поклониться — попросить, и для

того приходишь с своими глупыми взглядами меня наказывать, мучить, и не подозр-р-реваешь ты, палач, как это глупо, глупо, глупо, глупо, глупо!

Он было молча опять стал повертываться, но я ухватил его.

— Слушай, — кричал я ему. — Вот деньги, видишь; вот они! (я вынул их из столика) все семь рублей, но ты их не получишь, не на-алучишь до тех самых пор, пока не придешь почтительно, с повинной головой, просить у меня прощения. Слышал!

— Быть того не может! — отвечал он с какою-то неестественною самоуверенностью.

— Будет! — кричал я, — даю тебе честное слово мое, будет!

— И не в чем мне у вас прощения просить, — продолжал он, как бы совсем не замечая моих криков, — потому вы же обозвали меня «палачом», на чем я с вас могу в квартале всегда за обиду просить.

— Иди! Проси! — заревел я, — иди сейчас, сию минуту, сию секунду! А ты все-таки палач! палач! палач! — Но он только посмотрел на меня, затем повернулся и, уже не слушая призывных криков моих, плавно пошел к себе, не оборачиваясь.

«Если б не Лиза, не было б ничего этого!» — решил я про себя. Затем, постояв с минуту, важно и торжественно, но с медленно и сильно бьющимся сердцем, я отправился сам к нему за ширмы.

— Аполлон! — сказал я тихо и с расстановкой, но задыхаясь, — сходи тотчас же и нимало не медля за квартальным надзирателем!

Он было уж уселся тем временем за своим столом, надел очки и взял что-то шить. Но, услышав мое приказанье, вдруг фыркнул со смеху.

— Сейчас, сию минуту иди! — иди, или ты и не воображаешь, что будет!

— Подлинно вы не в своем уме, — заметил он, даже не подняв головы, так же медленно сюсюкая и продолжая вдевать нитку. — И где это видано, чтоб человек сам против себя за начальством ходил? А касательно страху, — напрасно только надсажаетесь, потому — ничего не будет.

— Иди! — визжал я, хватая его за плечо. Я чувствовал, что сейчас ударю его.

Но я и не слыхал, как в это мгновение вдруг дверь из сеней тихо и медленно отворилась и какая-то фигура вошла, остановилась и с недоумением начала нас разглядывать. Я взглянул, обмер со стыда и бросился в свою комнату. Там, схватив себя обеими руками за волосы, я прислонился головой к стене и замер в этом положении.

Минуты через две послышались медленные шаги Аполлона.

— Там *какая-то* вас спрашивает, — сказал он, особенно строго смотря на меня, потом посторонился и пропустил — Лизу. Он не хотел уходить и насмешливо нас рассматривал.

— Ступай! ступай! — командовал я ему потерявшись. В эту минуту мои часы принатужились, прошипели и пробили семь.

## IX

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

*Из той же поэзии*

Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами моего лохматого, ватного халатишки, — ну точь-в-точь, как еще недавно, в упадке духа, представлял себе. Аполлон, постояв над нами минуты две, ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что и она тоже вдруг сконфузилась, до того, что я даже и не ожидал. На меня глядя, разумеется.

— Садись, — сказал я машинально и придвинул ей стул возле стола, сам же сел на диван. Она тотчас же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза и, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта-то наивность ожидания и привела меня в бешенство, но я сдержал себя.

Тут-то бы и стараться ничего не замечать, как будто всё по-обыкновенному, а она... И я смутно почувствовал, что она дорого мне *за всё это* заплатит.

— Ты меня застала в странном положении, Лиза, — начал я, заикаясь и зная, что именно так-то и не надо начинать.

— Нет, нет, не думай чего-нибудь! — вскричал я, увидев, что она вдруг покраснела, — я не стыжусь моей бедности... Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден... Можно быть бедным и благородным, — бормотал я. — Впрочем... хочешь чаю?

— Нет... — начала было она.

— Подожди!

Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться.

— Аполлон, — зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним семь рублей, остававшиеся всё время в моем кулаке, — вот твое жалованье; видишь, я выдаю; но зато ты должен спасти меня: немедленно принеси из трактира чаю и десять сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека! Ты не знаешь, какая это женщина... Это — всё! Ты, может быть, что-нибудь думаешь... Но ты не знаешь, какая это женщина!..

Аполлон, уже усевшийся за работу и уже надевший опять очки, сначала, не покидая иглы, молча накосился на деньги; потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой, которую всё еще вдевал. Я ждал минуты три, стоя перед ним, с сложенными à la Napoléon [1] руками. Виски мои были смочены потом; сам я был бледен, я

[1] по-наполеоновски *(франц.)*.

чувствовал это. Но, слава богу, верно ему стало жалко, смотря на меня. Кончив с своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, медленно пересчитал деньги и наконец, спросив меня через плечо: взять ли полную порцию? медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорогой: не убежать ли так, как есть, в халатишке, куда глаза глядят, а там будь что будет.

Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали.

— Я убью его! — вскричал я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы.

— Ах, что вы это! — вскричала она, вздрогнув.

— Я убью его, убью его! — визжал я, стуча по столу, совершенно в исступлении и совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком исступлении.

— Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня. Он мой палач... Он пошел теперь за сухарями; он...

И вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипываний; но я уж их не мог удержать. Она испугалась.

— Что с вами! что это с вами! — вскрикивала она, суетясь около меня.

— Воды, подай мне воды, вон там! — бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, *представлялся*, чтоб спасти приличия, хотя припадок был и действительный.

Она подала мне воды, смотря на меня как потерянная. В эту минуту Аполлон внес чай. Мне вдруг показалось, что этот обыкновенный и прозаический чай ужасно неприличен и мизерен после всего, что было, и я покраснел. Лиза смотрела на Аполлона даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас.

— Лиза, ты презираешь меня? — сказал я, смотря на нее в упор, дрожа от нетерпения узнать, что она думает.

Она сконфузилась и не сумела ничего ответить.

— Пей чай! — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце; так бы и убил ее, кажется. Чтоб отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во всё время ни одного слова. «Она же всему причиною», — думал я.

Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе; мы до него не дотрогивались: я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтоб этим отяготить ее еще больше; ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости, и в то же время никак не мог удержать себя.

— Я оттуда... хочу... совсем выйти, — начала было она, чтобы как-нибудь прервать молчанье, но, бедная! именно об этом-то и не надо было начинать говорить в такую и без того глупую минуту, такому, и без того глупому, как я, человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на ее неумелость и ненужную прямоту. Но что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю жалость; даже еще подзадорило меня еще более: пропадай всё на свете! Прошло еще пять минут.

— Не помешала ли я вам? — начала она робко, чуть слышно, и стала вставать.

Но как только я увидал эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался.

— Для чего ты ко мне пришла, скажи ты мне, пожалуйста? — начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне хотелось всё разом высказать, залпом; я даже не заботился, с чего начинать.

— Зачем ты пришла? Отвечай! Отвечай! — вскрикивал я, едва помня себя. — Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла. Ты пришла потому, что я тебе тогда *жалкие слова* говорил. Ну вот ты и разнежилась и опять тебе «жалких слов» захотелось. Так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой. И теперь смеюсь. Чего ты дрожишь? Да, смеялся! Меня перед тем оскорбили, за обедом вот те, которые тогда передо мной приехали. Я приехал к вам с тем, чтоб исколотить одного из них, офицера; но не удалось, не застал; надо же было обиду на ком-нибудь выместить, свое взять, ты подвернулась, я над тобой и вылил зло и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить; меня в тряпку растерли, так и я власть захотел показать... Вот что было, а ты уж думала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? ты это думала? Ты это думала?

Я знал, что она, может быть, запутается и не поймет подробностей; но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так и случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то проговорить, губы ее болезненно искривились; но как будто ее топором подсекли, упала на стул. И всё время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм, цинизм моих слов придавил ее...

— Спасать! — продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате, — от чего спасать! Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе рацеи-то читал: «А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать?» Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей — вот чего надо мне было тогда! Я ведь и сам тогда не вынес, потому что я дрянь, перепугался и черт знает для чего дал тебе сдуру адрес. Так я потом, еще домой не дойдя, уж тебя ругал на чем свет стоит за этот адрес. Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал. Потому что я только на словах поиграть, в голове

помечтать, а на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ль ты это, или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй. Я вот дрожал эти три дня от страха, что ты придешь. А знаешь, что все эти три дня меня особенно беспокоило? А то, что вот я тогда героем таким перед тобой представился, а тут вот ты вдруг увидишь меня в этом рваном халатишке, нищего, гадкого. Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедности; так знай же, что стыжусь, больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебе никогда не прощу того, что ты застала меня в этом халатишке, когда я бросался, как злая собачонка, на Аполлона. Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая, лохматая шавка, на своего лакея, а тот смеется над ним! И слез давешних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу! И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда *тебе* не прощу! Да, — ты, одна ты за всё это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавец, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочной, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые, черт знает отчего, никогда не конфузятся; а вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать — и это моя черта! Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь! И какое, ну какое, какое дело мне до тебя и до того, погибаешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике!.. Чего ж тебе еще? Чего ж ты еще, после всего этого, торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь?

Но тут случилось вдруг странное обстоятельство.

Я до того привык думать и воображать всё по книжке и представлять себе всё на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что: Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив.

Испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением. Когда же я стал называть себя подлецом и мерзавцем и полились мои слезы (я проговорил всю эту тираду со слезами), всё лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела было встать, остановить меня; когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание: «Зачем ты здесь,

зачем не уходишь!» — а на то, что мне, должно быть, очень тяжело самому было всё это выговорить. Да и забитая она была такая, бедная; она считала себя бесконечно ниже меня; где ж ей было озлиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве и, вся стремясь ко мне, но всё еще робея и не смея сойти с места, протянула ко мне руки... Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало...

— Мне не дают... Я не могу быть... добрым! — едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замерла в этом объятии.

Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. И вот (я ведь омерзительную правду пишу), лежа ничком на диване, накрепко, и уткнув лицо в дрянную кожаную подушку мою, я начал помаленьку, издалека, невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лизе прямо в глаза. Чего мне было стыдно? — не знаю, но мне было стыдно. Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мной в ту ночь, — четыре дня назад... И всё это ко мне пришло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване!

Боже мой! да неужели ж я тогда ей позавидовал?

Не знаю, до сих пор еще не могу решить, а тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить... Но... но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следственно, и рассуждать нечего.

Я, однако ж, преодолел себя и приподнял голову; надобно ж было когда-нибудь поднять... И вот, я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство... чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. Как я ненавидел ее и как меня влекло к ней в эту минуту! Одно чувство усиливало другое. Это походило чуть не на мщение!.. На лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение. Она восторженно и горячо обняла меня.

## X

Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении по комнате, поминутно подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, склонив на кровать голову и, должно быть, плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже всё знала. Я оскорбил ее окончательно, но... нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти

был именно мщением, новым ей унижением, и что к давешней моей, почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже *личная, завистливая* к ней ненависть... А впрочем, не утверждаю, чтоб она это всё поняла отчетливо; но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий и, главное, не в состоянии любить ее.

Я знаю, мне скажут, что это невероятно, — невероятно быть таким злым, глупым, как я; пожалуй, еще прибавят, невероятно было не полюбить ее или по крайней мере не оценить этой любви. Отчего же невероятно? Во-первых, я и полюбить уж не мог, потому что, повторяю, любить у меня — значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел растлить себя нравственно, до того от «живой жизни» отвык, что давеча вздумал попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне «жалкие слова» слушать; а и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтоб жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается всё воскресение, всё спасение от какой бы то ни было гибели и всё возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате и в щелочку заглядывал за ширмы. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтоб она исчезла. «Спокойствия» я желал, остаться один в подполье желал. «Живая жизнь» с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно.

Но прошло еще несколько минут, а она всё еще не подымалась, как будто в забытьи была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтоб напомнить ей... Она вдруг встрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то... Через две минуты она медленно вышла из-за ширм и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно, *для приличия,* и отворотился от ее взгляда.

— Прощайте, — проговорила она, направляясь к двери.

Я вдруг подбежал к ней, схватил ее руку, разжал ее, вложил... и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся и отскочил поскорей в другой угол, чтоб не видеть по крайней мере...

Я хотел было сию минуту солгать — написать, что я сделал это нечаянно, не помня себя, потерявшись, сдуру. Но я не хочу лгать и потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее... со злости. Мне это пришло в голову сделать, когда я бегал взад и вперед по комнате, а она сидела за ширмами. Но вот что я наверно могу сказать: я сделал эту жестокость, хоть и нарочно,

но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, *книжная,* что я сам не выдержал даже минуты, — сначала отскочил в угол, чтоб не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой. Я отворил дверь в сени и стал прислушиваться.

— Лиза! Лиза! — крикнул я на лестницу, но несмело, вполголоса...

Ответа не было, мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступеньках.

— Лиза! — крикнул я громче.

Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело, с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестнице.

Она ушла. Я воротился в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было.

Я остановился у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минуту, вдруг я весь вздрогнул: прямо перед собой, на столе, я увидал... одним словом, я увидал смятую синюю пятирублевую бумажку, ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке. Это была *та* бумажка; другой и быть не могло; другой и в доме не было. Она, стало быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол.

Что ж? я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? Нет. Я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я, как безумный, бросился одеваться, накинул на себя, что успел впопыхах, и стремглав выбежал за ней. Она и двухсот шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу.

Было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было прохожих, никакого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я отбежал шагов двести до перекрестка и остановился.

«Куда пошла она? и зачем я бегу за ней? Зачем? Упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении! Я и хотел этого; вся грудь моя разрывалась на части, и никогда, никогда не вспомяну я равнодушно эту минуту. Но — зачем? — подумалось мне. — Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же, именно за то, что сегодня целовал ее ноги? Разве дам я ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять, в сотый раз, цены себе? Разве я не замучу ее!»

Я стоял на снегу, всматриваясь в мутную мглу, и думал об этом.

«И не лучше ль, не лучше ль будет, — фантазировал я уже дома, после, заглушая фантазиями живую сердечную боль, — не лучше ль будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление, — да ведь это очищение; это самое едкое и больное сознание! Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и

утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда, и как бы ни была гадка грязь, которая ее ожидает, — оскорбление возвысит и очистит ее... ненавистью... гм... может, и прощением... А, впрочем, легче ль ей от всего этого будет?»

А в самом деле: вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос: что лучше — дешевое ли счастие или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше?

Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной боли. Никогда я не выносил еще столько страдания и раскаяния; но разве могло быть хоть какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращусь с полдороги домой? Никогда больше я не встречал Лизу и ничего не слыхал о ней. Прибавлю тоже, что я надолго остался доволен *фразой* о пользе от оскорбления и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не заболел тогда от тоски.

Даже и теперь, через столько лет, всё это как-то слишком *нехорошо* мне припоминается. Многое мне теперь нехорошо припоминается, но... не кончить ли уж тут «Записки»? Мне кажется, я сделал ошибку, начав их писать. По крайней мере мне было стыдно, всё время как я писал эту *повесть*: стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, — ей-богу, не интересно; в романе надо героя, а тут *нарочно* собраны все черты для антигероя, а главное, всё это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую «живую жизнь» чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну, попробуйте, ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете: «Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить: „*все мы*“». Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим *всемством*. Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще «живее» вас выхожу. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется? Оставьте нас одних, без книжки,

и мы тотчас запутаемся, потеряемся, — не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться; что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся, — человеками с настоящим, *собственным* телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам всё более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно; не хочу я больше писать «из Подполья»...

Впрочем, здесь еще не кончаются «записки» этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться.

# КРОКОДИЛ

## НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОБЫТИЕ, ИЛИ ПАССАЖ В ПАССАЖЕ,

***справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка, и что из этого вышло***

Ohè, Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert? [1]

### I

Сего тринадцатого января текущего шестьдесят пятого года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в Пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда (не столько по болезни, сколько из любознательности) за границу, а следственно, уже считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. «Прекрасная идея, — сказал он вседовольно, — осмотрим крокодила! Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами», — и с сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в Пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом — в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро, — подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей! Войдя в Пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в не-

[1] Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера? *(франц.)*

большую комнату, мы заметили, что в ней кроме крокодила заключаются еще попугаи из иностранной породы какаду и, сверх того, группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, накрытый крепкою железною сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший, как бревно, совершенно без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства.

— Так это-то крокодил! — сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев, — а я думала, что он... какой-нибудь другой!

Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила, с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас.

— Он прав, — шепнул мне Иван Матвеич, — ибо сознает, что он один во всей России показывает теперь крокодила.

Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеичем, в других случаях весьма завистливым.

— Мне кажется, ваш крокодил не живой, — проговорила опять Елена Ивановна, пикированная неподатливостью хозяина, и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтоб преклонить сего грубияна, — маневр, столь свойственный женщинам.

— О нет, мадам, — отвечал тот ломаным русским языком и тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову.

Тогда коварное чудовище, чтоб показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопенью.

— Ну, не сердись, Карльхен! — ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии.

— Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась, — еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна, — теперь он мне будет сниться во сне.

— Но он вас не укусит во сне, мадам, — галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию слов своих, но никто из нас не отвечал ему.

— Пойдемте, Семен Семеныч, — продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне, — посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян; из них такие душки... а крокодил ужасен.

— О, не бойся, друг мой, — прокричал нам вслед Иван Матвеич, приятно храбрясь перед своею супругою. — Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает, — и остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его

вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами.

Таким образом, всё шло прекрасно и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства сих мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте; но, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро оборотился и — что же увидел я! Я увидел, — о боже! — я увидел несчастного Ивана Матвеича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг — и его не стало. Но опишу в подробности, потому что я всё время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. «Ибо, — думал я в ту роковую минуту, — что, если б вместо Ивана Матвеича случилось всё это со мной, — какова была бы тогда мне неприятность!» Но к делу. Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвеича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги; потом, отрыгнув немного Ивана Матвеича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы. Потом, отрыгнув еще, глотнул еще и еще раз. Таким образом Иван Матвеич видимо исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга и на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвеич со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба еще раз захотела вероломно подшутить над нами: крокодил понатужился, вероятно давясь от огромности проглоченного им предмета, снова раскрыл всю ужасную пасть свою, и из нее, в виде последней отрыжки, вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеича, с отчаянным выражением в лице, причем очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтоб еще раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но она не успела в своем намерении: крокодил вновь собрался с силами, глотнул — и вмиг она снова исчезла, в этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было так ужасно, но вместе с тем — от быстроты ли и неожиданности действия или вследствие падения с носу очков — заключало в себе что-то до того

смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул; но, спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тотчас же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей:

— Теперь капут нашему Ивану Матвеичу!

Не могу даже и подумать выразить, до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжение всего процесса. Сначала, после первого крика, она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму, по-видимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами; потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В это мгновение и хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо:

— О мой крокодиль, о мейн аллерлибстер Карльхен! Муттер, муттер, муттер!

На этот крик отворилась задняя дверь и показалась муттер, в чепце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу.

Тут-то начался содом: Елена Ивановна выкрикивала, как исступленная, одно только слово: «Вспороть! вспороть!» — и бросалась к хозяину и к муттер, по-видимому, упрашивая их — вероятно, в самозабвении — кого-то и за что-то вспороть. Хозяин же и муттер ни на кого из нас не обращали внимания: они оба выли, как телята, около ящика.

— Он пропадиль, он сейчас будет лопаль, потому что он проглатиль ганц чиновник! — кричал хозяин.

— Унзер Карльхен, унзер аллерлибстер Карльхен вирд штербен! — выла хозяйка.

— Мы сиротт и без клеб! — подхватывал хозяин.

— Вспороть, вспороть, вспороть! — заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца.

— Он дразниль крокодиль, — зачем ваш муж дразниль крокодиль! — кричал, отбиваясь, немец, — вы заплатит, если Карльхен вирд лопаль, — дас вар мейн зон, дас вар мейн айнцигер зон!

Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанной муттер; тем не менее беспрерывно повторяемые крики Елены Ивановны: «Вспороть, вспороть!» — еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли наконец всё мое внимание, так что я даже испугался... Скажу заранее — странные сии восклицания были поняты мною совершенно превратно: мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но тем не менее, желая отмстить за погибель любезного ей Ивана Матвеича, предлагала, в виде следуемого ей удовлетворения, наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и, главное, не употреблять щекотливого слова «вспороть». Ибо такое ретроградное желание здесь, в самом сердце Пассажа и обра-

зованного общества, в двух шагах от той самой залы, где, может быть, в эту самую минуту господин Лавров читал публичную лекцию, — не только было невозможно, но даже немыслимо и с минуты на минуту могло привлечь на нас свистки образованности и карикатуры г-на Степанова. К ужасу моему, я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих: вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодильную от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхнею частью тела вперед и весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтоб сохранить за собой право не заплатить за вход.

— Такое ретроградное желание, сударыня, — сказал незнакомец, стараясь не перевалиться как-нибудь к нам и устоять за порогом, — не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших...

Но он не докончил: опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростию бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я наконец догадался, что вся кутерьма вышла из ничего; Елена Ивановна оказалась совершенно невинною: она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтоб ему только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеича.

— Как! ви хатит, чтоб мой крокодиль пропадиль! — завопил вбежавший опять хозяин, — нетт, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодиль!.. Мейн фатер показаль крокодиль, мейн гросфатер показаль крокодиль, мейн зон будет показать крокодиль, и я будет показать крокодиль! Все будут показать крокодиль! Я ганц Европа известен, а ви неизвестен ганц Европа и мне платит штраф.

— Я, я! — подхватила злобная немка, — ми вас не пускайт, штраф, когда Карльхен лопаль!

— Да и бесполезно вспарывать, — спокойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой, — ибо наш милый Иван Матвеич, по всей вероятности, парит теперь где-нибудь в эмпиреях.

— Друг мой, — раздался в эту минуту совершенно неожиданно голос Ивана Матвеича, изумивший нас до крайности, — друг мой, мое мнение — действовать прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины.

Эти слова, высказанные твердо, с весом и выражавшие присутствие духа необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим. Но, разумеется,

тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника. Голос его был заглушенный, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. Похоже было на то, когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между собою глубоким оврагом, — что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на святках.

— Иван Матвеич, друг мой, итак, ты жив! — лепетала Елена Ивановна.

— Жив и здоров, — отвечал Иван Матвеич, — и благодаря всевышнего проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство; ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и неостроумно...

— Но, друг мой, не заботься об остроумии; прежде всего надобно тебя отсюда как-нибудь выковырять, — прервала Елена Ивановна.

— Ковыряйт! — вскричал хозяин, — я не дам ковыряйт крокодиль. Теперь публикум будет ошень больше ходиль, а я буду фуфциг копеек просиль, и Карльхен перестанет лопаль.

— Гот зей данк! — подхватила хозяйка.

— Они правы, — спокойно заметил Иван Матвеич, — экономический принцип прежде всего.

— Друг мой, — закричал я, — сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить.

— И я то же думаю, — заметил Иван Матвеич, — но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть брюхо крокодилово, а между тем представляется неизбежный вопрос: что возьмет хозяин за своего крокодила? а с ним и другой: кто заплатит? ибо ты знаешь, я средств не имею...

— Разве в счет жалованья, — робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал:

— Я не продавайт крокодиль, я три тысячи продавайт крокодиль, я четыре тысячи продавайт крокодиль! Теперь публикум будет много ходиль. Я пять тысяч продавайт крокодиль!

Одним словом, он куражился нестерпимо; корыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его.

— Еду! — закричал я в негодовании.

— И я! и я тоже! я поеду к самому Андрею Осипычу, я смягчу его моими слезами, — заныла Елена Ивановна.

— Не делай этого, друг мой, — поспешно прервал ее Иван Матвеич, ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осипычу и знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли. — Да и тебе, мой

друг, не советую,— продолжал он, обращаясь ко мне, — нечего ехать прямо с бухты-барахты; еще что из этого выйдет. А заезжай-ка ты лучше сегодня, так, в виде частного посещения, к Тимофею Семенычу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный и, главное, — прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний ералаш семь рублей, то передай их ему при этом удобном случае: это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну... Успокойся, друг мой, — продолжал он ей, — я устал от всех этих криков и бабьих дрязг и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко, хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном для меня убежище...

— Осмотреться! Разве тебе там светло? — вскрикнула обрадованная Елена Ивановна.

— Меня окружает непробудная ночь, — отвечал бедный узник, — но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками... Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях. До завтра! Ты же, Семен Семеныч, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи узелок...

Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильной.

— Вечером за вход опять четвертак! — крикнул нам вслед хозяин.

— О боже, как они жадны! — проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках Пассажа и, видимо, сознавая, что она похорошела.

— Экономический принцип, — отвечал я с легким волнением и гордясь моею дамою перед прохожими.

— Экономический принцип...— протянула она симпатическим голоском,— я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеич об этом противном экономическом принципе.

— Я объясню вам,— отвечал я и немедленно начал рассказывать о благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше отечество, о чем прочел еще утром в «Петербургских известиях» и в «Волосе».

— Как это всё странно! — прервала она, прослушав некоторое время,— да перестаньте же, противный; какой вы вздор говорите... Скажите, я очень красна?

— Вы прекрасны, а не красны! — заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент.

— Шалун!— пролепетала она самодовольно.— Бедный Иван Матвеич,— прибавила она через минуту, кокетливо склонив на плечо головку, — мне, право, его жаль, ах боже мой!— вдруг вскрикнула она,— скажите, как же он будет сегодня там кушать и... и... как же он будет... если ему чего-нибудь будет надобно?

— Вопрос непредвиденный,— отвечал я, тоже озадаченный. Мне, по правде, это не приходило и в голову, до того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач!

— Бедняжка, как это он так втюрился... и никаких развлечений и темно... как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки... Итак, я теперь вроде вдовы,— прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением,— гм... все-таки мне его жаль!..

Одним словом, выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее наконец домой, успокоил и, пообедав вместе с нею, после чашки ароматного кофе, отправился в шесть часов к Тимофею Семенычу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди определенных занятий сидят или лежат по домам.

Написав сию первую главу слогом, приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя.

## II

Почтенный Тимофей Семеныч встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь: «Чтобы дети не мешали»,— проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресла, запахнул полы своего старого ватного халата и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым.

— Прежде всего,— начал он,— возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеич... Я сторона-с и ввязываться ни во что не намерен.

Я удивился, что, по-видимому, он уже всё это знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности.

— Представьте,— сказал он, выслушав,— я всегда полагал, что с ним непременно это случится.

— Почему же-с, Тимофей Семеныч, случай сам по себе весьма необыкновенный-с...

— Согласен. Но Иван Матвеич во всё течение службы своей именно клонил к такому результату. Прыток-с, заносчив даже. Всё «прогресс» да разные идеи-с, а вот куда прогресс-то приводит!

— Но ведь это случай самый необыкновенный, и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить...

— Нет, уж это так-с. Это, видите ли, от излишней образованности происходит, поверьте мне-с. Ибо люди излишне образованные лезут во всякое место-с и преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может, вы больше знаете,— прибавил он, как бы обижаясь.— Я человек не столь образованный и старый; с солдатских детей начал, и службе моей пятидесятилетний юбилей сего года пошел-с.

— О нет, Тимофей Семеныч, помилуйте. Напротив, Иван Матвеич жаждет вашего совета, руководства вашего жаждет. Даже, так сказать, со слезами-с.

— «Так сказать со слезами-с». Гм. Ну, это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Ну, зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет?

— На скопленное, Тимофей Семеныч, из последних наградных,— отвечал я жалобно.— Всего на три месяца хотел съездить,— в Швейцарию... на родину Вильгельма Телля.

— Вильгельма Телля? Гм!

— В Неаполе встретить весну хотел-с. Осмотреть музей, нравы, животных...

— Гм! животных? А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле...

— Тимофей Семеныч, помилуйте, человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику, совета жаждет, а вы — укоряете... Пожалейте хоть несчастную Елену Ивановну!

— Это вы про супругу-с? Интересная дамочка,— проговорил Тимофей Семеныч, видимо смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку. — Особа субтильная. И как полна, и головку всё так на бочок, на бочок... очень приятно-с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал.

— Упоминал?

— Упоминал-с, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа... Конфетка, говорит, а не дамочка, и тут же засмеялись. Молодые они еще люди. — Тимофей Семеныч с треском высморкался. — А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляют-с...

— Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семеныч.

— Конечно, конечно-с.

— Так как же, Тимофей Семеныч?

— Да что же я-то могу сделать?

— Посоветуйте-с, руководите, как опытный человек, как родственник! Что предпринять? Идти ли по начальству или...

— По начальству? Отнюдь нет-с, — торопливо произнес Тимофей Семеныч. — Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный-с, да и небывалый. Главное, небывалый, примера

не было-с, да и плохо рекомендующий... Поэтому осторожность прежде всего... Пусть уж там себе полежит. Надо выждать, выждать...

— Да как же выждать, Тимофей Семеныч? Ну что, если он там задохнется?

— Да почему же-с? Ведь вы, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился?

Я рассказал всё опять. Тимофей Семеныч задумался.

— Гм! — проговорил он, вертя табакерку в руках, — по-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит, вместо границы-то-с. Пусть на досуге подумает; разумеется, задыхаться не надо, и потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья: ну, там, остерегаться кашля и прочего... А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве, и даже более другой стороны, потому что в *его* крокодила влезли без спросу, а не *он* влез без спросу в крокодила Ивана Матвеичева, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну-с, а крокодил составляет собственность, стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя-с.

— Для спасения человечества, Тимофей Семеныч.

— Ну уж это дело полиции-с. Туда и следует отнестись.

— Да ведь Иван Матвеич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать-с.

— Иван-то Матвеич понадобиться? хе-хе! К тому же ведь он считается в отпуску, стало быть, мы можем и игнорировать, а он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится, ну тогда и спросим, справки наведем...

— Три-то месяца! Тимофей Семеныч, помилуйте!

— Сам виноват-с. Ну, кто его туда совал? Эдак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять-с, а этого и по штату не полагается. А главное — крокодил есть собственность, стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреича на вечере Игнатий Прокофьич говорил, Игнатия Прокофьича знаете? Капиталист, при делах-с, и знаете складно так говорит: «Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность — яд, говорит, гибель! — И, знаете, с жаром так говорит; ну, им прилично: люди капитальные... да и не служащие. — С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки, и знаете — решительно так произносит: дррробить, говорит, а потом и прода-

вать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрет, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета „Теймс“, разбирая наши финансы, отзывалась намедни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет...» Хорошо говорит Игнатий Прокофьич. Оратор-с. Сам по начальству отзыв хочет подать и потом в «Известиях» напечатать. Это уж не стишки, подобно Ивану Матвеичу...

— Так как же Иван-то Матвеич? — ввернул я, дав поболтать старику. Тимофей Семеныч любил иногда поболтать и тем показать, что и он не отстал и всё это знает.

— Иван-то Матвеич как-с? Так ведь я к тому и клоню-с. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеич, как истинный сын отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил, а пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно-с. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех зараз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять-с.

— Помилуйте, Тимофей Семеныч! — вскричал я, — да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеича!

— Ничего я не требую-с и прежде всего прошу вас — как уже и прежде просил — сообразить, что я не начальство и, стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу. Как сын отечества говорю, то есть говорю не как «Сын отечества», а просто как сын отечества говорю. Опять-таки кто ж велел ему влезть в крокодила? Человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке, и вдруг — такой шаг! Сообразно ли это?

— Но ведь этот шаг случился нечаянно-с.

— А кто его знает? И притом из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка?

— Разве в счет жалованья, Тимофей Семеныч?

— Достанет ли-с?

— Недостанет, Тимофей Семеныч, — отвечал я с грустию. — Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом,

как убедился, что всё благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить.

— Утроить, учетверить разве! Публика теперь прихлынет, а крокодильщики ловкий народ. К тому же и мясоед, склонность к увеселениям и потому, повторяю, прежде всего пусть Иван Матвеич наблюдает инкогнито, пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное — пусть выжидает, да и куда ему спешить?

— Ну, а если...

— Не беспокойтесь, сложения плотного-с...

— Ну, а потом, когда выждет?

— Ну-с, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя-с, и, главное, то вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.

Счастливая мысль блеснула у меня в голове.

— Нельзя ли устроить так-с, — сказал я, — что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и, волею провидения, сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе?

— Гм... разве в виде отпуска и без жалованья...

— Нет-с, нельзя ли с жалованьем-с?

— На каком же основании?

— В виде командировки...

— Какой и куда?

— Да в недра же, в крокодиловы недра... Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении-с...

Тимофей Семеныч задумался.

— Командировать особого чиновника, — сказал он наконец,— в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, — нелепо-с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?

— Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в живье-с. Нынче всё пошли естественные науки-с, ботаника... Он бы там жил и сообщал-с... ну, там о пищеварении или просто о нравах. Для скопления фактов-с.

— То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силен, да и не философ. Вы говорите: факты, — мы и без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. Притом же эта статистика опасна...

— Чем же-с?

— Опасна-с. И к тому ж, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить, лежа на боку? Это уж опять нововведение, и притом опасное-с; и опять-таки примера такого не было. Вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так, по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать.

— Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семеныч.

— Гм, да... — он опять задумался. — Если хотите, это возражение ваше справедливо и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие и потом, на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку... согласитесь сами — дурной пример-с. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда полезет даром деньги-то брать.

— Порадейте, Тимофей Семеныч! Кстати-с: Иван Матвеич просил передать вам карточный должок, семь рублей, в ералаш-с...

— Ах, это он проиграл намедни, у Никифор Никифорыча! Помню-с. И как он тогда был весел, смешил, и вот!..

Старик был искренно тронут.

— Порадейте, Тимофей Семеныч.

— Похлопочу-с. От своего лица поговорю, частным образом, в виде справки. А впрочем, разузнайте-ка так, неофициально, со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила?

Тимофей Семеныч видимо подобрел.

— Непременно-с, — отвечал я, — и тотчас же явлюсь к вам с отчетом.

— Супруга-то... одна теперь? Скучает?

— Вы бы навестили, Тимофей Семеныч.

— Навещу-с, я еще давеча подумал, да и случай удобный... И зачем, зачем это его дергало смотреть крокодила! А впрочем, я бы и сам желал посмотреть.

— Навестите-ка бедного, Тимофей Семеныч.

— Навещу-с. Конечно, я этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо... Ну-с, до свиданья, я ведь опять к Никифор Никифорычу; будете?

— Нет-с, я к узнику.

— Да-с, вот теперь и к узнику!.. Э-эх, легкомыслие!

Я распростился с стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семеныч, а, выходя от него, я, однако, порадовался, что ему был уже пятидесятилетний юбилей и что Тимофеи Семенычи у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в Пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеичу. Да и любопытство разбирало меня: как он там устроился в крокодиле и как это можно жить в кроко-

диле? Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне, право, казалось, что всё это какой-то чудовищный сон, тем более что и дело-то шло о чудовище...

## III

И, однако ж, это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе — стал ли бы я и рассказывать! Но продолжаю...

В Пассаж я попал уже поздно, около девяти часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще втрое довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что «публикум много ходиль». Муттер вышла уже потом, очевидно затем, чтобы следить за мной. Немец с муттер часто перешептывались. Несмотря на то, что магазин был уже заперт, он все-таки взял с меня четвертак. И что за ненужная аккуратность!

— Ви каждый раз будет платиль; публикум будут рубль платиль, а ви один четвертак, ибо ви добры друк вашего добры друк, а я почитаю друк...

— Жив ли, жив ли образованный друг мой! — громко вскричал я, подходя к крокодилу и надеясь, что слова мои еще издали достигнут Ивана Матвеича и польстят его самолюбию.

— Жив и здоров, — отвечал он, как будто издали или как бы из-под кровати, хотя я стоял подле него, — жив и здоров, но об этом после... Как дела?

Как бы нарочно не расслышав вопроса, я было начал с участием и поспешностию сам его расспрашивать: как он, что он и каково в крокодиле и что такое вообще внутри крокодила? Это требовалось и дружеством и обыкновенною вежливостию. Но он капризно и с досадой перебил меня.

— Как дела? — прокричал он, по обыкновению мною командуя, своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным.

Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семенычем до последней подробности. Рассказывая, я старался выказать несколько обиженный тон.

— Старик прав, — решил Иван Матвеич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной. — Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки не совершенно нелепа. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении. Но теперь это всё принимает новый и неожиданный вид и не стоит хлопотать из одного только жалованья. Слушай внимательно. Ты сидишь?

— Нет, стою.

— Садись на что-нибудь, ну хоть на пол, и слушай внимательно.

Со злобою взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им об пол.

— Слушай, — начал он повелительно, — публики сегодня приходило целая бездна. К вечеру не хватило места и для порядка явилась полиция. В восемь часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашел даже нужным запереть магазин и прекратить представление, чтоб сосчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к завтраму. Знаю, что завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебывают. Мало того: станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате — я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, — драгоценны. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.

— Не наскучило бы? — заметил я ядовито.

Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения — до того заважничал. Тем не менее всё это меня сбило с толку. «С чего, с чего эта легкомысленная башка куражится! — скрежетал я шепотом про себя. — Тут надо плакать, а не куражиться».

— Нет! — отвечал он резко на мое замечание, — ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею — чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну всё и буду новый Фурье. Кстати, отдал семь рублей Тимофею Семенычу?

— Из своих, — ответил я, стараясь выразить голосом, что заплатил из своих.

— Сочтемся, — ответил он высокомерно. — Прибавки оклада жду всенепременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Жена?

— Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне?

— Жена?! — закричал он даже с каким-то на этот раз визгом.

Нечего было делать! Смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал.

— Имею на нее особые виды, — начал он нетерпеливо. — Если буду знаменит *здесь*, то хочу, чтоб она была знаменита *там*.

Ученые, поэты, философы, заезжие минералоги, государственные мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. С будущей недели у нее должны начаться каждый вечер салоны. Удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то и делу конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно жаждал случая, чтоб все говорили обо мне, но не мог достигнуть, скованный малым значением и недостаточным чином. Теперь же всё это достигнуто каким-нибудь самым обыкновенным глотком крокодила. Каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься. И я задам себя знать! Поймут наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. «Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством», — скажут одни. «И этот человек не управлял иностранным королевством», — скажут другие. Ну чем, ну чем я хуже какого-нибудь Гарнье-Пажесишки или как их там?.. Жена должна составлять мне пандан — у меня ум, у нее красота и любезность. «Она прекрасна, потому и жена его», — скажут одни. «Она прекрасна, *потому что жена его*», — поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтоб уметь говорить обо всех предметах. Чаще же всего пусть читает premier-политик «С.-Петербургских известий», сверяя каждодневно с «Волосом». Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня, вместе с крокодилом, в блестящий салон жены моей. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, — так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящею литературною дамою; я ее выдвину вперед и объясню ее публике; как жена моя, она должна быть полна величайших достоинств, и если справедливо называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Мюссе, то еще справедливее будет, когда назовут ее нашей русской Евгенией Тур.

Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеича, но мне все-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был всё тот же обыкновенный и ежедневный Иван Матвеич, но наблюдаемый в стекло, в двадцать раз увеличивающее.

— Друг мой, — спросил я его, — надеешься ли ты на долговечность? И вообще скажи: здоров ли ты? Как ты ешь, как ты спишь, как ты дышишь? Я друг тебе, и согласись, что случай слишком сверхъестественный, а следовательно, любопытство мое слишком естественно.

— Праздное любопытство и больше ничего, — отвечал он сентенциозно, — но ты будешь удовлетворен. Спрашиваешь, как

устроился я в недрах чудовища? Во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в Гороховой, в Морской и, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе, сообрази, мог ли бы я в нем поместиться?

— Возможно ли? — вскричал я в понятном изумлении. — Неужели крокодил совершенно пустой?

— Совершенно, — строго и внушительно подтвердил Иван Матвеич. — И, по всей вероятности, он устроен так по законам самой природы. Крокодил обладает только пастью, снабженною острыми зубами, и вдобавок к пасти — значительно длинным хвостом — вот и всё, по-настоящему. В середине же между сими двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесенное чем-то вроде каучука, вероятнее же всего действительно каучуком.

— А ребра, а желудок, а кишки, а печень, а сердце? — прервал я даже со злобою.

— Н-ничего, совершенно ничего этого нет и, вероятно, никогда не бывало. Всё это — праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, —и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда Елену Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо, положим например, тебе дано устроить нового крокодила — тебе, естественно, представляется вопрос: какое основное свойство крокодилово? Ответ ясен: глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтоб он глотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым. Давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно сему и внутренность крокодилова должна именно быть пустою, чтоб не терпеть пустоты, а, следственно, беспрерывно глотать и наполняться всем, что только есть под рукою. И вот единственная разумная причина, почему все крокодилы глотают нашего брата. Не так в устройстве человеческом: чем пустее, например, голова человеческая, тем менее она ощущает жажды наполниться, и это единственное исключение из общего правила. Всё это мне теперь ясно, как день, всё это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо самое название крокодил означает прожорливость. Крокодил, Crocodillo, — есть слово, очевидно, итальянское, современное, может быть, древним фараонам египетским и, очевидно, происходящее от французского корня: croquer, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Всё это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, со-

бравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике.

— Друг мой, не принять ли тебе теперь хоть слабительного! — вскричал я невольно. «У него жар, жар, он в жару!» — повторял я про себя в ужасе.

— Вздор! — отвечал он презрительно, — и к тому же в теперешнем положении моем это совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты заговоришь о слабительном.

— Друг мой, а как... как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет?

— Нет, но сыт и, вероятнее всего, теперь уже никогда не буду употреблять пищи. И это тоже совершенно понятно: наполняя собою всю внутренность крокодилову, я делаю его навсегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, — сытый мною, он естественно сообщит и мне все жизненные соки из своего тела; это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают себя и все свои формы на ночь сырыми котлетами и потом, приняв утреннюю ванну, становятся свежими, упругими, сочными и обольстительными. Таким образом, питая собою крокодила, я, обратно, получаю и от него питание; следовательно — мы взаимно кормим друг друга. Но так как трудно, даже и крокодилу, переваривать такого человека, как я, то уж, разумеется, он должен при этом ощущать некоторую тяжесть в желудке, — которого, впрочем, у него нет, — и вот почему, чтоб не доставить излишней боли чудовищу, я редко ворочаюсь с боку на бок; и хотя бы и мог ворочаться, но не делаю сего из гуманности. Это единственный недостаток теперешнего моего положения, и в аллегорическом смысле Тимофей Семеныч справедлив, называя меня лежебокой. Но я докажу, что и лежа на боку, — мало того, — что только лежа на боку и можно перевернуть судьбу человечества. Все великие идеи и направления наших газет и журналов, очевидно, произведены лежебоками; вот почему и называют их идеями кабинетными, но наплевать, что так называют! Я изобрету теперь целую социальную систему, и — ты не поверишь — как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготовляю четвертую. Правда, сначала надо всё опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто всё это виднее становится... Впрочем, в моем положении существуют и еще недостатки, хотя и мелкие: внутри крокодила несколько сыро и как будто покрыто слизью да, сверх того, еще несколько пахнет резинкой, точь-в-точь как от моих прошлогодних калош. Вот и всё, более нет никаких недостатков.

— Иван Матвеич, — прервал я, — всё это чудеса, которым я едва могу верить. И неужели, неужели ты всю жизнь не намерен обедать?

— О каком вздоре заботишься ты, беспечная, праздная голова!

Я тебе о великих идеях рассказываю, а ты... Знай же, что я сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую. Впрочем, добродушный хозяин чудовища, сговорившись с добрейшею муттер, решили давеча промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку, вроде дудочки, через которую я бы мог втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нем белым хлебом. Дудочка уже заказана по соседству, но полагаю, что это излишняя роскошь. Прожить же надеюсь по крайней мере тысячу лет, если справедливо, что по стольку лет живут крокодилы, о чем, благо напомнил, справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошибиться, смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. Одно только соображение несколько смущает меня: так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того, я живой и потому сопротивляюсь переварению меня всею моею волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унизительно. Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно сюртука моего, к несчастью русского изделия, может истлеть, и тогда я, оставшись без одежды, несмотря на всё мое негодование, начну, пожалуй, и перевариваться; и хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо бы изменить тариф и поощрять привоз сукон английских, которые крепче, а следственно, и дольше будут сопротивляться природе, в случае если попадешь в крокодила. При первом случае сообщу мысль мою кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателям наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что не одно это они теперь от меня позаимствуют. Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооруженная редакционными четвертаками, будет тесниться кругом меня, чтоб уловить мои мысли насчет вчерашних телеграмм. Короче — будущность представляется мне в самом розовом свете.

«Горячка, горячка!» — шептал я про себя.

— Друг мой, а свобода? — проговорил я, желая вполне узнать его мнение. — Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться свободою.

— Ты глуп, — отвечал он. — Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок, а нет порядка...

— Иван Матвеич, пощади и помилуй!

— Молчи и слушай! — взвизгнул он в досаде, что я перебил его. — Никогда не воспарял я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь — литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, чтоб легкомысленные посетители, глупцы и завистники и вообще нигилисты

не подняли меня на смех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное — мнения газет. О газетах сообщи завтра же.

— Хорошо, завтра же принесу сюда целый ворох газет.

— Завтра еще рано ждать газетных отзывов, ибо объявления печатаются только на четвертый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграмм. Каждый день чтоб были здесь все европейские телеграммы. Но довольно; вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике: я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым и добродетельным, и непременно станешь на пьедестал. Если не Сократ, то Диоген, или то и другое вместе, и вот будущая роль моя в человечестве.

Так легкомысленно и навязчиво (правда, в горячке) торопился высказаться передо мной Иван Матвеич, подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут удержать секрета. Да и всё то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Ну как можно, чтоб крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад, что в этом он прихвастнул из тщеславия и отчасти, чтоб меня унизить. Правда, он был больной, а больному надо уважить; но, признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Ивана Матвеича. Всю жизнь, начиная с самого детства, я желал и не мог избавиться от его опеки. Тысячу раз хотел было я с ним совсем расплеваться, и каждый раз меня опять тянуло к нему, как будто я всё еще надеялся ему что-то доказать и за что-то отмстить. Странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы. На этот раз мы простились, однако же, с чувством.

— Ваш друк ошень умна шеловек, — сказал мне вполголоса немец, собираясь меня провожать; он всё время прилежно слушал наш разговор.

— A propos,[1] — сказал я, — чтоб не забыть, — сколько бы взяли вы за вашего крокодила, на случай если б вздумали у вас его покупать?

Иван Матвеич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо было, что ему не хотелось, чтоб немец взял мало; по крайней мере он как-то особенно крякнул при моем вопросе.

Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился.

— Никто не смейт покупат мой собственный крокодиль! — вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. — Я не хатит продавайт крокодиль. Я миллион талер не стану браль за крокодиль. Я сто тридцать талер сегодня с публикум браль, я завтра

---

[1] Кстати *(франц.)*.

десять тысяч талер собраль, а потом сто тысяч талер каждый день собираль. Не хочу продаваль!

Иван Матвеич даже захихикал от удовольствия.

Скрепя сердце, хладнокровно и рассудительно, — ибо исполнял обязанность истинного друга, — намекнул я сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по сту тысяч, то в четыре дня у него перебывает весь Петербург и потом уже не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеич заболеть и помереть и проч., и проч.

Немец задумался.

— Я будет ему капли из аптеки даваль, — сказал он, надумавшись, — и ваш друк не будет умираль.

— Капли каплями, — сказал я, — но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс. Супруга Ивана Матвеича может потребовать своего законного супруга. Вы вот намерены богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне?

— Нет, не мереваль! — решительно и строго отвечал немец.

— Нетт, не мереваль! — подхватила, даже со злобою, муттер.

— Итак, не лучше ли вам взять что-нибудь теперь, разом, хоть и умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только праздного любопытства.

Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной.

— Вот увидишь! — сказал мне Иван Матвеич.

Что до меня касается, я в эту минуту сгорал желанием, во-первых, — избить больно немца, во-вторых, еще более избить муттер, а в-третьих, всех больше и больнее избить Ивана Матвеича за безграничность его самолюбия. Но всё это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца.

Насоветовавшись с своей муттер, он потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереею, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и, вдобавок, — чин русского полковника.

— Видишь! — торжествуя, прокричал Иван Матвеич, — я говорил тебе! Кроме последнего безумного желания производства в полковники, — он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность показываемого им чудовища. Экономический принцип прежде всего!

— Помилуйте! — яростно закричал я немцу, — да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились? Ну, не безумец ли вы после этого?

— Безумны! — вскричал немец обидевшись, — нет, я ошень умна шеловек, а ви ошень глюп! Я заслужиль польковник, потому

што показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль, а русский не может показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль! Я чрезвышайно умны шеловек и ошень хочу быль польковник!

— Так прощай же, Иван Матвеич! — вскричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минута, и я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил мое негодование. Наконец, энергически плюнув раз до пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь умирай там от скуки каждый вечер, исполняя обязанность истинного друга! Я готов был прибить себя за это и действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаком по голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я наконец заснул даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны, но под самое утро приснилась Елена Ивановна...

## IV

Обезьяны, как догадываюсь, приснились потому, что заключались в шкафу у крокодильщика, но Елена Ивановна составляла статью особенную.

Скажу заранее: я любил эту даму; но спешу — и спешу на курьерских — оговориться: я любил ее как отец, ни более, ни менее. Заключаю так потому, что много раз случалось со мною неудержимое желание поцеловать ее в головку или в румяненькую щечку. И хотя я никогда не приводил сего в исполнение, но каюсь — не отказался бы поцеловать ее даже и в губки. И не то что в губки, а в зубки, которые так прелестно всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких, подобранных жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась. Иван Матвеич называл ее, в ласкательных случаях, своей «милой нелепостью» — название в высшей степени справедливое и характеристичное. Это была дама-конфетка и более ничего. Посему совершенно не понимаю, зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеичу воображать в своей супруге нашу русскую Евгению Тур? Во всяком случае, мой сон, если не брать в расчет обезьян, произвел на меня приятнейшее впечатление, и, перебирая в голове за утренней чашкой чаю все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Ивановне, по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга.

В крошечной комнатке перед спальней, в так называемой у них маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая, на маленьком нарядном диванчике, за маленьким чайным столиком, в какой-то полувоздушной утренней распашо-

ночке сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалась мне тоже и как будто задумчивою.

— Ах, это вы, шалун! — встретила она меня с рассеянной улыбкой, — садитесь, ветреник, пейте кофе. Ну что вы вчера делали? Были в маскараде?

— А разве вы были? Я ведь не езжу... к тому же посещал вчера нашего узника...

Я вздохнул и, принимая кофе, сделал благочестивую мину.

— Кого? Какого это узника? Ах, да! Бедняжка! Ну, что он — скучает? А знаете... я хотела вас спросить... Я ведь могу теперь просить развода?

— Развода! — вскричал я в негодовании и чуть не пролил кофе. «Это черномазенький!» — подумал я про себя с яростью.

Существовал некто черномазенький, с усиками, служивший по строительной части, который слишком уж часто похаживал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну. Признаюсь, я его ненавидел, и сомнения не было, что он уж успел вчера видеться с Еленой Ивановной или в маскараде, или, пожалуй, и здесь, и наговорил ей всякого вздору!

— Да что ж, — заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подученная, — что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придет, а я здесь его дожидайся! Муж должен дома жить, а не в крокодиле...

— Но ведь это непредвиденный случай, — начал было я в весьма понятном волнении.

— Ах, нет, не говорите, не хочу, не хочу! — закричала она, вдруг совсем рассердившись. — Вы вечно мне напротив, такой негодный! С вами ничего не сделаешь, ничего не посоветуете! Мне уж чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеич теперь уже не будет получать жалованья.

— Елена Ивановна! Вас ли я слышу? — закричал я патетически. — Какой злодей мог вам это натолковать! Да и развод по такой неосновательной причине, как жалование, совершенно невозможен. А бедный, бедный Иван Матвеич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже и в недрах чудовища. Мало того — тает от любви, как кусочек сахару. Еще вчера ввечеру, когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе, в недра, тем более что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ...

И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеичем.

— Как, как! — вскричала она в удивлении. — Вы хотите, чтоб и я также полезла туда, к Ивану Матвеичу? Вот выдумки! Да и как я полезу, так в шляпке и в кринолине? Господи, какая глупость! Да и какую фигуру я буду делать, когда буду туда лезть, а на меня еще кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть... Это смешно!

И что я там буду кушать?.. и... и как я там буду, когда..., ах боже мой, что они выдумали!.. И какие там развлечения?.. Вы говорите, что там гуммиластиком пахнет? И как же я буду, если мы там с ним поссоримся, — все-таки рядом лежать? Фу, как это противно!

— Согласен, согласен со всеми этими доводами, милейшая Елена Ивановна, — прервал я, стремясь высказаться с тем понятным увлечением, которое всегда овладевает человеком, когда он чувствует, что правда на его стороне, — но вы не оценили одного во всем этом; вы не оценили того, что он, стало быть, без вас жить не может, коли зовет туда; значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся... Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна, любви!

— Не хочу, не хочу, и слышать ничего не хочу! — отмахивалась она своей маленькой, хорошенькой ручкой, на которой блистали только что вымытые и вычищенные щеткой розовые ноготки. — Противный! Вы доведете меня до слез. Полезайте сами, если это вам приятно. Ведь вы друг, ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы, и спорьте всю жизнь о каких-нибудь скучных науках...

— Напрасно вы так смеетесь над сим предположением, — с важностию остановил я легкомысленную женщину, — Иван Матвеич и без того меня звал туда. Конечно, вас привлекает туда долг, меня же только одно великодушие; но, рассказывая мне вчера о необыкновенной растяжимости крокодиловой, Иван Матвеич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но даже и мне в качестве домашнего друга можно бы поместиться с вами вместе, втроем, особенно если б я захотел того, а потому...

— Как так, втроем? — вскричала Елена Ивановна, с удивлением смотря на меня. — Так как же мы... так все трое и будем там вместе? Ха-ха-ха! Какие вы оба глупые! Ха-ха-ха! Я вас непременно буду там всё время щипать, негодный вы эдакой, ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Всё это — и слезы, и смех — было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у ней ручки, чему она не противилась, хотя и выдрала меня легонько, в знак примирения, за уши.

Затем мы оба развеселились, и я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеича. Мысль о приемных вечерах и об открытом салоне ей очень понравилась.

— Но только надо будет очень много новых платьев, — заметила она, — и потому надо, чтоб Иван Матвеич присылал как можно скорее и как можно больше жалованья... Только... только как же это, — прибавила она в раздумье, — как же это его будут приносить ко мне в ящике? Это очень смешно. Я не хочу, чтоб моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно пред гостями... Я не хочу, нет, не хочу.

— Кстати, чтоб не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семеныч?

— Ах, был; приехал утешать, и, вообразите, мы с ним всё в свои козыри играли. Он на конфеты, а коль я проиграю — он мне ручки целует. Такой негодный и, вообразите, чуть было в маскарад со мной не поехал. Право!

— Увлечение! — заметил я, — да и кто не увлечется вами, обольстительная!

— Ну уж вы, поехали с вашими комплиментами! Постойте, я вас ущипну на дорогу. Я ужасно хорошо выучилась теперь щипаться. Ну что, каково! Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеич часто обо мне вчера говорил?

— Н-н-нет, не то чтобы очень... Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет...

— Ну и пусть его! Не договаривайте! Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня; голова болит, а к тому же там будет так много публики... Скажут: это жена его, пристыдят... Прощайте. Вечером вы ведь... там?

— У него, у него. Велел приезжать и газет привезти.

— Ну вот и славно. И ступайте к нему и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Я нездорова, а может, и в гости поеду. Ну прощайте, шалун.

«Это черномазенький у ней будет вечером», — подумал я про себя.

В канцелярии я, разумеется, не подал и виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся мне была — «Листок», газетка без всякого особого направления, а так только вообще гуманная, за что ее преимущественно у нас презирали, хотя и прочитывали. Не без удивления прочел я в ней следующее:

«Вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями столице распространились чрезвычайные слухи. Некто N., известный гастроном из высшего общества, вероятно наскучив кухнею Бореля и —ского клуба, вошел в здание Пассажа, в то место, где показывается огромный, только что привезенный в столицу крокодил, и потребовал, чтоб ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его (то есть не хозяина, весьма смирного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила) — еще живьем, отрезая сочные куски перочинным ножичком и глотая их с чрезвычайною поспешностью. Мало-помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах, так что он собирался даже приняться за ихневмона, постоянного спутника крокодилова, вероятно полагая, что и тот будет так же вкусен. Мы вовсе не против сего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. Мы даже предсказывали это наперед. Английские лорды и путешественники ловят в Египте

крокодилов целыми партиями и употребляют хребет чудовища в виде бифштекса, с горчицей, луком и картофелем. Французы, наехавшие с Лессепсом, предпочитают лапы, испеченные в горячей золе, что делают, впрочем, в пику англичанам, которые над ними смеются. Вероятно, у нас оценят то и другое. С своей стороны, мы рады новой отрасли промышленности, которой по преимуществу недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Вслед за сим первым крокодилом, исчезнувшим в недрах петербургского гастронома, вероятно, не пройдет и года, как навезут их к нам сотнями. И почему бы не акклиматизировать крокодила у нас в России? Если невская вода слишком холодна для сих интересных чужестранцев, то в столице имеются пруды, а за городом речки и озера. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парголове или в Павловске, в Москве же в Пресненских прудах и в Самотеке? Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать собою детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно бы было приготовлять футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники, и, может быть, не одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами, улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету».

Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде, тем не менее опрометчивость известия смутила меня. Не находя, с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Саввичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал «Волос», как бы готовясь мне передать его. Молча принял он от меня «Листок» и, передавая мне «Волос», крепко отчеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Этот Прохор Саввич был у нас престранный человек: молчаливый старый холостяк, он ни с кем из нас не вступал ни в какие сношения, почти ни с кем не говорил в канцелярии, всегда и обо всем имел свое собственное мнение, но терпеть не мог кому-нибудь сообщать его. Жил он одиноко. В квартире его почти никто из нас не был.

Вот что я прочел в показанном месте «Волоса»:

«Всем известно, что мы прогрессивны и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не „созрели", как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в Пассаже и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в Пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, которой вообще недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера, в половине пятого пополудни, в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины

и в нетрезвом виде, платит за вход и тотчас же, безо всякого предуведомления, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтоб не подавиться. Ввалившись во внутренность крокодила, незнакомец тотчас же засыпает. Ни крики иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления. Из внутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами (sic [1]), а бедное млекопитающее, принужденное проглотить такую массу, тщетно проливает слезы. Незваный гость хуже татарина, но, несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как и объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и марающие нас в глазах иностранцев. Размашистость русской натуры нашла себе достойное применение. Спрашивается, чего хотелось непрошеному посетителю? Теплого и комфортного помещения? Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами, с проведенной невской водой и с освещенной газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев швейцар. Обращаем еще внимание наших читателей и на самое варварство обращения с домашними животными: заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит, раздутый горой, и в нестерпимых страданиях ожидает смерти. В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но, несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков.

Дома новы, но предрассудки стары —

и даже и дома-то не новы, по крайней мере лестницы. Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на Петербургской стороне, в доме купца Лукьянова, забежные ступеньки деревянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимьи Скапидаровой, принужденной часто всходить на лестницу с водою или с охапкою дров. Наконец предсказания наши оправдались: вчера вечером, в половине девятого пополудни, солдатка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой и сломала-таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу; русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счищающие на Выборгской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому как в Европе при очищении сапогов... и т. д., и т. д.»

— Что же это, — сказал я, смотря в некотором недоумении на Прохора Саввича, — что же это такое?

---

[1] Так *(лат.)*.

— А что-с?

— Да помилуйте, чем бы об Иване Матвеиче пожалеть, жалеют о крокодиле.

— А что же-с? Зверя даже, *млекопитающего,* и того пожалели. Чем же не Европа-с? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хи-хи-хи!

Сказав это, чудак Прохор Саввич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова.

«Волос» и «Листок» я спрятал в карман да, кроме того, набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеичу старых «Известий» и «Волосов» сколько мог найти, и хотя до вечера было еще далеко, но на этот раз я пораньше улизнул из канцелярии, чтоб побывать в Пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, подслушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка, и на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно — до того мы не привыкли к публичности. Но чувствую, что я не вправе передавать собственные, прозаические мои ощущения ввиду такого замечательного и оригинального события.

# ИГРОК

РОМАН

*(Из записок молодого человека)*

## *Глава 1*

Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знает как ждут меня, однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мною слегка; деньги, однако ж, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцова, французика и еще какого-то англичанина: как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед, по-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго? и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако ж, надо объясниться. Много накопилось.

Мне отвели маленькую комнатку, в четвертом этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу *к свите генерала.* По всему видно, что они успели-таки дать себя знать. Генерала считают здесь все богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел, между другими поручениями, дать мне два тысячефранковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу; ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза; он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, то есть непочтительным взглядом, что он как будто конфузится. В весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и наконец совсем запутавшись, он дал мне понять, чтоб я гулял с детьми где-нибудь, подальше от воксала, в парке. Наконец он рассердился совсем и

круто прибавил:

— А то вы, пожалуй, их в воксал, на рулетку, поведете. Вы меня извините, — прибавил он, — но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но по крайней мере имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не окомпрометировали...

— Да ведь у меня и денег нет, — отвечал я спокойно; — чтобы проиграться, нужно их иметь.

— Вы их немедленно получите, — ответил генерал, покраснев немного, порылся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около ста двадцати рублей.

— Как же мы сосчитаемся, — заговорил он, — надо переводить на талеры. Да вот возьмите сто талеров, круглым счетом, — остальное, конечно, не пропадет.

Я молча взял деньги.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами, вы так обидчивы... Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег и уж, конечно, имею на то некоторое право...

Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. Две превосходные коляски, великолепные лошади! Mademoiselle Blanche в одной коляске с Марьей Филипповной и Полиной; французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели; эффект был произведен; только генералу несдобровать. Я рассчитал, что с четырьмя тысячами франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть семь или восемь тысяч франков; этого слишком мало для mademoiselle Blanche.

Mademoiselle Blanche стоит тоже в нашем отеле, вместе с матерью; где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его «monsieur le comte»,[1] мать mademoiselle Blanche называется «madame la comtesse»;[2] что ж, может быть, и в самом деле они comte et comtesse.

Я так и знал, что monsieur le comte меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, и не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать; а monsieur le comte сам бывал в России и знает, как невелика птица — то, что они называют *outchitel*. Он, впрочем, меня очень хорошо знает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошеным; кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверно, послал меня обедать за table d'hôt'ом.[3] Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. Добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место; но встреча с мистером Астлеем меня выручила, и я поневоле оказался принадлежащим к их обществу.

---

[1] господин граф *(франц.)*.
[2] госпожа графиня *(франц.)*.
[3] табльдот — общий стол *(франц.)*.

Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших; потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец — в Швейцарии; в течение этих двух недель — два раза, и вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулетенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого; он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Норд-Капе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом; мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом, и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом.

За столом французик тонировал необыкновенно; он со всеми небрежен и важен. А в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно, единственно настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности.

Я был в странном настроении духа; разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос: зачем я валандаюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них? Изредка я взглядывал на Полину Александровну; она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить.

Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне, главное, хотелось поругаться с французиком. Я оборотился к генералу и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд.

— Если вы человек себя уважающий, — пустился я далее, — то непременно напроситесь на ругательства и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слóва, если вы только русский.

Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не зная, рассердиться ли ему или только удивиться, что я так забылся.

— Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил, — сказал французик небрежно и презрительно.

— Я в Париже сначала поругался с одним поляком, — ответил я, — потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал. А затем уж часть французов перешла на мою

сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсиньора.

— Плюнуть? — спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь. Французик оглядывал меня недоверчиво.

— Точно так-с, — отвечал я. — Так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства святейшего отца в Париже, чтоб визировать паспорт. Там меня встретил аббатик, лет пятидесяти, сухой и с морозом в физиономии, и, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать, вынул «Opinion nationale»[1] и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как чрез соседнюю комнату кто-то прошел к монсиньору; я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнею просьбою; он еще суше попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом, — какой-то австриец, его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно; я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсиньор принимает, то может кончить и со мною. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсиньора? Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: «Так неужели ж вы думаете, что монсиньор бросит для вас свой кофе?» Тогда и я закричал, но еще сильнее его: «Так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсиньора! Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому».

«Как! в то же время, когда у него сидит кардинал!» — закричал аббатик, с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустит.

Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, «que je suis hérétique et barbare», и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсиньоры и проч., и проч. — всё равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечною злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Чрез минуту он был уже визирован. Вот-с, не угодно ли посмотреть? — Я вынул паспорт и показал римскую визу.

— Вы это, однако же, — начал было генерал...

— Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком, — заметил, усмехаясь, французик. — «Cela n'était pas si bête».[2]

— Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь — пикнуть не смеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они

---

[1] «Народное мнение» *(франц.)*.
[2] Это было не так глупо *(франц.)*.

русские. По крайней мере в Париже в моем отеле со мною стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в двенадцатом году выстрелил — единственно только для того, чтоб разрядить ружье. Этот человек был тогда еще десятилетним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы.

— Этого быть не может, — вскипел французик, — французский солдат не станет стрелять в ребенка!

— Между тем это было, — отвечал я. — Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули.

Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из «Записок» генерала Перовского, бывшего в двенадцатом году в плену у французов. Наконец, Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтоб перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлею мой спор с французом, кажется, очень понравился; вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось с четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к воксалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались наконец одни.

Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только семьсот гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа, под залог ее бриллиантов, по крайней мере две тысячи гульденов или даже более.

— Мне во что бы ни стало нужны деньги, — сказала она, — и их надо добыть; иначе я просто погибла.

Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие.

— Больше ничего, что получены из Петербурга два известия: сначала, что бабушке очень плохо, а через два дня, что, кажется, она уже умерла. Это известие от Тимофея Петровича, — прибавила Полина, — а он человек точный. Ждем последнего, окончательного известия.

— Итак, здесь все в ожидании? — спросил я.

— Конечно: все и всё; целые полгода на одно это только и надеялись.

— И вы надеетесь? — спросил я.

— Ведь я ей вовсе не родня, я только генералова падчерица. Но я знаю наверно, что она обо мне вспомнит в завещании.

— Мне кажется, вам очень много достанется, — сказал я утвердительно.

— Да, она меня любила; но почему *вам* это кажется?

— Скажите, — отвечал я вопросом, — наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны?

— А вы сами к чему об этом интересуетесь? — спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо.

— Еще бы; если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег.

— Вы очень верно угадываете.

— Ну, так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы, за столом: он раза три, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой: «*la baboulinka*». Какие короткие и какие дружественные отношения!

— Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это, что ли, вам хотелось узнать?

— Еще только посватается? Я думал, что он давно сватается.

— Вы отлично хорошо знаете, что нет! — с сердцем сказала Полина. — Где вы встретили этого англичанина? — прибавила она после минутного молчания.

— Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите.

Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлеем по дороге.

— Он застенчив и влюбчив и уж, конечно, влюблен в вас?

— Да, он влюблен в меня, — отвечала Полина.

— И уж, конечно, он в десять раз богаче француза. Что, у француза действительно есть что-нибудь? Не подвержено это сомнению?

— Не подвержено. У него есть какой-то château.[1] Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольно с вас?

— Я бы, на вашем месте, непременно вышла замуж за англичанина.

— Почему? — спросила Полина.

— Француз красивее, но он подлее; а англичанин, сверх того, что честен, еще в десять раз богаче, — отрезал я.

— Да; но зато француз — маркиз и умнее, — ответила она наиспокойнейшим образом.

— Да верно ли? — продолжал я по-прежнему.

— Совершенно так.

Полине ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостию своего ответа; я об этом ей тотчас же сказал.

— Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж за одно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться.

— Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, — отвечал я спокойно, — именно потому, что готов как

---

[1] за́мок *(франц.)*.

угодно за них расплатиться, и свою жизнь считаю теперь ни во что.

Полина захохотала:

— Вы мне в последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны, — именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны — мне надо вас беречь.

Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мною разговор со злобою и раздражением, с настоящею злобою.

— Позвольте вас спросить, что такое mademoiselle Blanche? — спросил я, не желая отпустить ее без объяснения.

— Вы сами знаете, что такое mademoiselle Blanche. Больше ничего с тех пор не прибавилось. Mademoiselle Blanche, наверно, будет генеральшей, — разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и mademoiselle Blanche, и ее матушка, и троюродный cousin маркиз — все очень хорошо знают, что мы разорились.

— А генерал влюблен окончательно?

— Теперь не в этом дело. Слушайте и запомните: возьмите эти семьсот флоринов и ступайте играть, выиграйте мне на рулетке сколько можете больше; мне деньги во что бы ни стало теперь нужны.

Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к воксалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево, обдумывая и удивляясь. Меня точно в голову ударило после приказания идти на рулетку. Странное дело: мне было о чем раздуматься, а между тем я весь погрузился в анализ ощущений моих чувств к Полине. Право, мне было легче в эти две недели отсутствия, чем теперь, в день возвращения, хотя я, в дороге, и тосковал как сумасшедший, метался как угорелый, и даже во сне поминутно видел ее пред собою. Раз (это было в Швейцарии), заснув в вагоне, я, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной проезжих. И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз, ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты (а именно каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже

с наслаждением. Я знал это. Так или эдак, но это должно было разрешиться. Всё это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, — эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение; иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мною в таких короткостях и откровенностях? Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много раз считала меня не за человека...

Однако ж у меня было ее поручение — выиграть на рулетке во что бы ни стало. Мне некогда было раздумывать: для чего и как скоро надо выиграть и какие новые соображения родились в этой вечно рассчитывающей голове? К тому же в эти две недели, очевидно, прибавилась бездна новых фактов, об которых я еще не имел понятия. Всё это надо было угадать, во всё проникнуть, и как можно скорее. Но покамест теперь было некогда: надо было отправляться на рулетку.

## *Глава II*

Признаюсь, мне это было неприятно; я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорные залы я вошел с предосадным чувством. Мне там, с первого взгляда, всё не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о двух вещах: во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это; это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих дрянных залах, а золота не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва ли бывает. Конечно, кой-когда, в продолжение сезона, появится вдруг какой-нибудь чудак, или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много; остальные же все играют на мелкие гульдены, и средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу (в первый раз в жизни), я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стукало сердце, и я был не хладнокровен; я наверное знал и давно уже решил, что из Рулетенбурга так не выеду; что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как это ни смешно, что я так много жду для себя от рулетки,

но мне кажется, еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но — какое мне до того дело?

Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если б что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка, — и я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить; потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такою жадностию, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел.

Во-первых, мне всё показалось так грязно — как-то нравственно скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями, обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше; мне всегда казалось очень глупою мысль одного отъевшегося и обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что «ведь играют по маленькой», — отвечал: тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно: мелкая корысть и крупная корысть — не всё равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато, а насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадки ли вообще нажива и барыш — это другой вопрос. Но здесь я его не решаю. Так как я и сам был в высшей степени одержан желанием выигрыша, то вся эта корысть и вся эта корыстная грязь, если хотите, была мне, при входе в залу, как-то сподручнее, родственнее. Самое милое дело, когда друг друга не церемонятся, а действуют открыто и нараспашку. Да и к чему самого себя обманывать? Самое пустое и нерасчетливое занятие! Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы. Вот почему здесь резко различено, какая игра называется mauvais genr'ом[1] и какая позволительна порядочному человеку. Есть две игры, одна — джентльменская, а другая плебейская, корыстная, игра всякой сволочи. Здесь это строго различено и — как это различие, в сущности, подло! Джентльмен, например, может поставить пять или десять луидоров, редко более, впрочем, может поставить и тысячу франков, если очень богат, но собственно для одной игры, для одной только забавы, собственно для того, чтобы посмотреть на процесс выигрыша или проигрыша; но отнюдь не должен интересоваться своим выигрышем. Выиграв, он может, например, вслух засмеяться, сделать кому-нибудь из окружающих свое замечание, даже может поставить еще раз и еще раз удвоить, но

[1] дурным тоном *(франц.)*.

единственно только из любопытства, для наблюдения над шансами, для вычислений, а не из плебейского желания выиграть. Одним словом, на все эти игорные столы, рулетки и trente et quarante [1] он должен смотреть не иначе, как на забаву, устроенную единственно для его удовольствия. Корысти и ловушки, на которых основан и устроен банк, он должен даже и не подозревать. Очень и очень недурно было бы даже, если б ему, например, показалось, что и все эти остальные игроки, вся эта дрянь, дрожащая над гульденом,—совершенно такие же богачи и джентльмены, как и он сам, и играют единственно для одного только развлечения и забавы. Это совершенное незнание действительности и невинный взгляд на людей были бы, конечно, чрезвычайно аристократичными. Я видел, как многие маменьки выдвигали вперед невинных и изящных, пятнадцати- и шестнадцатилетних мисс, своих дочек, и, давши им несколько золотых монет, учили их, как играть. Барышня выигрывала или проигрывала, непременно улыбалась и отходила очень довольная. Наш генерал солидно и важно подошел к столу; лакей бросился было подать ему стул, но он не заметил лакея; очень долго вынимал кошелек, очень долго вынимал из кошелька триста франков золотом, поставил их на черную и выиграл. Он не взял выигрыша и оставил его на столе. Вышла опять черная; он и на этот раз не взял, и когда в третий раз вышла красная, то потерял разом тысячу двести франков. Он отошел с улыбкою и выдержал характер. Я убежден, что кошки у него скребли на сердце, и будь ставка вдвое или втрое больше — он не выдержал бы характера и высказал бы волнение. Впрочем, при мне один француз выиграл и потом проиграл тысяч до тридцати франков весело и без всякого волнения. Настоящий джентльмен, если бы проиграл и всё свое состояние, не должен волноваться. Деньги до того должны быть ниже джентльменства, что почти не стоит об них заботиться. Конечно, весьма аристократично совсем бы не замечать всю эту грязь всей этой сволочи и всей обстановки. Однако же иногда не менее аристократичен и обратный прием, замечать, то есть присматриваться, даже рассматривать, например хоть в лорнет, всю эту сволочь: но не иначе, как принимая всю эту толпу и всю эту грязь за своего рода развлечение, как бы за представление, устроенное для джентльменской забавы. Можно самому тесниться в этой толпе, но смотреть кругом с совершенным убеждением, что собственно вы сами наблюдатель и уж нисколько не принадлежите к ее составу. Впрочем, и очень пристально наблюдать опять-таки не следует: опять уже это будет не по-джентльменски, потому что это во всяком случае зрелище не стоит большого и слишком пристального наблюдения. Да и вообще мало зрелищ, достойных слишком пристального наблюдения для джентльмена. А между тем мне лично показалось, что всё это и очень

[1] тридцать и сорок *(франц.)*.

стоит весьма пристального наблюдения, особенно для того, кто пришел не для одного наблюдения, а сам искренно и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи. Что же касается до моих сокровеннейших нравственных убеждений, то в настоящих рассуждениях моих им, конечно, нет места. Пусть уж это будет так; говорю для очистки совести. Но вот что я замечу: что во всё последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои к какой бы то ни было нравственной мерке. Другое управляло мною...

Сволочь действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут у стола происходит много самого обыкновенного воровства. Круперам, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками и рассчитываются, ужасно много работы. Вот еще сволочь-то! это большею частью французы. Впрочем, я здесь наблюдаю и замечаю вовсе не для того, чтобы описывать рулетку; я приноравливаюсь для себя, чтобы знать, как себя вести на будущее время. Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда из-за стола протягивается вдруг чья-нибудь рука и берет себе то, что вы выиграли. Начинается спор, нередко крик, и — прошу покорно доказать, сыскать свидетелей, что ставка ваша!

Сначала вся эта штука была для меня тарабарскою грамотою; я только догадывался и различал кое-как, что ставки бывают на числа, на чет и нечет и на цвета. Из денег Полины Александровны я в этот вечер решился попытать сто гульденов. Мысль, что я приступаю к игре не для себя, как-то сбивала меня с толку. Ощущение было чрезвычайно неприятное, и мне захотелось поскорее развязаться с ним. Мне всё казалось, что, начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тотчас же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул пять фридрихсдоров, то есть пятьдесят гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось, и вышло тринадцать — я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственно чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще пять фридрихсдоров на красную. Вышла красная. Я поставил все десять фридрихсдоров — вышла опять красная. Я поставил опять всё за раз, вышла опять красная. Получив сорок фридрихсдоров, я поставил двадцать на двенадцать средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из десяти фридрихсдоров у меня появилось вдруг восемьдесят. Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решился уйти. Мне показалось, что я вовсе бы не так играл, если б играл для себя. Я, однако ж, поставил все восемьдесят фридрихсдоров еще раз на четку. На этот раз вышло четыре; мне отсыпали еще восемьдесят фридрихсдоров, и, захватив всю кучу в сто шестьдесят фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну.

Они все где-то гуляли в парке, и я успел увидеться с нею только за ужином. На этот раз француза не было, и генерал развернулся:

между прочим, он почел нужным опять мне заметить, что он бы не желал меня видеть за игорным столом. По его мнению, его очень скомпрометирует, если я как-нибудь слишком проиграюсь; «но если б даже вы и выиграли очень много, то и тогда я буду тоже скомпрометирован, — прибавил он значительно. — Конечно, я не имею права располагать вашими поступками, но согласитесь сами...» Тут он по обыкновению своему не докончил. Я сухо ответил ему, что у меня очень мало денег и что, следовательно, я не могу слишком приметно проиграться, если б даже и стал играть. Придя к себе наверх, я успел передать Полине ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее.

— Почему же? — спросила она тревожно.

— Потому что хочу играть для себя, — отвечал я, рассматривая ее с удивлением, — а это мешает.

— Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка ваш единственный исход и спасение? — спросила она насмешливо. Я отвечал опять очень серьезно, что да; что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, «но чтоб оставили меня в покое».

Полина Александровна настаивала, чтоб я непременно разделил с нею сегодняшний выигрыш пополам, и отдавала мне восемьдесят фридрихсдоров, предлагая и впредь продолжать игру на этом условии. Я отказался от половины решительно и окончательно и объявил, что для других не могу играть не потому, чтоб не желал, а потому, что наверное проиграю.

— И, однако ж, я сама, как ни глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку, — сказала она задумываясь. — А потому вы непременно должны продолжать игру со мною вместе пополам, и — разумеется — будете. — Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений.

## *Глава III*

И, однако ж, вчера целый день она не говорила со мной об игре ни слова. Да и вообще она избегала со мной говорить вчера. Прежняя манера ее со мною не изменилась. Та же совершенная небрежность в обращении при встречах, и даже что-то презрительное и ненавистное. Вообще она не желает скрывать своего ко мне отвращения; я это вижу. Несмотря на это, она не скрывает тоже от меня, что я ей для чего-то нужен и что она для чего-то меня бережет. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные, — взяв в соображение ее гордость и надменность со всеми. Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти — и уж, конечно, ничем она не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. «Значит, дескать, до того считаю ни

во что твои чувства, что мне решительно всё равно, об чем бы ты ни говорил со мною и что бы ко мне ни чувствовал». Про свои собственные дела она разговаривала со мною много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, в пренебрежении ее ко мне были, например, вот какие утонченности: она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство ее жизни или что-нибудь о том, что сильно ее тревожит; она даже сама расскажет мне что-нибудь из ее обстоятельств, если надо употребить меня как-нибудь для своих целей, вроде раба, или на побегушки; но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушки, и если мне еще неизвестна целая связь событий, если она и сама видит, как я мучусь и тревожусь ее же мучениями и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить вполне своей дружеской откровенностию, хотя, употребляя меня нередко по поручениям не только хлопотливым, но даже опасным, она, по моему мнению, обязана быть со мной откровенною. Да и стоит ли заботиться о моих чувствах, о том, что я тоже тревожусь и, может быть, втрое больше забочусь и мучусь ее же заботами и неудачами, чем она сама!

Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже предуведомила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично. По тону ее слов я тогда же заметил, что у ней какая-то серьезная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что ей деньги сами по себе! Тут есть цель, тут какие-то обстоятельства, которые я могу угадывать, но которых я до сих пор не знаю. Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать (весьма часто дают) возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать. Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей и обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает. Иной раз и вовсе их не замечает. Вот как у нас!

Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще четыре дня назад в Петербург и на которую не было ответа. Генерал видимо волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьезно разговаривали. Тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный. Тут именно по пословице: посади за стол, и ноги на стол. Он даже с Полиной небрежен до грубости; впрочем, с удовольствием участвует в общих прогулках в воксале или в кавалькадах и поездках за город. Мне известны давно кой-какие из обстоятельств, связавших француза с генералом: в России они затевали вместе завод; я не знаю, лопнул ли их проект, или всё еще об нем у них говорится. Кроме того, мне случайно известна часть семейной тайны: француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему тридцать тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме при сдаче должности. И уж разумеется, генерал у него в тисках;

но теперь, собственно теперь, главную роль во всем этом играет все-таки mademoiselle Blanche, и я уверен, что и тут не ошибаюсь.

Кто такая mademoiselle Blanche? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и mademoiselle Blanche сносились между собой как-то гораздо церемоннее, были как будто на более тонкой и деликатной ноге; теперь же знакомство их, дружба и родственность выглядывают как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они и не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться. Я еще третьего дня заметил, как мистер Астлей разглядывал mademoiselle Blanche и ее матушку. Мне показалось, что он их знает. Мне показалось даже, что и наш француз встречался прежде с мистером Астлеем. Впрочем, мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, — из избы сора не вынесет. По крайней мере француз едва ему кланяется и почти не глядит на него; а — стало быть, не боится. Это еще понятно; но почему mademoiselle Blanche тоже почти не глядит на него? Тем более что маркиз вчера проговорился: он вдруг сказал в общем разговоре, не помню по какому поводу, что мистер Астлей колоссально богат и что он про это знает; тут-то бы и глядеть mademoiselle Blanche на мистера Астлея! Вообще генерал находится в беспокойстве. Понятно, что может значить для него теперь телеграмма о смерти тетки!

Мне хоть и показалось наверное, что Полина избегает разговора со мною, как бы с целью, но я и сам принял на себя вид холодный и равнодушный: всё думал, что она нет-нет, да и подойдет ко мне. Зато вчера и сегодня я обратил всё мое внимание преимущественно на mademoiselle Blanche. Бедный генерал, он погиб окончательно! Влюбиться в пятьдесят пять лет, с такою силою страсти, — конечно, несчастие. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. Mademoiselle Blanche красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере я всегда боялся таких женщин. Ей, наверно, лет двадцать пять. Она рослая и широкоплечая, с крутыми плечами; шея и грудь у нее роскошны; цвет кожи смугло-желтый, цвет волос черный, как тушь, и волос ужасно много, достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены; от нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос ее — сиплый контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально — по крайней мере

при Полине и при Марье Филипповне. (Странный слух: Марья Филипповна уезжает в Россию.) Мне кажется, mademoiselle Blanche безо всякого образования, может быть даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была-таки не без приключений. Если уж говорить всё, то может быть, что маркиз вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать. Но есть сведения, что в Берлине, где мы с ними съехались, она и мать ее имели несколько порядочных знакомств. Что касается до самого маркиза, то хоть я и до сих пор сомневаюсь, что он маркиз, но принадлежность его к порядочному обществу, как у нас, например, в Москве и кое-где и в Германии, кажется, не подвержена сомнению. Не знаю, что он такое во Франции? Говорят, у него есть шато́. Я думал, что в эти две недели много воды уйдет, и, однако ж, я всё еще не знаю наверно, сказано ли у mademoiselle Blanche с генералом что-нибудь решительное? Вообще всё зависит теперь от нашего состояния, то есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то я уверен, mademoiselle Blanche тотчас бы исчезла. Удивительно и смешно мне самому, какой я, однако ж, стал сплетник. О, как мне всё это противно! С каким наслаждением я бросил бы всех и всё! Но разве я могу уехать от Полины, разве я могу не шпионить кругом нее? Шпионство, конечно, подло, но — какое мне до этого дело!

Любопытен мне тоже был вчера и сегодня мистер Астлей. Да, я убежден, что он влюблен в Полину! Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно-целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить, словом или взглядом. Мистер Астлей весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или пред фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были: в парке ли, в лесу ли, или на Шлангенберге, — стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом, и непременно где-нибудь, или на ближайшей тропинке, или из-за куста, покажется уголок мистера Астлея. Мне кажется, он ищет случая со мной говорить особенно. Сегодня утром мы встретились и перекинули два слова. Он говорит иной раз как-то чрезвычайно отрывисто. Еще не сказав «здравствуйте», он начал с того, что проговорил:

— А, mademoiselle Blanche!.. Я много видел таких женщин, как mademoiselle Blanche!

Он замолчал, знаменательно смотря на меня. Что он этим хотел сказать, не знаю, потому что на вопрос мой: что это значит? — он с хитрой улыбкой кивнул головою и прибавил:

— Уж это так. Mademoiselle Pauline очень любит цветы?

— Не знаю, совсем не знаю, — отвечал я.

— Как! Вы и этого не знаете! — вскричал он с величайшим изумлением.

— Не знаю, совсем не заметил, — повторил я смеясь.

— Гм, это дает мне одну особую мысль. — Тут он кивнул головою и прошел далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним на сквернейшем французском языке.

## *Глава IV*

Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь одиннадцать часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден-таки был идти на рулетку, чтоб играть для Полины Александровны. Я взял все ее сто шестьдесят фридрихсдоров, но под двумя условиями: первое — что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе, второе — что вечером Полина разъяснит мне, для чего именно ей так нужно выиграть и сколько именно денег. Я все-таки никак не могу предположить, чтобы это было просто для денег. Тут, видимо, деньги необходимы, и как можно скорее, для какой-то особенной цели. Она обещалась разъяснить, и я отправился. В игорных залах толпа была ужасная. Как нахальны они и как все они жадны! Я протеснился к середине и стал возле самого крупера; затем стал робко пробовать игру, ставя по две и по три монеты. Между тем я наблюдал и замечал; мне показалось, что собственно расчет довольно мало значит и вовсе не имеет той важности, которую ему придают многие игроки. Они сидят с разграфленными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец ставят и — проигрывают точно так же, как и мы, простые смертные, играющие без расчету. Но зато я вывел одно заключение, которое, кажется, верно: действительно, в течении случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок, что, конечно, очень странно. Например, бывает, что после двенадцати средних цифр наступают двенадцать последних; два раза, положим, удар ложится на эти двенадцать последних и переходит на двенадцать первых. Упав на двенадцать первых, переходит опять на двенадцать средних, ударяет сряду три, четыре раза по средним и опять переходит на двенадцать последних, где, опять после двух раз, переходит к первым, на первых опять бьет один раз и опять переходит на три удара средних, и таким образом продолжается в течение полутора или двух часов. Один, три и два, один, три и два. Это очень забавно. Иной день или иное утро идет, например, так, что красная сменяется черною и обратно почти без всякого порядка, поминутно, так что больше двух-трех ударов сряду на красную или на черную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает сряду одна красная; доходит, например,

больше чем до двадцати двух раз сряду и так идет непременно в продолжение некоторого времени, например в продолжение целого дня. Мне много в этом объяснил мистер Астлей, который целое утро простоял у игорных столов, но сам не поставил ни разу. Что же касается до меня, то я весь проигрался до тла и очень скоро. Я прямо сразу поставил на четку двадцать фридрихсдоров и выиграл, поставил пять и опять выиграл и таким образом еще раза два или три. Я думаю, у меня сошлось в руках около четырехсот фридрихсдоров в какие-нибудь пять минут. Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку, в четыре тысячи гульденов, и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул всё, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять, после чего отошел от стола, как оглушенный. Я даже не понимал, что это со мною было, и объявил о моем проигрыше Полине Александровне только пред самым обедом. До того времени я всё шатался в парке.

За обедом я был опять в возбужденном состоянии, так же как и три дня тому назад. Француз и mademoiselle Blanche опять обедали с нами. Оказалось, что mademoiselle Blanche была утром в игорных залах и видела мои подвиги. В этот раз она заговорила со мною как-то внимательнее. Француз пошел прямее и просто спросил меня, неужели я проиграл свои собственные деньги? Мне кажется, он подозревает Полину. Одним словом, тут что-то есть. Я тотчас же солгал и сказал, что свои.

Генерал был чрезвычайно удивлен: откуда я взял такие деньги? Я объяснил, что начал с десяти фридрихсдоров, что шесть или семь ударов сряду, надвое, довели меня до пяти или до шести тысяч гульденов и что потом я всё спустил с двух ударов.

Всё это, конечно, было вероятно. Объясняя это, я посмотрел на Полину, но ничего не мог разобрать в ее лице. Однако ж она мне дала солгать и не поправила меня; из этого я заключил, что мне и надо было солгать и скрыть, что я играл за нее. Во всяком случае, думал я про себя, она обязана мне объяснением и давеча обещала мне кое-что открыть.

Я думал, что генерал сделает мне какое-нибудь замечание, но он промолчал; зато я заметил в лице его волнение и беспокойство. Может быть, при крутых его обстоятельствах ему просто тяжело было выслушать, что такая почтительная груда золота пришла и ушла в четверть часа у такого нерасчетливого дурака, как я.

Я подозреваю, что у него вчера вечером вышла с французом какая-то жаркая контра. Они долго и с жаром говорили о чем-то, запершись. Француз ушел как будто чем-то раздраженный, а сегодня рано утром опять приходил к генералу — и, вероятно, чтоб продолжать вчерашний разговор.

Выслушав о моем проигрыше, француз едко и даже злобно заметил мне, что надо было быть благоразумнее. Не знаю, для чего он прибавил, что хоть русских и много играет, но, по его мнению, русские даже и играть не способны.

— А по моему мнению, рулетка только и создана для русских,— сказал я, и когда француз на мой отзыв презрительно усмехнулся, я заметил ему, что, уж конечно, правда на моей стороне, потому что, говоря о русских как об игроках, я гораздо более ругаю их, чем хвалю, и что мне, стало быть, можно верить.

— На чем же вы основываете ваше мнение? — спросил француз.

— На том, что в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, — прибавил я, — а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как например рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!

— Это отчасти справедливо, — заметил самодовольно француз.

— Нет, это несправедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве, — строго и внушительно заметил генерал.

— Помилуйте, — отвечал я ему, — ведь, право, неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?

— Какая безобразная мысль! — воскликнул генерал.

— Какая русская мысль! — воскликнул француз.

Я смеялся, мне ужасно хотелось их раззадорить.

— А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, — вскричал я, — чем поклоняться немецкому идолу.

— Какому идолу? — вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться.

— Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но, однако ж, все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. Ей богу, не хочу таких добродетелей! Я здесь успел уже вчера обойти верст на десять кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками: есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер, ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого эдакого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны. Закат солнца, на крыше аист, и всё необыкновенно поэтическое и трогательное...

Уж вы не сердитесь, генерал, позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец, покойник, тоже под

липками, в палисаднике, по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки... Я ведь сам могу судить об этом как следует. Ну, так всякая эдакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как волы, и все копят деньги, как жиды. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать; для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право, это здесь делается; я расспрашивал. Всё это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности, до того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе, как от честности, продали, — а уж это идеал, когда сама жертва радуется, что ее на заклание ведут. Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче: есть там у него такая Амальхен, с которою он сердцем соединился, — но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Тоже ждут благонравно и искренно и с улыбкой на заклание идут. У Амальхен уж щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет через двадцать, благосостояние умножилось; гульдены честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхен, с иссохшей грудью и красным носом... При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера, и начинается опять та же история. Лет эдак чрез пятьдесят или чрез семьдесят внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, тот своему, и поколений чрез пять или шесть выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и Комн., или там черт знает кто. Ну-с, как же не величественное зрелище: столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше! Чего же вам еще, ведь уж выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир судить и виновных, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. Ну-с, так вот в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппе и Комн. чрез пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения.

— Не знаю, много ли правды в том, что вы говорили, — задумчиво заметил генерал, — но знаю наверное, что вы нестерпимо начинаете форсить, чуть лишь вам капельку позволят забыться...

По обыкновению своему, он не договорил. Если наш генерал начинал о чем-нибудь говорить, хотя капельку позначительнее обыкновенного обыденного разговора, то никогда не договаривал. Француз небрежно слушал, немного выпучив глаза. Он почти ничего не понял из того, что я говорил. Полина смотрела

с каким-то высокомерным равнодушием. Казалось, она не только меня, но и ничего не слыхала из сказанного в этот раз за столом.

## *Глава V*

Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану.

Так как я был в особенно возбужденном состоянии, то и брякнул глупо и грубо вопрос: почему наш маркиз Де-Грие, французик, не только не сопровождает ее теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с нею по целым дням?

— Потому что он подлец, — странно ответила она мне. Я никогда еще не слышал от нее такого отзыва о Де-Грие и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность.

— А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом?

— Вам хочется знать, в чем дело, — сухо и раздражительно отвечала она. — Вы знаете, что генерал весь у него в закладе, всё имение — его, и если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе.

— А, так это действительно правда, что всё в закладе? Я слышал, но не знал, что решительно всё.

— А то как же?

— И при этом прощай mademoiselle Blanche, — заметил я. — Не будет она тогда генеральшей! Знаете ли что: мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если mademoiselle Blanche его бросит. В его лета так влюбляться опасно.

— Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет, — задумчиво заметила Полина Александровна.

— И как это великолепно, — вскричал я, — грубее нельзя показать, что она согласилась выйти только за деньги. Тут даже приличий не соблюдалось, совсем без церемонии происходило. Чудо! А насчет бабушки, что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграммою и спрашивать: умерла ли, умерла ли? А? как вам это нравится, Полина Александровна?

— Это всё вздор, — сказала она с отвращением, перебивая меня. — Я, напротив того, удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли?

— Зачем вы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу играть для других, тем более для вас. Я послушаюсь, что бы вы мне ни приказали; но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не выйдет. Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег? Для чего вам столько?

— К чему эти вопросы?

— Но ведь вы сами обещали мне объяснить... Слушайте: я совершенно убежден, что когда начну играть для себя (а у меня

есть двенадцать фридрихсдоров), то я выиграю. Тогда сколько вам надо, берите у меня.

Она сделала презрительную мину.

— Вы не сердитесь на меня, — продолжал я, — за такое предложение. Я до того проникнут сознанием того, что я нуль пред вами, то есть в ваших глазах, что вам можно даже принять от меня и деньги. Подарком от меня вам нельзя обижаться. Притом же я проиграл ваши.

Она быстро поглядела на меня и, заметив, что я говорю раздражительно и саркастически, опять перебила разговор:

— Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах. Если хотите знать, я просто должна. Деньги взяты мною взаймы, и я хотела бы их отдать. У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю, здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль у меня — не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось.

— Или потому, что уж слишком *надо* было выиграть. Это точь-в-точь, как утопающий, который хватается за соломинку. Согласитесь сами, что если б он не утопал, то он не считал бы соломинку за древесный сук.

Полина удивилась.

— Как же, — спросила она, — вы сами-то на то же самое надеетесь? Две недели назад вы сами мне говорили однажды, много и долго, о том, что вы вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке, и убеждали меня, чтоб я не смотрела на вас как на безумного; или вы тогда шутили? Но я помню, вы говорили так серьезно, что никак нельзя было принять за шутку.

— Это правда, — отвечал я задумчиво, — я до сих пор уверен вполне, что выиграю. Я даже вам признаюсь, что вы меня теперь навели на вопрос: почему именно мой сегодняшний, бестолковый и безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения? Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно.

— Почему же вы так наверно убеждены?

— Если хотите — не знаю. Я знаю только, что мне *надо* выиграть, что это тоже единственный мой исход. Ну вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть.

— Стало быть, вам тоже слишком *надо*, если вы фанатически уверены?

— Бьюсь об заклад, что вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьезную надобность?

— Это мне всё равно, — тихо и равнодушно ответила Полина. — Если хотите — *да*, я сомневаюсь, чтоб вас мучило что-нибудь серьезно. Вы можете мучиться, но не серьезно. Вы человек беспорядочный и неустановившийся. Для чего вам деньги? Во всех резонах, которые вы мне тогда представили, я ничего не нашла серьезного.

— Кстати, — перебил я, — вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорош, значит, долг! Не французу ли?

— Что за вопросы? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли?

— Вы знаете, что я всё себе позволяю говорить, и спрашиваю иногда очень откровенно. Повторяю, я ваш раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может.

— Всё это вздор! И терпеть я не могу этой вашей «рабской» теории.

— Заметьте себе, что я не потому говорю про мое рабство, чтоб желал быть вашим рабом, а просто — говорю, как о факте, совсем не от меня зависящем.

— Говорите прямо, зачем вам деньги?

— А вам зачем это знать?

— Как хотите, — ответила она и гордо повела головой.

— Рабской теории не тéрпите, а рабства требуете: «Отвечать и не рассуждать!» Хорошо, пусть так. Зачем деньги, вы спрашиваете? Как зачем? Деньги — всё!

— Понимаю, но не впадать же в такое сумасшествие, их желая! Вы ведь тоже доходите до исступления, до фатализма. Тут есть что-нибудь, какая-то особая цель. Говорите без извилин, я так хочу.

Она как будто начинала сердиться, и мне ужасно понравилось, что она так с сердцем допрашивала.

— Разумеется, есть цель, — сказал я, — но я не сумею объяснить — какая. Больше ничего, что с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом.

— Как? как вы этого достигнете?

— Как достигну? как, вы даже не понимаете, как могу я достигнуть, чтоб вы взглянули на меня иначе, как на раба! Ну вот этого-то я и не хочу, таких удивлений и недоумений.

— Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала.

— Вы так думали, — вскричал я с каким-то странным наслаждением. — Ах, как эдакая наивность от вас хороша! Ну да, да, мне от вас рабство — наслаждение. Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! — продолжал я бредить. — Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо... Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне давеча генерал при вас за столом наставление читал за семьсот рублей в год, которых я, может быть, еще и не получу от него. Меня маркиз Де-Грие, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я, с своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза Де-Грие при вас за нос?

— Речи молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унизит.

— Прямо из прописи! Вы только предположите, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит. Француз перенесет оскорбление, настоящее, сердечное оскорбление и не поморщится, но щелчка в нос ни за что не перенесет, потому что это есть нарушение принятой и увековеченной формы приличий. Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. По-моему, впрочем, никакой формы и нет, а один только петух, le coq gaulois.[1] Впрочем, этого я понимать не могу, я не женщина. Может быть, петухи и хороши. Да и вообще я заврался, а вы меня не останавливаете. Останавливайте меня чаще; когда я с вами говорю, мне хочется высказать всё, всё, всё. Я теряю всякую форму. Я даже согласен, что я не только формы, но и достоинств никаких не имею. Объявляю вам об этом. Даже не забочусь ни о каких достоинствах. Теперь всё во мне остановилось. Вы сами знаете отчего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уж не знаю, что на свете делается, ни в России, ни здесь. Я вот Дрезден проехал и не помню, какой такой Дрезден. Вы сами знаете, что меня поглотило. Так как я не имею никакой надежды и в глазах ваших нуль, то и говорю прямо: я только вас везде вижу, а остальное мне всё равно. За что и как я вас люблю — не знаю. Знаете ли, что, может быть, вы вовсе не хороши? Представьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы или нет, даже лицом? Сердце, наверное, у вас нехорошее; ум неблагородный; это очень может быть.

— Может быть, вы потому и рассчитываете закупить меня деньгами, — сказала она, — что не верите в мое благородство?

— Когда я рассчитывал купить вас деньгами? — вскричал я.

— Вы зарапортовались и потеряли вашу нитку. Если не меня купить, то мое уважение вы думаете купить деньгами.

— Ну нет, это не совсем так. Я вам сказал, что мне трудно объясняться. Вы подавляете меня. Не сердитесь на мою болтовню. Вы понимаете, почему на меня нельзя сердиться: я просто сумасшедший. А, впрочем, мне всё равно, хоть и сердитесь. Мне у себя наверху, в каморке, стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, и я руки себе искусать готов. И за что вы на меня

---

[1] галльский петух *(франц.)*.

сердитесь? За то, что я называю себя рабом? Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь! Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю иль приревную, а — так, просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть. Вы смеетесь...

— Совсем не смеюсь, — сказала она с гневом. — Я приказываю вам молчать.

Она остановилась, едва переводя дух от гнева. Ей-богу, я не знаю, хороша ли она была собой, но я всегда любил смотреть, когда она так предо мною останавливалась, а потому и любил часто вызывать ее гнев. Может быть, она заметила это и нарочно сердилась. Я ей это высказал.

— Какая грязь! — воскликнула она с отвращением.

— Мне всё равно, — продолжал я. — Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно: меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. И что вы думаете, до этого не дойдет? Вы доведете меня до горячки. Уж не скандала ли я побоюсь? Гнева вашего? Да что мне ваш гнев? Я люблю без надежды и знаю, что после этого в тысячу раз больше буду любить вас. Если я вас когда-нибудь убью, то надо ведь и себя убить будет; ну так — я себя как можно дольше буду не убивать, чтоб эту нестерпимую боль без вас ощутить. Знаете ли вы невероятную вещь: я вас с каждым днем люблю *больше,* а ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фаталистом? Помните, третьего дня, на Шлангенберге, я прошептал вам, вызванный вами: скажите слово, и я соскочу в эту бездну. Если б вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. Неужели вы не верите, что я бы соскочил?

— Какая глупая болтовня! — вскричала она.

— Мне никакого дела нет до того, глупа ли она иль умна, — вскричал я. — Я знаю, что при вас мне надо говорить, говорить, говорить — и я говорю. Я всё самолюбие при вас теряю, и мне всё равно.

— К чему мне заставлять вас прыгать с Шлангенберга? — сказала она сухо и как-то особенно обидно. — Это совершенно для меня бесполезно.

— Великолепно! — вскричал я, — вы нарочно сказали это великолепное «бесполезно», чтоб меня придавить. Я вас насквозь вижу. Бесполезно, говорите вы? Но ведь удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть — хоть над мухой — ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек — деспот от природы и любит быть мучителем. Вы ужасно любите.

Помню, она рассматривала меня с каким-то особенно пристальным вниманием. Должно быть, лицо мое выражало тогда все мои бестолковые и нелепые ощущения. Я припоминаю теперь, что и действительно у нас почти слово в слово так шел тогда разговор, как я здесь описал. Глаза мои налились кровью. На окраинах губ запекалась пена. А что касается Шлангенберга, то клянусь

честью, даже и теперь: если б она тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился! Если б для шутки одной сказала, если б с презрением, с плевком на меня сказала, — я бы и тогда соскочил!

— Нет, почему ж, я вам верю, — произнесла она, но так, как она только умеет иногда выговорить, с таким презрением и ехидством, с таким высокомерием, что, ей-богу, я мог убить ее в эту минуту. Она рисковала. Про это я тоже не солгал, говоря ей.

— Вы не трус? — спросила она меня вдруг.

— Не знаю, может быть, и трус. Не знаю... я об этом давно не думал.

— Если б я сказала вам: убейте этого человека, вы бы убили его?

— Кого?

— Кого я захочу.

— Француза?

— Не спрашивайте, а отвечайте, — кого я укажу. Я хочу знать, серьезно ли вы сейчас говорили? — Она так серьезно и нетерпеливо ждала ответа, что мне как-то странно стало.

— Да скажете ли вы мне, наконец, что такое здесь происходит! — вскричал я. — Что вы, боитесь, что ли, меня? Я сам вижу все здешние беспорядки. Вы падчерица разорившегося и сумасшедшего человека, зараженного страстью к этому дьяволу — Blanche; потом тут — этот француз, с своим таинственным влиянием на вас и — вот теперь вы мне так серьезно задаете... такой вопрос. По крайней мере чтоб я знал; иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю. Или вы стыдитесь удостоить меня откровенности? Да разве вам можно стыдиться меня?

— Я с вами вовсе не о том говорю. Я вас спросила и жду ответа.

— Разумеется, убью, — вскричал я, — кого вы мне только прикажете, но разве вы можете... разве вы это прикажете?

— А что вы думаете, вас пожалею? Прикажу, а сама в стороне останусь. Перенесете вы это? Да нет, где вам! Вы, пожалуй, и убьете по приказу, а потом и меня придете убить за то, что я смела вас посылать.

Мне как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, я и тогда считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов; но все-таки она слишком серьезно проговорила. Я все-таки был поражен, что она так высказалась, что она удерживает такое право надо мной, что она соглашается на такую власть надо мною и так прямо говорит: «Иди на погибель, а я в стороне останусь». В этих словах было что-то такое циническое и откровенное, что, по-моему, было уж слишком много. Так, стало быть, как же смотрит она на меня после этого? Это уж перешло за черту рабства и ничтожества. После такого взгляда человека возносят до себя. И как ни нелеп, как ни невероятен был весь наш разговор, но сердце у меня дрогнуло.

Вдруг она захохотала. Мы сидели тогда на скамье, пред игравшими детьми, против самого того места, где останавливались экипажи и высаживали публику в аллею, пред воксалом.

— Видите вы эту толстую баронессу? — вскричала она. — Это баронесса Вурмергельм. Она только три дня как приехала. Видите ее мужа: длинный, сухой пруссак, с палкой в руке. Помните, как он третьего дня нас оглядывал? Ступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски.

— Зачем?

— Вы клялись, что соскочили бы с Шлангенберга; вы клянетесь, что вы готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Ступайте без отговорок. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьет палкой.

— Вы вызываете меня; вы думаете, что я не сделаю?

— Да, вызываю, ступайте, я так хочу!

— Извольте, иду, хоть это и дикая фантазия. Только вот что: чтобы не было неприятности генералу, а от него вам? Ей-богу, я не о себе хлопочу, а об вас, ну — и об генерале. И что за фантазия идти оскорблять женщину?

— Нет, вы только болтун, как я вижу, — сказала она презрительно. — У вас только глаза кровью налились давеча, — впрочем, может быть, оттого, что вы вина много выпили за обедом. Да разве я не понимаю сама, что это и глупо, и пошло, и что генерал рассердится? Я просто смеяться хочу. Ну, хочу да и только! И зачем вам оскорблять женщину? Скорее вас прибьют палкой.

Я повернулся и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, я не сумел вывернуться, но когда я стал подходить к баронессе, помню, меня самого как будто что-то подзадорило, именно школьничество подзадорило. Да и раздражен я был ужасно, точно пьян.

## *Глава VI*

Вот уже два дня прошло после того глупого дня. И сколько крику, шуму, толку, стуку! И какая всё это беспорядица, неурядица, глупость и пошлость, и я всему причиною. А впрочем, иногда бывает смешно — мне по крайней мере. Я не умею себе дать отчета, что со мной сделалось, в исступленном ли я состоянии нахожусь, в самом деле, или просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут. Порой мне кажется, что у меня ум мешается. А порой кажется, что я еще не далеко от детства, от школьной скамейки, и просто грубо школьничаю.

Это Полина, это всё Полина! Может быть, не было бы и школьничества, если бы не она. Кто знает, может быть, я это всё с отчаяния (как ни глупо, впрочем, так рассуждать). И не понимаю, не

понимаю, что в ней хорошего! Хороша-то она, впрочем, хороша; кажется, хороша. Ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная. Очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать или перегнуть надвое. Следок ноги у ней узенький и длинный — мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. Глаза — настоящие кошачьи, но как она гордо и высокомерно умеет ими смотреть. Месяца четыре тому назад, когда я только что поступил, она, раз вечером, в зале с Де-Грие долго и горячо разговаривала. И так на него смотрела... что потом я, когда к себе пришел ложиться спать, вообразил, что она дала ему пощечину, — только что дала, стоит перед ним и на него смотрит... Вот с этого-то вечера я ее и полюбил.

Впрочем, к делу.

Я спустился по дорожке в аллею, стал посредине аллеи и выжидал баронессу и барона. В пяти шагах расстояния я снял шляпу и поклонился.

Помню, баронесса была в шелковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками, в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое. Глаза маленькие, злые и наглые. Идет — точно всех чести удостоивает. Барон сух, высок. Лицо, по немецкому обыкновению, кривое и в тысяче мелких морщинок; в очках; сорока пяти лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди; это, значит, порода. Горд, как павлин. Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие.

Всё это мелькнуло мне в глаза в три секунды.

Мой поклон и моя шляпа в руках сначала едва-едва остановили их внимание. Только барон слегка насупил брови. Баронесса так и плыла прямо на меня.

— Madame la baronne, — проговорил я отчетливо вслух, отчеканивая каждое слово, — j'ai l'honneur d'être votre esclave.[1]

Затем поклонился, надел шляпу и прошел мимо барона, вежливо обращая к нему лицо и улыбаясь.

Шляпу снять велела мне она, но поклонился и сошкольничал я уж сам от себя. Черт знает, что меня подтолкнуло? Я точно с горы летел.

— Гейн! — крикнул, или лучше сказать, крякнул барон, оборачиваясь ко мне с сердитым удивлением.

Я обернулся и остановился в почтительном ожидании, продолжая на него смотреть и улыбаться. Он, видимо, недоумевал и подтянул брови до nec plus ultra.[2] Лицо его всё более и более омрачалось. Баронесса тоже повернулась в мою сторону и тоже посмотрела в гневном недоумении. Из прохожих стали засматриваться. Иные даже приостанавливались.

---

[1] Госпожа баронесса... честь имею быть вашим рабом *(франц.)*.

[2] до крайнего предела *(лат.)*.

— Гейн! — крякнул опять барон с удвоенным кряктом и с удвоенным гневом.

— Jawohl,[1] — протянул я, продолжая смотреть ему прямо в глаза.

— Sind Sie rasend?[2] — крикнул он, махнув своей палкой и, кажется, немного начиная трусить. Его, может быть, смущал мой костюм. Я был очень прилично, даже щегольски одет, как человек, вполне принадлежащий к самой порядочной публике.

— Jawo-o-ohl! — крикнул я вдруг изо всей силы, протянув *о*, как протягивают берлинцы, поминутно употребляющие в разговоре фразу «jawohl» и при этом протягивающие букву *о* более или менее, для выражения различных оттенков мыслей и ощущений.

Барон и баронесса быстро повернулись и почти побежали от меня в испуге. Из публики иные заговорили, другие смотрели на меня в недоумении. Впрочем, не помню хорошо.

Я оборотился и пошел обыкновенным шагом к Полине Александровне. Но еще не доходя шагов сотни до ее скамейки, я увидел, что она встала и отправилась с детьми к отелю.

Я настиг ее у крыльца.

— Исполнил... дурачество, — сказал я, поравнявшись с нею.

— Ну, так что ж? Теперь и разделывайтесь, — ответила она, даже и не взглянув на меня, и пошла по лестнице.

Весь этот вечер я проходил в парке. Чрез парк и потом чрез лес я прошел даже в другое княжество. В одной избушке ел яичницу и пил вино: за эту идиллию с меня содрали целых полтора талера.

Только в одиннадцать часов я воротился домой. Тотчас же за мною прислали от генерала.

Наши в отеле занимают два номера; у них четыре комнаты. Первая, большая, — салон, с роялем. Рядом с нею тоже большая комната — кабинет генерала. Здесь ждал он меня, стоя среди кабинета в чрезвычайно величественном положении. Де-Грие сидел, развалясь на диване.

— Милостивый государь, позвольте спросить, что вы наделали? — начал генерал, обращаясь ко мне.

— Я бы желал, генерал, чтобы вы приступили прямо к делу, — сказал я. — Вы, вероятно, хотите говорить о моей встрече сегодня с одним немцем?

— С одним немцем?! Этот немец — барон Вурмергельм и важное лицо-с! Вы наделали ему и баронессе грубостей.

— Никаких.

— Вы испугали их, милостивый государь, — крикнул генерал.

— Да совсем же нет. Мне еще в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову «jawohl», которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним в аллее,

---

[1] Да *(нем.)*.
[2] Вы что, взбесились? *(нем.)*.

мне вдруг это «jawohl», не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовало на меня раздражительно... Да к тому же баронесса вот уж три раза, встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь свое самолюбие. Я снял шляпу и вежливо (уверяю вас, что вежливо) сказал: «Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave». Когда барон обернулся и закричал «гейн!» — меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать: «Jawohl!» Я и крикнул два раза: первый раз обыкновенно, а второй — протянув изо всей силы. Вот и всё.

Признаюсь, я ужасно был рад этому в высшей степени мальчишескому объяснению. Мне удивительно хотелось размазывать всю эту историю как можно нелепее.

И чем далее, тем я более во вкус входил.

— Вы смеетесь, что ли, надо мною, — крикнул генерал. Он обернулся к французу и по-французски изложил ему, что я решительно напрашиваюсь на историю. Де-Грие презрительно усмехнулся и пожал плечами.

— О, не имейте этой мысли, ничуть не бывало! — вскричал я генералу, — мой поступок, конечно, нехорош, я в высшей степени откровенно вам сознаюсь в этом. Мой поступок можно назвать даже глупым и неприличным школьничеством, но — не более. И знаете, генерал, я в высшей степени раскаиваюсь. Но тут есть одно обстоятельство, которое в моих глазах почти избавляет меня даже и от раскаяния. В последнее время, эдак недели две, даже три, я чувствую себя нехорошо: больным, нервным, раздражительным, фантастическим и, в иных случаях, теряю совсем над собою волю. Право, мне иногда ужасно хотелось несколько раз вдруг обратиться к маркизу Де-Грие и... А впрочем, нечего договаривать; может, ему будет обидно. Одним словом, это признаки болезни. Не знаю, примет ли баронесса Вурмергельм во внимание это обстоятельство, когда я буду просить у нее извинения (потому что я намерен просить у нее извинения)? Я полагаю, не примет, тем более что, сколько известно мне, этим обстоятельством начали в последнее время злоупотреблять в юридическом мире: адвокаты при уголовных процессах стали весьма часто оправдывать своих клиентов, преступников, тем, что они в момент преступления ничего не помнили и что это будто бы такая болезнь. «Прибил, дескать, и ничего не помнит». И представьте себе, генерал, медицина им поддакивает — действительно подтверждает, что бывает такая болезнь, такое временное помешательство, когда человек почти ничего не помнит, или полупомнит, или четверть помнит. Но барон и баронесса — люди поколения старого, притом прусские юнкеры и помещики. Им, должно быть, этот прогресс в юридически-медицинском мире еще неизвестен, а потому они и не примут моих объяснений. Как вы думаете, генерал?

— Довольно, сударь! — резко и с сдержанным негодованием произнес генерал, — довольно! Я постараюсь раз навсегда

избавить себя от вашего школьничества. Извиняться перед баронессою и бароном вы не будете. Всякие сношения с вами, даже хотя бы они состояли единственно в вашей просьбе о прощении, будут для них слишком унизительны. Барон, узнав, что вы принадлежите к моему дому, объяснялся уж со мною в воксале и, признаюсь вам, еще немного, и он потребовал бы у меня удовлетворения. Понимаете ли вы, чему подвергали вы меня, — меня, милостивый государь? Я, я принужден был просить у барона извинения и дал ему слово, что немедленно, сегодня же, вы не будете принадлежать к моему дому...

— Позвольте, позвольте, генерал, так это он сам непременно потребовал, чтоб я не принадлежал к вашему дому, как вы изволите выражаться?

— Нет; но я сам почел себя обязанным дать ему это удовлетворение, и, разумеется. барон остался доволен. Мы расстаемся, милостивый государь. Вам следует дополучить с меня эти четыре фридрихсдора и три флорина на здешний расчет. Вот деньги, а вот и бумажка с расчетом; можете это проверить. Прощайте. С этих пор мы чужие. Кроме хлопот и неприятностей, я не видал от вас ничего. Я позову сейчас кельнера и объявлю ему, что с завтрашнего дня не отвечаю за ваши расходы в отеле. Честь имею пребыть вашим слугою.

Я взял деньги, бумажку, на которой был карандашом написан расчет, поклонился генералу и весьма серьезно сказал ему:

— Генерал, дело так окончиться не может. Мне очень жаль, что вы подвергались неприятностям от барона, но — извините меня — виною этому вы сами. Каким образом взяли вы на себя отвечать за меня барону? Что значит выражение, что я принадлежу к вашему дому? Я просто учитель в вашем доме, и только. Я не сын родной, не под опекой у вас, и за поступки мои вы не можете отвечать. Я сам — лицо юридически компетентное. Мне двадцать пять лет, я кандидат университета, я дворянин, я вам совершенно чужой. Только одно мое безграничное уважение к вашим достоинствам останавливает меня потребовать от вас теперь же удовлетворения и дальнейшего отчета в том, что вы взяли на себя право за меня отвечать.

Генерал был до того поражен, что руки расставил, потом вдруг оборотился к французу и торопливо передал ему, что я чуть не вызвал его сейчас на дуэль. Француз громко захохотал.

— Но барону я спустить не намерен, — продолжал я с полным хладнокровием, нимало не смущаясь смехом мсье Де-Грие, — и так как вы, генерал, согласившись сегодня выслушать жалобы барона и войдя в его интерес, поставили сами себя как бы участником во всем этом деле, то я честь имею вам доложить, что не позже как завтра поутру потребую у барона, от своего имени, формального объяснения причин, по которым он, имея дело со мною, обратился мимо меня к другому лицу, точно я не мог или был недостоин отвечать ему сам за себя.

Что я предчувствовал, то и случилось. Генерал, услышав эту новую глупость, струсил ужасно.

— Как, неужели вы намерены еще продолжать это проклятое дело! — вскричал он, — но что ж со мной-то вы делаете, о господи! Не смейте, не смейте, милостивый государь, или, клянусь вам!.. здесь есть тоже начальство, и я... я... одним словом, по моему чину... и барон тоже... одним словом, вас заарестуют и вышлют отсюда с полицией, чтоб вы не буянили! Понимаете это-с! — И хоть ему захватило дух от гнева, но все-таки он трусил ужасно.

— Генерал, — отвечал я с нестерпимым для него спокойствием, — заарестовать нельзя за буйство прежде совершения буйства. Я еще не начинал моих объяснений с бароном, а вам еще совершенно неизвестно, в каком виде и на каких основаниях я намерен приступить к этому делу. Я желаю только разъяснить обидное для меня предположение, что я нахожусь под опекой у лица, будто бы имеющего власть над моей свободной волею. Напрасно вы так себя тревожите и беспокоите.

— Ради бога, ради бога, Алексей Иванович, оставьте это бессмысленное намерение! — бормотал генерал, вдруг изменяя свой разгневанный тон на умоляющий и даже схватив меня за руки. — Ну, представьте, что из этого выйдет? опять неприятность! Согласитесь сами, я должен здесь держать себя особенным образом, особенно теперь!.. особенно теперь!.. О, вы не знаете, не знаете всех моих обстоятельств!.. Когда мы отсюда поедем, я готов опять принять вас к себе. Я теперь только так, ну, одним словом, — ведь вы понимаете же причины! — вскричал он отчаянно, — Алексей Иванович, Алексей Иванович!..

Ретируясь к дверям, я еще раз усиленно просил его не беспокоиться, обещал, что всё обойдется хорошо и прилично, и поспешил выйти.

Иногда русские за границей бывают слишком трусливы и ужасно боятся того, что скажут и как на них поглядят, и будет ли прилично вот то-то и то-то? — одним словом, держат себя точно в корсете, особенно претендующие на значение. Самое любое для них — какая-нибудь предвзятая, раз установленная форма, которой они рабски следуют — в отелях, на гуляньях, в собраниях, в дороге... Но генерал проговорился, что у него, сверх того, были какие-то особые обстоятельства, что ему надо как-то «особенно держаться». Оттого-то он так вдруг малодушно и струсил и переменил со мной тон. Я это принял к сведению и заметил. И конечно, он мог сдуру обратиться завтра к каким-нибудь властям, так что мне надо было в самом деле быть осторожным.

Мне, впрочем, вовсе не хотелось сердить собственно генерала; но мне захотелось теперь посердить Полину. Полина обошлась со мною так жестоко и сама толкнула меня на такую глупую дорогу, что мне очень хотелось довести ее до того, чтобы она сама попросила меня остановиться. Мое школьничество могло, наконец, и ее компрометировать. Кроме того, во мне сформировались кой-

какие другие ощущения и желания; если я, например, исчезаю пред нею самовольно в ничто, то это вовсе ведь не значит, что пред людьми я мокрая курица и уж, конечно, не барону «бить меня палкой». Мне захотелось над всеми ними насмеяться, а самому выйти молодцом. Пусть посмотрят. Небось! она испугается скандала и кликнет меня опять. А и не кликнет, так все-таки увидит, что я не мокрая курица...

(Удивительное известие: сейчас только услышал от нашей няни, которую встретил на лестнице, что Марья Филипповна отправилась сегодня, одна-одинешенька, в Карлсбад, с вечерним поездом, к двоюродной сестре. Это что за известие? Няня говорит, что она давно собиралась; но как же этого никто не знал? Впрочем, может, я только не знал. Няня проговорилась мне, что Марья Филипповна с генералом еще третьего дня крупно поговорила. Понимаю-с. Это, наверное, — mademoiselle Blanche. Да, у нас наступает что-то решительное.)

## *Глава VII*

Наутро я позвал кельнера и объявил, чтобы счет мне писали особенно. Номер мой был не так еще дорог, чтоб очень пугаться и совсем выехать из отеля. У меня было шестнадцать фридрихсдоров, а там... там, может быть, богатство! Странное дело, я еще не выиграл, но поступаю, чувствую и мыслю, как богач, и не могу представлять себя иначе.

Я располагал, несмотря на ранний час, тотчас же отправиться к мистеру Астлею в отель d'Angleterre, очень недалеко от нас, как вдруг вошел ко мне Де-Грие. Этого никогда еще не случалось, да, сверх того, с этим господином во всё последнее время мы были в самых чуждых и в самых натянутых отношениях. Он явно не скрывал своего ко мне пренебрежения, даже старался не скрывать; а я — я имел свои собственные причины его не жаловать. Одним словом, я его ненавидел. Приход его меня очень удивил. Я тотчас же смекнул, что тут что-нибудь особенное заварилось.

Вошел он очень любезно и сказал мне комплимент насчет моей комнаты. Видя, что я со шляпой в руках, он осведомился, неужели я так рано выхожу гулять. Когда же услышал, что я иду к мистеру Астлею по делу, подумал, сообразил, и лицо его приняло чрезвычайно озабоченный вид.

Де-Грие был, как все французы, то есть веселый и любезный, когда это надо и выгодно, и нестерпимо скучный, когда быть веселым и любезным переставала необходимость. Француз редко натурально любезен; он любезен всегда как бы по приказу, из расчета. Если, например, видит необходимость быть фантастичным, оригинальным, по-необыденнее, то фантазия его, самая глу-

пая и неестественная, слагается из заранее принятых и давно уже опошлившихся форм. Натуральный же француз состоит из самой мещанской, мелкой, обыденной положительности, — одним словом, скучнейшее существо в мире. По-моему, только новички и особенно русские барышни прельщаются французами. Всякому же порядочному существу тотчас же заметна и нестерпима эта казенщина раз установившихся форм салонной любезности, развязности и веселости.

— Я к вам по делу, — начал он чрезвычайно независимо, хотя, впрочем, вежливо, — и не скрою, что к вам послом или, лучше сказать, посредником от генерала. Очень плохо зная русский язык, я ничего почти вчера не понял; но генерал мне подробно объяснил, и признаюсь...

— Но послушайте, monsieur Де-Грие, — перебил я его, — вы вот и в этом деле взялись быть посредником. Я, конечно, «un outchitel» и никогда не претендовал на честь быть близким другом этого дома или на какие-нибудь особенно интимные отношения, а потому и не знаю всех обстоятельств; но разъясните мне: неужели вы уж теперь совсем принадлежите к членам этого семейства? Потому что вы, наконец, во всем берете такое участие, непременно, сейчас же во всем посредником...

Вопрос мой ему не понравился. Для него он был слишком прозрачен, а проговариваться он не хотел.

— Меня связывают с генералом отчасти дела, отчасти *некоторые особенные* обстоятельства, — сказал он сухо. — Генерал прислал меня просить вас оставить ваши вчерашние намерения. Всё, что вы выдумали, конечно, очень остроумно; но он именно просил меня представить вам, что вам совершенно не удастся; мало того — вас барон не примет, и, наконец, во всяком случае он ведь имеет все средства избавиться от дальнейших неприятностей с вашей стороны. Согласитесь сами. К чему же, скажите, продолжать? Генерал же вам обещает, наверное, принять вас опять в свой дом, при первых удобных обстоятельствах, а до того времени зачесть ваше жалованье, vos appointements.[1] Ведь это довольно выгодно, не правда ли?

Я возразил ему весьма спокойно, что он несколько ошибается; что, может быть, меня от барона и не прогонят, а, напротив, выслушают, и попросил его признаться, что, вероятно, он затем и пришел, чтоб выпытать: как именно я примусь за всё это дело?

— О боже, если генерал так заинтересован, то, разумеется, ему приятно будет узнать, что и как вы будете делать? Это так естественно!

Я принялся объяснять, а он начал слушать, развалясь, несколько склонив ко мне набок голову, с явным, нескрываемым ироническим оттенком в лице. Вообще он держал себя чрезвычайно свысока. Я старался всеми силами притвориться, что смотрю

[1] ваше жалованье *(франц.)*.

на дело с самой серьезной точки зрения. Я объяснил, что так как барон обратился к генералу с жалобою на меня, точно на генеральскую слугу, то, во-первых, лишил меня этим места, а во-вторых, третировал меня как лицо, которое не в состоянии за себя ответить и с которым не стоит и говорить. Конечно, я чувствую себя справедливо обиженным; однако, понимая разницу лет, положения в обществе и прочее, и прочее (я едва удерживался от смеха в этом месте), не хочу брать на себя еще нового легкомыслия, то есть прямо потребовать от барона или даже только предложить ему об удовлетворении. Тем не менее я считаю себя совершенно вправе предложить ему, и особенно баронессе, мои извинения, тем более что действительно в последнее время я чувствую себя нездоровым, расстроенным и, так сказать, фантастическим и прочее, и прочее. Однако ж сам барон вчерашним обидным для меня обращением к генералу и настоянием, чтобы генерал лишил меня места, поставил меня в такое положение, что теперь я уже не могу представить ему и баронессе мои извинения, потому что и он, и баронесса, и весь свет, наверно, подумают, что я пришел с извинениями со страха, чтоб получить назад свое место. Из всего этого следует, что я нахожусь теперь вынужденным просить барона, чтобы он первоначально извинился предо мною сам, в самых умеренных выражениях, — например, сказал бы, что он вовсе не желал меня обидеть. И когда барон это выскажет, тогда я уже, с развязанными руками, чистосердечно и искренно принесу ему и мои извинения. Одним словом, заключил я, я прошу только, чтобы барон развязал мне руки.

— Фи, какая щепетильность и какие утонченности! И чего вам извиняться? Ну согласитесь, monsieur... monsieur... что вы затеваете всё это нарочно, чтобы досадить генералу... а может быть, имеете какие-нибудь особые цели... mon cher monsieur, pardon, j'ai oublié votre nom, monsieur Alexis?.. n'est ce pas? [1]

— Но позвольте, mon cher marquis,[2] да вам что за дело?

— Mais le général...[3]

— А генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен... и так тревожился... но я ничего не понял.

— Тут есть, — тут именно существует особое обстоятельство, — подхватил Де-Грие просящим тоном, в котором всё более и более слышалась досада. — Вы знаете mademoiselle de Cominges?

— То есть mademoiselle Blanche?

— Ну да, mademoiselle Blanche de Cominges... et madame sa mère...[4] согласитесь сами, генерал... одним словом, генерал влюб-

---

[1] дорогой мой, простите, я забыл ваше имя, Алексей?.. Не так ли? *(франц.)*

[2] дорогой маркиз *(франц.)*.

[3] Но генерал *(франц.)*.

[4] мадемуазель Бланш де Коменж и ее мамашу *(франц.)*.

лен и даже... даже, может быть, здесь совершится брак. И представьте при этом разные скандалы, истории...

— Я не вижу тут ни скандалов, ни историй, касающихся брака.

— Но le baron est si irascible, un caractère prussien, vous savez, enfin il fera une querelle d'Allemand.[1]

— Так мне же, а не вам, потому что я уже не принадлежу к дому... (Я нарочно старался быть как можно бестолковее.) Но позвольте, так это решено, что mademoiselle Blanche выходит за генерала? Чего же ждут? Я хочу сказать — что скрывать об этом, по крайней мере от нас, от домашних?

— Я вам не могу... впрочем, это еще не совсем... однако... вы знаете, ждут из России известия; генералу надо устроить дела...

— А, а! la baboulinka!

Де-Грие с ненавистью посмотрел на меня.

— Одним словом, — перебил он, — я вполне надеюсь на вашу врожденную любезность, на ваш ум, на такт... вы, конечно, сделаете это для того семейства, в котором вы были приняты как родной, были любимы, уважаемы...

— Помилуйте, я был выгнан! Вы вот утверждаете теперь, что это для виду; но согласитесь, если вам скажут: «Я, конечно, не хочу тебя выдрать за уши, но для виду позволь себя выдрать за уши...» Так ведь это почти всё равно?

— Если так, если никакие просьбы не имеют на вас влияния, — начал он строго и заносчиво, — то позвольте вас уверить, что будут приняты меры. Тут есть начальство, вас вышлют сегодня же, — que diable! un blan-bec comme vous[2] хочет вызвать на дуэль такое лицо, как барон! И вы думаете, что вас оставят в покое? И поверьте, вас никто здесь не боится! Если я просил, то более от себя, потому что вы беспокоили генерала. И неужели, неужели вы думаете, что барон не велит вас просто выгнать лакею?

— Да ведь я не сам пойду, — отвечал я с чрезвычайным спокойствием, — вы ошибаетесь, monsieur Де-Грие, всё это обойдется гораздо приличнее, чем вы думаете. Я вот сейчас же отправлюсь к мистеру Астлею и попрошу его быть моим посредником, одним словом, быть моим second.[3] Этот человек меня любит и, наверное, не откажет. Он пойдет к барону, и барон его примет. Если сам я un outchitel и кажусь чем-то subalterne,[4] ну и, наконец, без защиты, то мистер Астлей — племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем, лорда Пиброка, и лорд этот здесь. Поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлеем и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Астлей почтет это себе за личную обиду (вы знаете, как англичане настойчивы) и пошлет к барону

[1] барон так вспыльчив, прусский характер, знаете, он может устроить ссору из-за пустяков *(франц.)*.

[2] кой черт! молокосос, как вы *(франц.)*.

[3] секундантом *(франц.)*.

[4] подчиненным *(франц.)*.

от себя приятеля, а у него приятели хорошие. Разочтите теперь, что выйдет, может быть, и не так, как вы полагаете.

Француз решительно струсил; действительно, всё это было очень похоже на правду, а стало быть, выходило, что я и в самом деле был в силах затеять историю.

— Но прошу же вас, — начал он совершенно умоляющим голосом, — оставьте всё это! Вам точно приятно, что выйдет история! Вам не удовлетворения надобно, а истории! Я сказал, что всё это выйдет забавно и даже остроумно, чего, может быть, вы и добиваетесь, но, одним словом, — заключил он, видя, что я встал и беру шляпу, — я пришел вам передать эти два слова от одной особы, прочтите, — мне поручено ждать ответа.

Сказав это, он вынул из кармана и подал мне маленькую, сложенную и запечатанную облаткою записочку.

Рукою Полины было написано:

«Мне показалось, что вы намерены продолжать эту историю. Вы рассердились и начинаете школьничать. Но тут есть особые обстоятельства, и я вам их потом, может быть, объясню; а вы, пожалуйста, перестаньте и уймитесь. Какие всё это глупости! Вы мне нужны и сами обещались слушаться. Вспомните Шлангенберг. Прошу вас быть послушным и, если надо, приказываю. Ваша П.

P. S. Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня».

У меня как бы всё перевернулось в глазах, когда я прочел эти строчки. Губы у меня побелели, и я стал дрожать. Проклятый француз смотрел с усиленно скромным видом и отводя от меня глаза, как бы для того, чтобы не видеть моего смущения. Лучше бы он захохотал надо мною.

— Хорошо, — ответил я, — скажите, чтобы mademoiselle была спокойна. Позвольте же, однако, вас спросить, — прибавил я резко, — почему вы так долго не передавали мне эту записку? Вместо того чтобы болтать о пустяках, мне кажется, вы должны были начать с этого... если вы именно и пришли с этим поручением.

— О, я хотел... вообще всё это так странно, что вы извините мое натуральное нетерпение. Мне хотелось поскорее узнать самому лично, от вас самих, ваши намерения. Я, впрочем, не знаю, что в этой записке, и думал, что всегда успею передать.

— Понимаю, вам просто-запросто велено передать это только в крайнем случае, а если уладите на словах, то и не передавать. Так ли? Говорите прямо, monsieur Де-Грие!

— Peut-être,[1] — сказал он, принимая вид какой-то особенной сдержанности и смотря на меня каким-то особенным взглядом.

Я взял шляпу; он кивнул головой и вышел. Мне показалось, что на губах его насмешливая улыбка. Да и как могло быть иначе?

— Мы с тобой еще сочтемся, французишка, померимся! — бормотал я, сходя с лестницы. Я еще ничего не мог сообразить, точно что мне в голову ударило. Воздух несколько освежил меня.

---

[1] Может быть *(франц.)*.

Минуты через две, чуть-чуть только я стал ясно соображать, мне ярко представились две мысли: *первая*, — что из таких пустяков, из нескольких школьнических, невероятных угроз мальчишки, высказанных вчера на лету, поднялась такая *всеобщая* тревога! и *вторая* мысль — каково же, однако, влияние этого француза на Полину? Одно его слово — и она делает всё, что ему нужно, пишет записку и даже *просит* меня. Конечно, их отношения и всегда для меня были загадкою с самого начала, с тех пор как я их знать начал; однако ж в эти последние дни я заметил в ней решительное отвращение и даже презрение к нему, а он даже и не смотрел на нее, даже просто бывал с ней невежлив. Я это заметил. Полина сама мне говорила об отвращении; у ней уже прорывались чрезвычайно значительные признания... Значит, он просто владеет ею, она у него в каких-то цепях...

## *Глава VIII*

На променаде, как здесь называют, то есть в каштановой аллее, я встретил моего англичанина.

— О, о! — начал он, завидя меня, — я к вам, а вы ко мне. Так вы уж расстались с вашими?

— Скажите, во-первых, почему всё это вы знаете, — спросил я в удивлении, — неужели всё это всем известно?

— О нет, всем неизвестно; да и не стоит, чтоб было известно. Никто не говорит.

— Так почему вы это знаете?

— Я знаю, то есть имел случай узнать. Теперь куда вы отсюда уедете? Я люблю вас и потому к вам пришел.

— Славный вы человек, мистер Астлей, — сказал я (меня, впрочем, ужасно поразило: откуда он знает?), — и так как я еще не пил кофе, да и вы, вероятно, его плохо пили, то пойдемте к воксалу в кафе, там сядем, закурим, и я вам всё расскажу, и... вы тоже мне расскажете.

Кафе был во ста шагах. Нам принесли кофе, мы уселись, я закурил папиросу, мистер Астлей ничего не закурил и, уставившись на меня, приготовился слушать.

— Я никуда не еду, я здесь остаюсь, — начал я.

— И я был уверен, что вы останетесь, — одобрительно произнес мистер Астлей.

Идя к мистеру Астлею, я вовсе не имел намерения и даже нарочно не хотел рассказывать ему что-нибудь о моей любви к Полине. Во все эти дни я не сказал с ним об этом почти ни одного слова. К тому же он был очень застенчив. Я с первого раза заметил, что Полина произвела на него чрезвычайное впечатление, но он никогда не упоминал ее имени. Но странно, вдруг, теперь, только что он уселся и уставился на меня своим пристальным оловянным взглядом, во мне, неизвестно почему, явилась охота

рассказать ему всё, то есть всю мою любовь и со всеми ее оттенками. Я рассказывал целые полчаса, и мне было это чрезвычайно приятно, в первый раз я об этом рассказывал! Заметив же, что в некоторых, особенно пылких местах, он смущается, я нарочно усиливал пылкость моего рассказа. В одном раскаиваюсь: я, может быть, сказал кое-что лишнее про француза...

Мистер Астлей слушал, сидя против меня, неподвижно, не издавая ни слова, ни звука и глядя мне в глаза; но когда я заговорил про француза, он вдруг осадил меня и строго спросил: имею ли я право упоминать об этом постороннем обстоятельстве? Мистер Астлей всегда очень странно задавал вопросы.

— Вы правы: боюсь, что нет, — ответил я.

— Об этом маркизе и о мисс Полине вы ничего не можете сказать точного, кроме одних предположений?

Я опять удивился такому категорическому вопросу от такого застенчивого человека, как мистер Астлей.

— Нет, точного ничего, — ответил я, — конечно, ничего.

— Если так, то вы сделали дурное дело не только тем, что заговорили об этом со мною, но даже и тем, что про себя это подумали.

— Хорошо, хорошо! Сознаюсь; но теперь не в том дело, — перебил я, про себя удивляясь. Тут я ему рассказал всю вчерашнюю историю, во всех подробностях, выходку Полины, мое приключение с бароном, мою отставку, необыкновенную трусость генерала и, наконец, в подробности изложил сегодняшнее посещение Де-Грие, со всеми оттенками; в заключение показал ему записку.

— Что вы из этого выводите? — спросил я. — Я именно пришел узнать ваши мысли. Что же до меня касается, то я, кажется, убил бы этого французишку и, может быть, это сделаю.

— И я, — сказал мистер Астлей. — Что же касается до мисс Полины, то... вы знаете, мы вступаем в сношения даже с людьми нам ненавистными, если нас вызывает к тому необходимость. Тут могут быть сношения вам неизвестные, зависящие от обстоятельств посторонних. Я думаю, что вы можете успокоиться — отчасти, разумеется. Что же касается до вчерашнего поступка ее, то он, конечно, странен, — не потому, что она пожелала от вас отвязаться и послала вас под дубину барона (которую, я не понимаю почему, он не употребил, имея в руках), а потому, что такая выходка для такой... для такой превосходной мисс — неприлична. Разумеется, она не могла предугадать, что вы буквально исполните ее насмешливое желание...

— Знаете ли что? — вскричал я вдруг, пристально всматриваясь в мистера Астлея, — мне сдается, что вы уже о всем об этом слышали, знаете от кого? — от самой мисс Полины!

Мистер Астлей посмотрел на меня с удивлением.

— У вас глаза сверкают, и я читаю в них подозрение, — проговорил он, тотчас же возвратив себе прежнее спокойствие, —

но вы не имеете ни малейших прав обнаруживать ваши подозрения. Я не могу признать этого права и вполне отказываюсь отвечать на ваш вопрос.

— Ну, довольно! И не надо! — закричал я, странно волнуясь и не понимая, почему вскочило это мне в мысль! И когда, где, каким образом мистер Астлей мог бы быть выбран Полиною в поверенные? В последнее время, впрочем, я отчасти упустил из виду мистера Астлея, а Полина и всегда была для меня загадкой, — до того загадкой, что, например, теперь, пустившись рассказывать всю историю моей любви мистеру Астлею, я вдруг, во время самого рассказа, был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, всё было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее.

— Ну, хорошо, хорошо; я сбит с толку и теперь еще многого не могу сообразить, — отвечал я, точно запыхавшись. — Впрочем, вы хороший человек. Теперь другое дело, и я прошу вашего — не совета, а мнения.

Я помолчал и начал:

— Как вы думаете, почему так струсил генерал? почему из моего глупейшего шалопайничества они все вывели такую историю? Такую историю, что даже сам Де-Грие нашел необходимым вмешаться (а он вмешивается только в самых важных случаях), посетил меня (каково!), просил, умолял меня — он, Де-Грие, меня! Наконец, заметьте себе, он пришел в девять часов, в конце девятого, и уж записка мисс Полины была в его руках. Когда же, спрашивается, она была написана? Может быть, мисс Полину разбудили для этого! Кроме того, что из этого я вижу, что мисс Полина его раба (потому что даже у меня просит прощения!); кроме этого, ей-то что во всем этом, ей лично? Она для чего так интересуется? Чего они испугались какого-то барона? И что ж такое, что генерал женится на mademoiselle Blanche de Cominges? Они говорят, что им как-то *особенно* держать себя вследствие этого обстоятельства надо, — но ведь это уж слишком особенно, согласитесь сами! Как вы думаете? Я по глазам вашим убежден, что вы и тут более меня знаете!

Мистер Астлей усмехнулся и кивнул головой.

— Действительно, я, кажется, и в этом гораздо больше вашего знаю, — сказал он. — Тут всё дело касается одной mademoiselle Blanche, и я уверен, что это совершенная истина.

— Ну что ж mademoiselle Blanche? — вскричал я с нетерпением (у меня вдруг явилась надежда, что теперь что-нибудь откроется о mademoiselle Полине).

— Мне кажется, что mademoiselle Blanche имеет в настоящую минуту особый интерес всячески избегать встречи с бароном и баронессой, — тем более встречи неприятной, еще хуже — скандальной.

— Ну! Ну!

— Mademoiselle Blanche третьего года, во время сезона уже была здесь, в Рулетенбурге. И я тоже здесь находился. Mademoiselle Blanche тогда не называлась mademoiselle de Cominges, равномерно и мать ее madame veuve[1] Cominges тогда не существовала. По крайней мере о ней не было и помину. Де-Грие — Де-Грие тоже не было. Я питаю глубокое убеждение, что они не только не родня между собою, но даже и знакомы весьма недавно. Маркизом Де-Грие стал тоже весьма недавно — я в этом уверен по одному обстоятельству. Даже можно предположить, что он и Де-Грие стал называться недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем.

— Но ведь он имеет действительно солидный круг знакомства?

— О, это может быть. Даже mademoiselle Blanche его может иметь. Но третьего года mademoiselle Blanche, по жалобе этой самой баронессы, получила приглашение от здешней полиции покинуть город и покинула его.

— Как так?

— Она появилась тогда здесь сперва с одним итальянцем, каким-то князем, с историческим именем что-то вроде *Барберини* или что-то похожее. Человек весь в перстнях и бриллиантах, и даже не фальшивых. Они ездили в удивительном экипаже. Mademoiselle Blanche играла в trente et quarante сначала хорошо, потом ей стало сильно изменять счастие; так я припоминаю. Я помню, в один вечер она проиграла чрезвычайную сумму. Но всего хуже, что un beau matin [2] ее князь исчез неизвестно куда; исчезли и лошади, и экипаж — всё исчезло. Долг в отеле ужасный. Mademoiselle Зельма́ (вместо Барберини она вдруг обратилась в mademoiselle Зельму́) была в последней степени отчаяния. Она выла и визжала на весь отель и разорвала в бешенстве свое платье. Тут же в отеле стоял один польский граф (все путешествующие поляки — графы), и mademoiselle Зельма́, разрывавшая свои платья и царапавшая, как кошка, свое лицо своими прекрасными, вымытыми в духах руками, произвела на него некоторое впечатление. Они переговорили, и к обеду она утешилась. Вечером он появился с ней под руку в воксале. Mademoiselle Зельма́ смеялась, по своему обыкновению, весьма громко, и в манерах ее оказалось несколько более развязности. Она поступила прямо в тот разряд играющих на рулетке дам, которые, подходя к столу, изо всей силы отталкивают плечом игрока, чтобы очистить себе место. Это особенный здесь шик у этих дам. Вы их, конечно, заметили?

— О, да.

— Не стоит и замечать. К досаде порядочной публики, они здесь не переводятся, по крайней мере те из них, которые меняют каждый день у стола тысячефранковые билеты. Впрочем, как только они перестают менять билеты, их тотчас просят удалиться.

---

[1] вдова *(франц.)*.
[2] в одно прекрасное утро *(франц.)*.

Mademoiselle Зельма́ еще продолжала менять билеты, но игра ее шла еще несчастливее. Заметьте себе, что эти дамы весьма часто играют счастливо; у них удивительное владение собою. Впрочем, история моя кончена. Однажды, точно так же как и князь, исчез и граф. Mademoiselle Зельма́ явилась вечером играть уже одна; на этот раз никто не явился предложить ей руку. В два дня она проигралась окончательно. Поставив последний луидор и проиграв его, она осмотрелась кругом и увидела подле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием ее рассматривал. Но mademoiselle Зельма́ не разглядела негодования и, обратившись к барону с известной улыбкой, попросила поставить за нее на красную десять луидоров. Вследствие этого, по жалобе баронессы, она к вечеру получила приглашение не показываться более в воксале. Если вы удивляетесь, что мне известны все эти мелкие и совершенно неприличные подробности, то это потому, что слышал я их окончательно от мистера Фидера, одного моего родственника, который в тот же вечер увез в своей коляске mademoiselle Зельму́ из Рулетенбурга в Спа. Теперь поймите: mademoiselle Blanche хочет быть генеральшей, вероятно для того, чтобы впредь не получать таких приглашений, как третьего года от полиции воксала. Теперь она уже не играет; но это потому, что теперь у ней по всем признакам есть капитал, который она ссужает здешним игрокам на проценты. Это гораздо расчетливее. Я даже подозреваю, что ей должен и несчастный генерал. Может быть, должен и Де-Грие. Может быть, Де-Грие с ней в компании. Согласитесь сами, что, по крайней мере до свадьбы, она бы не желала почему-либо обратить на себя внимание баронессы и барона. Одним словом, в ее положении ей всего менее выгоден скандал. Вы же связаны с их домом, и ваши поступки могли возбудить скандал, тем более что она каждодневно является в публике под руку с генералом или с мисс Полиною. Теперь понимаете?

— Нет, не понимаю! — вскричал я, изо всей силы стукнув по столу так, что garçon [1] прибежал в испуге.

— Скажите, мистер Астлей, — повторил я в исступлении, — если вы уже знали всю эту историю, а следственно, знаете наизусть, что такое mademoiselle Blanche de Cominges, то каким образом не предупредили вы хоть меня, самого генерала, наконец, а главное, мисс Полину, которая показывалась здесь в воксале, в публике, с mademoiselle Blanche под руку? Разве это возможно?

— Вас предупреждать мне было нечего, потому что вы ничего не могли сделать, — спокойно отвечал мистер Астлей. — А впрочем, и о чем предупреждать? Генерал, может быть, знает о mademoiselle Blanche еще более, чем я, и все-таки прогуливается с нею и с мисс Полиной. Генерал — несчастный человек. Я видел вчера, как mademoiselle Blanche скакала на прекрасной лошади с monsieur Де-Грие и с этим маленьким русским князем, а генерал ска-

[1] официант *(франц.)*.

кал за ними на рыжей лошади. Он утром говорил, что у него болят ноги, но посадка его была хороша. И вот в это-то мгновение мне вдруг пришло па мысль, что это совершенно погибший человек. К тому же всё это не мое дело, и я только недавно имел честь узнать мисс Полину. А впрочем (спохватился вдруг мистер Астлей), я уже сказал вам, что не могу признать ваши права на некоторые вопросы, несмотря на то, что искренно вас люблю...

— Довольно, — сказал я, вставая, — теперь мне ясно, как день, что и мисс Полине всё известно о mademoiselle Blanche, но что она не может расстаться со своим французом, а потому и решается гулять с mademoiselle Blanche. Поверьте, что никакие другие влияния не заставили бы ее гулять с mademoiselle Blanche и умолять меня в записке не трогать барона. Тут именно должно быть это влияние, пред которым всё склоняется! И, однако, ведь она же меня и напустила на барона! Черт возьми, тут ничего не разберешь!

— Вы забываете, во-первых, что эта mademoiselle de Cominges — невеста генерала, а во-вторых, что у мисс Полины, падчерицы генерала, есть маленький брат и маленькая сестра, родные дети генерала, уж совершенно брошенные этим сумасшедшим человеком, а кажется, и ограбленные.

— Да, да! это так! уйти от детей — значит уж совершенно их бросить, остаться — значит защитить их интересы, а может быть, и спасти клочки имения. Да, да, всё это правда! Но все-таки, все-таки! О, я понимаю, почему все они так теперь интересуются бабуленькой!

— О ком? — спросил мистер Астлей.

— О той старой ведьме в Москве, которая не умирает и о которой ждут телеграммы, что она умрет.

— Ну да, конечно, весь интерес в ней соединился. Всё дело в наследстве! Объявится наследство, и генерал женится; мисс Полина будет тоже развязана, а Де-Грие...

— Ну, а Де-Грие?

— А Де-Грие будут заплачены деньги; он того только здесь и ждет.

— Только! вы думаете, только этого и ждет?

— Более я ничего не знаю, — упорно замолчал мистер Астлей.

— А я знаю, я знаю! — повторил я в ярости, — он тоже ждет наследства, потому что Полина получит приданое, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы! И самые гордые из них — самыми-то пошлыми рабами и выходят! Полина способна только страстно любить и больше ничего! Вот мое мнение о ней! Поглядите на нее, особенно когда она сидит одна, задумавшись: это — что-то предназначенное, приговоренное, проклятóе! Она способна на все ужасы жизни и страсти... она... она... но кто это зовет меня? — воскликнул я вдруг. — Кто кричит? Я слышал, закричали по-русски: «Алексей Иванович!» Женский голос, слышите, слышите!

В это время мы подходили к нашему отелю. Мы давно уже, почти не замечая того, оставили кафе.

— Я слышал женские крики, но не знаю, кого зовут; это по-русски; теперь я вижу, откуда крики, — указывал мистер Астлей, — это кричит та женщина, которая сидит в большом кресле и которую внесли сейчас на крыльцо столько лакеев. Сзади несут чемоданы, значит, только что приехал поезд.

— Но почему она зовет меня? Она опять кричит; смотрите, она нам машет.

— Я вижу, что она машет, — сказал мистер Астлей.

— Алексей Иванович! Алексей Иванович! Ах, господи, что это за олух! — раздавались отчаянные крики с крыльца отеля.

Мы почти побежали к подъезду. Я вступил на площадку и... руки мои опустились от изумления, а ноги так и приросли к камню.

## *Глава IX*

На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесенная по ступеням в креслах и окруженная слугами, служанками и многочисленною подобострастною челядью отеля, в присутствии самого обер-кельнера, вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, с собственною прислугою и с столькими баулами и чемоданами, восседала — *бабушка!* Да, это была она сама, грозная и богатая, семидесятипятилетняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня, la baboulinka, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшая и не умершая и которая вдруг сама, собственнолично, явилась к нам как снег на голову. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как и всегда, во все последние пять лет, в креслах, но, по обыкновению своему, бойкая, задорная, самодовольная, прямо сидящая, громко и повелительно кричащая, всех бранящая, — ну точь-в-точь такая, как я имел честь видеть ее раза два, с того времени как определился в генеральский дом учителем. Естественно, что я стоял пред нею истуканом от удивления. Она же разглядела меня своим рысьим взглядом еще за сто шагов, когда ее вносили в креслах, узнала и кликнула меня по имени и отчеству, что тоже, по обыкновению своему, раз навсегда запомнила. «И эдакую-то ждали видеть в гробу, схороненную и оставившую наследство, — пролетело у меня в мыслях, — да она всех нас и весь отель переживет! Но, боже, что ж это будет теперь с нашими, что будет теперь с генералом! Она весь отель теперь перевернет на сторону!»

— Ну что ж ты, батюшка, стал предо мною, глаза выпучил! — продолжала кричать на меня бабушка, — поклониться-поздороваться не умеешь, что ли? Аль загордился, не хочешь? Аль, может, не узнал? Слышишь, Потапыч, — обратилась она к седому старичку, во фраке, в белом галстуке и с розовой лысиной, своему

дворецкому, сопровождавшему ее в вояже, — слышишь, не узнаёт! Схоронили! Телеграмму за телеграммою посылали: умерла али не умерла? Ведь я всё знаю! А я, вот видишь, и живехонька.

— Помилуйте, Антонида Васильевна, с чего мне-то вам худого желать? — весело отвечал я очнувшись, — я только был удивлен... Да и как же не подивиться, так неожиданно...

— А что тебе удивительного? Села да поехала. В вагоне покойно, толчков нет. Ты гулять ходил, что ли?

— Да, прошелся к воксалу.

— Здесь хорошо, — сказала бабушка, озираясь, — тепло и деревья богатые. Это я люблю! Наши дóма? Генерал?

— О! дома, в этот час, наверно, все дома.

— А у них и здесь часы заведены и все церемонии? Тону задают. Экипаж, я слышала, держат, les seigneurs russes![1] Просвистались, так и за границу! И Прасковья с ним?

— И Полина Александровна тоже.

— И французишка? Ну да сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу, прямо к нему. Тебе-то здесь хорошо ли?

— Так себе, Антонида Васильевна.

— А ты, Потапыч, скажи этому олуху, кельнеру, чтоб мне удобную квартиру отвели, хорошую, не высокó, туда и вещи сейчас перенеси. Да чего всем-то соваться меня нести? Чего они лезут? Экие рабы! Это кто с тобой? — обратилась она опять ко мне.

— Это мистер Астлей, — отвечал я.

— Какой такой мистер Астлей?

— Путешественник, мой добрый знакомый; знаком и с генералом.

— Англичанин. То-то он уставился на меня и зубов не разжимает. Я, впрочем, люблю англичан. Ну, тащите наверх, прямо к ним на квартиру; где они там?

Бабушку понесли; я шел впереди по широкой лестнице отеля. Шествие наше было очень эффектное. Все, кто попадались, — останавливались и смотрели во все глаза. Наш отель считался самым лучшим, самым дорогим и самым аристократическим на водах. На лестнице и в коридорах всегда встречаются великолепные дамы и важные англичане. Многие осведомлялись внизу у обер-кельнера, который, с своей стороны, был глубоко поражен. Он, конечно, отвечал всем спрашивавшим, что это важная иностранка, une russe, une comtesse, grande dame[2] и что она займет то самое помещение, которое за неделю тому назад занимала la grande duchesse de N.[3] Повелительная и властительная наружность бабушки, возносимой в креслах, была причиною главного эффекта. При встрече со всяким новым лицом она тотчас обмеривала его любопытным взглядом и о всех громко меня расспраши-

---

[1] русские вельможи! *(франц.)*
[2] русская, графиня, важная дама *(франц.)*.
[3] великая княгиня де Н. *(франц.)*.

вала. Бабушка была из крупной породы, и хотя и не вставала с кресел, но предчувствовалось, глядя на нее, что она весьма высокого роста. Спина ее держалась прямо, как доска, и не опиралась на кресло. Седая, большая ее голова, с крупными и резкими чертами лица, держалась вверх; глядела она как-то даже заносчиво и с вызовом; и видно было, что взгляд и жесты ее совершенно натуральны. Несмотря на семьдесят пять лет, лицо ее было довольно свежо и даже зубы не совсем пострадали. Одета она была в черном шелковом платье и в белом чепчике.

— Она чрезвычайно интересует меня, — шепнул мне, подымаясь рядом со мною, мистер Астлей.

«О телеграммах она знает, — подумал я, — Де-Грие ей тоже известен, но mademoiselle Blanche еще, кажется, мало известна». Я тотчас же сообщил об этом мистеру Астлею.

Грешный человек! только что прошло мое первое удивление, я ужасно обрадовался громовому удару, который мы произведем сейчас у генерала. Меня точно что подзадоривало, и я шел впереди чрезвычайно весело.

Наши квартировали в третьем этаже; я не докладывал и даже не постучал в дверь, а просто растворил ее настежь, и бабушку внесли с триумфом. Все они были, как нарочно, в сборе, в кабинете генерала. Было двенадцать часов, и, кажется, проектировалась какая-то поездка, — одни сбирались в колясках, другие верхами, всей компанией; кроме того, были еще приглашенные из знакомых. Кроме генерала, Полины с детьми, их нянюшки, находились в кабинете: Де-Грие, mademoiselle Blanche, опять в амазонке, ее мать madame veuve Cominges, маленький князь и еще какой-то ученый путешественник, немец, которого я видел у них еще в первый раз. Кресла с бабушкой прямо опустили посредине кабинета, в трех шагах от генерала. Боже, никогда не забуду этого впечатления! Пред нашим входом генерал что-то рассказывал, а Де-Грие его поправлял. Надо заметить, что mademoiselle Blanche и Де-Грие вот уже два-три дня почему-то очень ухаживали за маленьким князем — à la barbe du pauvre général,[1] и компания хоть, может быть, и искусственно, но была настроена на самый веселый и радушно-семейный тон. При виде бабушки генерал вдруг остолбенел, разинул рот и остановился на полслове. Он смотрел на нее, выпучив глаза, как будто околдованный взглядом василиска. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно, — но что это был за торжествующий, вызывающий и насмешливый взгляд! Они просмотрели так друг на друга секунд десять битых, при глубоком молчании всех окружающих. Де-Грие сначала оцепенел, но скоро необыкновенное беспокойство замелькало в его лице. Mademoiselle Blanche подняла брови, раскрыла рот и дико разглядывала бабушку. Князь и ученый в глубоком недоумении созерцали всю эту картину.

---

[1] под носом у бедного генерала *(франц.)*.

Во взгляде Полины выразилось чрезвычайное удивление и недоумение, но вдруг она побледнела, как платок; чрез минуту кровь быстро ударила ей в лицо и залила ей щеки. Да, это была катастрофа для всех! Я только и делал, что переводил мои взгляды от бабушки на всех окружающих и обратно. Мистер Астлей стоял в стороне, по своему обыкновению, спокойно и чинно.

— Ну, вот и я! Вместо телеграммы-то! — разразилась наконец бабушка, прерывая молчание. — Что, не ожидали?

— Антонида Васильевна... тетушка... но каким же образом... — пробормотал несчастный генерал. Если бы бабушка не заговорила еще несколько секунд, то, может быть, с ним был бы удар.

— Как каким образом? Села да поехала. А железная-то дорога на что? А вы все думали: я уж ноги протянула и вам наследство оставила? Я ведь знаю, как ты отсюда телеграммы-то посылал. Денег-то что за них переплатил, я думаю. Отсюда не дешево. А я ноги на плечи, да и сюда. Это тот француз? Monsieur Де-Грие, кажется?

— Oui, madame, — подхватил Де-Грие, — et croyez, je suis si enchanté... votre santé... c'est un miracle... vous voir ici, une surprise charmante... [1]

— То-то charmante; знаю я тебя, фигляр ты эдакой, да я-то тебе вот на столечко не верю! — и она указала ему свой мизинец. — Это кто такая, — обратилась она, указывая на mademoiselle Blanche. Эффектная француженка, в амазонке, с хлыстом в руке, видимо, ее поразила. — Здешняя, что ли?

— Это mademoiselle Blanche de Cominges, а вот и маменька ее madame de Cominges; они квартируют в здешнем отеле, — доложил я.

— Замужем дочь-то? — не церемонясь, расспрашивала бабушка.

— Mademoiselle de Cominges девица, — отвечал я как можно почтительнее и нарочно вполголоса.

— Веселая?

Я было не понял вопроса.

— Не скучно с нею? По-русски понимает? Вот Де-Грие у нас в Москве намастачился по-нашему-то, с пятого на десятое.

Я объяснил ей, что mademoiselle de Cominges никогда не была в России.

— Bonjour! [2] — сказала бабушка, вдруг резко обращаясь к mademoiselle Blanche.

— Bonjour, madame, — церемонно и изящно присела mademoiselle Blanche, поспешив, под покровом необыкновенной скромности и вежливости, выказать всем выражением лица и фигуры

---

[1] Да, сударыня... И поверьте, я в таком восторге... ваше здоровье... это чудо... видеть вас здесь... прелестный сюрприз *(франц.)*.

[2] Здравствуйте! *(франц.)*

чрезвычайное удивление к такому странному вопросу и обращению.

— О, глаза опустила, манерничает и церемонничает; сейчас видна птица; актриса какая-нибудь. Я здесь в отеле внизу остановилась, — обратилась она вдруг к генералу, — соседка тебе буду; рад или не рад?

— О тетушка! Поверьте искренним чувствам... моего удовольствия, — подхватил генерал. Он уже отчасти опомнился, а так как при случае он умел говорить удачно, важно и с претензиею на некоторый эффект, то принялся распространяться и теперь. — Мы были так встревожены и поражены известиями о вашем нездоровье... Мы получали такие безнадежные телеграммы, и вдруг...

— Ну, врешь, врешь! — перебила тотчас бабушка.

— Но каким образом, — тоже поскорей перебил и возвысил голос генерал, постаравшись не заметить этого «врешь», — каким образом вы, однако, решились на такую поездку? Согласитесь сами, что в ваших летах и при вашем здоровье... по крайней мере всё это так неожиданно, что понятно наше удивление. Но я так рад... и мы все (он начал умильно и восторженно улыбаться) постараемся изо всех сил сделать вам здешний сезон наиприятнейшим препровождением...

— Ну, довольно; болтовня пустая; нагородил по обыкновению; я и сама сумею прожить. Впрочем, и от вас не прочь; зла не помню. Каким образом, ты спрашиваешь. Да что тут удивительного? Самым простейшим образом. И чего они все удивляются. Здравствуй, Прасковья. Ты здесь что делаешь?

— Здравствуйте, бабушка, — сказала Полина, приближаясь к ней, — давно ли в дороге?

— Ну, вот эта умнее всех спросила, а то: ах да ах! Вот видишь ты: лежала-лежала, лечили-лечили, я докторов прогнала и позвала пономаря от Николы. Он от такой же болезни сенной трухой одну бабу вылечил. Ну, и мне помог; на третий день вся вспотела и поднялась. Потом опять собрались мои немцы, надели очки и стали рядить: «Если бы теперь, говорят, за границу на воды и курс взять, так совсем бы завалы прошли». А почему же нет, думаю? Дурь-Зажигины разахались: «Куда вам, говорят, доехать!». Ну, вот-те на! В один день собралась и на прошлой неделе в пятницу взяла девушку, да Потапыча, да Федора лакея, да этого Федора из Берлина и прогнала, потому: вижу, совсем его не надо, и одна-одинешенька доехала бы... Вагон беру особенный, а носильщики на всех станциях есть, за двугривенный куда хочешь донесут. Ишь вы квартиру нанимаете какую! — заключила она осматриваясь. — Из каких это ты денег, батюшка? Ведь всё у тебя в залоге. Одному этому французишке что должен деньжищ-то! Я ведь всё знаю, всё знаю!

— Я, тетушка... — начал генерал, весь сконфузившись, — я удивляюсь, тетушка... я, кажется, могу и без чьего-либо конт-

роля... притом же мои расходы не превышают моих средств, и мы здесь...

— У тебя-то не превышают? сказал! У детей-то, должно быть, последнее уж заграбил, опекун!

— После этого, после таких слов... — начал генерал в негодовании, — я уже и не знаю...

— То-то не знаешь! небось здесь от рулетки не отходишь? Весь просвистался?

Генерал был так поражен, что чуть не захлебнулся от прилива взволнованных чувств своих.

— На рулетке! Я? При моем значении... Я? Опомнитесь, тетушка, вы еще, должно быть, нездоровы...

— Ну, врешь, врешь; небось оттащить не могут; всё врешь! Я вот посмотрю, что это за рулетка такая, сегодня же. Ты, Прасковья, мне расскажи, где что здесь осматривают, да вот и Алексей Иванович покажет, а ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать. Что здесь осматривают? — обратилась вдруг она опять к Полине.

— Здесь есть близко развалины замка, потом Шлангенберг.

— Что это Шлангенберг? Роща, что ли?

— Нет, не роща, это гора; там пуант...

— Какой такой пуант?

— Самая высшая точка на горе, огороженное место. Оттуда вид бесподобный.

— Это на гору-то кресла тащить? Встащат аль нет?

— О, носильщиков сыскать можно, — отвечал я.

В это время подошла здороваться к бабушке Федосья, нянюшка, и подвела генеральских детей.

— Ну, нечего лобызаться! Не люблю целоваться с детьми: все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосья?

— Здесь очинно, очинно хорошо, матушка Антонида Васильевна, — ответила Федосья. — Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезновались.

— Знаю, ты-то простая душа. Это что у вас, всё гости, что ли? — обратилась она опять к Полине. — Это кто плюгавенький-то, в очках?

— Князь Нильский, бабушка, — прошептала ей Полина.

— А русский? А я думала, не поймет! Не слыхал, может быть! Мистера Астлея я уже видела. Да вот он опять, — увидала его бабушка, — здравствуйте! — обратилась она вдруг к нему.

Мистер Астлей молча ей поклонился.

— Ну, что вы мне скажете хорошего? Скажите что-нибудь! Переведи ему это, Полина.

Полина перевела.

— То, что я гляжу на вас с большим удовольствием и радуюсь, что вы в добром здоровье, — серьезно, но с чрезвычайною готовностью ответил мистер Астлей. Бабушке перевели, и ей, видимо, это понравилось.

— Как англичане всегда хорошо отвечают, — заметила она. — Я почему-то всегда любила англичан, сравнения нет с французишками! Заходите ко мне, — обратилась она опять к мистеру Астлею. — Постараюсь вас не очень обеспокоить. Переведи это ему, да скажи ему, что я здесь внизу, здесь внизу, — слышите, внизу, внизу, — повторяла она мистеру Астлею, указывая пальцем вниз.

Мистер Астлей был чрезвычайно доволен приглашением.

Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину.

— Я бы тебя, Прасковья, любила, — вдруг сказала она, — девка ты славная, лучше их всех, да характеришко у тебя — ух! Ну да и у меня характер; повернись-ка; это у тебя не накладка в волосах-то?

— Нет, бабушка, свои.

— То-то, не люблю теперешней глупой моды. Хороша ты очень. Я бы в тебя влюбилась, если б была кавалером. Чего замуж-то не выходишь? Но, однако, пора мне. И погулять хочется, а то всё вагон да вагон... Ну что ты, всё еще сердишься? — обратилась она к генералу.

— Помилуйте, тетушка, полноте! — спохватился обрадованный генерал, — я понимаю, в ваши лета...

— Cette vielle est tombée en enfance,[1] — шепнул мне Де-Грие.

— Я вот всё хочу здесь рассмотреть. Ты мне Алексея Ивановича-то уступишь? — продолжала бабушка генералу.

— О, сколько угодно, но я и сам... и Полина и monsieur Де-Грие... мы все, все сочтем за удовольствие вам сопутствовать...

— Mais, madame, cela sera un plaisir,[2] — подвернулся Де-Грие с обворожительной улыбкой.

— То-то, plaisir. Смешон ты мне, батюшка. Денег-то я тебе, впрочем, не дам, — прибавила она вдруг генералу. — Ну, теперь в мой номер: осмотреть надо, а потом и отправимся по всем местам. Ну, подымайте.

Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой, вслед за креслами, вниз по лестнице. Генерал шел, как будто ошеломленный ударом дубины по голове. Де-Грие что-то соображал. Mademoiselle Blanche хотела было остаться, но почему-то рассудила тоже пойти со всеми. За нею тотчас же отправился и князь, и наверху, в квартире генерала, остались только немец и madame veuve Cominges.

## *Глава X*

На водах — да, кажется, и во всей Европе — управляющие отелями и обер-кельнеры при отведении квартир посетителям руководствуются не столько требованиями и желаниями их,

---

[1] Эта старуха впала в детство *(франц.)*.
[2] Но, сударыня, это будет удовольствие *(франц.)*.

сколько собственным личным своим на них взглядом; и, надо заметить, редко ошибаются. Но бабушке, уж неизвестно почему, отвели такое богатое помещение, что даже пересолили: четыре великолепно убранные комнаты, с ванной, помещениями для прислуги, особой комнатой для камеристки и прочее, и прочее. Действительно, в этих комнатах неделю тому назад останавливалась какая-то grande duchesse, о чем, конечно, тотчас же и объявлялось новым посетителям, для придания еще большей цены квартире. Бабушку пронесли, или лучше сказать, прокатили по всем комнатам, и она внимательно и строго оглядывала их. Обер-кельнер, уже пожилой человек, с плешивой головой, почтительно сопровождал ее при этом первом осмотре.

Не знаю, за кого они все приняли бабушку, но, кажется, за чрезвычайно важную и, главное, богатейшую особу. В книгу внесли тотчас: «Madame la générale princesse de Tarassevitcheva»,[1] хотя бабушка никогда не была княгиней. Своя прислуга, особое помещение в вагоне, бездна ненужных баулов, чемоданов и даже сундуков, прибывших с бабушкой, вероятно, послужили началом престижа; а кресла, резкий тон и голос бабушки, ее эксцентрические вопросы, делаемые с самым не стесняющимся и не терпящим никаких возражений видом, одним словом, вся фигура бабушки — прямая, резкая, повелительная, — довершали всеобщее к ней благоговение. При осмотре бабушка вдруг иногда приказывала останавливать кресла, указывала на какую-нибудь вещь в меблировке и обращалась с неожиданными вопросами к почтительно улыбавшемуся, но уже начинавшему трусить оберкельнеру. Бабушка предлагала вопросы на французском языке, на котором говорила, впрочем, довольно плохо, так что я обыкновенно переводил. Ответы обер-кельнера большею частию ей не нравились и казались неудовлетворительными. Да и она-то спрашивала всё как будто не об деле, а бог знает о чем. Вдруг, например, остановилась пред картиною — довольно слабой копией с какого-то известного оригинала с мифологическим сюжетом.

— Чей портрет?

Обер-кельнер объявил, что, вероятно, какой-нибудь графини.

— Как же ты не знаешь? Здесь живешь, а не знаешь. Почему он здесь? Зачем глаза косые?

На все эти вопросы обер-кельнер удовлетворительно отвечать не мог и даже потерялся.

— Вот болван-то! — отозвалась бабушка по-русски.

Ее понесли далее. Та же история повторилась с одной саксонской статуэткой, которую бабушка долго рассматривала и потом велела вынесть, неизвестно за что. Наконец пристала к оберкельнеру: что стоили ковры в спальне и где их ткут? Обер-кельнер обещал справиться.

---

[1] Госпожа генеральша, княгиня Тарасевичева *(франц.)*.

— Вот ослы-то! — ворчала бабушка и обратила всё свое внимание на кровать.

— Эдакий пышный балдахин! Разверните его.

Постель развернули.

— Еще, еще, всё разверните. Снимите подушки, наволочки, подымите перину.

Всё перевернули. Бабушка осмотрела внимательно.

— Хорошо, что у них клопов нет. Всё белье долой! Постлать мое белье и мои подушки. Однако всё это слишком пышно, куда мне, старухе, такую квартиру: одной скучно. Алексей Иванович, ты бывай ко мне чаще, когда детей перестанешь учить.

— Я со вчерашнего дня не служу более у генерала, — ответил я, — и живу в отеле совершенно сам по себе.

— Это почему так?

— На днях приехал сюда один знатный немецкий барон с баронессой, супругой, из Берлина. Я вчера, на гулянье, заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения.

— Ну, так что же?

— Он счел это дерзостью и пожаловался генералу, а генерал вчера же уволил меня в отставку.

— Да что ж ты обругал, что ли, его, барона-то? (Хоть бы и обругал, так ничего!)

— О нет. Напротив, барон на меня палку поднял.

— И ты, слюняй, позволил так обращаться с своим учителем, — обратилась она вдруг к генералу, — да еще его с места прогнал! Колпаки вы, — все колпаки, как я вижу.

— Не беспокойтесь, тетушка, — отвечал генерал с некоторым высокомерно-фамильярным оттенком, — я сам умею вести мои дела. К тому же Алексей Иванович не совсем вам верно передал.

— А ты так и снес? — обратилась она ко мне.

— Я хотел было на дуэль вызвать барона, — отвечал я как можно скромнее и спокойнее, — да генерал воспротивился.

— Это зачем ты воспротивился? — опять обратилась бабушка к генералу. (А ты, батюшка, ступай, придешь, когда позовут, — обратилась она тоже и к обер-кельнеру, — нечего разиня-то рот стоять. Терпеть не могу эту харю нюрнбергскую!) — Тот откланялся и вышел, конечно, не поняв комплимента бабушки.

— Помилуйте, тетушка, разве дуэли возможны? — отвечал с усмешкой генерал.

— А почему невозможны? Мужчины все петухи; вот бы и дрались. Колпаки вы все, как я вижу, не умеете отечества своего поддержать. Ну, подымите! Потапыч, распорядись, чтоб всегда были готовы два носильщика, найми и уговорись. Больше двух не надо. Носить приходится только по лестницам, а по гладкому, по улице — катить, так и расскажи; да заплати еще им вперед, почтительнее будут. Ты же сам будь всегда при мне, а ты, Алексей Иванович, мне этого барона покажи на гулянье: какой такой фон-барон, хоть бы поглядеть на него. Ну, где же эта рулетка?

Я объяснил, что рулетки расположены в воксале, в залах. Затем последовали вопросы: много ли их? много ль играют? целый ли день играют? как устроены? Я отвечал, наконец, что всего лучше осмотреть это собственными глазами, а что так описывать довольно трудно.

— Ну, так и нести прямо туда! Иди вперед, Алексей Иванович!

— Как, неужели, тетушка, вы даже и не отдохнете с дороги? — заботливо спросил генерал. Он немного как бы засуетился, да и все они как-то замешались и стали переглядываться. Вероятно, им было несколько щекотливо, даже стыдно сопровождать бабушку прямо в воксал, где она, разумеется, могла наделать каких-нибудь эксцентричностей, но уже публично; между тем все они сами вызвались сопровождать ее.

— А чего мне отдыхать? Не устала; и без того пять дней сидела. А потом осмотрим, какие тут ключи и воды целебные и где они. А потом... как этот, — ты сказала, Прасковья, — пуант, что ли?

— Пуант, бабушка.

— Ну пуант, так пуант. А еще что здесь есть?

— Тут много предметов, бабушка, — затруднилась было Полина.

— Ну, сама не знаешь! Марфа, ты тоже со мной пойдешь, — сказала она своей камеристке.

— Но зачем же ей-то, тетушка? — захлопотал вдруг генерал, — и, наконец, это нельзя; и Потапыча вряд ли в самый воксал пустят.

— Ну, вздор! Что она слуга, так и бросить ее! Тоже ведь живой человек; вот уж неделю по дорогам рыщем, тоже и ей посмотреть хочется. С кем же ей, кроме меня? Одна-то и нос на улицу показать не посмеет.

— Но, бабушка...

— Да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома, не спрашивают. Ишь, какой генерал; я и сама генеральша. Да и чего вас такой хвост за мной, в самом деле, потащится? Я и с Алексеем Ивановичем всё осмотрю...

Но Де-Грие решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчет удовольствия ее сопровождать и прочее. Все тронулись.

— Elle est tombée en enfance, — повторял Де-Грие генералу, — seule elle fera des bêtises...[1] Далее я не расслышал, но у него, очевидно, были какие-то намерения, а может быть, даже возвратились и надежды.

До воксала было с полверсты. Путь наш шел по каштановой аллее, до сквера, обойдя который вступали прямо в воксал. Генерал несколько успокоился, потому что шествие наше хотя и было довольно эксцентрично, но тем не менее было чинно и прилично. Да и ничего удивительного не было в том факте, что на водах

---

[1] одна она наделает глупостей *(франц.)*.

явился больной и расслабленный человек, без ног. Но, очевидно, генерал боялся воксала: зачем больной человек, без ног, да еще старушка, пойдет на рулетку? Полина и mademoiselle Blanche шли обе по сторонам, рядом с катившимся креслом. Mademoiselle Blanche смеялась, была скромно весела и даже весьма любезно заигрывала иногда с бабушкой, так что та ее наконец похвалила. Полина, с другой стороны, обязана была отвечать на поминутные и бесчисленные вопросы бабушки, вроде того: кто это прошел? какая это проехала? велик ли город? велик ли сад? это какие деревья? это какие горы? летают ли тут орлы? какая это смешная крыша? Мистер Астлей шел рядом со мной и шепнул мне, что многого ожидает в это утро. Потапыч и Марфа шли сзади, сейчас за креслами, — Потапыч в своем фраке, в белом галстухе, но в картузе, а Марфа — сорокалетняя, румяная, но начинавшая уже седеть девушка — в чепчике, в ситцевом платье и в скрипучих козловых башмаках. Бабушка весьма часто к ним оборачивалась и с ними заговаривала. Де-Грие и генерал немного отстали и говорили о чем-то с величайшим жаром. Генерал был очень уныл; Де-Грие говорил с видом решительным. Может быть, он генерала ободрял; очевидно, что-то советовал. Но бабушка уже произнесла давеча роковую фразу: «Денег я тебе не дам». Может быть, для Де-Грие это известие казалось невероятным, но генерал знал свою тетушку. Я заметил, что Де-Грие и mademoiselle Blanche продолжали перемигиваться. Князя и немца-путешественника я разглядел в самом конце аллеи: они отстали и куда-то ушли от нас.

В воксал мы прибыли с триумфом. В швейцаре и в лакеях обнаружилась та же почтительность, как и в прислуге отеля. Смотрели они, однако, с любопытством. Бабушка сначала велела обнести себя по всем залам; иное похвалила, к другому осталась совершенно равнодушна; обо всем расспрашивала. Наконец дошли и до игорных зал. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь.

Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. За игорными рулеточными столами и на другом конце залы, где помещался стол с trente et quarante, толпилось, может быть, полтораста или двести игроков, в несколько рядов. Те, которые успевали протесниться к самому столу, по обыкновению, стояли крепко и не упускали своих мест до тех пор, пока не проигрывались; ибо так стоять простыми зрителями и даром занимать игорное место не позволено. Хотя кругом стола и уставлены стулья, но немногие из игроков садятся, особенно при большом стечении публики, потому что стоя можно установиться теснее и, следовательно, выгадать место, да и ловчее ставить. Второй и третий ряды теснились за первыми, ожидая и наблюдая свою очередь; но в нетерпении просовывали иногда чрез первый ряд руку, чтоб поставить свои куши. Даже из третьего ряда изловчались таким образом просовывать ставки; от этого не проходило десяти и даже пяти минут, чтоб на каком-

нибудь конце стола не началась «история» за спорные ставки. Полиция воксала, впрочем, довольно хороша. Тесноты, конечно, избежать нельзя; напротив, наплыву публики рады, потому что это выгодно; но восемь круперов, сидящих кругом стола, смотрят во все глаза за ставками, они же и рассчитываются, а при возникающих спорах они же их и разрешают. В крайних же случаях зовут полицию, и дело кончается в минуту. Полицейские помещаются тут же в зале, в партикулярных платьях, между зрителями, так что их и узнать нельзя. Они особенно смотрят за воришками и промышленниками, которых на рулетках особенно много, по необыкновенному удобству промысла. В самом деле, везде в других местах воровать приходится из карманов и из-под замков, а это, в случае неудачи, очень хлопотливо оканчивается. Тут же, просто-запросто, стоит только к рулетке подойти, начать играть и вдруг, явно и гласно, взять чужой выигрыш и положить в свой карман; если же затеется спор, то мошенник вслух и громко настаивает, что ставка — его собственная. Если дело сделано ловко и свидетели колеблются, то вор очень часто успевает оттягать деньги себе, разумеется если сумма не очень значительная. В последнем случае она, наверное, бывает замечена круперами или кем-нибудь из других игроков еще прежде. Но если сумма не так значительна, то настоящий хозяин даже иногда просто отказывается продолжать спор, совестясь скандала, и отходит. Но если успеют вора изобличить, то тотчас же выводят со скандалом.

На всё это бабушка смотрела издали, с диким любопытством. Ей очень понравилось, что воришек выводят. Trente et quarante мало возбудило ее любопытство; ей больше понравилась рулетка и что катается шарик. Она пожелала, наконец, разглядеть игру поближе. Не понимаю, как это случилось, но лакеи и некоторые другие суетящиеся агенты (преимущественно проигравшиеся полячки́, навязывающие свои услуги счастливым игрокам и всем иностранцам) тотчас нашли и очистили бабушке место, несмотря на всю эту тесноту, у самой средины стола, подле главного крупера, и подкатили туда ее кресло. Множество посетителей, не играющих, но со стороны наблюдающих игру (преимущественно англичане с их семействами), тотчас же затеснились к столу, чтобы из-за игроков поглядеть на бабушку. Множество лорнетов обратилось в ее сторону. У круперов родились надежды: такой эксцентрический игрок действительно как будто обещал что-нибудь необыкновенное. Семидесятилетняя женщина без ног и желающая играть — конечно, был случай не обыденный. Я протеснился тоже к столу и устроился подле бабушки. Потапыч и Марфа остались где-то далеко в стороне, между народом. Генерал, Полина, Де-Грие и mademoiselle Blanche тоже поместились в стороне, между зрителями.

Бабушка сначала стала осматривать игроков. Она задавала мне резкие, отрывистые вопросы полушепотом: кто это такой? это кто такая? Ей особенно понравился в конце стола один очень

молодой человек, игравший в очень большую игру, ставивший тысячами и наигравший, как шептали кругом, уже тысяч до сорока франков, лежавших перед ним в куче, золотом и в банковых билетах. Он был бледен; у него сверкали глаза и тряслись руки; он ставил уже без всякого расчета, сколько рука захватит, а между тем всё выигрывал да выигрывал, всё загребал да загребал. Лакеи суетились кругом него, подставляли ему сзади кресла, очищали вокруг него место, чтоб ему было просторнее, чтоб его не теснили, — всё это в ожидании богатой благодарности. Иные игроки с выигрыша дают им иногда не считая, а так, с радости, тоже сколько рука из кармана захватит. Подле молодого человека уже устроился один полячок, суетившийся изо всех сил, и почтительно, но беспрерывно что-то шептал ему, вероятно, указывая, как ставить, советуя и направляя игру, — разумеется, тоже ожидая впоследствии подачки. Но игрок почти и не смотрел на него, ставил зря и всё загребал. Он, видимо, терялся.

Бабушка наблюдала его несколько минут.

— Скажи ему — вдруг засуетилась бабушка, толкая меня, — скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал поскорее деньги и уходил. Проиграет, сейчас всё проиграет! — захлопотала она, чуть не задыхаясь от волнения. — Где Потапыч? Послать к нему Потапыча! Да скажи же, скажи же, — толкала она меня, — да где же, в самом деле, Потапыч! Sortez, sortez! [1] — начала было она сама кричать молодому человеку. — Я нагнулся к ней и решительно прошептал, что здесь так кричать нельзя и даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено, потому что это мешает счету, и что нас сейчас прогонят.

— Экая досада! Пропал человек, значит сам хочет... смотреть на него не могу, всю ворочает. Экой олух! — и бабушка поскорей оборотилась в другую сторону.

Там, налево, на другой половине стола, между игроками, заметна была одна молодая дама и подле нее какой-то карлик. Кто был этот карлик — не знаю: родственник ли ее, или так она брала его для эффекта. Эту барыню я замечал и прежде; она являлась к игорному столу каждый день, в час пополудни, и уходила ровно в два; каждый день играла по одному часу. Ее уже знали и тотчас же подставляли ей кресла. Она вынимала из кармана несколько золота, несколько тысячефранковых билетов и начинала ставить тихо, хладнокровно, с расчетом, отмечая на бумажке карандашом цифры и стараясь отыскать систему, по которой в данный момент группировались шансы. Ставила она значительными кушами. Выигрывала каждый день одну, две, много три тысячи франков — не более и, выиграв, тотчас же уходила. Бабушка долго ее рассматривала.

— Ну, эта не проиграет! эта вот не проиграет! Из каких? Не знаешь? Кто такая?

---

[1] Уходите, уходите! *(франц.)*

— Француженка, должно быть, из эдаких, — шепнул я.

— А, видна птица по полету. Видно, что ноготок востер. Растолкуй ты мне теперь, что каждый поворот значит и как надо ставить?

Я по возможности растолковал бабушке, что значат эти многочисленные комбинации ставок, rouge et noir, pair et impair, manque et passe [1] и, наконец, разные оттенки в системе чисел. Бабушка слушала внимательно, запоминала, переспрашивала и заучивала. На каждую систему ставок можно было тотчас же привести и пример, так что многое заучивалось и запоминалось очень легко и скоро. Бабушка осталась весьма довольна.

— А что такое zéro? [2] Вот этот крупер, курчавый, главный-то, крикнул сейчас zéro? И почему он всё загреб, что ни было на столе? Эдакую кучу, всё себе взял? Это что такое?

— А zéro, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на zéro, то всё, что ни поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Правда, дается еще удар на розыгрыш, но зато банк ничего не платит.

— Вот-те на! а я ничего не получаю?

— Нет, бабушка, если вы пред этим ставили на zéro, то когда выйдет zéro, вам платят в тридцать пять раз больше.

— Как, в тридцать пять раз, и часто выходит? Что ж они, дураки, не ставят?

— Тридцать шесть шансов против, бабушка.

— Вот вздор! Потапыч! Потапыч! Постой, и со мной есть деньги — вот! Она вынула из кармана туго набитый кошелек и взяла из него фридрихсдор. — На, поставь сейчас на zéro.

— Бабушка, zéro только что вышел, — сказал я, — стало быть, теперь долго не выйдет. Вы много проставите; подождите хоть немного.

— Ну, врешь, ставь!

— Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет, вы до тысячи проставите, это случалось.

— Ну, вздор, вздор! Волка бояться — в лес не ходить. Что? проиграл? Ставь еще!

Проиграли и второй фридрихсдор; поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось, даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил «trente six» [3] вместо ожидаемого zéro.

— Эк ведь его! — сердилась бабушка, — да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до zéro! Это этот проклятый курчавый круперишка делает, у него

---

[1] красное и черное, чет и нечет, недобор и перебор *(франц.)*.
[2] ноль *(франц.)*.
[3] тридцать шесть *(франц.)*.

никогда не выходит! Алексей Иванович, ставь два золотых за раз! Это столько проставишь, что и выйдет zéro, так ничего не возьмешь.

— Бабушка!

— Ставь, ставь! Не твои.

Я поставил два фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг — хлоп!

— Zéro, — провозгласил крупер.

— Видишь, видишь! — быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. — Я ведь сказала, сказала тебе! И надоумил меня сам господь поставить два золотых. Ну, сколько же я теперь получу? Что ж не выдают? Потапыч, Марфа, где же они? Наши все куда же ушли? Потапыч, Потапыч!

— Бабушка, после, — шептал я, — Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте! Бабушке выкинули запечатанный в синей бумажке тяжеловесный сверток с пятидесятью фридрихсдорами и отсчитали не запечатанных еще двадцать фридрихсдоров. Всё это я пригреб к бабушке лопаткой.

— Faites le jeu, messieurs! Faites le jeu, messieurs! Rien ne va plus? [1] — возглашал крупер, приглашая ставить и готовясь вертеть рулетку.

— Господи! опоздали! сейчас завертят! Ставь, ставь! — захлопотала бабушка, — да не мешкай, скорее, — выходила она из себя, толкая меня изо всех сил.

— Да куда ставить-то, бабушка?

— На zéro, на zéro! опять на zéro! Ставь как можно больше! Сколько у нас всего? Семьдесят фридрихсдоров? Нечего их жалеть, ставь по двадцати фридрихсдоров разом.

— Опомнитесь, бабушка! Он иногда по двести раз не выходит! Уверяю вас, вы весь капитал проставите.

— Ну, врешь, врешь! ставь! Вот язык-то звенит! Знаю, что делаю, — даже затряслась в исступлении бабушка.

— По уставу разом более двенадцати фридрихсдоров на zéro ставить не позволено, бабушка, — ну вот я поставил.

— Как не позволено? Да ты не врешь ли? Мусье! мусье! — затолкала она крупера, сидевшего тут же подле нее слева и приготовившегося вертеть, — combien zéro? douze? douze? [2]

Я поскорее растолковал вопрос по-французски.

— Oui, madame,[3] — вежливо подтвердил крупер, — равно как всякая единичная ставка не должна превышать разом четырех тысяч флоринов, по уставу, — прибавил он в пояснение.

---

[1] Делайте вашу ставку, господа! Делайте вашу ставку! Больше никто не ставит? *(франц.)*

[2] сколько ноль? двенадцать? двенадцать? *(франц.)*

[3] Да, сударыня *(франц.)*.

— Ну, нечего делать, ставь двенадцать.

— Le jeu est fait! [1] — крикнул крупер. Колесо завертелось, и вышло тринадцать. Проиграли!

— Еще! еще! еще! ставь еще! — кричала бабушка. Я уже не противоречил и, пожимая плечами, поставил еще двенадцать фридрихсдоров. Колесо вертелось долго. Бабушка просто дрожала, следя за колесом. «Да неужто она и в самом деле думает опять zéro выиграть?» — подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице ее, непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут: zéro! Шарик вскочил в клетку.

— Zéro! — крикнул крупер.

— Что!!! — с неистовым торжеством обратилась ко мне бабушка.

Я сам был игрок; я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки-ноги дрожали, в голову ударило. Конечно, это был редкий случай, что на каких-нибудь десяти ударах три раза выскочил zéro; но особенно удивительного тут не было ничего. Я сам был свидетелем, как третьего дня вышло три zéro *сряду* и при этом один из игроков, ревностно отмечавший на бумажке удары, громко заметил, что не далее, как вчера, этот же самый zéro упал в целые сутки один раз.

С бабушкой, как с выигравшей самый значительный выигрыш, особенно внимательно и почтительно рассчитались. Ей приходилось получить ровно четыреста двадцать фридрихсдоров, то есть четыре тысячи флоринов и двадцать фридрихсдоров. Двадцать фридрихсдоров ей выдали золотом, а четыре тысячи — банковыми билетами.

Но этот раз бабушка уже не звала Потапыча; она была занята не тем. Она даже не толкалась и не дрожала снаружи. Она, если можно так выразиться, дрожала изнутри. Вся на чем-то сосредоточилась, так и прицелилась:

— Алексей Иванович! он сказал, зараз можно только четыре тысячи флоринов поставить? На, бери, ставь эти все четыре на красную, — решила бабушка.

Было бесполезно отговаривать. Колесо завертелось.

— Rouge! — провозгласил крупер.

Опять выигрыш в четыре тысячи флоринов, всего, стало быть, восемь.

— Четыре сюда мне давай, а четыре ставь опять на красную, — командовала бабушка.

Я поставил опять четыре тысячи.

— Rouge! — провозгласил снова крупер.

— Итого двенадцать! Давай их все сюда. Золото ссыпай сюда, в кошелек, а билеты спрячь.

— Довольно! Домой! Откатите кресла!

---

[1] Игра сделана! *(франц.)*

## *Глава XI*

Кресла откатили к дверям, на другой конец залы. Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее с поздравлениями. Как ни эксцентрично было поведение бабушки, но ее триумф покрывал многое, и генерал уже не боялся скомпрометировать себя в публике родственными отношениями с такой странной женщиной. С снисходительною и фамильярно-веселою улыбкою, как бы теша ребенка, поздравил он бабушку. Впрочем, он был видимо поражен, равно как и все зрители. Кругом говорили и указывали на бабушку. Многие проходили мимо нее, чтобы ближе ее рассмотреть. Мистер Астлей толковал о ней в стороне с двумя своими знакомыми англичанами. Несколько величавых зрительниц, дам, с величавым недоумением рассматривали ее как какое-то чудо. Де-Грие так и рассыпался в поздравлениях и улыбках.

— Quelle victoire! [1] — говорил он.

— Mais, madame, c'était du feu! [2] — прибавила с заигрывающей улыбкой mademoiselle Blanche.

— Да-с, вот взяла да и выиграла двенадцать тысяч флоринов! Какое двенадцать, а золото-то? С золотом почти что тринадцать выйдет. Это сколько по-нашему? Тысяч шесть, что ли, будет?

Я доложил, что и за семь перевалило, а по теперешнему курсу, пожалуй, и до восьми дойдет.

— Шутка, восемь тысяч! А вы-то сидите здесь, колпаки, ничего не делаете! Потапыч, Марфа, видели?

— Матушка, да как это вы? Восемь тысяч рублей, — восклицала, извиваясь, Марфа.

— Нате, вот вам от меня по пяти золотых, вот!

Потапыч и Марфа бросились целовать ручки.

— И носильщикам дать по фридрихсдору. Дай им по золотому, Алексей Иванович. Что это лакей кланяется, и другой тоже? Поздравляют? Дай им тоже по фридрихсдору.

— Madame la princesse... un pauvre expatrié... malheur continuel... les princes russes sont si généreux, [3] — увивалась около кресел одна личность в истасканном сюртуке, пестром жилете, в усах, держа картуз на отлете и с подобострастною улыбкой...

— Дай ему тоже фридрихсдор. Нет, дай два; ну, довольно, а то конца с ними не будет. Подымите, везите! Прасковья, — обратилась она к Полине Александровне, — я тебе завтра на платье куплю, и той куплю mademoiselle... как ее, mademoiselle Blanche, что ли, ей тоже на платье куплю. Переведи ей, Прасковья!

---

[1] Какая победа! *(франц.)*

[2] Но, сударыня, это было блестяще! *(франц.)*

[3] Госпожа княгиня... бедный эмигрант... постоянное несчастье... русские князья так щедры *(франц.)*.

— Merci, madame, — умильно присела mademoiselle Blanche, искривив рот в насмешливую улыбку, которою обменялась с Де-Грие и генералом. Генерал отчасти конфузился и ужасно был рад, когда мы добрались до аллеи.

— Федосья, Федосья-то, думаю, как удивится теперь, — говорила бабушка, вспоминая о знакомой генеральской нянюшке. — И ей нужно на платье подарить. Эй, Алексей Иванович, Алексей Иванович, подай этому нищему!

По дороге проходил какой-то оборванец, с скрюченною спиной, и глядел на нас.

— Да это, может быть, и не нищий, а какой-нибудь прощелыга, бабушка.

— Дай! дай! дай ему гульден!

Я подошел и подал. Он посмотрел на меня с диким недоумением, однако молча взял гульден. От него пахло вином.

— А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастия?

— Нет, бабушка.

— А у самого глаза горели, я видела.

— Я еще попробую, бабушка, непременно, потом.

— И прямо ставь на zéro! Вот увидишь! Сколько у тебя капиталу?

— Всего только двадцать фридрихсдоров, бабушка.

— Немного. Пятьдесят фридрихсдоров я тебе дам взаймы, если хочешь. Вот этот самый сверток и бери, а ты, батюшка, все-таки не жди, тебе не дам! — вдруг обратилась она к генералу.

Того точно перевернуло, но он промолчал. Де-Грие нахмурился.

— Que diable, c'est une terrible vieille! [1] — прошептал он сквозь зубы генералу.

— Нищий, нищий, опять нищий! — закричала бабушка. — Алексей Иванович, дай и этому гульден.

На этот раз повстречался седой старик, с деревянной ногой, в каком-то синем длиннополом сюртуке и с длинною тростью в руках. Он похож был на старого солдата. Но когда я протянул ему гульден, он сделал шаг назад и грозно осмотрел меня.

— Was ist's der Teufel! [2] — крикнул он, прибавив к этому еще с десяток ругательств.

— Ну дурак! — крикнула бабушка, махнув рукой. — Везите дальше! Проголодалась! Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять туда.

— Вы опять хотите играть, бабушка? — крикнул я.

— Как бы ты думал? Что вы-то здесь сидите да киснете, так и мне на вас смотреть?

---

[1] Черт возьми, ужасная старуха *(франц.)*.
[2] Черт побери, что это такое! *(нем.)*

— Mais, madame, — приблизился Де-Грие, — les chances peuvent tourner, une seule mauvaise chance et vous perdrez tout... surtout avec votre jeu... c'était terrible![1]

— Vous perdrez absolument,[2] — защебетала mademoiselle Blanche.

— Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграю — свои! А где этот мистер Астлей? — спросила она меня.

— В воксале остался, бабушка.

— Жаль; вот этот так хороший человек.

Прибыв домой, бабушка еще на лестнице, встретив обер-кельнера, подозвала его и похвасталась своим выигрышем; затем позвала Федосью, подарила ей три фридрихсдора и велела подавать обедать. Федосья и Марфа так и рассыпáлись пред нею за обедом.

— Смотрю я на вас, матушка, — трещала Марфа, — и говорю Потапычу, что это наша матушка хочет делать. А на столе денег-то, денег-то, батюшки! всю-то жизнь столько денег не видывала, а всё кругом господа, всё одни господа сидят. И откуда, говорю, Потапыч, это всё такие здесь господа? Думаю, помоги ей сама мати-божия. Молюсь я за вас, матушка, а сердце вот так и замирает, так и замирает, дрожу, вся дрожу. Дай ей, господи, думаю, а тут вот вам господь и послал. До сих пор, матушка, так и дрожу, так вот вся и дрожу.

— Алексей Иванович, после обеда, часа в четыре, готовься, пойдем. А теперь покамест прощай, да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь, тоже и вóды пить надо. А то и позабудешь, пожалуй.

Я вышел от бабушки как одурманенный. Я старался себе представить, что теперь будет со всеми нашими и какой оборот примут дела? Я видел ясно, что они (генерал преимущественно) еще не успели прийти в себя, даже и от первого впечатления. Факт появления бабушки вместо ожидаемой с часу на час телеграммы об ее смерти (а стало быть, и о наследстве) до того раздробил всю систему их намерений и принятых решений, что они с решительным недоумением и с каким-то нашедшим на всех столбняком относились к дальнейшим подвигам бабушки на рулетке. А между тем этот второй факт был чуть ли не важнее первого, потому что хоть бабушка и повторила два раза, что денег генералу не даст, но ведь кто знает, — все-таки не должно было еще терять надежды. Не терял же ее Де-Грие, замешанный во все дела генерала. Я уверен, что и mademoiselle Blanche, тоже весьма замешанная (еще бы: генеральша и значительное наследство!), не потеряла бы надежды и употребила бы все обольщения кокетства над бабушкой — в контраст с неподатливою и неумеющею приласкаться гордячкой Полиной. Но теперь, теперь, когда бабушка

---

[1] Но, сударыня, удача может изменить, один неудачный ход — и вы проиграете всё... особенно с вашими ставками... это ужасно! *(франц.)*

[2] Вы проиграете непременно *(франц.)*.

совершила такие подвиги на рулетке, теперь, когда личность бабушки отпечаталась пред ними так ясно и типически (строптивая, властолюбивая старуха et tombée en enfance), теперь, пожалуй, и всё погибло: ведь она, как ребенок, рада, что дорвалась, и, как водится, проиграется в пух. «Боже! — подумал я (и прости меня, господи, с самым злорадным смехом), — боже, да ведь каждый фридрихсдор, поставленный бабушкою давеча, ложился болячкою на сердце генерала, бесил Де-Грие и доводил до исступления mademoiselle de Cominges, у которой мимо рта проносили ложку. Вот и еще факт: даже с выигрыша, с радости, когда бабушка раздавала всем деньги и каждого прохожего принимала за нищего, даже и тут у ней вырвалось к генералу: „А тебе-то все-таки не дам!“ Это значит: села на этой мысли, уперлась, слово такое себе дала; — опасно! опасно!»

Все эти соображения ходили в моей голове в то время, как я поднимался от бабушки по парадной лестнице, в самый верхний этаж, в свою каморку. Всё это занимало меня сильно; хотя, конечно, я и прежде мог предугадывать главные толстейшие нити, связывавшие предо мною актеров, но все-таки окончательно не знал всех средств и тайн этой игры. Полина никогда не была со мною вполне доверчива. Хоть и случалось, правда, что она открывала мне подчас, как бы невольно, свое сердце, но я заметил, что часто, да почти и всегда, после этих открытий или в смех обратит всё сказанное, или запутает и с намерением придаст всему ложный вид. О! она многое скрывала! Во всяком случае, я предчувствовал, что подходит финал всего этого таинственного и напряженного состояния. Еще один удар — и всё будет кончено и обнаружено. О своей участи, тоже во всем этом заинтересованный, я почти не заботился. Странное у меня настроение: в кармане всего двадцать фридрихсдоров; я далеко на чужой стороне, без места и без средств к существованию, без надежды, без расчетов и — не забочусь об этом! Если бы не дума о Полине, то я просто весь отдался бы одному комическому интересу предстоящей развязки и хохотал бы во всё горло. Но Полина смущает меня; участь ее решается, это я предчувствовал, но, каюсь, совсем не участь ее меня беспокоит. Мне хочется проникнуть в ее тайны; мне хотелось бы, чтобы она пришла ко мне и сказала: «Ведь я люблю тебя», а если нет, если это безумство немыслимо, то тогда... ну, да чего пожелать? Разве я знаю, чего желаю? Я сам как потерянный; мне только бы быть при ней, в ее ореоле, в ее сиянии, навечно, всегда, всю жизнь. Дальше я ничего не знаю! И разве я могу уйти от нее?

В третьем этаже, в их коридоре, меня что-то как толкнуло. Я обернулся и, в двадцати шагах или более, увидел выходящую из двери Полину. Она точно выжидала и высматривала меня и тотчас же к себе поманила.

— Полина Александровна...

— Тише! — предупредила она.

— Представьте себе, — зашептал я, — меня сейчас точно что толкнуло в бок; оглядываюсь — вы! Точно электричество исходит из вас какое-то!

— Возьмите это письмо, — заботливо и нахмуренно произнесла Полина, наверное не расслышав того, что я сказал, — и передайте лично мистеру Астлею сейчас. Поскорее, прошу вас. Ответа не надо. Он сам...

Она не договорила.

— Мистеру Астлею? — переспросил я в удивлении.

Но Полина уже скрылась в дверь.

— Ага, так у них переписка! — я, разумеется, побежал тотчас же отыскивать мистера Астлея, сперва в его отеле, где его не застал, потом в воксале, где обегал все залы, и наконец, в досаде, чуть не в отчаянии, возвращаясь домой, встретил его случайно, в кавалькаде каких-то англичан и англичанок, верхом. Я поманил его, остановил и передал ему письмо. Мы не успели и переглянуться. Но я подозреваю, что мистер Астлей нарочно поскорее пустил лошадь.

Мучила ли меня ревность? Но я был в самом разбитом состоянии духа. Я и удостовериться не хотел, о чем они переписываются. Итак, он ее поверенный! «Друг-то друг, — думал я, — и это ясно (и когда он успел сделаться), но есть ли тут любовь?» «Конечно, нет», — шептал мне рассудок. Но ведь одного рассудка в эдаких случаях мало. Во всяком случае предстояло и это разъяснить. Дело неприятно усложнялось.

Не успел я войти в отель, как швейцар и вышедший из своей комнаты обер-кельнер сообщили мне, что меня требуют, ищут, три раза посылали наведываться: где я? — просят как можно скорее в номер к генералу. Я был в самом скверном расположении духа. У генерала в кабинете я нашел, кроме самого генерала, Де-Грие и mademoiselle Blanche, одну, без матери. Мать была решительно подставная особа, употреблявшаяся только для парада; но когда доходило до настоящего *дела*, то mademoiselle Blanche орудовала одна. Да и вряд ли та что-нибудь знала про дела своей названной дочки.

Они втроем о чем-то горячо совещались, и даже дверь кабинета была заперта, чего никогда не бывало. Подходя к дверям, я расслышал громкие голоса — дерзкий и язвительный разговор Де-Грие, нахально-ругательный и бешеный крик Blanche и жалкий голос генерала, очевидно в чем-то оправдывавшегося. При появлении моем все они как бы поприудержались и подправились. Де-Грие поправил волосы и из сердитого лица сделал улыбающееся, — тою скверною, официально-учтивою, французскою улыбкою, которую я так ненавижу. Убитый и потерявшийся генерал приосанился, но как-то машинально. Одна только mademoiselle Blanche почти не изменила своей сверкающей гневом физиономии и только замолкла, устремив на меня взор с нетерпеливым ожиданием. Замечу, что она до невероятности небрежно

доселе со мною обходилась, даже не отвечала на мои поклоны, — просто не примечала меня.

— Алексей Иванович, — начал нежно распекающим тоном генерал, — позвольте вам объявить, что странно, в высочайшей степени странно... одним словом, ваши поступки относительно меня и моего семейства... одним словом, в высочайшей степени странно...

— Eh! ce n'est pas ça, — с досадой и презрением перебил Де-Грие. (Решительно, он всем заправлял!) — Mon cher monsieur, notre cher général se trompe,[1] — впадая в такой тон (продолжаю его речь по-русски), но он хотел вам сказать... то есть вас предупредить или, лучше сказать, просить вас убедительнейше, чтобы вы не губили его, — ну да, не губили! Я употребляю именно это выражение...

— Но чем же, чем же? — прервал я.

— Помилуйте, вы беретесь быть руководителем (или как это сказать?) этой старухи, cette pauvre terrible vieille,[2] — сбивался сам Де-Грие, — но ведь она проиграется; она проиграется вся в пух! Вы сами видели, вы были свидетелем, как она играет! Если она начнет проигрывать, то она уж и не отойдет от стола, из упрямства, из злости, и всё будет играть, всё будет играть, а в таких случаях никогда не отыгрываются, и тогда... тогда...

— И тогда, — подхватил генерал, — тогда вы погубите всё семейство! Я и мое семейство, мы — ее наследники, у ней нет более близкой родни. Я вам откровенно скажу: дела мои расстроены, крайне расстроены. Вы сами отчасти знаете... Если она проиграет значительную сумму или даже, пожалуй, всё состояние (о боже!), что тогда будет с ними, с моими детьми! (генерал оглянулся на Де-Грие) — со мною! (Он поглядел на mademoiselle Blanche, с презрением от него отвернувшуюся.) Алексей Иванович, спасите, спасите нас!..

— Да чем же, генерал, скажите, чем я могу... Что я-то тут значу?

— Откажитесь, откажитесь, бросьте ее!..

— Так другой найдется! — вскричал я.

— Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, — перебил опять Де-Грие, — que diable! Нет, не покидайте, но по крайней мере усовестите, уговорите, отвлеките... Ну, наконец, не дайте ей проиграть слишком много, отвлеките ее как-нибудь.

— Да как я это сделаю? Если бы вы сами взялись за это, monsieur Де-Грие, — прибавил я как можно наивнее.

Тут я заметил быстрый, огненный, вопросительный взгляд mademoiselle Blanche на Де-Грие. В лице самого Де-Грие мелькнуло что-то особенное, что-то откровенное, от чего он не мог удержаться.

---

[1] Это не то... Дорогой мой, наш милый генерал ошибается *(франц.)*.

[2] этой бедной, ужасной старухи *(франц.)*.

— То-то и есть, что она меня не возьмет теперь! — вскричал, махнув рукой, Де-Грие. — Если б!.. потом...

Де-Грие быстро и значительно поглядел на mademoiselle Blanche.

— О mon cher monsieur Alexis, soyez si bon,[1] — шагнула ко мне с обворожительною улыбкою *сама* mademoiselle Blanche, схватила меня за обе руки и крепко сжала. Черт возьми! это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться. В это мгновение у ней явилось такое просящее лицо, такое милое, детски улыбающееся и даже шаловливое; под конец фразы она плутовски мне подмигнула, тихонько от всех; срезать разом, что ли, меня хотела? И недурно вышло, — только уж грубо было это, однако, ужасно.

Подскочил за ней и генерал, — именно подскочил:

— Алексей Иванович, простите, что я давеча так с вами начал, я не то совсем хотел сказать... Я вас прошу, умоляю, в пояс вам кланяюсь по-русски, — вы один, один можете нас спасти! Я и mademoiselle de Cominges вас умоляем, — вы понимаете, ведь вы понимаете? — умолял он, показывая мне глазами на mademoiselle Blanche. Он был очень жалок.

В эту минуту раздались три тихие и почтительные удара в дверь; отворили — стучал коридорный слуга, а за ним, в нескольких шагах, стоял Потапыч. Послы были от бабушки. Требовалось сыскать и доставить меня немедленно, «сердятся», — сообщил Потапыч.

— Но ведь еще только половина четвертого!

— Они и заснуть не могли, всё ворочались, потом вдруг встали, кресла потребовали и за вами. Уж они теперь на крыльце-с...

— Quelle mégère! [2] — крикнул Де-Грие.

Действительно, я нашел бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До четырех часов она не выдержала.

— Ну, подымайте! — крикнула она, и мы отправились опять на рулетку.

## *Глава XII*

Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа; видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была невнимательна и вообще крайне рассеянна. Ни про что, например, по дороге не расспрашивала, как давеча. Увидя одну богатейшую коляску, промчавшуюся мимо нас вихрем, она было подняла руку и спросила: «Что такое? Чьи?» — но, кажется, и не расслышала моего ответа; задумчивость ее беспрерывно прерывалась резкими и нетерпеливыми телодвиже-

---

[1] О дорогой господин Алексей, будьте так добры *(франц.)*.

[2] Какая мегера! *(франц.)*

ниями и выходками. Когда я ей показал издали, уже подходя к воксалу, барона и баронессу Вурмергельм, она рассеянно посмотрела и совершенно равнодушно сказала: «А!» — и, быстро обернувшись к Потапычу и Марфе, шагавшим сзади, отрезала им:

— Ну, вы зачем увязались? Не каждый раз брать вас! Ступайте домой! Мне и тебя довольно, — прибавила она мне, когда те торопливо поклонились и воротились домой.

В воксале бабушку уже ждали. Тотчас же отгородили ей то же самое место, возле крупера. Мне кажется, эти круперы, всегда такие чинные и представляющие из себя обыкновенных чиновников, которым почти решительно всё равно: выиграет ли банк или проиграет, — вовсе не равнодушны к проигрышу банка и, уж конечно, снабжены кой-какими инструкциями для привлечения игроков и для вящего наблюдения казенного интереса, за что непременно и сами получают призы и премии. По крайней мере на бабушку смотрели уж как на жертвочку. Затем, что у нас предполагали, то и случилось.

Вот как было дело.

Бабушка прямо накинулась на zéro и тотчас же велела ставить по двенадцати фридрихсдоров. Поставили раз, второй, третий — zéro не выходил. «Ставь, ставь!» — толкала меня бабушка в нетерпении. Я слушался.

— Сколько раз проставили? — спросила она наконец, скрежеща зубами от нетерпения.

— Да уж двенадцатый раз ставил, бабушка. Сто сорок четыре фридрихсдора проставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуй...

— Молчи! — перебила бабушка. — Поставь на zéro и поставь сейчас на красную тысячу гульденов. На, вот билет.

Красная вышла, а zéro опять лопнул; воротили тысячу гульденов.

— Видишь, видишь! — шептала бабушка, — почти всё, что проставили, воротили. Ставь опять на zéro; еще раз десять поставим и бросим.

Но на пятом разе бабушка совсем соскучилась.

— Брось этот пакостный зеришко к черту. На, ставь все четыре тысячи гульденов на красную, — приказала она.

— Бабушка! много будет; ну как не выйдет красная, — умолял я; но бабушка чуть меня не прибила. (А впрочем, она так толкалась, что почти, можно сказать, и дралась.) Нечего было делать, я поставил на красную все четыре тысячи гульденов, выигранные давеча. Колесо завертелось. Бабушка сидела спокойно и гордо выпрямившись, не сомневаясь в непременном выигрыше.

— Zéro, — возгласил крупер.

Сначала бабушка не поняла, но когда увидела, что крупер загреб ее четыре тысячи гульденов, вместе со всем, что стояло на столе, и узнала, что zéro, который так долго не выходил и на котором мы проставили почти двести фридрихсдоров, выскочил,

как нарочно, тогда, когда бабушка только что его обругала и бросила, то ахнула и на всю залу сплеснула руками. Кругом даже засмеялись.

— Батюшки! Он тут-то проклятый и выскочил! — вопила бабушка, — ведь эдакой, эдакой окаянный! Это ты! Это всё ты! — свирепо накинулась на меня, толкаясь. — Это ты меня отговорил.

— Бабушка, я вам дело говорил, как могу отвечать я за все шансы?

— Я-те дам шансы! — шептала она грозно, — пошел вон от меня.

— Прощайте, бабушка, — повернулся я уходить.

— Алексей Иванович, Алексей Иванович, останься! Куда ты? Ну, чего, чего? Ишь рассердился! Дурак! Ну побудь, побудь еще, ну, не сердись, я сама дура! Ну скажи, ну что теперь делать!

— Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами; приказывайте, я ставить буду.

— Ну, ну! ну ставь еще четыре тысячи гульденов на красную! Вот бумажник, бери. — Она вынула из кармана и подала мне бумажник. — Ну, бери скорей, тут двадцать тысяч рублей чистыми деньгами.

— Бабушка, — прошептал я, — такие куши...

— Жива не хочу быть — отыграюсь. Ставь! — Поставили и проиграли.

— Ставь, ставь, все восемь ставь!

— Нельзя, бабушка, самый большой куш четыре!..

— Ну ставь четыре!

На этот раз выиграли. Бабушка ободрилась.

— Видишь, видишь! — затолкала она меня, — ставь опять четыре!

Поставили — проиграли; потом еще и еще проиграли.

— Бабушка, все двенадцать тысяч ушли, — доложил я.

— Вижу, что все ушли, — проговорила она в каком-то спокойствии бешенства, если так можно выразиться, — вижу, батюшка, вижу, — бормотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая, — эх! жива не хочу быть, ставь еще четыре тысячи гульденов!

— Да денег нет, бабушка; тут в бумажнике наши пятипроцентные и еще какие-то переводы есть, а денег нет.

— А в кошельке?

— Мелочь осталась, бабушка.

— Есть здесь меняльные лавки? Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно, — решительно спросила бабушка.

— О, сколько угодно! Но что вы потеряете за промен, так... сам жид ужаснется!

— Вздор! Отыграюсь! Вези. Позвать этих болванов!

Я откатил кресла, явились носильщики, и мы покатили из воксала.

— Скорей, скорей, скорей! — командовала бабушка. — Показывай дорогу, Алексей Иванович, да поближе возьми... а далеко?

— Два шага, бабушка.

Но на повороте из сквера в аллею встретилась нам вся наша компания: генерал, Де-Грие и mademoiselle Blanche с маменькой. Полины Александровны с ними не было, мистера Астлея тоже.

— Ну, ну, ну! не останавливаться! — кричала бабушка, — ну, чего вам такое? Некогда с вами тут!

Я шел сзади; Де-Грие подскочил ко мне.

— Всё давешнее проиграла и двенадцать тысяч гульденов своих просадила. Едем пятипроцентные менять, — шепнул я ему наскоро.

Де-Грие топнул ногою и бросился сообщить генералу. Мы продолжали катить бабушку.

— Остановите, остановите! — зашептал мне генерал в исступлении.

— А вот попробуйте-ка ее остановить, — шепнул я ему.

— Тетушка! — приблизился генерал, — тетушка... мы сейчас... мы сейчас... — голос у него дрожал и падал, — нанимаем лошадей и едем за город... Восхитительнейший вид... пуант... мы шли вас приглашать.

— И, ну тебя и с пуантом! — раздражительно отмахнулась от него бабушка.

— Там деревня... там будем чай пить... — продолжал генерал уже с полным отчаянием.

— Nous boirons du lait, sur l'herbe fraîche,[1] — прибавил Де-Грие с зверскою злобой.

Du lait, de l'herbe fraîche — это всё, что есть идеально идиллического у парижского буржуа; в этом, как известно, взгляд его на «nature et la vérité!»[2]

— И, ну тебя с молоком! Хлещи сам, а у меня от него брюхо болит. Да и чего вы пристали?! — закричала бабушка, — говорю некогда!

— Приехали, бабушка! — закричал я, — здесь!

Мы подкатили к дому, где была контора банкира. Я пошел менять; бабушка осталась ждать у подъезда; Де-Грие, генерал и Blanche стояли в стороне, не зная, что им делать. Бабушка гневно на них посмотрела, и они ушли по дороге к воксалу.

Мне предложили такой ужасный расчет, что я не решился и воротился к бабушке просить инструкций.

— Ах, разбойники! — закричала она, всплеснув руками. — Ну! Ничего! — меняй! — крикнула она решительно, — стой, позови ко мне банкира!

— Разве кого-нибудь из конторщиков, бабушка?

— Ну конторщика, всё равно. Ах, разбойники!

---

[1] Мы будем пить молоко на свежей траве *(франц.)*.
[2] «природу и истину!» *(франц.)*

Конторщик согласился выйти, узнав, что его просит к себе старая, расслабленная графиня, которая не может ходить. Бабушка долго, гневно и громко упрекала его в мошенничестве и торговалась с ним смесью русского, французского и немецкого языков, причем я помогал переводу. Серьезный конторщик посматривал на нас обоих и молча мотал головой. Бабушку осматривал он даже с слишком пристальным любопытством, что уже было невежливо; наконец он стал улыбаться.

— Ну, убирайся! — крикнула бабушка. — Подавись моими деньгами! Разменяй у него, Алексей Иванович, некогда, а то бы к другому поехать...

— Конторщик говорит, что у других еще меньше дадут.

Наверное не помню тогдашнего расчета, но он был ужасен. Я наменял до двенадцати тысяч флоринов золотом и билетами, взял расчет и вынес бабушке.

— Ну! ну! ну! Нечего считать, — замахала она руками, — скорей, скорей, скорей!

— Никогда на этот проклятый zéro не буду ставить и на красную тоже, — промолвила она, подъезжая к воксалу.

На этот раз я всеми силами старался внушить ей ставить как можно меньше, убеждая ее, что при обороте шансов всегда будет время поставить и большой куш. Но она была так нетерпелива, что хоть и соглашалась сначала, но возможности не было сдержать ее во время игры. Чуть только она начинала выигрывать ставки в десять, в двадцать фридрихсдоров, — «Ну, вот! Ну, вот! — начинала она толкать меня, — ну вот, выиграли же, — стояло бы четыре тысячи вместо десяти, мы бы четыре тысячи выиграли, а то что теперь? Это всё ты, всё ты!»

И как ни брала меня досада, глядя на ее игру, а я наконец решился молчать и не советовать больше ничего.

Вдруг подскочил Де-Грие. Они все трое были возле; я заметил, что mademoiselle Blanche стояла с маменькой в стороне и любезничала с князьком. Генерал был в явной немилости, почти в загоне. Blanche даже и смотреть на него не хотела, хоть он и юлил подле нее всеми силами. Бедный генерал! Он бледнел, краснел, трепетал и даже уж не следил за игрою бабушки. Blanche и князек наконец вышли; генерал побежал за ними.

— Madame, madame, — медовым голосом шептал бабушке Де-Грие, протеснившись к самому ее уху. — Madame, эдак ставка нейдет... нет, нет, не можно... — коверкал он по-русски, — нет!

— А как же? Ну, научи! — обратилась к нему бабушка.

Де-Грие вдруг быстро заболтал по-французски, начал советовать, суетился, говорил, что надо ждать шансу, стал рассчитывать какие-то цифры... бабушка ничего не понимала. Он беспрерывно обращался ко мне, чтоб я переводил; тыкал пальцем в стол, указывал; наконец схватил карандаш и начал было высчитывать на бумажке. Бабушка потеряла наконец терпение.

— Ну, пошел, пошел! Всё вздор мелешь! «Madame, madame», а сам и дела-то не понимает; пошел!

— Mais, madame, — защебетал Де-Грие и снова начал толкать и показывать. Очень уж его разбирало.

— Ну, поставь раз, как он говорит, — приказала мне бабушка, — посмотрим: может, и в самом деле выйдет.

Де-Грие хотел только отвлечь ее от больших кушей: он предлагал ставить на числа, поодиночке и в совокупности. Я поставил, по его указанию, по фридрихсдору на ряд нечетных чисел в первых двенадцати и по пяти фридрихсдоров на группы чисел от двенадцати до восемнадцати и от восемнадцати до двадцати четырех: всего поставили шестнадцать фридрихсдоров.

Колесо завертелось. «Zéro», — крикнул крупер. Мы всё проиграли.

— Эдакой болван! — крикнула бабушка, обращаясь к Де-Грие. — Эдакой ты мерзкий французишка! Ведь посоветует же изверг! Пошел, пошел! Ничего не понимает, а туда же суется!

Страшно обиженный Де-Грие пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошел. Ему уж самому стало стыдно, что связался; слишком уж не утерпел.

Через час, как мы ни бились, — всё проиграли.

— Домой! —крикнула бабушка.

Она не промолвила ни слова до самой аллеи. В аллее, и уже подъезжая к отелю, у ней начали вырываться восклицания:

— Экая дура! экая дурында! Старая ты, старая дурында!

Только что въехали в квартиру:

— Чаю мне! — закричала бабушка, — и сейчас собираться! Едем!

— Куда, матушка, ехать изволите? — начала было Марфа.

— А тебе какое дело? Знай сверчок свой шесток! Потапыч, собирай всё, всю поклажу. Едем назад, в Москву! Я пятнадцать тысяч целковых профершпилила!

— Пятнадцать тысяч, матушка! Боже ты мой! — крикнул было Потапыч, умилительно всплеснув руками, вероятно, предполагая услужиться.

— Ну, ну, дурак! Начал еще хныкать! Молчи! Собираться! Счет, скорее, скорей!

— Ближайший поезд отправится в девять с половиною часов, бабушка, — доложил я, чтоб остановить ее фурор.

— А теперь сколько?

— Половина восьмого.

— Экая досада! Ну всё равно! Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе еще два билета, сбегай туда, разменяй мне и эти. А то не с чем и ехать.

Я отправился. Через полчаса возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Узнав, что бабушка уезжает совсем в Москву, они были поражены, кажется, еще больше, чем ее проигрышем. Положим, отъездом спасалось ее состояние, но зато что же

теперь станется с генералом? Кто заплатит Де-Грие? Mademoiselle Blanche, разумеется, ждать не будет, пока помрет бабушка, и, наверное, улизнет теперь с князьком или с кем-нибудь другим. Они стояли перед нею, утешали ее и уговаривали. Полины опять не было. Бабушка неистово кричала на них.

— Отвяжитесь, черти! Вам что за дело? Чего эта козлиная борода ко мне лезет, — кричала она на Де-Грие, — а тебе, пигалица, чего надо? — обратилась она к mademoiselle Blanche. — Чего юлишь?

— Diantre![1] — прошептала mademoiselle Blanche, бешено сверкнув глазами, но вдруг захохотала и вышла.

— Elle vivra cent ans![2] — крикнула она, выходя из дверей, генералу.

— А, так ты на мою смерть рассчитываешь? — завопила бабушка генералу, — пошел! Выгони их всех, Алексей Иванович! Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваше!

Генерал пожал плечами, согнулся и вышел. Де-Грие за ним.

— Позвать Прасковью, — велела бабушка Марфе.

Через пять минут Марфа воротилась с Полиной. Всё это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Лицо ее было серьезно, грустно и озабочено.

— Прасковья, — начала бабушка, — правда ли, что я давеча стороной узнала, что будто бы этот дурак, отчим-то твой, хочет жениться на этой глупой вертушке француженке, — актриса, что ли, она, или того еще хуже? Говори, правда это?

— Наверное про это я не знаю, бабушка, — ответила Полина, — но по словам самой mademoiselle Blanche, которая не находит нужным скрывать, заключаю...

— Довольно! — энергически прервала бабушка, — всё понимаю! Я всегда считала, что от него это станется, и всегда считала его самым пустейшим и легкомысленным человеком. Натащил на себя форсу, что генерал (из полковников, по отставке получил), да и важничает. Я, мать моя, всё знаю, как вы телеграмму за телеграммой в Москву посылали — «скоро ли, дескать, старая бабка ноги протянет?» Наследства ждали; без денег-то его эта подлая девка, как ее — de Cominges, что ли, — и в лакеи к себе не возьмет, да еще со вставными-то зубами. У ней, говорят, у самой денег куча, на проценты дает, добром нажила. Я, Прасковья, тебя не виню; не ты телеграммы посылала; и об старом тоже поминать не хочу. Знаю, что характеришка у тебя скверный — оса! укусишь, так вспухнет, да жаль мне тебя, потому: покойницу Катерину, твою мать, я любила. Ну, хочешь? бросай всё здесь и поезжай со мною. Ведь тебе деваться-то некуда; да и неприлично тебе с ними теперь. Стой! — прервала бабушка начинавшую было отвечать Полину, — я еще не докончила. От тебя я ничего не потребую.

[1] Черт возьми! *(франц.)*
[2] Она сто лет проживет! *(франц.)*

Дом у меня в Москве, сама знаешь, — дворец, хоть целый этаж занимай и хоть по неделям ко мне не сходи, коль мой характер тебе не покажется. Ну, хочешь или нет?

— Позвольте сперва вас спросить: неужели вы сейчас ехать хотите?

— Шучу, что ли, я, матушка? Сказала и поеду. Я сегодня пятнадцать тысяч целковых просадила на растреклятой вашей рулетке. В подмосковной я, пять лет назад, дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить, да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить.

— А вóды-то, бабушка? Ведь вы приехали вóды пить?

— И, ну тебя с вóдами твоими! Не раздражай ты меня, Прасковья; нарочно, что ли, ты? Говори, едешь аль нет?

— Я вас очень, очень благодарю, бабушка, — с чувством начала Полина, — за убежище, которое вы мне предлагаете. Отчасти вы мое положение угадали. Я вам так признательна, что, поверьте, к вам приду, может быть, даже и скоро; а теперь есть причины... важные... и решиться я сейчас, сию минуту, не могу. Если бы вы остались хоть недели две...

— Значит, не хочешь?

— Значит, не могу. К тому же во всяком случае я не могу брата и сестру оставить, а так как... так как... так как действительно может случиться, что они останутся, как брошенные, то... если возьмете меня с малютками, бабушка, то, конечно, к вам поеду и, поверьте, заслужу вам это! — прибавила она с жаром, — а без детей не могу, бабушка.

— Ну, не хнычь! (Полина и не думала хныкать, да она и никогда не плакала), — и для цыплят найдется место; велик курятник. К тому же им в школу пора. Ну так не едешь теперь? Ну, Прасковья, смотри! Желала бы я тебе добра, а ведь я знаю, почему ты не едешь. Всё я знаю, Прасковья! Не доведет тебя этот французишка до добра.

Полина вспыхнула. Я так и вздрогнул. (Все знают! Один я, стало быть, ничего не знаю!)

— Ну, ну, не хмурься. Не стану размазывать. Только смотри, чтоб не было худа, понимаешь? Ты девка умная; жаль мне тебя будет. Ну, довольно, не глядела бы я на вас на всех! Ступай! прощай!

— Я, бабушка, еще провожу вас, — сказала Полина.

— Не надо; не мешай, да и надоели вы мне все. Полина поцеловала у бабушки руку, но та руку отдернула и сама поцеловала ее в щеку.

Проходя мимо меня, Полина быстро на меня поглядела и тотчас отвела глаза.

— Ну, прощай и ты, Алексей Иванович! Всего час до поезда. Да и устал ты со мною, я думаю. На, возьми себе эти пятьдесят золотых.

— Покорно благодарю вас, бабушка, мне совестно...

— Ну, ну! — крикнула бабушка, но до того энергично и грозно, что я не посмел отговариваться и принял.

— В Москве, как будешь без места бегать, — ко мне приходи; отрекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся!

Я пришел к себе в номер и лег на кровать. Я думаю, я лежал с полчаса навзничь, закинув за голову руки. Катастрофа уж разразилась, было о чем подумать. Завтра я решил настоятельно говорить с Полиной. А! французишка? Так, стало быть, правда! Но что же тут могло быть, однако? Полина и Де-Грие! Господи, какое сопоставление!

Всё это было просто невероятно. Я вдруг вскочил вне себя, чтоб идти тотчас же отыскать мистера Астлея и во что бы то ни стало заставить его говорить. Он, конечно, и тут больше меня знает. Мистер Астлей? вот еще для меня загадка!

Но вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю — Потапыч.

— Батюшка, Алексей Иванович: к барыне, требуют!

— Что та́кое? Уезжает, что ли? До поезда еще двадцать минут.

— Беспокоятся, батюшка, едва сидят. «Скорей, скорей!» — вас то есть, батюшка; ради Христа, не замедлите.

Тотчас же я сбежал вниз. Бабушку уже вывезли в коридор. В руках ее был бумажник.

— Алексей Иванович, иди вперед, пойдем!..

— Куда, бабушка?

— Жива не хочу быть, отыграюсь! Ну, марш, без расспросов! Там до полночи ведь игра идет?

Я остолбенел, подумал, но тотчас же решился.

— Воля ваша, Антонида Васильевна, не пойду.

— Это почему? Это что еще? Белены, что ли, вы все объелись!

— Воля ваша: я потом сам упрекать себя стану; не хочу! Не хочу быть ни свидетелем, ни участником; избавьте, Антонида Васильевна. Вот ваши пятьдесят фридрихсдоров назад; прощайте! — И я, положив сверток с фридрихсдорами тут же на столик, подле которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушел.

— Экой вздор! — крикнула мне вслед бабушка, — да не ходи, пожалуй, я и одна дорогу найду! Потапыч, иди со мною! Ну, подымайте, несите.

Мистера Астлея я не нашел и воротился домой. Поздно, уже в первом часу пополуночи, я узнал от Потапыча, чем кончился бабушкин день. Она всё проиграла, что ей давеча я наменял, то есть, по-нашему, еще десять тысяч рублей. К ней прикомандировался там тот самый полячок, которому она дала давеча два фридрихсдора, и всё время руководил ее в игре. Сначала, до полячка, она было заставляла ставить Потапыча, но скоро прогнала его; тут-то и подскочил полячок. Как нарочно, он понимал по-русски и даже болтал кое-как, смесью трех языков, так что они кое-как уразумели друг друга. Бабушка всё время нещадно

ругала его, и хоть тот беспрерывно «стелился под стопки паньски», но уж «куда сравнить с вами, Алексей Иванович, — рассказывал Потапыч. — С вами она *точно с барином* обращалась, а тот — так, я сам видел своими глазами, убей бог на месте, — тут же у ней со стола воровал. Она его сама раза два на столе поймала, и уж костила она его, костила всяческими-то, батюшка, словами, даже за волосенки раз отдергала, право, не лгу, так что кругом смех пошел. Всё, батюшка, проиграла; всё как есть, всё, что вы ей наменяли. Довезли мы ее, матушку, сюда — только водицы спросила испить, перекрестилась, и в постельку. Измучилась, что ли, она, тотчас заснула. Пошли бог сны ангельские! Ох, уж эта мне заграница! — заключил Потапыч, — говорил, что не к добру. И уж поскорей бы в нашу Москву! И чего-чего у нас дома нет, в Москве? Сад, цветы, каких здесь и не бывает, дух, яблоньки наливаются, простор, — нет: надо было за границу! Ох-хо-хо!..»

## *Глава XIII*

Вот уже почти целый месяц прошел, как я не притрогивался к этим заметкам моим, начатым под влиянием впечатлений, хотя и беспорядочных, но сильных. Катастрофа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступила действительно, но во сто раз круче и неожиданнее, чем я думал. Всё это было нечто странное, безобразное и даже трагическое, по крайней мере со мной. Случились со мною некоторые происшествия — почти чудесные; так по крайней мере я до сих пор гляжу на них, хотя на другой взгляд и, особенно судя по круговороту, в котором я тогда кружился, они были только что разве не совсем обыкновенные. Но чудеснее всего для меня то, как я сам отнесся ко всем этим событиям. До сих пор не понимаю себя! И всё это пролетело как сон, — даже страсть моя, а она ведь была сильна и истинна, но... куда же она теперь делась? Право: нет-нет, да мелькнет иной раз теперь в моей голове: «Уж не сошел ли я тогда с ума и не сидел ли всё это время где-нибудь в сумасшедшем доме, а может быть, и теперь сижу, — так что мне всё это *показалось* и до сих пор только *кажется*...»

Я собрал и перечел мои листки. (Кто знает, может быть, для того, чтобы убедиться, не в сумасшедшем ли доме я их писал?) Теперь я один-одинешенек. Наступает осень, желтеет лист. Сижу в этом унылом городишке (о, как унылы германские городишки!) и, вместо того чтобы обдумать предстоящий шаг, живу под влиянием только что минувших ощущений, под влиянием свежих воспоминаний, под влиянием всего этого недавнего вихря, захватившего меня тогда в этот круговорот и опять куда-то выбросившего. Мне всё кажется порой, что я всё еще кружусь в том же вихре и что вот-вот опять промчится эта буря, захватит меня мимоходом своим крылом и я выскочу опять из порядка и чувства меры и закружусь, закружусь, закружусь...

Впрочем, я, может быть, и установлюсь как-нибудь и перестану кружиться, если дам себе, по возможности, точный отчет во всем приключившемся в этот месяц. Меня тянет опять к перу; да иногда и совсем делать нечего по вечерам. Странно, для того чтобы хоть чем-нибудь заняться, я беру в здешней паршивой библиотеке для чтения романы Поль де Кока (в немецком переводе!), которых я почти терпеть не могу, но читаю их и — дивлюсь на себя: точно я боюсь серьезною книгою или каким-нибудь серьезным занятием разрушить обаяние только что минувшего. Точно уж так дороги мне этот безобразный сон и все оставшиеся по нем впечатления, что я даже боюсь дотронуться до него чем-нибудь новым, чтобы он не разлетелся в дым! Дорого мне это всё так, что ли? Да, конечно, дорого; может, и через сорок лет вспоминать буду...

Итак, принимаюсь писать. Впрочем, всё это можно рассказать теперь отчасти и покороче: впечатления совсем не те...

Во-первых, чтоб кончить с бабушкой. На другой день она проигралась вся окончательно. Так и должно было случиться: кто раз, из таких, попадается на эту дорогу, тот — точно с снеговой горы в санках катится, всё быстрее и быстрее. Она играла весь день до восьми часов вечера; я при ее игре не присутствовал и знаю только по рассказам.

Потапыч продежурил при ней в воксале целый день. Полячки́, руководившие бабушку, сменялись в этот день несколько раз. Она начала с того, что прогнала вчерашнего полячка, которого она драла за волосы, и взяла другого, но другой оказался почти что еще хуже. Прогнав этого и взяв опять первого, который не уходил и толкался во всё это время изгнания тут же, за ее креслами, поминутно просовывая к ней свою голову, — она впала наконец в решительное отчаяние. Прогнанный второй полячок тоже ни за что не хотел уйти; один поместился с правой стороны, а другой с левой. Всё время они спорили и ругались друг с другом за ставки и ходы, обзывали друг друга «ла́йдаками» и прочими польскими любезностями, потом опять мирились, кидали деньги без всякого порядка, распоряжались зря. Поссорившись, они ставили каждый с своей стороны, один, например, на красную, а другой тут же на черную. Кончилось тем, что они совсем закружили и сбили бабушку с толку, так что она наконец чуть не со слезами обратилась к старичку круперу с просьбою защитить ее, чтоб он их прогнал. Их действительно тотчас же прогнали, несмотря на их крики и протесты: они кричали оба разом и доказывали, что бабушка им же должна, что она их в чем-то обманула, поступила с ними бесчестно, подло. Несчастный Потапыч рассказывал мне всё это со слезами в тот самый вечер, после проигрыша, и жаловался, что они набивали свои карманы деньгами, что он сам видел, как они бессовестно воровали и поминутно совали себе в кар-

маны. Выпросит, например, у бабушки за труды пять фридрихсдоров и начнет их тут же ставить на рулетке, рядом с бабушкиными ставками. Бабушка выиграет, а он кричит, что это его ставка выиграла, а бабушка проиграла. Когда их прогоняли, то Потапыч выступил и донес, что у них полны карманы золота. Бабушка́ тотчас же попросила крупера распорядиться, и как оба полячка ни кричали (точно два пойманные в руки петуха), но явилась полиция и тотчас карманы их были опустошены в пользу бабушки. Бабушка, пока не проигралась, пользовалась во весь этот день у круперов и у всего воксального начальства видимым авторитетом. Мало-помалу известность ее распространялась по всему городу. Все посетители вод, всех наций, обыкновенные и самые знатные, стекались посмотреть на «une vieille comtesse russe, tombée en enfance», которая уже проиграла «несколько миллионов».

Но бабушка очень, очень мало выиграла от того, что избавили ее от двух полячишек. Взамен их тотчас же к услугам ее явился третий поляк, уже совершенно чисто говоривший по-русски, одетый джентльменом, хотя все-таки смахивавший на лакея, с огромными усами и с гонором. Он тоже целовал «стопки паньски» и «стелился под стопки паньски», но относительно окружающих вел себя заносчиво, распоряжался деспотически — словом, сразу поставил себя не слугою, а хозяином бабушки. Поминутно с каждым ходом обращался он к ней и клялся ужаснейшими клятвами, что он сам «гоноровый» пан и что он не возьмет ни единой копейки из денег бабушки. Он так часто повторял эти клятвы, что та окончательно струсила. Но так как этот пан действительно вначале как будто поправил ее игру и стал было выигрывать, то бабушка и сама уже не могла от него отстать. Час спустя оба прежние полячишки, выведенные из воксала, появились снова за стулом бабушки, опять с предложением услуг, хоть на посылки. Потапыч божился, что «гоноровый пан» с ними перемигивался и даже что-то им передавал в руки. Так как бабушка не обедала и почти не сходила с кресел, то и действительно один из полячков пригодился: сбегал тут же рядом в обеденную залу воксала и достал ей чашку бульона, а потом и чаю. Они бегали, впрочем, оба. Но к концу дня, когда уже всем видно стало, что она проигрывает свой последний банковый билет, за стулом ее стояло уже до шести полячков, прежде невиданных и неслыханных. Когда же бабушка проигрывала уже последние монеты, то все они не только ее уж не слушались, но даже и не замечали, лезли прямо чрез нее к столу, сами хватали деньги, сами распоряжались и ставили, спорили и кричали, переговариваясь с гоноровым паном за панибрата, а гоноровый пан чуть ли даже и не забыл о существовании бабушки. Даже тогда, когда бабушка, совсем всё проигравшая, возвращалась вечером в восемь часов в отель, то и тут три или четыре полячка всё еще не решались ее оставить и бежали около кресел, по сторонам, крича из всех сил и уверяя скорого-

воркою, что бабушка их в чем-то надула и должна им что-то отдать. Так дошли до самого отеля, откуда их наконец прогнали в толчки.

По расчету Потапыча, бабушка проиграла всего в этот день до девяноста тысяч рублей, кроме проигранных ею вчера денег. Все свои билеты — пятипроцентные, внутренних займов, все акции, бывшие с нею, она разменяла один за другим и одну за другой. Я подивился было, как она выдержала все эти семь или восемь часов, сидя в креслах и почти не отходя от стола, но Потапыч рассказывал, что раза три она действительно начинала сильно выигрывать; а увлеченная вновь надеждою, она уж и не могла отойти. Впрочем, игроки знают, как можно человеку просидеть чуть не сутки на одном месте за картами, не спуская глаз с правой и с левой.

Между тем во весь этот день у нас в отеле происходили тоже весьма решительные вещи. Еще утром, до одиннадцати часов, когда бабушка еще была дома, наши, то есть генерал и Де-Грие, решились было на последний шаг. Узнав, что бабушка и не думает уезжать, а, напротив, отправляется опять в воксал, они во всем конклаве (кроме Полины) пришли к ней переговорить с нею окончательно и даже *откровенно*. Генерал, трепетавший и замиравший душою ввиду ужасных для него последствий, даже пересолил: после получасовых молений и просьб, и даже откровенно признавшись во всем, то есть во всех долгах, и даже в своей страсти к mademoiselle Blanche (он совсем потерялся), генерал вдруг принял грозный тон и стал даже кричать и топать ногами на бабушку; кричал, что она срамит их фамилию, стала скандалом всего города, и, наконец... наконец: «Вы срамите русское имя, сударыня! — кричал генерал, — и что на то есть полиция!» Бабушка прогнала его наконец палкой (настоящей палкой). Генерал и Де-Грие совещались еще раз или два в это утро, и именно их занимало: нельзя ли, в самом деле, как-нибудь употребить полицию? Что вот, дескать, несчастная, но почтенная старушка выжила из ума, проигрывает последние деньги и т. д. Одним словом, нельзя ли выхлопотать какой-нибудь надзор или запрещение?.. Но Де-Грие только пожимал плечами и в глаза смеялся над генералом, уже совершенно заболтавшимся и бегавшим взад и вперед по кабинету. Наконец Де-Грие махнул рукою и куда-то скрылся. Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорив наперед весьма решительно и таинственно с mademoiselle Blanche. Что же касается до mademoiselle Blanche, то она с самого еще утра приняла окончательные меры: она совсем отшвырнула от себя генерала и даже не пускала его к себе на глаза. Когда генерал побежал за нею в воксал и встретил ее под руку с князьком, то ни она, ни madame veuve Cominges его не узнали. Князек тоже ему не поклонился. Весь этот день mademoiselle Blanche пробовала и обработывала князя, чтоб он высказался наконец решительно. Но увы! Она жестоко обманулась в расчетах на князя! Эта маленькая ката-

строфа произошла уже вечером; вдруг открылось, что князь гол как сокол, и еще на нее же рассчитывал, чтобы занять у нее денег под вексель и поиграть на рулетке. Blanche с негодованием его выгнала и заперлась в своем номере.

Поутру в этот же день я ходил к мистеру Астлею или, лучше сказать, всё утро отыскивал мистера Астлея, но никак не мог отыскать его. Ни дома, ни в воксале или в парке его не было. В отеле своем он на этот раз не обедал. В пятом часу я вдруг увидел его идущего от дебаркадера железной дороги прямо в отель d'Angleterre. Он торопился и был очень озабочен, хотя и трудно различить заботу или какое бы то ни было замешательство в его лице. Он радушно протянул мне руку, с своим обычным восклицанием: «А!», но не останавливаясь на дороге и продолжая довольно спешным шагом путь. Я увязался за ним; но как-то он так сумел отвечать мне, что я ни о чем не успел и спросить его. К тому же мне было почему-то ужасно совестно заговаривать о Полине; он же сам ни слова о ней не спросил. Я рассказал ему про бабушку; он выслушал внимательно и серьезно и пожал плечами.

— Она всё проиграет, — заметил я.

— О да, — отвечал он, — ведь она пошла играть еще давеча, когда я уезжал, а потому я наверно и знал, что она проиграется. Если будет время, я зайду в воксал посмотреть, потому что это любопытно...

— Куда вы уезжали? — вскричал я, изумившись, что до сих пор не спросил.

— Я был во Франкфурте.

— По делам?

— Да, по делам.

Ну что же мне было спрашивать дальше? Впрочем, я всё еще шел подле него, но он вдруг повернул в стоявший на дороге отель «De quatre saisons»,[1] кивнул мне головой и скрылся. Возвращаясь домой, я мало-помалу догадался, что если бы я и два часа с ним проговорил, то решительно бы ничего не узнал, потому... что мне не о чем было его спрашивать! Да, конечно, так! Я никаким образом не мог бы теперь формулировать моего вопроса.

Весь этот день Полина то гуляла с детьми и нянюшкой в парке, то сидела дома. Генерала она давно уже избегала и почти ничего с ним не говорила, по крайней мере о чем-нибудь серьезном. Я это давно заметил. Но зная, в каком генерал положении сегодня, я подумал, что он не мог миновать ее, то есть между ними не могло не быть каких-нибудь важных семейных объяснений. Однако ж, когда я, возвращаясь в отель после разговора с мистером Астлеем, встретил Полину с детьми, то на ее лице отражалось самое безмятежное спокойствие, как будто все семейные бури миновали только одну ее. На мой поклон она кивнула мне головой. Я пришел к себе совсем злой.

[1] «Четырех времен года» *(франц.)*.

Конечно, я избегал говорить с нею и ни разу с нею не сходился после происшествия с Вурмергельмами. При этом я отчасти форсил и ломался; но чем дальше шло время, тем всё более и более накипало во мне настоящее негодование. Если бы даже она и не любила меня нисколько, все-таки нельзя бы, кажется, так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания. Ведь она знает же, что я взаправду люблю ее; ведь она сама допускала, позволяла мне так говорить с нею! Правда, это как-то странно началось у нас. Некоторое время, давно уж, месяца два назад, я стал замечать, что она хочет сделать меня своим другом, поверенным, и даже отчасти уж и пробует. Но это почему-то не пошло у нас тогда в ход; вот взамен того и остались странные теперешние отношения; оттого-то и стал я так говорить с нею. Но если ей противна моя любовь, зачем прямо не запретить мне говорить о ней?

Мне не запрещают; даже сама она вызывала иной раз меня на разговор и... конечно, делала это на смех. Я знаю наверное, я это твердо заметил, — ей было приятно, выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня огорошить какою-нибудь выходкою величайшего презрения и невнимания. И ведь знает же она, что я без нее жить не могу. Вот теперь три дня прошло после истории с бароном, а я уже не могу выносить нашей *разлуки*. Когда я ее встретил сейчас у воксала, у меня забилось сердце так, что я побледнел. Но ведь и она же без меня не проживет! Я ей нужен и — неужели, неужели только как шут Балакирев?

У ней тайна — это ясно! Разговор ее с бабушкой больно уколол мое сердце. Ведь я тысячу раз вызывал ее быть со мною откровенной, и ведь она знала, что я действительно готов за нее голову мою положить. Но она всегда отделывалась чуть не презрением или вместо жертвы жизнью, которую я предлагал ей, требовала от меня таких выходок, как тогда с бароном! Разве это не возмутительно? Неужели весь мир для нее в этом французе? А мистер Астлей? Но тут уже дело становилось решительно непонятным, а между тем — боже, как я мучился!

Придя домой, в порыве бешенства, я схватил перо и настрочил ей следующее:

«Полина Александровна, я вижу ясно, что пришла развязка, которая заденет, конечно, и вас. Последний раз повторяю: нужна или нет вам моя голова? Если буду нужен, хоть *на что-нибудь*, — располагайте, а я покамест сижу в своей комнате, по крайней мере большею частью, и никуда не уеду. Надо будет, — то напишите иль позовите».

Я запечатал и отправил эту записку с коридорным лакеем, с приказанием отдать прямо в руки. Ответа я не ждал, но через три минуты лакей воротился с известием, что «приказали кланяться».

Часу в седьмом меня позвали к генералу.

Он был в кабинете, одет как бы собираясь куда-то идти. Шляпа и палка лежали на диване. Мне показалось входя, что он стоял

среди комнаты, расставив ноги, опустя голову, и что-то говорил вслух сам с собой. Но только что он завидел меня, как бросился ко мне чуть не с криком, так что я невольно отшатнулся и хотел было убежать; но он схватил меня за обе руки и потащил к дивану; сам сел на диван, меня посадил прямо против себя в кресла и, не выпуская моих рук, с дрожащими губами, со слезами, заблиставшими вдруг на его ресницах, умоляющим голосом проговорил:

— Алексей Иванович, спасите, спасите, пощадите!

Я долго не мог ничего понять; он всё говорил, говорил, говорил и всё повторял: «Пощадите, пощадите!» Наконец я догадался, что он ожидает от меня чего-то вроде совета; или, лучше сказать, всеми оставленный, в тоске и тревоге, он вспомнил обо мне и позвал меня, чтоб только говорить, говорить, говорить.

Он помешался, по крайней мере в высшей степени потерялся. Он складывал руки и готов был броситься предо мной на колени, чтобы (как вы думаете?) — чтоб я сейчас же шел к mademoiselle Blanche и упросил, усовестил ее воротиться к нему и выйти за него замуж.

— Помилуйте, генерал, — вскричал я, — да mademoiselle Blanche, может быть, еще и не заметила меня до сих пор? Что могу я сделать?

Но напрасно было и возражать: он не понимал, что ему говорят. Пускался он говорить и о бабушке, но только ужасно бессвязно; он всё еще стоял на мысли послать за полициею.

— У нас, у нас, — начинал он, вдруг вскипая негодованием, — одним словом, у нас, в благоустроенном государстве, где есть начальство, над такими старухами тотчас бы опеку устроили! Да-с, милостивый государь, да-с, — продолжал он, вдруг впадая в распекательный тон, вскочив с места и расхаживая по комнате; — вы еще не знали этого, милостивый государь, — обратился он к какому-то воображаемому милостивому государю в угол, — так вот и узнаете... да-с... у нас эдаких старух в дугу гнут, в дугу, в дугу-с, да-с... о, черт возьми!

И он бросался опять на диван, а чрез минуту, чуть не всхлипывая, задыхаясь, спешил рассказать мне, что mademoiselle Blanche оттого ведь за него не выходит, что вместо телеграммы приехала бабушка и что теперь уже ясно, что он не получит наследства. Ему казалось, что ничего еще этого я не знаю. Я было заговорил о Де-Грие; он махнул рукою:

— Уехал! у него всё мое в закладе; я гол как сокол! Те деньги, которые вы привезли... те деньги, — я не знаю, сколько там, кажется франков семьсот осталось, и — довольно-с, вот и всё, а дальше — не знаю-с, не знаю-с!..

— Как же вы в отеле расплатитесь? — вскричал я в испуге, — и... потом что же?

Он задумчиво посмотрел, но, кажется, ничего не понял и даже, может быть, не расслышал меня. Я попробовал было заговорить о Полине Александровне, о детях; он наскоро отвечал:

— Да! да! — но тотчас же опять пускался говорить о князе, о том, что теперь уедет с ним Blanche и тогда... и тогда — что же мне делать, Алексей Иванович? — обращался он вдруг ко мне. — Клянусь богом! Что же мне делать, — скажите, ведь это неблагодарность! Ведь это же неблагодарность?

Наконец он залился в три ручья слезами.

Нечего было делать с таким человеком; оставить его одного тоже было опасно; пожалуй, могло с ним что-нибудь приключиться. Я, впрочем, от него кое-как избавился, но дал знать нянюшке, чтоб та наведывалась почаще, да, кроме того, поговорил с коридорным лакеем, очень толковым малым; тот обещался мне тоже с своей стороны присматривать.

Едва только оставил я генерала, как явился ко мне Потапыч с зовом к бабушке. Было восемь часов, и она только что воротилась из воксала после окончательного проигрыша. Я отправился к ней: старуха сидела в креслах, совсем измученная и видимо больная. Марфа подавала ей чашку чая, которую почти насильно заставила ее выпить. И голос и тон бабушки ярко изменились.

— Здравствуйте, батюшка Алексей Иванович, — сказала она медленно и важно склоняя голову, — извините, что еще раз побеспокоила, простите старому человеку. Я, отец мой, всё там оставила, почти сто тысяч рублей. Прав ты был, что вчера не пошел со мною. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты, в девять с половиною и поеду. Послала я к этому твоему англичанину, Астлею, что ли, и хочу у него спросить три тысячи франков на неделю. Так убеди ты его, чтоб он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я еще, отец мой, довольно богата. У меня три деревни и два дома есть. Да и денег еще найдется, не все с собой взяла. Для того я это говорю, чтоб не усомнился он как-нибудь... А, да вот и он! Видно хорошего человека.

Мистер Астлей поспешил по первому зову бабушки. Нимало не думая и много не говоря, он тотчас же отсчитал ей три тысячи франков под вексель, который бабушка и подписала. Кончив дело, он откланялся и поспешил выйти.

— А теперь ступай и ты, Алексей Иванович. Осталось час с небольшим — хочу прилечь, кости болят. Не взыщи на мне, старой дуре. Теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии, да и того несчастного, генерала-то вашего, тоже грешно мне теперь обвинять. Денег я ему все-таки не дам, как он хочет, потому — уж совсем он, на мой взгляд, глупехонек, только и я, старая дура, не умнее его. Подлинно, бог и на старости взыщет и накажет гордыню. Ну, прощай. Марфуша, подыми меня.

Я, однако, желал проводить бабушку. Кроме того, я был в каком-то ожидании, я всё ждал, что вот-вот сейчас что-то случится. Мне не сиделось у себя. Я выходил в коридор, даже на минутку вышел побродить по аллее. Письмо мое к ней было ясно и решительно, а теперешняя катастрофа — уж, конечно, окончательная. В отеле я услышал об отъезде Де-Грие. Наконец, если

она меня и отвергнет, как друга, то, может быть, как слугу не отвергнет. Ведь нужен же я ей хоть на посылки; да пригожусь, как же иначе!

Ко времени поезда я сбегал на дебаркадер и усадил бабушку. Они все уселись в особый семейный вагон. «Спасибо тебе, батюшка, за твое бескорыстное участие, — простилась она со мною, — да передай Прасковье то, о чем я вчера ей говорила, — я ее буду ждать».

Я пошел домой. Проходя мимо генеральского номера, я встретил нянюшку и осведомился о генерале. «И, батюшка, ничего», — отвечала та уныло. Я, однако, зашел, но в дверях кабинета остановился в решительном изумлении. Mademoiselle Blanche и генерал хохотали о чем-то взапуски. Veuve Cominges сидела тут же на диване. Генерал был, видимо, без ума от радости, лепетал всякую бессмыслицу и заливался нервным длинным смехом, от которого всё лицо его складывалось в бесчисленное множество морщинок и куда-то прятались глаза. После я узнал от самой же Blanche, что она, прогнав князя и узнав о плаче генерала, вздумала его утешить и зашла к нему на минутку. Но не знал бедный генерал, что в эту минуту участь его была решена и что Blanche уже начала укладываться, чтоб завтра же, с первым утренним поездом, лететь в Париж.

Постояв на пороге генеральского кабинета, я раздумал входить и вышел незамеченный. Поднявшись к себе и отворив дверь, я в полутемноте заметил вдруг какую-то фигуру, сидевшую на стуле, в углу, у окна. Она не поднялась при моем появлении. Я быстро подошел, посмотрел и — дух у меня захватило: это была Полина!

## *Глава XIV*

Я так и вскрикнул.

— Что же? Что же? — странно спрашивала она. Она была бледна и смотрела мрачно.

— Как что же? Вы? здесь, у меня!

— Если я прихожу, то уж *вся* прихожу. Это моя привычка. Вы сейчас это увидите; зажгите свечу.

Я зажег свечку. Она встала, подошла к столу и положила предо мной распечатанное письмо.

— Прочтите, — велела она.

— Это, — это рука Де-Грие! — вскричал я, схватив письмо. Руки у меня тряслись, и строчки прыгали пред глазами. Я забыл точные выражения письма, но вот оно — хоть не слово в слово, так, по крайней мере, мысль в мысль.

«Mademoiselle, — писал Де-Грие, — неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно. Вы, конечно, сами заметили, что я нарочно избегал окончательного объяснения с вами до тех пор, пока не разъяснились все обстоятельства. Приезд старой (de la vieille dame) вашей родственницы и нелепый ее по-

ступок покончили все мои недоумения. Мои собственные расстроенные дела запрещают мне окончательно питать дальнейшие сладостные надежды, которыми я позволял себе упиваться некоторое время. Сожалею о прошедшем, но надеюсь, что в поведении моем вы не отыщете ничего, что недостойно жантилома и честного человека (gentilhomme et honnête homme [1]). Потеряв почти все мои деньги в долгах на отчиме вашем, я нахожусь в крайней необходимости воспользоваться тем, что мне остается: я уже дал знать в Петербург моим друзьям, чтоб немедленно распорядились продажею заложенного мне имущества; зная, однако же, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему пятьдесят тысяч франков и на эту сумму возвращаю ему часть закладных на его имущество, так что вы поставлены теперь в возможность воротить всё, что потеряли, потребовав с него имение судебным порядком. Надеюсь, mademoiselle, что при теперешнем состоянии дел мой поступок будет для вас весьма выгоден. Надеюсь тоже, что этим поступком я вполне исполняю обязанность человека честного и благородного. Будьте уверены, что память о вас запечатлена навеки в моем сердце».

— Что же, это всё ясно, — сказал я, обращаясь к Полине, — неужели вы могли ожидать чего-нибудь другого, — прибавил я с негодованием.

— Я ничего не ожидала, — отвечала она, по-видимому спокойно, но что-то как бы вздрагивало в ее голосе; — я давно всё порешила; я читала его мысли и узнала, что он думает. Он думал, что я ищу... что я буду настаивать... (Она остановилась и, не договорив, закусила губу и замолчала.) Я нарочно удвоила мое к нему презрение, — начала она опять, — я ждала, что от него будет? Если б пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему долг этого идиота (отчима) и прогнала его! Он мне был давно, давно ненавистен. О, это был не тот человек прежде, тысячу раз не тот, а теперь, а теперь!.. О, с каким бы счастием я бросила ему теперь, в его подлое лицо, эти пятьдесят тысяч и плюнула бы... и растерла бы плевок!

— Но бумага, — эта возвращенная им закладная на пятьдесят тысяч, ведь она у генерала? Возьмите и отдайте Де-Грие.

— О, не то! Не то!..

— Да, правда, правда, не то! Да и к чему генерал теперь способен? А бабушка? — вдруг вскричал я.

Полина как-то рассеянно и нетерпеливо на меня посмотрела.

— Зачем бабушка? — с досадой проговорила Полина, — я не могу идти к ней... Да и ни у кого не хочу прощения просить, — прибавила она раздражительно.

— Что же делать! — вскричал я, — и как, ну как это вы могли любить Де-Грие! О, подлец, подлец! Ну, хотите, я его убью на дуэли! Где он теперь?

---

[1] дворянина и порядочного человека *(франц.)*.

— Он во Франкфурте и проживет там три дня.

— Одно ваше слово, и я еду, завтра же, с первым поездом! — проговорил я в каком-то глупом энтузиазме.

Она засмеялась.

— Что же, он скажет еще, пожалуй: сначала возвратите пятьдесят тысяч франков. Да и за что ему драться?.. Какой это вздор!

— Ну так где же, где же взять эти пятьдесят тысяч франков, — повторил я, скрежеща зубами, — точно так и возможно было вдруг их поднять на полу. — Послушайте: мистер Астлей? — спросил я, обращаясь к ней с началом какой-то странной идеи.

У ней глаза засверкали.

— Что же, разве *ты сам* хочешь, чтоб я от тебя ушла к этому англичанину? — проговорила она, пронзающим взглядом смотря мне в лицо и горько улыбаясь. Первый раз в жизни сказала она мне *ты*.

Кажется, у ней в эту минуту закружилась голова от волнения, и вдруг она села на диван, как бы в изнеможении.

Точно молния опалила меня; я стоял и не верил глазам, не верил ушам! Что же, стало быть, она меня любит! Она пришла *ко мне*, а не к мистеру Астлею! Она, одна, девушка, пришла ко мне в комнату, в отели, — стало быть, компрометировала себя всенародно, — и я, я стою перед ней и еще не понимаю!

Одна дикая мысль блеснула в моей голове.

— Полина! Дай мне только один час! Подожди здесь только час и... я вернусь! Это... это необходимо! Увидишь! Будь здесь, будь здесь!

И я выбежал из комнаты, не отвечая на ее удивленный вопросительный взгляд; она крикнула мне что-то вслед, но я не воротился.

Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль, до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь наконец за что-то осуществимое... Мало того: если идея соединяется с сильным, страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее наконец за нечто фатальное, необходимое, предназначенное, за нечто такое, что уже не может не быть и не случиться! Может быть, тут есть еще что-нибудь, какая-нибудь комбинация предчувствий, какое-нибудь необыкновенное усилие воли, самоотравление собственной фантазией или еще что-нибудь — не знаю; но со мною в этот вечер (который я никогда в жизни не позабуду) случилось происшествие чудесное. Оно хоть и совершенно оправдывается арифметикою, но тем не менее — для меня еще до сих пор чудесное. И почему, почему эта уверенность так глубоко, крепко засела тогда во мне, и уже с таких давних пор? Уж, верно, я помышлял об этом, — повторяю вам, — не как о случае, который может быть в числе прочих (а стало быть, может и не быть), но как о чем-то таком, что никак уж не может не случиться!

Было четверть одиннадцатого; я вошел в воксал в такой твердой надежде и в то же время в таком волнении, какого я еще ни-

когда не испытывал. В игорных залах народу было еще довольно, хоть вдвое менее утрешнего.

В одиннадцатом часу у игорных столов остаются настоящие, отчаянные игроки, для которых на водах существует только одна рулетка, которые и приехали для нее одной, которые плохо замечают, что вокруг них происходит, и ничем не интересуются во весь сезон, а только играют с утра до ночи и готовы были бы играть, пожалуй, и всю ночь до рассвета, если б можно было. И всегда они с досадой расходятся, когда в двенадцать часов закрывают рулетку. И когда старший крупер перед закрытием рулетки, около двенадцати часов, возглашает: «Les trois derniers coups, messieurs!»,[1] то они готовы проставить иногда на этих трех последних ударах всё, что у них есть в кармане, — и действительно тут-то наиболее и проигрываются. Я прошел к тому самому столу, где давеча сидела бабушка. Было не очень тесно, так что я очень скоро занял место у стола стоя. Прямо предо мной, на зеленом сукне, начерчено было слово: «Passe». «*Passe*» — это ряд цифр от девятнадцати включительно до тридцати шести. Первый же ряд, от первого до восемнадцати включительно, называется «*Manque*»: но какое мне было до этого дело? Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лег последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои двадцать фридрихсдоров и бросил на бывший предо мною «passe».

— Vingt deux![2] — закричал крупер.

Я выиграл — и опять поставил всё: и прежнее, и выигрыш.

— Trente et un,[3] — прокричал крупер. Опять выигрыш! Всего уж, стало быть, у меня восемьдесят фридрихсдоров! Я двинул все восемьдесят на двенадцать средних цифр (тройной выигрыш, но два шанса против себя) — колесо завертелось, и вышло двадцать четыре. Мне выложили три свертка по пятидесяти фридрихсдоров и десять золотых монет; всего, с прежним, очутилось у меня двести фридрихсдоров.

Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную — и вдруг опомнился! И только раз во весь этот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал: что́ для меня теперь значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь!

— Rouge! — крикнул крупер, — и я перевел дух, огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною расплатились банковыми билетами; стало быть, всего уж четыре тысячи флоринов и восемьдесят фридрихсдоров! (Я еще мог следить тогда за счетом.)

Затем, помнится, я поставил две тысячи флоринов опять на двенадцать средних и проиграл; поставил мое золото и восемьде-

---

[1] Три последних игры (букв.: удара), господа! *(франц.)*
[2] Двадцать два! *(франц.)*.
[3] Тридцать один *(франц.)*.

сят фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною: я схватил последние оставшиеся мне две тысячи флоринов и поставил на двенадцать первых — так, на авось, зря, без расчета! Впрочем, было одно мгновение ожидания, похожее, может быть, впечатлением на впечатление, испытанное madame Blanchard, когда она, в Париже, летела с воздушного шара на землю.

— Quatre![1] — крикнул крупер. Всего, с прежнею ставкою, опять очутилось шесть тысяч флоринов. Я уже смотрел как победитель, я уже ничего, ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на черную. Человек девять бросилось, вслед за мною, тоже ставить на черную. Круперы переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали.

Вышла черная. Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, тысяч шестнадцать флоринов; вдруг, тремя несчастными ударами, спустил из них двенадцать; потом двинул последние четыре тысячи на «passe» (но уж почти ничего не ощущал при этом; я только ждал, как-то механически, без мысли) — и опять выиграл; затем выиграл еще четыре раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами; запоминаю я тоже, что чаще всех выходили двенадцать средних, к которым я и привязался. Они появлялись как-то регулярно — непременно раза три, четыре сряду, потом исчезали на два раза и потом возвращались опять раза на три или на четыре кряду. Эта удивительная регулярность встречается иногда полосами — и вот это-то и сбивает с толку записных игроков, рассчитывающих с карандашом в руках. И какие здесь случаются иногда ужасные насмешки судьбы!

Я думаю, с моего прибытия времени прошло не более получаса. Вдруг крупер уведомил меня, что я выиграл тридцать тысяч флоринов, а так как банк за один раз больше не отвечает, то, стало быть, рулетку закроют до завтрашнего утра. Я схватил всё мое золото, ссыпал его в карманы, схватил все билеты и тотчас перешел на другой стол, в другую залу, где была другая рулетка; за мною хлынула вся толпа; там тотчас же очистили мне место, и я пустился ставить опять, зря и не считая. Не понимаю, что меня спасло!

Иногда, впрочем, начинал мелькать в голове моей расчет. Я привязывался к иным цифрам и шансам, но скоро оставлял их и ставил опять, почти без сознания. Должно быть, я был очень рассеян; помню, что круперы несколько раз поправляли мою игру. Я делал грубые ошибки. Виски мои были смочены потом и руки дрожали. Подскакивали было и полячки́ с услугами, но я никого не слушал. Счастье не прерывалось! Вдруг кругом поднялся громкий говор и смех. «Браво, браво!» — кричали все, иные даже захлопали в ладоши. Я сорвал и тут тридцать тысяч флоринов, и банк опять закрыли до завтра!

---

[1] Четыре! *(франц.)*

— Уходите, уходите, — шептал мне чей-то голос справа. Это был какой-то франкфуртский жид; он всё время стоял подле меня и, кажется, помогал мне иногда в игре.

— Ради бога уходите, — прошептал другой голос над левым моим ухом. Я мельком взглянул. Это была весьма скромно и прилично одетая дама, лет под тридцать, с каким-то болезненно бледным, усталым лицом, но напоминавшим и теперь ее чудную прежнюю красоту. В эту минуту я набивал карманы билетами, которые так и комкал, и собирал оставшееся на столе золото. Захватив последний сверток в пятьдесят фридрихсдоров, я успел, совсем неприметно, сунуть его в руку бледной даме; мне это ужасно захотелось тогда сделать, и тоненькие, худенькие ее пальчики, помню, крепко сжали мою руку в знак живейшей благодарности. Всё это произошло в одно мгновение.

Собрав всё, я быстро перешел на trente et quarante.

За trente et quarante сидит публика аристократическая. Это не рулетка, это карты. Тут банк отвечает за сто тысяч талеров разом. Наибольшая ставка тоже четыре тысячи флоринов. Я совершенно не знал игры и не знал почти ни одной ставки, кроме красной и черной, которые тут тоже были. К ним-то я и привязался. Весь воксал столпился кругом. Не помню, вздумал ли я в это время хоть раз о Полине. Я тогда ощущал какое-то непреодолимое наслаждение хватать и загребать банковые билеты, нараставшие кучею предо мной.

Действительно, точно судьба толкала меня. На этот раз, как нарочно, случилось одно обстоятельство, довольно, впрочем, часто повторяющееся в игре. Привяжется счастие, например, к красной и не оставляет ее раз десять, даже пятнадцать сряду. Я слышал еще третьего дня, что красная, на прошлой неделе, вышла двадцать два раза сряду; этого даже и не запомнят на рулетке и рассказывали с удивлением. Разумеется, все тотчас же оставляют красную и уже после десяти раз, например, почти никто не решается на нее ставить. Но и на черную, противоположную красной, не ставит тогда никто из опытных игроков. Опытный игрок знает, что значит это «своенравие случая». Например, казалось бы, что после шестнадцати раз красной семнадцатый удар непременно ляжет на черную. На это бросаются новички толпами, удвоивают и утроивают куши, и страшно проигрываются.

Но я, по какому-то странному своенравию, заметив, что красная вышла семь раз сряду, нарочно к ней привязался. Я убежден, что тут наполовину было самолюбия; мне хотелось удивить зрителей безумным риском, и — о странное ощущение — я помню отчетливо, что мною вдруг действительно без всякого вызова самолюбия овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений еще, и всё сильней и сильней, до окончательного утомления. И, право не лгу, если б устав игры позволял поставить пятьдесят тысяч флоринов разом, я бы поставил их

наверно. Кругом кричали, что это безумно, что красная уже выходит четырнадцатый раз!

— Monsieur a gagné déjà cent mille florins,[1] — раздался подле меня чей-то голос.

Я вдруг очнулся. Как? я выиграл в этот вечер сто тысяч флоринов! Да к чему же мне больше? Я бросился на билеты, скомкал их в карман, не считая, загреб всё мое золото, все свертки и побежал из воксала. Кругом все смеялись, когда я проходил по залам, глядя на мои оттопыренные карманы и на неровную походку от тяжести золота. Я думаю, его было гораздо более полупуда. Несколько рук протянулось ко мне; я раздавал горстями, сколько захватывалось. Два жида остановили меня у выхода.

— Вы смелы! вы очень смелы! — сказали они мне, — но уезжайте завтра утром непременно, как можно раньше, не то вы всё-всё проиграете...

Я их не слушал. Аллея была темна, так что руки своей нельзя было различить. До отеля было с полверсты. Я никогда не боялся ни воров, ни разбойников, даже маленький; не думал о них и теперь. Я, впрочем, не помню, о чем я думал дорогою; мысли не было. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества — не знаю, как выразиться. Мелькал предо мною и образ Полины; я помнил и сознавал, что иду к ней, сейчас с ней сойдусь и буду ей рассказывать, покажу... но я уже едва вспомнил о том, что она мне давеча говорила, и зачем я пошел, и все те недавние ощущения, бывшие всего полтора часа назад, казались мне уж теперь чем-то давно прошедшим, исправленным, устаревшим — о чем мы уже не будем более поминать, потому что теперь начнется всё сызнова. Почти уж в конце аллеи вдруг страх напал на меня: «Что, если меня сейчас убьют и ограбят?» С каждым шагом мой страх возрастал вдвое. Я почти бежал. Вдруг в конце аллеи разом блеснул весь наш отель, освещенный бесчисленными огнями, — слава богу: дома!

Я добежал в свой этаж и быстро растворил дверь. Полина была тут и сидела на моем диване, перед зажженною свечою, скрестя руки. С изумлением она на меня посмотрела, и, уж конечно, в эту минуту я был довольно странен на вид. Я остановился пред нею и стал выбрасывать на стол всю мою груду денег.

## *Глава XV*

Помню, она ужасно пристально смотрела в мое лицо, но не трогаясь с места, не изменяя даже своего положения.

— Я выиграл двести тысяч франков, — вскричал я, выбрасывая последний сверток. Огромная груда билетов и свертков золота заняла весь стол, я не мог уж отвести от нее моих глаз;

[1] Господин выиграл уже сто тысяч флоринов *(франц.)*.

минутами я совсем забывал о Полине. То начинал я приводить в порядок эти кучи банковых билетов, складывал их вместе, то откладывал в одну общую кучу золото; то бросал всё и пускался быстрыми шагами ходить по комнате, задумывался, потом вдруг опять подходил к столу, опять начинал считать деньги. Вдруг, точно опомнившись, я бросился к дверям и поскорее запер их, два раза обернув ключ. Потом остановился в раздумье пред маленьким моим чемоданом.

— Разве в чемодан положить до завтра? — спросил я, вдруг обернувшись к Полине, и вдруг вспомнил о ней. Она же всё сидела не шевелясь, на том же месте, но пристально следила за мной. Странно как-то было выражение ее лица; не понравилось мне это выражение! Не ошибусь, если скажу, что в нем была ненависть.

Я быстро подошел к ней.

— Полина, вот двадцать пять тысяч флоринов — это пятьдесят тысяч франков, даже больше. Возьмите, бросьте их ему завтра в лицо.

Она не ответила мне.

— Если хотите, я отвезу сам, рано утром. Так?

Она вдруг засмеялась. Она смеялась долго.

Я с удивлением и с скорбным чувством смотрел на нее. Этот смех очень похож был на недавний, частый, насмешливый смех ее надо мной, всегда приходившийся во время самых страстных моих объяснений. Наконец она перестала и нахмурилась; строго оглядывала она меня исподлобья.

— Я не возьму ваших денег, — проговорила она презрительно.

— Как? Что это? — закричал я. — Полина, почему же?

— Я даром денег не беру.

— Я предлагаю вам, как друг; я вам жизнь предлагаю.

Она посмотрела на меня долгим, пытливым взглядом, как бы пронзить меня им хотела.

— Вы дорого даете, — проговорила она усмехаясь, — любовница Де-Грие не стоит пятидесяти тысяч франков.

— Полина, как можно так со мною говорить! — вскричал я с укором, — разве я Де-Грие?

— Я вас ненавижу! Да... да!.. я вас не люблю больше, чем Де-Грие, — вскричала она, вдруг засверкав глазами.

Тут она закрыла вдруг руками лицо, и с нею сделалась истерика. Я бросился к ней.

Я понял, что с нею что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своем уме.

— Покупай меня! Хочешь? хочешь? за пятьдесят тысяч франков, как Де-Грие? — вырывалось у ней с судорожными рыданиями. Я обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал пред нею на колени.

Истерика ее проходила. Она положила обе руки на мои плечи и пристально меня рассматривала; казалось, что-то хотела прочесть на моем лице. Она слушала меня, но, видимо, не слыхала

того, что я ей говорил. Какая-то забота и вдумчивость явились в лице ее. Я боялся за нее; мне решительно казалось, что у ней ум мешается. То вдруг начинала она тихо привлекать меня к себе; доверчивая улыбка уже блуждала в ее лице; и вдруг она меня отталкивала и опять омраченным взглядом принималась в меня всматриваться.

Вдруг она бросилась обнимать меня.

— Ведь ты меня любишь, любишь? — говорила она, — ведь ты, ведь ты... за меня с бароном драться хотел! — И вдруг она расхохоталась, точно что-то смешное и милое мелькнуло вдруг в ее памяти. Она и плакала, и смеялась — всё вместе. Ну что мне было делать? Я сам был как в лихорадке. Помню, она начинала мне что-то говорить, но я почти ничего не мог понять. Это был какой-то бред, какой-то лепет, — точно ей хотелось что-то поскорей мне рассказать, — бред, прерываемый иногда самым веселым смехом, который начинал пугать меня. «Нет, нет, ты милый, милый! — повторяла она. — Ты мой верный!» — и опять клала мне руки свои на плечи, опять в меня всматривалась и продолжала повторять: «Ты меня любишь... любишь... будешь любить?» Я не сводил с нее глаз; я еще никогда не видал ее в этих припадках нежности и любви; правда, это, конечно, был бред, но... заметив мой страстный взгляд, она вдруг начинала лукаво улыбаться; ни с того ни с сего она вдруг заговаривала о мистере Астлее.

Впрочем, о мистере Астлее она беспрерывно заговаривала (особенно когда силилась мне что-то давеча рассказать), но что именно, я вполне не мог схватить; кажется, она даже смеялась над ним; повторяла беспрерывно, что он ждет... и что знаю ли я, что он наверное стоит теперь под окном? «Да, да, под окном, — ну отвори, посмотри, посмотри, он здесь, здесь!» Она толкала меня к окну, но только я делал движение идти, она заливалась смехом, и я оставался при ней, а она бросалась меня обнимать.

— Мы уедем? Ведь мы завтра уедем? — приходило ей вдруг беспокойно в голову, — ну... (и она задумалась) — ну, а догоним мы бабушку, как ты думаешь? В Берлине, я думаю, догоним. Как ты думаешь, что она скажет, когда мы ее догоним и она нас увидит? А мистер Астлей?.. Ну, этот не соскочит с Шлангенберга, как ты думаешь? (Она захохотала.) Ну, послушай: знаешь, куда он будущее лето едет? Он хочет на Северный полюс ехать для ученых исследований и меня звал с собою, ха-ха-ха! Он говорит, что мы, русские, без европейцев ничего не знаем и ни к чему не способны... Но он тоже добрый! Знаешь, он «генерала» извиняет; он говорит, что Blanche... что страсть, — ну не знаю, не знаю, — вдруг повторила она, как бы заговорясь и потерявшись. — Бедные они, как мне их жаль, и бабушку... Ну, послушай, послушай, ну где тебе убить Де-Грие? И неужели, неужели ты думал, что убьешь? О глупый! Неужели ты мог подумать, что я пущу тебя драться с Де-Грие? Да ты и барона-то не убьешь, — прибавила она, вдруг засмеявшись. — О, как ты был тогда смешон с бароном;

я глядела на вас обоих со скамейки; и как тебе не хотелось тогда идти, когда я тебя посылала. Как я тогда смеялась, как я тогда смеялась, — прибавила она хохоча.

И вдруг она опять целовала и обнимала меня, опять страстно и нежно прижимала свое лицо к моему. Я уж более ни о чем не думал и ничего не слышал. Голова моя закружилась...

Я думаю, что было около семи часов утра, когда я очнулся; солнце светило в комнату. Полина сидела подле меня и странно осматривалась, как будто выходя из какого-то мрака и собирая воспоминания. Она тоже только что проснулась и пристально смотрела на стол и деньги. Голова моя была тяжела и болела. Я было хотел взять Полину за руку; она вдруг оттолкнула меня и вскочила с дивана. Начинавшийся день был пасмурный; пред рассветом шел дождь. Она подошла к окну, отворила его, выставила голову и грудь и, подпершись руками, а локти положив на косяк окна, пробыла так минуты три, не оборачиваясь ко мне и не слушая того, что я ей говорил. Со страхом приходило мне в голову: что же теперь будет и чем это кончится? Вдруг она поднялась с окна, подошла к столу и, смотря на меня с выражением бесконечной ненависти, с дрожавшими от злости губами, сказала мне:

— Ну, отдай же мне теперь мои пятьдесят тысяч франков!

— Полина, опять, опять! — начал было я.

— Или ты раздумал? ха-ха-ха! Тебе, может быть, уже и жалко?

Двадцать пять тысяч флоринов, отсчитанные еще вчера, лежали на столе; я взял и подал ей.

— Ведь они уж теперь мои? Ведь так? Так? — злобно спрашивала она меня, держа деньги в руках.

— Да они и всегда были твои, — сказал я.

— Ну, так вот же твои пятьдесят тысяч франков! — Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и разлетелась по полу. Совершив это, Полина выбежала из комнаты.

Я знаю, она, конечно, в ту минуту была не в своем уме, хоть я и не понимаю этого временного помешательства. Правда, она еще и до сих пор, месяц спустя, еще больна. Что было, однако, причиною этого состояния, а главное, этой выходки? Оскорбленная ли гордость? Отчаяние ли о том, что она решилась даже прийти ко мне? Не показал ли я ей виду, что тщеславлюсь моим счастием и в самом деле точно так же, как и Де-Грие, хочу отделаться от нее, подарив ей пятьдесят тысяч франков? Но ведь этого не было, я знаю по своей совести. Думаю, что виновато было тут отчасти и ее тщеславие: тщеславие подсказало ей не поверить мне и оскорбить меня, хотя всё это представлялось ей, может быть, и самой неясно. В таком случае я, конечно, ответил за Де-Грие и стал виноват, может быть, без большой вины. Правда, всё это был только бред; правда и то, что я знал, что она в бреду, и... не обратил внимания на это обстоятельство. Может быть, она теперь

не может мне простить этого? Да, но это теперь; но тогда, тогда? Ведь не так же сильны были ее бред и болезнь, чтобы она уж совершенно забыла, что делает, идя ко мне с письмом Де-Грие? Значит, она знала, что делает.

Я кое-как, наскоро, сунул все мои бумаги и всю мою кучу золота в постель, накрыл ее и вышел минут десять после Полины. Я был уверен, что она побежала домой, и хотел потихоньку пробраться к ним и в передней спросить у няни о здоровье барышни. Каково же было мое изумление, когда от встретившейся мне на лестнице нянюшки я узнал, что Полина домой еще не возвращалась и что няня сама шла ко мне за ней.

— Сейчас, — говорил я ей, — сейчас только ушла от меня, минут десять тому назад, куда же могла она деваться?

Няня с укоризной на меня поглядела.

А между тем вышла целая история, которая уже ходила по отелю. В швейцарской и у обер-кельнера перешептывались, что фрейлейн утром, в шесть часов, выбежала из отеля, в дождь, и побежала по направлению к hôtel d'Angleterre. По их словам и намекам я заметил, что они уже знают, что она провела всю ночь в моей комнате. Впрочем, уже рассказывалось о всем генеральском семействе: стало известно, что генерал вчера сходил с ума и плакал на весь отель. Рассказывали при этом, что приезжавшая бабушка была его мать, которая затем нарочно и появилась из самой России, чтоб воспретить своему сыну брак с mademoiselle de Cominges, а за ослушание лишить его наследства, и так как он действительно не послушался, то графиня, в его же глазах, нарочно и проиграла все свои деньги на рулетке, чтоб так уже ему и недоставалось ничего. «Diese Russen!»[1] — повторял обер-кельнер с негодованием, качая головой. Другие смеялись. Обер-кельнер готовил счет. Мой выигрыш был уже известен; Карл, мой коридорный лакей, первый поздравил меня. Но мне было не до них. Я бросился в отель d'Angleterre.

Еще было рано; мистер Астлей не принимал никого; узнав же, что это я, вышел ко мне в коридор и остановился предо мной, молча устремив на меня свой оловянный взгляд, и ожидал: что я скажу? Я тотчас спросил о Полине.

— Она больна, — отвечал мистер Астлей, по-прежнему смотря на меня в упор и не сводя с меня глаз.

— Так она в самом деле у вас?

— О да, у меня.

— Так как же вы... вы намерены ее держать у себя?

— О да, я намерен.

— Мистер Астлей, это произведет скандал; этого нельзя. К тому же она совсем больна; вы, может быть, не заметили?

— О да, я заметил и уже вам сказал, что она больна. Если б она была не больна, то у вас не провела бы ночь.

[1] Эти русские! *(нем.)*

— Так вы и это знаете?

— Я это знаю. Она шла вчера сюда, и я бы отвел ее к моей родственнице, но так как она была больна, то ошиблась и пришла к вам.

— Представьте себе! Ну поздравляю вас, мистер Астлей. Кстати, вы мне даете идею: не стояли ли вы всю ночь у нас под окном? Мисс Полина всю ночь заставляла меня открывать окно и смотреть, — не стоите ли вы под окном, и ужасно смеялась.

— Неужели? Нет, я под окном не стоял; но я ждал в коридоре и кругом ходил.

— Но ведь ее надо лечить, мистер Астлей.

— О да, я уж позвал доктора, и если она умрет, то вы дадите мне отчет в ее смерти.

Я изумился:

— Помилуйте, мистер Астлей, что это вы хотите?

— А правда ли, что вы вчера выиграли двести тысяч талеров?

— Всего только сто тысяч флоринов.

— Ну вот видите! Итак, уезжайте сегодня утром в Париж.

— Зачем?

— Все русские, имея деньги, едут в Париж, — пояснил мистер Астлей голосом и тоном, как будто прочел это по книжке.

— Что я буду теперь, летом, в Париже делать? Я ее люблю, мистер Астлей! Вы знаете сами.

— Неужели? Я убежден, что нет. Притом же, оставшись здесь, вы проиграете наверное всё, и вам не на что будет ехать в Париж. Но прощайте, я совершенно убежден, что вы сегодня уедете в Париж.

— Хорошо, прощайте, только я в Париж не поеду. Подумайте, мистер Астлей, о том, что теперь будет у нас? Одним словом, генерал... и теперь это приключение с мисс Полиной — ведь это на весь город пойдет.

— Да, на весь город; генерал же, я думаю, об этом не думает, и ему не до этого. К тому же мисс Полина имеет полное право жить, где ей угодно. Насчет же этого семейства можно правильно сказать, что это семейство уже не существует.

Я шел и посмеивался странной уверенности этого англичанина, что я уеду в Париж. «Однако он хочет меня застрелить на дуэли, — думал я, — если mademoiselle Полина умрет, — вот еще комиссия!» Клянусь, мне было жаль Полину, но странно, — с самой той минуты, как я дотронулся вчера до игорного стола и стал загребать пачки денег, — моя любовь отступила как бы на второй план. Это я теперь говорю; но тогда еще я не замечал всего этого ясно. Неужели я и в самом деле игрок, неужели я и в самом деле... так странно любил Полину? Нет, я до сих пор люблю ее, видит бог! А тогда, когда я вышел от мистера Астлея и шел домой, я искренно страдал и винил себя. Но... но тут со мной случилась чрезвычайно странная и глупая история.

Я спешил к генералу, как вдруг невдалеке от их квартиры отворилась дверь и меня кто-то кликнул. Это была madame veuve

Comingès и кликнула меня по приказанию mademoiselle Blanche. Я вошел в квартиру mademoiselle Blanche.

У них был небольшой номер, в две комнаты. Слышен был смех и крик mademoiselle Blanche из спальни. Она вставала с постели.

— A, c'est lui!! Viens donc, bêtà! Правда ли, que tu as gagné une montagne d'or et d'argent? J'aimerais mieux l'or.[1]

— Выиграл, — отвечал я смеясь.

— Сколько?

— Сто тысяч флоринов.

— Bibi, comme tu es bête. Да, войди же сюда, я ничего не слышу. Nous ferons bombance, n'est-ce pas?[2]

Я вошел к ней. Она валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи, — плечи, которые разве только увидишь во сне, — кое-как прикрытые батистовою отороченною белейшими кружевами сорочкою, что удивительно шло к ее смуглой коже.

— Mon fils, as-tu du coeur?[3] — вскричала она, завидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело и даже иногда искренно.

— Tout autre...[4] — начал было я, парафразируя Корнеля.

— Вот видишь, vois-tu, — затараторила она вдруг, — во-первых, сыщи чулки, помоги обуться, а во-вторых, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris.[5] Ты знаешь, я сейчас еду.

— Сейчас?

— Чрез полчаса.

Действительно, всё было уложено. Все чемоданы и ее вещи стояли готовые. Кофе был уже давно подан.

— Eh bien! хочешь, tu verras Paris. Dis donc qu'est ce que c'est qu'un outchitel? Tu étais bien bête, quand tu étais outchitel.[6] Где же мои чулки? Обувай же меня, ну!

Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую, неисковерканную, как все почти эти ножки, которые смотрят такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. Mademoiselle Blanche между тем сидела на постели и тараторила.

— Eh bien, que feras-tu, si je te prends avec? Во-первых, je veux cinquante mille francs. Ты мне их отдашь во Франкфурте. Nous allons à Paris; там мы живем вместе et je te ferai voir des

---

[1] Это он!! Иди же сюда, дурачок! Правда ли, что ты выиграл гору золота и серебра? Я предпочла бы золото *(франц.)*.

[2] Биби, как ты глуп... Мы покутим, не правда ли? *(франц.)*

[3] Сын мой, храбр ли ты? *(франц.)*

[4] Всякий другой... *(франц.)*

[5] если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж *(франц.)*.

[6] ты увидишь Париж. Скажи-ка, что это такое учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учителем *(франц.)*.

étoiles en plein jour.[1] Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал. Слушай...

— Постой, эдак я тебе отдам пятьдесят тысяч франков, а что же мне-то останется?

— Et cent cinquante mille francs,[2] ты забыл, и, сверх того, я согласна жить на твоей квартире месяц, два, que sais-je![3] Мы, конечно, проживем в два месяца эти сто пятьдесят тысяч франков. Видишь, je suis bonne enfant[4] и тебе вперед говорю, mais tu verras des étoiles.[5]

— Как, всё в два месяца?

— Как! Это тебя ужасает! Ah, vil esclave![6] Да знаешь ли ты, что один месяц этой жизни лучше всего твоего существования. Один месяц — et après le déluge! Mais tu ne peux comprendre, va! Пошел, пошел, ты этого не стоишь! Ай, que fais-tu?[7]

В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец она прогнала меня совсем. «Eh bien, mon outchitel, je t'attends, si tu veux;[8] чрез четверть часа я еду!» — крикнула она мне вдогонку.

Воротясь домой, был я уже как закруженный. Что же, я не виноват, что mademoiselle Полина бросила мне целой пачкой в лицо и еще вчера предпочла мне мистера Астлея. Некоторые из распавшихся банковых билетов еще валялись на полу; я их подобрал. В эту минуту отворилась дверь и явился сам обер-кельнер (который на меня прежде и глядеть не хотел) с приглашением: не угодно ли мне перебраться вниз, в превосходный номер, в котором только что стоял граф В.

Я постоял, подумал.

— Счет! — закричал я, — сейчас еду, чрез десять минут. — «В Париж так в Париж! — подумал я про себя, — знать, на роду написано!»

Чрез четверть часа мы действительно сидели втроем в одном общем семейном вагоне: я, mademoiselle Blanche et madame veuve Cominges. Mademoiselle Blanche хохотала, глядя на меня, до истерики. Veuve Cominges ей вторила; не скажу, чтобы мне было весело. Жизнь переламывалась надвое, но со вчерашнего дня я уж привык всё ставить на карту. Может быть, и действительно правда, что я не вынес денег и закружился. Peut-être, je ne de-

---

[1] Ну что ты будешь делать, если я тебя возьму с собой?.. я хочу пятьдесят тысяч франков... Мы едем в Париж... и ты у меня увидишь звезды среди бела дня *(франц.)*.

[2] А сто пятьдесят тысяч франков *(франц.)*.

[3] почем я знаю! *(франц.)*

[4] я добрая девочка *(франц.)*.

[5] но ты увидишь звезды *(франц.)*.

[6] А, низкий раб! *(франц.)*

[7] а потом хоть потоп! Но ты не можешь этого понять, где тебе!.. Что ты делаешь? *(франц.)*

[8] Ну, мой учитель, я тебя жду, если хочешь *(франц.)*.

mandais pas mieux.[1] Мне казалось, что на время — но только на время — переменяются декорации. «Но чрез месяц я буду здесь, и тогда... и тогда мы еще с вами потягаемся, мистер Астлей!» Нет, как припоминаю теперь, мне и тогда было ужасно грустно, хоть я и хохотал взапуски с этой дурочкой Blanche.

— Да чего тебе! Как ты глуп! О, как ты глуп! — вскрикивала Blanche, прерывая свой смех и начиная серьезно бранить меня. — Ну да, ну да, да, мы проживем твои двести тысяч франков, но зато, mais tu seras heureux, comme un petit roi;[2] я сама тебе буду повязывать галстук и познакомлю тебя с Hortense. А когда мы проживем все наши деньги, ты приедешь сюда и опять сорвешь банк. Что тебе сказали жиды? Главное — смелость, а у тебя она есть, и ты мне еще не раз будешь возить деньги в Париж. Quant à moi, je veux cinquante mille francs de rente et alors...[3]

— А генерал? — спросил я ее.

— А генерал, ты знаешь сам, каждый день в это время уходит мне за букетом. На этот раз я нарочно велела отыскать самых редких цветов. Бедняжка воротится, а птичка и улетела. Он полетит за нами, увидишь. Ха-ха-ха! Я очень буду рада. В Париже он мне пригодится; за него здесь заплатит мистер Астлей...

И вот таким-то образом я и уехал тогда в Париж.

## *Глава XVI*

Что я скажу о Париже? Всё это было, конечно, и бред, и дурачество. Я прожил в Париже всего только три недели с небольшим, и в этот срок были совершенно покончены мои сто тысяч франков. Я говорю только про сто тысяч; остальные сто тысяч я отдал mademoiselle Blanche чистыми деньгами, — пятьдесят тысяч во Франкфурте и чрез три дня в Париже, выдал ей же еще пятьдесят тысяч франков векселем, за который, впрочем, чрез неделю она взяла с меня и деньги, «et les cent mille francs, qui nous restent, tu les mangeras avec moi, mon outchitel».[4] Она меня постоянно звала учителем. Трудно представить себе что-нибудь на свете расчетливее, скупее и скалдырнее разряда существ, подобных mademoiselle Blanche. Но это относительно своих денег. Что же касается до моих ста тысяч франков, то она мне прямо объявила потом, что они ей нужны были для первой постановки себя в Париже. «Так что уж я теперь стала на приличную ногу раз навсегда, и теперь уж меня долго никто не собьет, по крайней мере я так распорядилась», — прибавила она. Впрочем, я почти и не видал

---

[1] Может быть, только этого мне и надо было *(франц.)*.

[2] но ты будешь счастлив, как маленький король *(франц.)*.

[3] Что до меня, то я хочу пятьдесят тысяч франков ренты и тогда... *(франц.)*

[4] и сто тысяч франков, которые нам остались, ты их проешь со мной, мой учитель *(франц.)*.

этих ста тысяч; деньги во всё время держала она, а в моем кошельке, в который она сама каждый день наведывалась, никогда не скоплялось более ста франков, и всегда почти было менее.

«Ну к чему тебе деньги?» — говорила она иногда с самым простейшим видом, и я с нею не спорил. Зато она очень и очень недурно отделала на эти деньги свою квартиру, и когда потом перевела меня на новоселье, то, показывая мне комнаты, сказала: «Вот что с расчетом и со вкусом можно сделать с самыми мизерными средствами». Этот мизер стоил, однако, ровно пятьдесят тысяч франков. На остальные пятьдесят тысяч она завела экипаж, лошадей, кроме того, мы задали два бала, то есть две вечеринки, на которых были и Hortense и Lisette и Cléopâtre — женщины замечательные во многих и во многих отношениях и даже далеко не дурные. На этих двух вечеринках я принужден был играть преглупейшую роль хозяина, встречать и занимать разбогатевших и тупейших купчишек, невозможных по их невежеству и бесстыдству, разных военных поручиков и жалких авторишек и журнальных козявок, которые явились в модных фраках, в палевых перчатках и с самолюбием и чванством в таких размерах, о которых даже у нас в Петербурге немыслимо, — а уж это много значит сказать. Они даже вздумали надо мной смеяться, но я напился шампанского и провалялся в задней комнате. Всё это было для меня омерзительно в высшей степени. «C'est un outchitel, — говорила обо мне Blanche, — il a gagné deux cent mille francs [1] и который без меня не знал бы, как их истратить. А после он опять поступит в учителя; — не знает ли кто-нибудь места? Надобно что-нибудь для него сделать». К шампанскому я стал прибегать весьма часто, потому что мне было постоянно очень грустно и до крайности скучно. Я жил в самой буржуазной, в самой меркантильной среде, где каждый су был рассчитан и вымерен. Blanche очень не любила меня в первые две недели, я это заметил; правда, она одела меня щегольски и сама ежедневно повязывала мне галстук, но в душе искренно презирала меня. Я на это не обращал ни малейшего внимания. Скучный и унылый, я стал уходить обыкновенно в «Château des Fleurs»,[2] где регулярно, каждый вечер, напивался и учился канкану (который там прегадко танцуют) и впоследствии приобрел в этом роде даже знаменитость. Наконец Blanche раскусила меня: она как-то заранее составила себе идею, что я, во всё время нашего сожительства, буду ходить за нею с карандашом и бумажкой в руках и всё буду считать, сколько она истратила, сколько украла, сколько истратит и сколько еще украдет? И, уж конечно, была уверена, что у нас из-за каждых десяти франков будет баталия. На всякое нападение мое, предполагаемое ею заранее, она уже заблаговременно заготовила возражения; но, не видя от меня никаких напа-

[1] Это учитель... он выиграл двести тысяч франков *(франц.)*.
[2] «Замок цветов» *(франц.)*.

дений, сперва было пускалась сама возражать. Иной раз начнет горячо-горячо, но, увидя, что я молчу, — чаще всего валяясь на кушетке и неподвижно смотря в потолок, — даже, наконец, удивится. Сперва она думала, что я просто глуп, «un outchitel», и просто обрывала свои объяснения, вероятно, думая про себя: «Ведь он глуп; нечего его и наводить, коль сам не понимает». Уйдет, бывало, но минут через десять опять воротится (это случалось во время самых неистовых трат ее, трат совершенно нам не по средствам: например, она переменила лошадей и купила в шестнадцать тысяч франков пару).

— Ну, так ты, Bibi, не сердишься? — подходила она ко мне.

— Не-е-ет! Надо-е-е-ла! — говорил я, отстраняя ее от себя рукою, но это было для нее так любопытно, что она тотчас же села подле:

— Видишь, если я решилась столько заплатить, то это потому, что их продавали по случаю. Их можно опять продать за двадцать тысяч франков.

— Верю, верю; лошади прекрасные; и у тебя теперь славный выезд; пригодится; ну и довольно.

— Так ты не сердишься?

— За что же? Ты умно делаешь, что запасаешься некоторыми необходимыми для тебя вещами. Всё это потом тебе пригодится. Я вижу, что тебе действительно нужно поставить себя на такую ногу; иначе миллиона не наживешь. Тут наши сто тысяч франков только начало, капля в море.

Blanche, всего менее ожидавшая от меня таких рассуждений (вместо криков-то да попреков!), точно с неба упала.

— Так ты... так ты вот какой! Mais tu as de l'esprit pour comprendre! Sais-tu, mon garçon,[1] хоть ты и учитель, — но ты должен был родиться принцем! Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро идут?

— Ну их, поскорей бы уж!

— Mais... sais-tu... mais dis donc, разве ты богат? Mais sais-tu, ведь ты уж слишком презираешь деньги. Qu'est ce que tu feras après, dis donc?[2]

— Après поеду в Гомбург и еще выиграю сто тысяч франков.

— Oui, oui, c'est ça, c'est magnifique![3] И я знаю, что ты непременно выиграешь и привезешь сюда. Dis donc, да ты сделаешь, что я тебя и в самом деле полюблю! Eh bien, за то, что ты такой, я тебя буду всё это время любить и не сделаю тебе ни одной неверности. Видишь, в это время я хоть и не любила тебя, parce que je croyais, que tu n'est qu'un outchitel (quelque chose comme un

---

[1] Оказывается, ты достаточно умен, чтоб понимать! Знаешь, мой мальчик *(франц.)*.

[2] Но... знаешь... скажи-ка... Но знаешь... Что же ты будешь делать потом, скажи? *(франц.)*

[3] Вот-вот, это великолепно. *(франц.)*

laquais, n'est-ce pas?), но я все-таки была тебе верна, parce que je suis bonne fille.[1]

— Ну, и врешь! А с Альбертом-то, с этим офицеришкой черномазым, разве я не видал прошлый раз?

— Oh, oh, mais tu es... [2]

— Ну, врешь, врешь; да ты что думаешь, что я сержусь? Да наплевать; il faut que jeunesse se passe.[3] Не прогнать же тебе его, коли он был прежде меня и ты его любишь. Только ты ему денег не давай, слышишь?

— Так ты и за это не сердишься? Mais tu es un vrai philosophe, sais-tu? Un vrai philosophe! — вскричала она в восторге. — Eh bien, je t'aimerai, je t'aimerai — tu verras, tu sera content! [4]

И действительно, с этих пор она ко мне даже как будто и в самом деле привязалась, даже дружески, и так прошли наши последние десять дней. Обещанных «звезд» я не видал; но в некоторых отношениях она и в самом деле сдержала слово. Сверх того, она познакомила меня с Hortense, которая была слишком даже замечательная в своем роде женщина и в нашем кружке называлась Thérèse-philosophe...

Впрочем, нечего об этом распространяться; всё это могло бы составить особый рассказ, с особым колоритом, который я не хочу вставлять в эту повесть. Дело в том, что я всеми силами желал, чтоб всё это поскорее кончилось. Но наших ста тысяч франков хватило, как я уже сказал, почти на месяц, чему я искренно удивлялся: по крайней мере, на восемьдесят тысяч, из этих денег, Blanche накупила себе вещей, и мы прожили никак не более двадцати тысяч франков, и — все-таки достало. Blanche, которая под конец была уже почти откровенна со мной (по крайней мере кое в чем не врала мне), призналась, что по крайней мере на меня не падут долги, которые она принуждена была сделать. «Я тебе не давала подписывать счетов и векселей, — говорила она мне, — потому что жалела тебя; а другая бы непременно это сделала и уходила бы тебя в тюрьму. Видишь, видишь, как я тебя любила и какая я добрая! Одна эта чертова свадьба чего будет мне стоить!»

У нас действительно была свадьба. Случилась она уже в самом конце нашего месяца, и надо предположить, что на нее ушли самые последние подонки моих ста тысяч франков; тем дело и кончилось, то есть тем наш месяц и кончился, и я после этого формально вышел в отставку.

Случилось это так: неделю спустя после нашего водворения в Париже приехал генерал. Он прямо приехал к Blanche и с первого же визита почти у нас и остался. Квартирка где-то, правда,

[1] Потому что я думала, что ты только учитель (что-то вроде лакея, не правда ли?)... потому что я добрая девушка *(франц.)*.

[2] О, но ты... *(франц.)*

[3] надо в молодости перебеситься *(франц.)*.

[4] Но ты настоящий философ, знаешь? Настоящий философ!.. Ну я буду тебя любить, любить — увидишь, ты будешь доволен! *(франц.)*

у него была своя. Blanche встретила его радостно, с визгами и хохотом и даже бросилась его обнимать; дело обошлось так, что уж она сама его не отпускала, и он всюду должен был следовать за нею: и на бульваре, и на катаньях, и в театре, и по знакомым. На это употребление генерал еще годился; он был довольно сановит и приличен — росту почти высокого, с крашеными бакенами и усищами (он прежде служил в кирасирах), с лицом видным, хотя несколько и обрюзглым. Манеры его были превосходные, фрак он носил очень ловко. В Париже он начал носить свои ордена. С эдаким пройтись по бульвару было не только возможно, но, если так можно выразиться, даже *рекомендательно*. Добрый и бестолковый генерал был всем этим ужасно доволен; он совсем не на это рассчитывал, когда к нам явился по приезде в Париж. Он явился тогда, чуть не дрожа от страха; он думал, что Blanche закричит и велит его прогнать; а потому, при таком обороте дела, он пришел в восторг и весь этот месяц пробыл в каком-то бессмысленно-восторженном состоянии; да таким я его и оставил. Уже здесь я узнал в подробности, что после тогдашнего внезапного отъезда нашего из Рулетенбурга с ним случилось, в то же утро, что-то вроде припадка. Он упал без чувств, а потом всю неделю был почти как сумасшедший и заговаривался. Его лечили, но вдруг он всё бросил, сел в вагон и прикатил в Париж. Разумеется, прием Blanche оказался самым лучшим для него лекарством; но признаки болезни оставались долго спустя, несмотря на радостное и восторженное его состояние. Рассуждать или даже только вести кой-как немного серьезный разговор он уж совершенно не мог; в таком случае он только приговаривал ко всякому слову «гм!» и кивал головой — тем и отделывался. Часто он смеялся, но каким-то нервным, болезненным смехом, точно закатывался; другой раз сидит по целым часам пасмурный, как ночь, нахмурив свои густые брови. Многого он совсем даже и не припоминал; стал до безобразия рассеян и взял привычку говорить сам с собой. Только одна Blanche могла оживлять его; да и припадки пасмурного, угрюмого состояния, когда он забивался в угол, означали только то, что он давно не видел Blanche, или что Blanche куда-нибудь уехала, а его с собой не взяла, или, уезжая, не приласкала его. При этом он сам не сказал бы, чего ему хочется, и сам не знал, что он пасмурен и грустен. Просидев час или два (я замечал это раза два, когда Blanche уезжала на целый день, вероятно, к Альберту), он вдруг начинает озираться, суетиться, оглядывается, припоминает и как будто хочет кого-то сыскать; но, не видя никого и так и не припомнив, о чем хотел спросить, он опять впадал в забытье до тех пор, пока вдруг не являлась Blanche, веселая, резвая, разодетая, с своим звонким хохотом; она подбегала к нему, начинала его тормошить и даже целовала, чем, впрочем, редко его жаловала. Раз генерал до того ей обрадовался, что даже заплакал, — я даже подивился.

Blanche, с самого его появления у нас, начала тотчас же за него предо мною адвокатствовать. Она пускалась даже в красноречие; напоминала, что она изменила генералу из-за меня, что она была почти уж его невестою, слово дала ему; что из-за нее он бросил семейство, и что, наконец, я служил у него и должен бы это чувствовать, и что — как мне не стыдно... Я всё молчал, а она ужасно тараторила. Наконец я рассмеялся, и тем дело и кончилось, то есть сперва она подумала, что я дурак, а под конец остановилась на мысли, что я очень хороший и складный человек. Одним словом, я имел счастие решительно заслужить под конец полное благорасположение этой достойной девицы. (Blanche, впрочем, была и в самом деле предобрейшая девушка, — в своем только роде, разумеется; я ее не так ценил сначала.) «Ты умный и добрый человек, — говаривала она мне под конец, — и... и... жаль только, что ты такой дурак! Ты ничего, ничего не наживешь!»

«Un vrai russe, un calmouk!»[1] Она несколько раз посылала меня прогуливать по улицам генерала, точь-в-точь с лакеем свою левретку. Я, впрочем, водил его и в театр, и в Bal-Mabile, и в рестораны. На это Blanche выдавала и деньги, хотя у генерала были и свои, и он очень любил вынимать бумажник при людях. Однажды я почти должен был употребить силу, чтобы не дать ему купить брошку в семьсот франков, которою он прельстился в Палерояле и которую во что бы то ни стало хотел подарить Blanche. Ну, что ей была брошка в семьсот франков? У генерала и всех-то денег было не более тысячи франков. Я никогда не мог узнать, откуда они у него явились? Полагаю, что от мистера Астлея, тем более что тот в отеле за них заплатил. Что же касается до того, как генерал всё это время смотрел на меня, то мне кажется, он даже и не догадывался о моих отношениях к Blanche. Он хоть и слышал как-то смутно, что я выиграл капитал, но, наверное, полагал, что я у Blanche вроде какого-нибудь домашнего секретаря или даже, может быть, слуги. По крайней мере говорил он со мной постоянно свысока по-прежнему, по-начальнически, и даже пускался меня иной раз распекать. Однажды он ужасно насмешил меня и Blanche, у нас, утром, за утренним кофе. Человек он был не совсем обидчивый; а тут вдруг обиделся на меня, за что? — до сих пор не понимаю. Но, конечно, он и сам не понимал. Одним словом, он завел речь без начала и конца, à bâtons-rompus,[2] кричал, что я мальчишка, что он научит... что он даст понять... и так далее, и так далее. Но никто ничего не мог понять. Blanche заливалась-хохотала; наконец его кое-как успокоили и увели гулять. Много раз я замечал, впрочем, что ему становилось грустно, кого-то и чего-то было жаль, кого-то недоставало ему, несмотря даже на присутствие Blanche. В эти минуты он сам пускался раза два со мною заговаривать, но никогда толком не мог объясниться,

---

[1] Настоящий русский, калмык! *(франц.)*

[2] через пятое на десятое, бессвязно *(франц.)*.

вспоминал про службу, про покойницу жену, про хозяйство, про имение. Нападет на какое-нибудь слово и обрадуется ему, и повторяет его сто раз на дню, хотя оно вовсе не выражает ни его чувств, ни его мыслей. Я пробовал заговаривать с ним о его детях; но он отделывался прежнею скороговоркою и переходил поскорее на другой предмет: «Да-да! дети-дети, вы правы, дети!» Однажды только он расчувствовался — мы шли с ним в театр: «Это несчастные дети! — заговорил он вдруг, — да, сударь, да, это не-с-счастные дети!» И потом несколько раз в этот вечер повторял слова: несчастные дети! Когда я раз заговорил о Полине, он пришел даже в ярость. «Это неблагодарная женщина, — воскликнул он, — она зла и неблагодарна! Она осрамила семью! Если б здесь были законы, я бы ее в бараний рог согнул! Да-с, да-с!» Что же касается до Де-Грие, то он даже и имени его слышать не мог. «Он погубил меня, — говорил он, — он обокрал меня, он меня зарезал! Это был мой кошмар в продолжение целых двух лет! Он по целым месяцам сряду мне во сне снился! Это — это, это... О, не говорите мне о нем никогда!»

Я видел, что у них что-то идет на лад, но молчал, по обыкновению. Blanche объявила мне первая: это было ровно за неделю до того, как мы расстались.

— Il a de la chance,[1] — тараторила она мне, — babouchka теперь действительно уж больна и непременно умрет. Мистер Астлей прислал телеграмму; согласись, что все-таки он наследник ее. А если б даже и нет, то он ничему не помешает. Во-первых, у него есть свой пенсион, а во-вторых, он будет жить в боковой комнате и будет совершенно счастлив. Я буду «madame la générale». Я войду в хороший круг (Blanche мечтала об этом постоянно), впоследствии буду русской помещицей, j'aurai un château, des moujiks, et puis j'aurai toujours mon million.[2]

— Ну, а если он начнет ревновать, будет требовать... бог знает чего, — понимаешь?

— О нет, non, non, non! Как он смеет! Я взяла меры, не беспокойся. Я уж заставила его подписать несколько векселей на имя Альберта. Чуть что — и он тотчас же будет наказан; да и не посмеет!

— Ну, выходи...

Свадьбу сделали без особенного торжества, семейно и тихо. Приглашены были Альберт и еще кое-кто из близких. Hortense, Cléopâtre и прочие были решительно отстранены. Жених чрезвычайно интересовался своим положением. Blanche сама повязала ему галстук, сама его напомадила, и в своем фраке и в белом жилете он смотрел très comme il faut.[3]

---

[1] Ему везет *(франц.)*.

[2] у меня будет замок, мужики, а потом у меня все-таки будет мой миллион *(франц.)*.

[3] очень прилично *(франц.)*.

— Il est pourtant très comme il faut,[1] — объявила мне сама Blanche, выходя из комнаты генерала, как будто идея о том, что генерал très comme il faut, даже ее самое поразила. Я так мало вникал в подробности, участвуя во всем в качестве такого ленивого зрителя, что многое и забыл, как это было. Помню только, что Blanche оказалась вовсе не de Cominges, ровно как и мать ее — вовсе не veuve Cominges, а — du-Placet. Почему они были обе de Cominges до сих пор — не знаю. Но генерал и этим остался очень доволен, и du-Placet ему даже больше понравилось, чем de Cominges. В утро свадьбы он, уже совсем одетый, всё ходил взад и вперед по зале и всё повторял про себя, с необыкновенно серьезным и важным видом: «Mademoiselle Blanche du-Placet! Blanche du-Placet! Du-Placet! Девица Бланка Дю-Пласет!..» И некоторое самодовольствие сияло на его лице. В церкви, у мэра и дома за закуской он был не только радостен и доволен, но даже горд. С ними с обоими что-то случилось. Blanche стала смотреть тоже с каким-то особенным достоинством.

— Мне теперь нужно совершенно иначе держать себя, — сказала она мне чрезвычайно серьезно, — mais vois-tu, я не подумала об одной прегадкой вещи: вообрази, я до сих пор не могу заучить мою теперешнюю фамилию: Загорьянский, Загозианский, madame la générale de Sago-Sago, ces diables des noms russes, enfin madame la générale à quatorze consonnes! comme c'est agréable, n'est-ce pas?[2]

Наконец мы расстались, и Blanche, эта глупая Blanche, даже прослезилась, прощаясь со мною. «Tu étais bon enfant, — говорила она хныча. — Je te croyais bête es tu en avais l'air,[3] но это к тебе идет». И, уж пожав мне руку окончательно, она вдруг воскликнула: «Attends!»,[4] бросилась в свой будуар и чрез минуту вынесла мне два тысячефранковых билета. Этому я ни за что бы не поверил! «Это тебе пригодится, ты, может быть, очень ученый outchitel, но ты ужасно глупый человек. Больше двух тысяч я тебе ни за что не дам, потому что ты — всё равно проиграешь. Ну, прощай! Nous serons toujours bons amis, а если опять выиграешь, непременно приезжай ко мне, et tu seras heureux!»[5]

У меня у самого оставалось еще франков пятьсот; кроме того, есть великолепные часы в тысячу франков, бриллиантовые запонки и прочее, так что можно еще протянуть довольно долгое время, ни о чем не заботясь. Я нарочно засел в этом городишке, чтоб собраться, а главное, жду мистера Астлея. Я узнал наверное, что он будет здесь проезжать и остановится на сутки, по делу.

---

[1] Он, однако, очень приличен *(франц.)*.

[2] но видишь ли... госпожа генеральша Заго-Заго, эти дьявольские русские имена, словом, госпожа генеральша с четырнадцатью согласными. Как это приятно, не правда ли? *(франц.)*

[3] Ты был добрым малым... Я считала тебя глупым, и ты выглядел дурачком *(франц.)*.

[4] Подожди! *(франц.)*

[5] Мы всегда будем друзьями... и ты будешь счастлив! *(франц.)*

Узнаю обо всем... а потом — потом прямо в Гомбург. В Рулетенбург не поеду, разве на будущий год. Действительно, говорят, дурная примета пробовать счастья два раза сряду за одним и тем же столом, а в Гомбурге самая настоящая-то игра и есть.

## *Глава XVII*

Вот уже год и восемь месяцев, как я не заглядывал в эти записки, и теперь только, от тоски и горя, вздумал развлечь себя и случайно перечел их. Так на том и оставил тогда, что поеду в Гомбург. Боже! с каким, сравнительно говоря, легким сердцем я написал тогда эти последние строчки! То есть не то чтоб с легким сердцем, а с какою самоуверенностью, с какими непоколебимыми надеждами! Сомневался ли я хоть сколько-нибудь в себе? И вот полтора года с лишком прошли, и я, по-моему, гораздо хуже, чем нищий! Да что нищий! Наплевать на нищенство! Я просто сгубил себя! Впрочем, не с чем почти и сравнивать, да и нечего себе мораль читать! Ничего не может быть нелепее морали в такое время! О самодовольные люди: с каким гордым самодовольством готовы эти болтуны читать свои сентенции! Если б они знали, до какой степени я сам понимаю всю омерзительность теперешнего моего состояния, то, конечно, уж не повернулся бы у них язык учить меня. Ну что, что могут они мне сказать нового, чего я не знаю? И разве в этом дело? Тут дело в том, что — один оборот колеса и всё изменяется, и эти же самые моралисты первые (я в этом уверен) придут с дружескими шутками поздравлять меня. И не будут от меня все так отворачиваться, как теперь. Да наплевать на них на всех! Что я теперь? Zéro. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал!

Я действительно тогда поехал в Гомбург, но... я был потом и опять в Рулетенбурге, был и в Спа, был даже и в Бадене, куда я ездил камердинером советника Гинце, мерзавца и бывшего моего здешнего барина. Да, я был и в лакеях, целых пять месяцев! Это случилось сейчас после тюрьмы. (Я ведь сидел и в тюрьме в Рулетенбурге за один здешний долг. Неизвестный человек меня выкупил, — кто такой? Мистер Астлей? Полина? Не знаю, но долг был заплачен, всего двести талеров, и я вышел на волю.) Куда мне было деваться? Я и поступил к этому Гинце. Он человек молодой и ветреный, любит полениться, а я умею говорить и писать на трех языках. Я сначала поступил к нему чем-то вроде секретаря, за тридцать гульденов в месяц; но кончил у него настоящим лакейством: держать секретаря ему стало не по средствам, и он мне сбавил жалованье; мне же некуда было идти, я остался — и таким образом сам собою обратился в лакея. Я недоедал и недопивал на его службе, но зато накопил в пять месяцев семьдесят гульденов. Однажды вечером, в Бадене, я объявил ему, что желаю

с ним расстаться; в тот же вечер я отправился на рулетку. О, как стучало мое сердце! Нет, не деньги мне были дороги! Тогда мне только хотелось, чтоб завтра же все эти Гинце, все эти оберкельнеры, все эти великолепные баденские дамы, чтобы все они говорили обо мне, рассказывали мою историю, удивлялись мне, хвалили меня и преклонялись пред моим новым выигрышем. Всё это детские мечты и заботы, но... кто знает: может быть, я повстречался бы и с Полиной, я бы ей рассказал, и она бы увидела, что я выше всех этих нелепых толчков судьбы... О, не деньги мне дороги! Я уверен, что разбросал бы их опять какой-нибудь Blanche и опять ездил бы в Париже три недели на паре собственных лошадей в шестнадцать тысяч франков. Я ведь наверное знаю, что я не скуп; я даже думаю, что я расточителен, — а между тем, однако ж, с каким трепетом, с каким замиранием сердца я выслушиваю крик крупера: trente et un, rouge, impaire et passe или: quatre, noir, pair et manque! С какою алчностью смотрю я на игорный стол, по которому разбросаны луидоры, фридрихсдоры и талеры, на столбики золота, когда они от лопатки крупера рассыпаются в горящие, как жар, кучи, или на длинные в аршин столбы серебра, лежащие вокруг колеса. Еще подходя к игорной зале, за две комнаты, только что я заслышу дзеньканье пересыпающихся денег, — со мною почти делаются судороги.

О, тот вечер, когда я понес мои семьдесят гульденов на игорный стол, тоже был замечателен. Я начал с десяти гульденов и опять с passe. К passe я имею предрассудок. Я проиграл. Оставалось у меня шестьдесят гульденов серебряною монетою; я подумал — и предпочел zéro. Я стал разом ставить на zéro по пяти гульденов; с третьей ставки вдруг выходит zéro, я чуть не умер от радости, получив сто семьдесят пять гульденов; когда я выиграл сто тысяч гульденов, я не был так рад. Тотчас же я поставил сто гульденов на rouge — дала; все двести на rouge — дала; все четыреста на noir — дала; все восемьсот на manque — дала; считая с прежним, было тысяча семьсот гульденов, и это — менее чем в пять минут! Да, в эдакие-то мгновения забываешь и все прежние неудачи! Ведь я добыл это более чем жизнию рискуя, осмелился рискнуть и — вот я опять в числе человеков!

Я занял номер, заперся и часов до трех сидел и считал свои деньги. Наутро я проснулся уже не лакеем. Я решил в тот же день выехать в Гомбург: там я не служил в лакеях и в тюрьме не сидел. За полчаса до поезда я отправился поставить две ставки, не более, и проиграл полторы тысячи флоринов. Однако же все-таки переехал в Гомбург, и вот уже месяц, как я здесь...

Я, конечно, живу в постоянной тревоге, играю по самой маленькой и чего-то жду, рассчитываю, стою по целым дням у игорного стола и *наблюдаю* игру, даже во сне вижу игру, но при всем этом мне кажется, что я как будто одеревенел, точно загряз в какой-то тине. Заключаю это по впечатлению при встрече с мистером Астлеем. Мы не видались с того самого времени и встретились

нечаянно; вот как это было. Я шел в саду и рассчитывал, что теперь я почти без денег, но что у меня есть пятьдесят гульденов, кроме того, в отеле, где я занимаю каморку, я третьего дня совсем расплатился. Итак, мне остается возможность один только раз пойти теперь на рулетку, — если выиграю хоть что-нибудь, можно будет продолжать игру; если проиграю — надо опять идти в лакеи, в случае если не найду сейчас русских, которым бы понадобился учитель. Занятый этою мыслью, я пошел, моею ежедневною прогулкою чрез парк и чрез лес, в соседнее княжество. Иногда я выхаживал таким образом часа по четыре и возвращался в Гомбург усталый и голодный. Только что вышел я из сада в парк, как вдруг на скамейке увидел мистера Астлея. Он первый меня заметил и окликнул меня. Я сел подле него. Заметив же в нем некоторую важность, я тотчас же умерил мою радость; а то я было ужасно обрадовался ему.

— Итак, вы здесь! Я так и думал, что вас повстречаю, — сказал он мне. — Не беспокойтесь рассказывать: я знаю, я всё знаю; вся ваша жизнь в эти год и восемь месяцев мне известна.

— Ба! вот как вы следите за старыми друзьями! — ответил я. — Это делает вам честь, что не забываете... Постойте, однако ж, вы даете мне мысль — не вы ли выкупили меня из рулетенбургской тюрьмы, где я сидел за долг в двести гульденов? Меня выкупил неизвестный.

— Нет, о нет; я не выкупал вас из рулетенбургской тюрьмы, где вы сидели за долг в двести гульденов, но я знал, что вы сидели в тюрьме за долг в двести гульденов.

— Значит, все-таки знаете, кто меня выкупил?

— О нет, не могу сказать, что знаю, кто вас выкупил.

— Странно; нашим русским я никому не известен, да русские здесь, пожалуй, и не выкупят; это у нас там, в России, православные выкупают православных. А я так и думал, что какой-нибудь чудак-англичанин, из странности.

Мистер Астлей слушал меня с некоторым удивлением. Он, кажется, думал найти меня унылым и убитым.

— Однако ж я очень радуюсь, видя вас совершенно сохранившим всю независимость вашего духа и даже веселость, — произнес он с довольно неприятным видом.

— То есть внутри себя вы скрыпите от досады, зачем я не убит и не унижен, — сказал я смеясь.

Он не скоро понял, но, поняв, улыбнулся.

— Мне нравятся ваши замечания. Я узнаю в этих словах моего прежнего, умного, старого, восторженного и вместе с тем циничеcкого друга; одни русские могут в себе совмещать, в одно и то же время, столько противоположностей. Действительно, человек любит видеть лучшего своего друга в унижении пред собою; на унижении основывается большею частью дружба; и это старая, известная всем умным людям истина. Но в настоящем случае,

уверяю вас, я искренно рад, что вы не унываете. Скажите, вы не намерены бросить игру?

— О, черт с ней! Тотчас же брошу, только бы...

— Только бы теперь отыграться? Так я и думал; не договаривайте — знаю, — вы это сказали нечаянно, следственно, сказали правду. Скажите, кроме игры, вы ничем не занимаетесь?

— Да, ничем...

Он стал меня экзаменовать. Я ничего не знал, я почти не заглядывал в газеты и положительно во всё это время не развертывал ни одной книги.

— Вы одеревенели, — заметил он, — вы не только отказались от жизни, от интересов своих и общественных, от долга гражданина и человека, от друзей своих (а они все-таки у вас были), вы не только отказались от какой бы то ни было цели, кроме выигрыша, вы даже отказались от воспоминаний своих. Я помню вас в горячую и сильную минуту вашей жизни; но я уверен, что вы забыли все лучшие тогдашние впечатления ваши; ваши мечты, ваши теперешние, самые насущные желания не идут дальше pair и impair, rouge, noir, двенадцать средних и так далее, и так далее, я уверен!

— Довольно, мистер Астлей, пожалуйста, пожалуйста, не напоминайте, — вскричал я с досадой, чуть не со злобой, — знайте, что я ровно ничего не забыл; но я только на время выгнал всё это из головы, даже воспоминания, — до тех пор, покамест не поправлю радикально мои обстоятельства; тогда... тогда вы увидите, я воскресну из мертвых!

— Вы будете здесь еще чрез десять лет, — сказал он. — Предлагаю вам пари, что я напомню вам это, если буду жив, вот на этой же скамейке.

— Ну довольно, — прервал я с нетерпением, — и, чтоб вам доказать, что я не так-то забывчив на прошлое, позвольте узнать: где теперь мисс Полина? Если не вы меня выкупили, то уж, наверно, она. С самого того времени я не имел о ней никакого известия.

— Нет, о нет! Я не думаю, чтобы она вас выкупила. Она теперь в Швейцарии, и вы мне сделаете большое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине, — сказал он решительно и даже сердито.

— Это значит, что и вас она уж очень поранила! — засмеялся я невольно.

— Мисс Полина — лучшее существо из всех наиболее достойных уважения существ, но, повторяю вам, вы сделаете мне великое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине. Вы ее никогда не знали, и ее имя в устах ваших я считаю оскорблением нравственного моего чувства.

— Вот как! Впрочем, вы неправы; да о чем же мне и говорить с вами, кроме этого, рассудите? Ведь в этом и состоят все наши воспоминания. Не беспокойтесь, впрочем, мне не нужно никаких

внутренних, секретных ваших дел... Я интересуюсь только, так сказать, внешним положением мисс Полины, одною только теперешнею наружною обстановкою ее. Это можно сообщить в двух словах.

— Извольте, с тем чтоб этими двумя словами было всё покончено. Мисс Полина была долго больна; она и теперь больна; некоторое время она жила с моими матерью и сестрой в северной Англии. Полгода назад ее бабка — помните, та самая сумасшедшая женщина — померла и оставила лично ей семь тысяч фунтов состояния. Теперь мисс Полина путешествует вместе с семейством моей сестры, вышедшей замуж. Маленький брат и сестра ее тоже обеспечены завещанием бабки и учатся в Лондоне. Генерал, ее отчим, месяц назад умер в Париже от удара. Mademoiselle Blanche обходилась с ним хорошо, но всё, что он получил от бабки, успела перевести на себя... вот, кажется, и всё.

— А Де-Грие? Не путешествует ли и он тоже в Швейцарии?

— Нет, Де-Грие не путешествует в Швейцарии, и я не знаю, где Де-Грие; кроме того, раз навсегда предупреждаю вас избегать подобных намеков и неблагородных сопоставлений, иначе вы будете непременно иметь дело со мною.

— Как! несмотря на наши прежние дружеские отношения?

— Да, несмотря на наши прежние дружеские отношения.

— Тысячу раз прошу извинения, мистер Астлей. Но позвольте, однако ж: тут нет ничего обидного и неблагородного; я ведь ни в чем не виню мисс Полину. Кроме того, француз и русская барышня, говоря вообще, — это такое сопоставление, мистер Астлей, которое не нам с вами разрешить или понять окончательно.

— Если вы не будете упоминать имя Де-Грие вместе с другим именем, то я попросил бы вас объяснить мне, что вы подразумеваете под выражением: «француз и русская барышня»? Что это за «сопоставление»? Почему тут именно француз и непременно русская барышня?

— Видите, вы и заинтересовались. Но это длинная материя, мистер Астлей. Тут много надо бы знать предварительно. Впрочем, это вопрос важный — как ни смешно всё это с первого взгляда. Француз, мистер Астлей, это — законченная, красивая форма. Вы, как британец, можете с этим быть несогласны; я, как русский, тоже несогласен, ну, пожалуй, хоть из зависти; но наши барышни могут быть другого мнения. Вы можете находить Расина изломанным, исковерканным и парфюмированным; даже читать его, наверное, не станете. Я тоже нахожу его изломанным, исковерканным и парфюмированным, с одной даже точки зрения смешным; но он прелестен, мистер Астлей, и, главное, он великий поэт, хотим или не хотим мы этого с вами. Национальная форма француза, то есть парижанина, стала слагаться в изящную форму, когда мы еще были медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французишка может иметь манеры, приемы, выражения и даже мысли вполне изящной формы,

не участвуя в этой форме ни своею инициативою, ни душою, ни сердцем; всё это досталось ему по наследству. Сами собою, они могут быть пустее пустейшего и подлее подлейшего. Ну-с, мистер Астлей, сообщу вам теперь, что нет существа в мире доверчивее и откровеннее доброй, умненькой и не слишком изломанной русской барышни. Де-Грие, явясь в какой-нибудь роли, явясь замаскированным, может завоевать ее сердце с необыкновенною легкостью; у него есть изящная форма, мистер Астлей, и барышня принимает эту форму за его собственную душу, за натуральную форму его души и сердца, а не за одежду, доставшуюся ему по наследству. К величайшей вашей неприятности, я должен вам признаться, что англичане большею частью угловаты и неизящны, а русские довольно чутко умеют различать красоту и на нее падки. Но, чтобы различать красоту души и оригинальность личности, для этого нужно несравненно более самостоятельности и свободы, чем у наших женщин, тем более барышень, — и уж во всяком случае больше опыта. Мисс Полине же — простите, сказанного не воротишь — нужно очень, очень долгое время решаться, чтобы предпочесть вас мерзавцу Де-Грие. Она вас и оценит, станет вашим другом, откроет вам всё свое сердце; но в этом сердце все-таки будет царить ненавистный мерзавец, скверный и мелкий процентщик Де-Грие. Это даже останется, так сказать, из одного упрямства и самолюбия, потому что этот же самый Де-Грие явился ей когда-то в ореоле изящного маркиза, разочарованного либерала и разорившегося (будто бы?), помогая ее семейству и легкомысленному генералу. Все эти проделки открылись после. Но это ничего, что открылись: все-таки подавайте ей теперь прежнего Де-Грие — вот чего ей надо! И чем больше ненавидит она теперешнего Де-Грие, тем больше тоскует о прежнем, хоть прежний и существовал только в ее воображении. Вы сахаровар, мистер Астлей?

— Да, я участвую в компании известного сахарного завода Ловель и Комп.

— Ну, вот видите, мистер Астлей. С одной стороны— сахаровар, а с другой — Аполлон Бельведерский; всё это как-то не связывается. А я даже и не сахаровар; я просто мелкий игрок на рулетке, и даже в лакеях был, что, наверное, уже известно мисс Полине, потому что у ней, кажется, хорошая полиция.

— Вы озлоблены, а потому и говорите весь этот вздор, — хладнокровно и подумав сказал мистер Астлей. — Кроме того, в ваших словах нет оригинальности.

— Согласен! Но в том-то и ужас, благородный друг мой, что все эти мои обвинения, как ни устарели, как ни пошлы, как ни водевильны — все-таки истинны! Все-таки мы с вами ничего не добились!

— Это гнусный вздор... потому, потому... знайте же! — произнес мистер Астлей дрожащим голосом и сверкая глазами, — знайте же, неблагодарный и недостойный, мелкий и несчастный

человек, что я прибыл в Гомбург нарочно по ее поручению, для того чтобы увидеть вас, говорить с вами долго и сердечно, и передать ей всё, — ваши чувства, мысли, надежды и... воспоминания!

— Неужели! Неужели? — вскричал я, и слезы градом потекли из глаз моих. Я не мог сдержать их, и это, кажется, было в первый раз в моей жизни.

— Да, несчастный человек, она любила вас, и я могу вам это открыть, потому что вы — погибший человек! Мало того, если я даже скажу вам, что она до сих пор вас любит, то — ведь вы всё равно здесь останетесь! Да, вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер и были человек недурной; вы даже могли быть полезны вашему отечеству, которое так нуждается в людях, но — вы останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка — это игра по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать... но мне страшно подумать, что может быть в будущем. Довольно, прощайте! Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах? Вот от меня вам десять луидоров, больше не дам, потому что вы их всё равно проиграете. Берите и прощайте! Берите же!

— Нет, мистер Астлей, после всего теперь сказанного...

— Бе-ри-те! — вскричал он. — Я убежден, что вы еще благородны, и даю вам, как может дать друг истинному другу. Если б я мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру, Гомбург и поедете в ваше отечество, — я бы готов был немедленно дать вам тысячу фунтов для начала новой карьеры. Но я потому именно не даю тысячи фунтов, а даю только десять луидоров, что тысяча ли фунтов, или десять луидоров — в настоящее время для вас совершенно одно и то же; всё одно — проиграете. Берите и прощайте.

— Возьму, если вы позволите себя обнять на прощанье.

— О, это с удовольствием!

Мы обнялись искренно, и мистер Астлей ушел.

Нет, он не прав! Если я был резок и глуп насчет Полины и Де-Грие, то он резок и скор насчет русских. Про себя я ничего не говорю. Впрочем... впрочем, всё это покамест не то. Всё это слова, слова и слова, а надо дела! Тут теперь главное Швейцария! Завтра же, — о, если б можно было завтра же и отправиться! Вновь возродиться, воскреснуть. Надо им доказать... Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком. Стоит только... теперь уж, впрочем, поздно, — но завтра... О, у меня предчувствие, и это не может быть иначе! У меня теперь пятнадцать луидоров, а я начинал и с пятнадцатью гульденами! Если начать осторожно... — и неужели, неужели уж я такой малый ребенок! Неужели я не понимаю, что я сам погибший человек. Но — почему же я не могу

воскреснуть. Да! стоит только хоть раз в жизни быть расчетливым и терпеливым и — вот и всё! Стоит только хоть раз выдержать характер, и я в один час могу всю судьбу изменить! Главное — характер. Вспомнить только, что было со мною в этом роде семь месяцев назад в Рулетенбурге, пред окончательным моим проигрышем. О, это был замечательный случай решимости: я проиграл тогда всё, всё... Выхожу из воксала, смотрю — в жилетном кармане шевелится у меня еще один гульден. «А, стало быть, будет на что пообедать!» — подумал я, но, пройдя шагов сто, я передумал и воротился. Я поставил этот гульден на manque (тот раз было на manque), и, право, есть что-то особенное в ощущении, когда один, на чужой стороне, далеко от родины, от друзей и не зная, что сегодня будешь есть, ставишь последний гульден, самый, самый последний! Я выиграл и через двадцать минут вышел из воксала, имея сто семьдесят гульденов в кармане. Это факт-с! Вот что может иногда значить последний гульден! А что, если б я тогда упал духом, если б я не посмел решиться?..

Завтра, завтра всё кончится!

# *НАБРОСКИ И ПЛАНЫ*
# *1864 — 1866*

## «БРАК» (РОМАН, ВМЕСТО «СОВР⟨ЕМЕННОГО⟩ ЧЕЛОВЕКА»)

Ч. умер, дети. Катя. Выходи хоть за писаря, аудитора. *Он* перебивает.

Брак. Она не подходит, не сходятся, неужели ж жизнь убил?

Начинает ее любить (характер княжны Кати), вся противуречье и насмешка. Звезда в городе. Губернатор за ней. Насмешки над мужем. Он ее тиранизирует. Она пробует быть женой; хозяйничает. [1]

Молодой князь. Непосредственное чувство. На горах поцелуй при всех. Отличилась! Она дома, обратилась было к нему, не слушает; убей; дуэль не состоялась, любит ее безумно (под замок), падает пред ней. Она рыдает. Высказывает ему же его добродетели и сколько она ему обязана и как *он* хорош, начнет патетически со слезами, а кончит насмешкой над ним же.

Наконец она бежала. Открыто разъезжает с ним. Он один со своей злобой. В цепи! Губернатор и все держат руки ей и князю. Князь увозит ее. (Губернаторская дочь.) Он один. Мать, которую он согнал для нее, та умирает. Он посмешище для всех. Тоска очищает его. Полтора года спустя идет в Петербург.

Во что вырождается князь. [2]

2-я часть. Ищет ее, находит (роман в этом, в приключениях). Она прячется, в доверенность. Она ветреничает. Тоска ее. Эксцентричность. Ей скучно. Он у ней и при ней христианин. Она сходит с ума. В больнице. Ходит к ней, воскресает. Обновилась в новой жизни. Умерла любя. Он *один* ⟨*нрзб.*⟩

Или судя по развитию:

3-я часть, где добил и умерщвляет ее.

Она ревнует его умирая (грациозно). Умирает с словом ему: «живи». [3]

---

[1] *Фраза:* Она ∾ хозяйничает. — *вписана на полях.*

[2] *Фраза:* Во что ∾ князь. — *вписана на полях.*

[3] *В правом верхнем углу запись:* Острота: в ней [душа] вместо души медный трехкопеечник,

«Ростовщик». Набросок незавершенного замысла. 1866 г.
Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

## РОСТОВЩИК

Два дурака (взаимно застрелиться).
Nero (артист).
Данилов, О. П.[1]
Офицер, Перебас.

---

[1] *Над строкой:* Черн⟨ышевский?⟩ *или* Черн⟨ышев?⟩

Старший хромой.

№3. Один Граф (Сол⟨логу⟩б) просит у него денег, даже угрожает. Тот долго над ним смеется и его мучает, *ломается*. Потом предлагает, что он даст денег, если он его введет в *высшее* общество. Граф соглашается и находит случай уладить дело. Несмотря на все *его* презрение и разочарование, на золотого царя Ротшильда, на близость самоубийства, он так взволнован, что учится перед *зеркалом*, как входить и проч. Вечер, fiasko. Vielgors⟨kij⟩. На другой день он не хочет давать денег графу. Смеется, дает ему 100 руб. и проч.

# ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ

(Стр. 5)

*Черновые записи (ЧЗ)*

*В «Несчастный случай»:*

Сначала генерал [1] говорил *ты* Пселдонимову, а потом надменно съехал на *вы*.

И однако ж: «А черт тебя возьми» проглядывало сквозь законный слой подобострастия, продавившийся на лице его.

*Пселдонимов* был жалкий чиновничек, решившийся пристроиться и выиграть кусок насущного хлеба.

Передайте ему (сказал генерал), что я не желаю ему зла. Скажу более: я даже готов забыть всё прошедшее... да, я готов...

## КРОКОДИЛ

(Стр. 180)

*Черновой набросок рассказа ($ЧН_1$)*

О муже, съеденном крокодилом

Говорит крокодил. Говорит муж оттудова с женою и свояченицею.

*Газета «Весть».* Надо действ⟨овать⟩ через Управу благочиния.

Не могу продолжать моей службы отечеству. Пенсию. Содержатель крокодила хочет получить пенсию лежебокой. Или чин.

*Черновой набросок отрывка IV главы рассказа ($ЧН_2$)*

Афимья Скапидарова сломала себе ногу. Кажется, этот пример мог бы побудить хозяев наших домов чинить свои лестницы, но прогресс туго проникает в наши национальные обычаи, несмотря

---

[1] *Далее зачеркнуто:* не

«Скверный анекдот». Страница черновых записей. 1861 г.
Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

на то что мы достаточно уже об этом говорили и недаром же мы называем себя Европой. Протест о Скапидаровой прекрасен и благороден, но ведь [1] написали ли это.

*Черновые наброски (ЧН₃)*

Неслыханное приключение или, вернее сказать: пассаж в Пассаже, состоящий в том, как некий почтенный господин пассажным крокодилом был проглочен живьем и что из этого вышло. *Семеном Захожим* доставлено.

Разумеется, я обладаю и некоторыми недостатками, о чем готовы засвидетельствовать даже самые яростные враги мои. [2]

---

[1] *Далее зачеркнуто:* верь же

[2] *Вместо:* о чем ∾ враги мои — *над строкой:* в чем готовы даже самые злейшие враги мои согласиться.

— Я отомщу! Давай издавать сатирический орган.

— Но я не могу, долг службы.

— Вздор! ты будешь!

(Не бедновато ли обо мне.)

Здоров, более, чем я стою! [1] — отвечал он угрюмо.

С тех пор, как я в крокодиле, всё мне представляется до того глупым, что я удивляюсь, как иное принимал за умное. Отчего это? Не может быть оттого, что я оглупел.

— Но может быть, ты сам поглупел.

— Вздор, я очевидно поумнел.

Не ходит публика.

Говорят, в журнале упала подписка.

Да, но ведь этим немца не утешишь. Немец сердится, что не ходит публика и требует, чтоб Иван Матвеевич пел Folichon под органом. (Чин препятствием.)

*Журнальные споры о крокодиле. «Волос» и «Известия».*

1) Не либерально утеснять животных.

2) Экономически обеспеченное лицо.

3) Даровые квартиры.

4) Существо проглоченное либеральнее проглотившего.

5) Эксплуатация крокодила.

6) Экономическ⟨ий⟩ принцип ассоциации.

7) Это всё вздор, в наш век никого не удивишь, требуется, так сказать, направление, а это уже ретроградство.

8) Мы бы и могли согласиться, но он лежебока.

9) Цивилизаторская палка немца и квиетизм русского чиновника. Квиетизм или лежебочество.

10) Сего млекопитающего.

11) Кладут яйцы спора; Кастельфидардо, наборщик.

12) Современная ассоциация крокодила с чиновником; впрочем, мы поговорим об этом, когда настанут новые экономические отношения и определятся отношения чиновников к крокодилу, а теперь это дает нам повод написать еще, 55-ю статью, об ассоциации рабочих во Франции.

13) Fandango.

14) Степанов.

15) «Чайник» — не гуманно и не мило.

16) «Искра» о казенных квартирах.

Ты можешь служить [2] примером, как какая-нибудь идея отражается на человеке рутинном, бездарном, пустом, на мещанине. Ведь ты стал нигилистом из самолюбия, боясь свистков. Ты досиживаешь, что само на яйцах высижено.

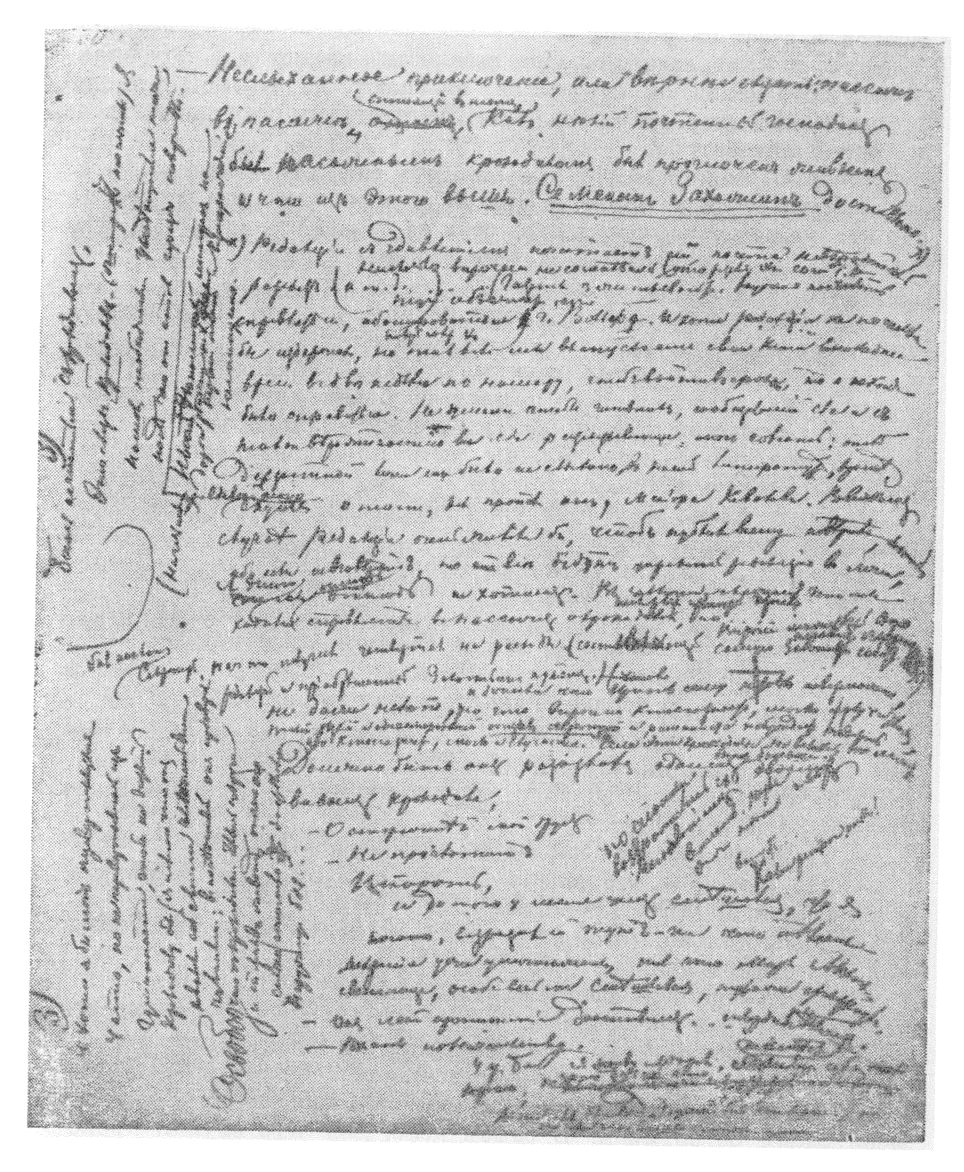
— Если хочешь знать всё, то крокодил — моя свобода.

— Ел ты что-нибудь сегодня?

---

[1] *Над строкой:* заслуживаю

[2] *Было:* быть



**«Крокодил». Страница черновых набросков рассказа. 1865 г.**

Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва)

— Сосал что-то, но это вздор. Поговорим лучше о деле.

Влюбляется в муттер. Немец сердится, ревнует, тычет его палочкой и везет на родину.

Сатирические газеты-с. Нет веселости, пахнет изо рту, как у желчного человека, нет мысли, не знают, на что нападать, и потому неравномерность нападения. Принуждены сосредоточиться на одной литературе.

Когда вылез:

— Примут ли на службу? Правда, меня показывали за деньги. Но кто же не показывает теперь себя за деньги?

— Я буду распространять естественные науки.

— Но ведь ты их не знаешь?

— Это ничего не значит. Я буду распространять, что надо изучать естеств⟨енные⟩ науки. К тому же я их знаю.

— Когда же ты успел выучить?..

— Я их знал, к тому, я могу сообщать многие сведения.

— Вы привесок к «Волосу»,[1] вы держитесь волосом и на «Волосе». След⟨овательно⟩, должны быть по возможности пусты, чтоб не оборвать «Волос».

— Постараюсь. Я утопил уж «Читальню». Он. Выдумал лекцию о воспитании.

Нигилисты. Читали: «Откуда», «Покуда», «Накануне», «Послезавтра», «Зачем», «Почему».

— Стало быть, вы ничего не читали. Это всё я написал. «Как?»

— То есть как-с?

— Роман «Как?»

*Нигилисты.* Узнай подробнее, в чем состоит сие пагубное учение. Что же такое нигилисты, никто не мог узнать; одни говорят, что в стрижении женских волос, другие — что в отрицании всего существующего на свете.

— Надо думать, что последнее справедливо.

— Но, однако ж, это нелепо. Ну как, н⟨а⟩прим⟨ер⟩, отрицать, что ты находишься в крокодиле.

— Разве только этого они отрицать не будут, но всё остальное для них трын-трава.

Достал стишки: «Офицер и нигилистка».

— С учением соглашаюсь.

— Но ведь написано, что она проводит жизнь в несчастье. [2]

— Это для соблюдения нравственности.

— Но остальное всё справедливо и, признаюсь, поражает меня своим остроумием. В самом деле, для чего служат крокодилы.

Стрижка волос.

Стрижи, стрижи.

---

[1] *Далее зачеркнуто:* следств⟨енно⟩

[2] *Вместо:* она ∾ в несчастье — *было:* она несчастна

Всё это мелькало.

Поищи-ка, не тут-ли нигилисты?

Дети.

№3. Если у гусей нет теток, стало быть, тетки — предрассудок.[1]

Да и вообще, вся Елена Ивановна есть только милая нелепость, и больше ничего.

Немец серьезно уже считает себя полковником.

«*Своевременный*». Впрочем, всё это не может объясниться раньше, чем настанут новые экономические отношения.

«Петербургский ⟨листок⟩» — Статья незначительная и без всякого направления! — заметил Ив⟨ан⟩ Мат⟨веевич⟩. Что же касается до разведения крокодилов в Павловске, то, сколько мне кажется, оно неудобоисполнимо; ибо, хоть оно и очень красиво, но испугает дам, что очень не комфортно среди дачной жизни.

(Естеств⟨енные⟩ науки)

Немец, показывая крокодила, вносит цивилизующие начала и несравненно полезнее Рафаэля.

«Родные выписки», привесок к «Волосу»

— Я уже утопил журнал «Читальню», утоплю и «Выписки».

— Да для чего же?

— Да для того, чтоб все подписчики «Выписок» устремились к «Волосу». Таким образом «Волос» длиннее станет.

— В самом деле, пресчастливая мысль! А что, утопите их в самом деле.

— Непременно, я с тем и взялся.

Я хотел ехать с милыми анекдотами, а он меня так встречает.

Теперь я могу мечтать об улучшении судьбы всего человечества и, наученный опытом, давать уроки.

Глава 3.

Необузданные проекты. Русский полковник. Поезжай к жене. У жены был утром. Много народу. На другой день: стихи на нигилистов. Что обо мне пишут. (Из «Петербург⟨ского⟩ листка».) Читай газеты. (Из газет.) №3. Высокомерие и некоторая боязнь, что намерения не сбудутся. Признаки ревности. Узнай в газетах.

Был в редакции «Волоса». Заболел. У него роль смирения. Боюсь сделаться нигилистом. Тоска о судьбе своей. Газеты — жалобы на деспотизм и на хозяев. Полная экспансивность и малодушное раскаяние. Как бы я служил. Сходи, умоляй.

Все газеты. Их отзывы. Полное разочарование. Увлечения Елены Ивановны.

Застал Зайцева. Нигилисты. Опять поднятие носа. Обращение в нигилиста. Тот его ломает и не сламывает.

Елена Ивановна загуляла.

---

[1] *Слова:* Стрижка ∾ предрассудок — *написаны сбоку слева.*

Елена Ивановна. Надоел мне ваш Иван Матвеевич. Не хочу. Я буду развода просить, потому что муж должен дома жить, а он живет в крокодиле. Мне говорят, что мне развод дадут, потому что он теперь жалования не получает. Всякий муж должен получать жалование. А он там баклуши бьет. И что он такое говорит, что его будут приносить ко мне [1] в гости сюда в ящике. Я не хочу, чтоб моего мужа носили в ящике. Это стыдно. Подите перескажите ему, коль хотите, теперь уж он ничего мне не сделает.

(NB. Но, имея любовника, обиделась, что муж позволил ей иметь любовника.)[2]

Изрыгновение.

После 1-го дня публичной выставки: *неблагородно как-то*.

Маркиз del Crocodillo или еще лучше: маркиз — что-нибудь двойное, эдак: маркиз Crocodillo del crocodillo. Жалобы на хозяина. Составляю ли я юридическую собственность. Боюсь, что срастусь.

Немец тычет палочкой.

Распускает нюни. Плачет, малодушничает, просит хоть па половинном окладе.[3]

Crocodillo — слово итальянское; croquer.[4]

Совершенно пустой. Буду приходить читать газеты. Чтение газет.

— Будь я на месте начальства, я бы тоже подумал.

— Наша русская Евгения Тур.

*Чин полковника.*

Карамзин⟨ский⟩ слог. Крокодил пустой. Боюсь стать нигилистом. Самое лучшее время моей жизни. Я добр от природы, но не могу не раздражаться при неестественности (описание характера). Люди дикие любят независимость и т. д. Ему хочется поверить, что он Сократ.

Трагическое так же смешно, как и комическое. Боюсь смешного. Русская Евг⟨ения⟩ Тур. Просьбы и совещания. Чтение газет. Полковник. Не перевертываюсь от гуманности. Боюсь смешного. Самое лучшее время моей жизни. Я могу быть светилом смирения и проч. Вопрос: Я ли принадлежу крокодилу, или крокодил мне?

Боюсь сжиться с крокодилом.

NB. Заболел через три дня. Сократ и блаженный.

Дружеские излияния, характер. Боюсь, что скажут, что это на министров. Теперь крокодила можно не кормить несколько лет.

---

[1] *Вместо:* его будут ∾ ко мне — *было:* его будут мне приносить

[2] *Текст:* Елена Ивановна ∾ любовника.) — *вписан поперек листа в левом верхнем углу.*

[3] *Текст:* После 1-го дня ∾ окладе. — *находится в левой нижней части листа.*

[4] едок, пожиратель *(франц.)*.

Я же от него получаю питание. Таким образом, мы взаимно питаем друг друга. К удивлению моему, он совершенно пустой. Я полагал, что у него есть желудок, но ничего этого нет. Это совпадает с его прожорливостью, ибо он весь — желудок. [1]

Я был нигилист поневоле. Всякий нигилист — нигилист поневоле. Не примкнуть ли мне к почве? Чем хозяин крокодила ниже Мурильо? Я боюсь, чтоб не подумали, что это что-нибудь на министров или на каких-нибудь лиц.

— Э, как можно, ведь они же люди...

— Друг мой, ты бестолков, а я сужу по себе, будь я на месте начальства, я бы то же подумал.

Иной современно-прогрессивной мокрицы. Если крокодил либерален.

«Теймс» решает, что нам нужно среднее сословие, стало быть, капитал и права капитала, стало быть, буржуазия, стало быть, привилегия, — а без того не будет и финансов. Ну-с, надо и крокодильщику дать привилегию.

Если проглотившее существо либеральнее проглоченного. Карамзинский слог. Такие общие места. Но из сострадания не возражал. Он заметил это и отвечал мне весьма грубо.

— Как глуп ты, Семен Иванович, если б я искал зелень, я бы более горевал теперь. Тебе бы надо было радоваться, если ты, как ты говоришь, друг мне, потому что я менее несчастен в таком расположении. Это счастливейшее время моей жизни. Что такое философ? Слово «философ» у нас на Руси есть слово бранное и означает: дурак. Укройтесь в малинник и напейтесь на ночь. Тот век видел Александра Андреевича Чацкого. Наш век видел Андрея Александровича Краевского.

Крокодил совершенно пустой. Это невероятно, и полагаю, что он тут прихвастнул из тщеславия, чтоб показать, что он более знает, чем все философы и натуралисты.

— Я, напротив, приношу пользу! 1) Я мо́гу сообщать факты о крокодиле. 2) Увеселяю публику. 3) Доставляю выгоду.

*Кастельфидардо.* О слове «вспороть», чтоб либеральнее. А я думал, что вы говорите, чтоб анатомическим инструментом.

Вы ⟨*нрзб.*⟩.

Журнал «Чайник» («Будильник»). «Головешка».

Чиновник в должности. Вот посмотрите (передает лист «Будильника»). Утеснять так собой крокодила. Крокодилам. Помилуйте, а Польша? «Волос» хоть и тонок, зато ум короток (Катков).

Зайка маленький бежит,  
Зайка маленький кричит:  
Ах, большущий крокодил,  
Почему не уходил.

---

[1] Дружеские излияния ∾ желудок. — *отрывочные записи сбоку.*

Приходил фельетонист «Русс⟨кого⟩ инвалида». Кто знает фельетониста «Русс⟨кого⟩ инвалида»? Никто не знает фельетониста «Русского инвалида».

Но не стесняясь этим обещанием...

Потом перевернулся, полагая, что желудок его не переварил.

Друг и товарищ детства. Телячьи нежности. Гм, глупая и сладенькая причина. Друг и товарищ детства. Я не понимаю, что такое товарищ детства; да и что такое детство? Отсутствие хряща, недостаток фосфора в мозгу.

Встретил нигилиста...

Вы как экономически обеспеченный человек представляете пункт зависти.

Эксплуатация крокодила.

Не гуманно совсем и не мило
Утеснять так собой
Эксплуатировать так крокодила.
И пришлось крокодилу не в мочь,
Дай же руку подняться помочь.

Милюков в рассказы. Зверинец (обезьян немцы всяких показывают).

Кормить извозчиков крокодилами.

Для-ча... и пошла лягаться кобыленка задними ногами.

В долину слез гражданства
Ударила гроза,
У всех сирот казанских
Заискрилась слеза. [1]
И так обильны слезы,
Что вышел целый пруд.
Ударили морозы,
Каток устроен тут. [2]
И ездят офицеры,
Студент, поэт, хирург,
Салонные моншеры,[3]
Заезжий праздный турк.

— Я чувствую, наконец, что это (в крокодиле) нормальное мое состояние. Никогда еще я не был более счастлив и спокоен духом, как теперь, удаленный от всех предрассудков. Я спрашиваю тебя, к чему зелень?

---

[1] *Вместо:* Заискрилась слеза — *было:* Течет своя слеза.
[2] *Далее зачеркнуто:* Скользят
[3] *Далее зачеркнуто:* Салонный

— Но, друг мой...

— Я спрашиваю тебя, к чему зелень?

— Но мне приятно глядеть на нее!

— Почему, зачем тебе это приятно? На каком основании. Во-первых, зелень зелена только в твоих глазах, а сама по себе она не интересуется никаким цветом, а во-вторых, не всё ли равно, где разумная причина, где выгода?

— Но выгода именно в том, что мне приятно! [1]

— От этого ты сыт?

— Нравственно сыт.

— Так что проживешь и без хлеба?

— Нет.

— А след⟨овательно⟩, на кой черт твоя выгода?

— Да ведь выгода не в одном хлебе. Одного хлеба мало для счастья.

— Для меня нужна только одна сигара, а всё прочее — вздор.

— Ну, а я говорю, что всё прочее — дело, а твоя сигара — вздор!

— Для чего зелень?

— Так лучше бы было, если бы всё было, н⟨апример⟩, желтое или темно-лиловое.

— Совершенно всё равно.

— Всё равно?

— Всё равно. Нужна только одна сигара.

Я плюнул и ушел оттудова.

— И к чему ты тратишь свои четвертаки каждый раз, чтоб меня видеть?

— Но ведь я друг тебе.

— Глупости. Ты бы мог пообедать или выпить лишнюю бутылочку. Ты не понимаешь собственных интересов.

— Дети доверчивы, милы, прекрасны, невинны.

— Коли доверчивы, значит глупы.[2]

Крокодил и чиновник.

Опять приходил В — в. Вероятнее всего, что он и сам не знает, зачем он приходит, и страшно был бы благодарен тому, кто бы ему разрешил, зачем он приходит.

3-я глава. Чиновник-начальник, разговор с Фед⟨ором⟩ Федоровичем. Крокодил пустой: я пойду его посмотрю, я пойду (bis).

Конечно, этим шагом моим я не хочу его обнадеживать. Но... я так посмотрю, как частное лицо (вообще начальник считает его чем-то виноват⟨ым⟩). И наконец, согласитесь, какая компания: связаться с крокодилом, с чудовищем.

---

[1] *Далее зачеркнуто:* Разве это выгода?

[2] *Фразы:* Дети ∾ глупы. — *находятся посредине листа, слева, рядом с текстом.*

— Но ведь это сделано не умышленно-с.

— Бог знает! А впрочем... оно, конечно, может быть, не совсем умышленно, но ... Я посмотрю, я увижу... (Лежи на боку.)

3-я глава. Боится до крайности стать нигилистом.

— Вор! ... (и потом: вы сказали, он нигилист?)

— Нет, боится только.

— А! боится, все-таки это не обнадеживает. (Дело замять. Еще что из этого выйдет!).

*Посетитель*. Это всё вздор... В наш век никого не удивишь. Требуется, так сказать, направление. А это уже ретроградство (лежебока).

Приходил Извойников.

Приходил литератор (Лаубе сообщил свои убеждения и что потом скажет свою фамилью.)

Приходил гаденький чиновник (на нигилистов). Племянница. Просил содействия к помещению. Приходил Квашнин-Самарин 3 rouble-d'argent. Приходил Лев Камбек. Краевс⟨кий⟩ и Загуляев (газета «Волос»). Совпадает с квиетизмом. «Русское слово». Приходил поэт со стеклышком в глазу. Сего млекопитающего (в «Голосе»). В «С.-Петерб. ведом.» (Кладут яйца.) Пародия на Кастельфидардо. (Это вы из либерализма.)

(В крокодиле: когда же настанут новые экономические отношения?)

(И мне кажется даже, что это самое лучшее время моей жизни.)

(Но всего замечательнее, что Матрена Петровна действительно завела любовника, а рассердилась, когда муж посоветовал ей любовника.)

И всё это направление — что-то бледное, больное, плешивое, лазаретное.[1]

Fandango.

Отчего ты кусаешь?

На бреге Нила [2]
Я наскучила мужчиной ...

или

Крокодила я звала,
Грешным телом отдалась.
Он хвостом ударил в[3] воду, [4] обвил.
А я млела, млела, млела,
И зубами в мое тело
Сладострастно он впился.

Вот с тех пор кусаю я.

---

[1] *Фраза:* И всё это ∾ лазаретное. — *вписана поперек левой стороны листа.*

[2] *Далее начато:* Ракушек прибрежных

[3] *Далее зачеркнуто:* реку

[4] *Далее зачеркнуто:* ⟨*нрзб.*⟩ крокодил обвился

Остро́ты без зубов, всё тот же бесконечный г. Степанов. До какой степени пошлые люди пошло принимают учение.

(А вот готовлю прошенье, чтобы жену по этапу.)

— А гуманность?

— Какая гуманность? Всякий живет для себя.

— Зачем тебе нужна?

— Она мое имя марает.

— А! имя? А где же либерализм? Ты стоишь за настоящий порядок.

— Так и должен делать всякий. Я должен стоять за то, чтоб мне было как можно выгоднее, и если общество сознает о выгоде других экономических отношений, мы и соединимся на равных правах.

— Да ведь нужно знать, в чем настоящая выгода? А не захочет?[1]

— Принудим.

— Ты стоишь за принуждение?

— Разумеется. Крепкая и сильная администрация — 1-е дело. Кто же пойдет сам собою в крепостное рабство?

Никто лучше не может знать, что мне выгоднее. Выгоднее мне всего я, я сам.

И прелестен, [2] и ужасен,
Безобразием прекрасен.
Он от них тотчас отвык
(Услыхав призыв)
Полон бешеного счастья [3]
И в порыве лютой страсти,
Пеня воду, прибежал.

*Сенора*

Всем бы взяли вы, сенора,
Но, лаская горячо,
Вы хидальгу [4] Никанора
Укусили за плечо.[5]
Правда, это в миг прекрасный,
Это в миг любви и неги страстной, [6]
Но зачем так горячо?

Между ракушек прибрежных [7]
В неге страстной и мятежной

---

[1] *Далее зачеркнуто:* И не надо.
[2] *Было:* прекрасен
[3] *Было:* В исступленьи сладострастья
[4] *Вариант:* Cabalero
[5] *Далее было начато:* Для чего же Вам кусаться? Что за прихоть, что за страсть! Но ласкать ведь так
[6] *Далее было начато:* Но уж слишком не
[7] *Далее зачеркнуто:* С думой полной

Я долиной Нила шла,[1]
И в тревоге дум ужасных,
Безобразных и прекрасных,
В тревоге страстной
Крокодила позвала.

Помня ласки крокодила,
Я кусаю за плечо.

Я к мужчине, cabalero
Отнеслась так горячо
И - - Нила,
Вспоминая крокодила,
Укусила за плечо.

Мой любезный cabalero,
Не в меру Эспартеро,[2]
Cabalero, Эспартеро,
Я люблю тебя не в меру
И кусаю за плечо.

Экспедиция воротилась с неподдельным негодованием.

Сотрудник Игдев обещал доставить в редакцию по сему поводу учено-полемическую статью. Но редакция, справедливо опасаясь, что статья сия будет направлена против «Современника», прилично отказалась от статьи. [3] Естествоиспытатель Косица. Но он ответил, [4] что это может быть только где-нибудь на планетах пока, но не в Пассаже и что всё это только пассаж в Пассаже, но не более. И хоть редакция не верит ничему, но весьма желала бы, чтоб публика поверила.

Не имея статьи для 1-го №, я сделал то, что всякий бы сделал на моем месте, а именно присвоил себе, подписал под ним мое имя и отправил в типографию. Таким образом я достиг 2 выгоды, а именно: если сочинение найдете хорошим, то, стало быть, похвала будет относиться ко мне. Если же дурным, то я прямо скажу, что это не я написал, а кто-нибудь, а я только подписал. Одушевленный этой прекрасной идеей, я отправился в редакцию, но редакция нашла нужным сделать следующую оговорку, которую и привожу ниже.

А теперь прямо начинаю дневник.

Милост⟨ивый⟩ государь, ⟨*2 нрзб.*⟩ будут доставлять.

Неслыханное приключение, или вернее сказать: пассаж в Пассаже, состоящий в том, как некий почтенный господин пассажным

---

[1] *Далее было начато:* И наскучивши напрасно, в пылу

[2] *Текст:* Между ракушек ∾ Эспартеро — *находится сбоку справа.*

[3] *Далее зачеркнуто:* Глотают ли на план⟨етах⟩.

[4] *Вместо:* что это может быть ∾ но не более — *было:* что он может только решить: глотают ли своих сотрудников крокодилы на планетах, но о Земле еще надо сообразить.

крокодилом был проглочен живьем и что из этого вышло. *Семеном Захожим* доставлено.

Редакция с удивлением печатает сей почти невероятный рассказ, нисколько, впрочем, не сомневаясь, что рассказ этот сочинен г. Д⟨остоевским⟩. Газеты зачитываются. Нужно посылать справляться, абонировать ли у г. Вольфа. И хотя редакция не пожалела бы издержек, но так как мы выпускаем свои книги в последнее время в две недели по номеру, чтоб войти в сроки, то и некогда было справиться. Не думаем, чтоб чиновник, сообщивший сие и с такой вероятностию всё сие рассказывающий, мог солгать: такой дерзостной лжи еще было не слыхано в нашей литературе, кроме правдивой истории [1] о том, как пропал нос у майора Ковалева. Во всяком случае редакция очень желала бы, чтоб публика всему поверила, ибо если не поверит, то все будут упрекать редакцию во лжи. А этого мы отнюдь, отнюдь не хотим. Впрочем, может быть, это перевод с французского?

В заключение скажем, что мы ходили справляться в Пассаж о крокодилах, но... Был послан секретарь, на что получил четвертак на расходы (составляющий самую законную собственность редакции и приобретенный законным путем), и донесли, что верить сему не только невозможно, но даже нелепо, но что, впрочем, кто его знает, могло и случиться. Такой резкий и односторонний отзыв секретарей и романиста побуждает печатать, ибо, кто его знает, могло и случиться. Если эти крокодилы не велики, то может быть больше.

Такой резкий и решительный приговор показался нам многознаменательным, вследствие чего мы решили печатать, единственно с той оговоркой, что это не те крокодилы.

Все-таки вселили в нас светлую надежду, что крокодил нет-нет и проглотит кого-нибудь целиком и таким образом оправдает своим поступком редакцию. [2]

Должно быть, он разозлил одним своим видом крокодила.

— Осторожней, мой друг.

— Не проглотит.

Посланники возвратились с негодованием. Естественные науки. Даже некоторые говорят: Вспороть. Какое ретроградство.

— Вспороть.

И до того у меня ум смешался, что я, помню, возразил ей тут же, что телесные наказания уже уничтожены, так что Марья Алексеевна, свояченица, особа весьма смешливая, тут же фыркнула.

— Он мой пропитание доставляет, — твердил немец.

Ехать по начальству. ... Я жив и здоров и покамест чувствую себя хорошо, [3] не знаю дальше, что будет.

---

[1] *Вместо:* правдивой истории — *было:* слухов

[2] *Текст:* Такой резкий и решительный ∾ поступком редакцию. — *вписан на следующем листе рукописи.*

[3] *Далее зачеркнуто:* как только может чувствовать себя хорошо,

Но так как для входа нужен был четвертак, то публики и не вошло много.

И хотя я бы мог перевертываться часто, но не перевертываюсь из гуманности, чтоб не доставить крокодилу боль. Я полагаю, что он хвалился своими человеколюбивыми чувствами: впоследствии он проговорился, что с крокодилом делались судороги и спазмы в животе, отчего его сильно сжимало и доставляло наружную боль...[1]

Боюсь сжиться с крокодилом.

Это слезы крокодиловы (сострил начальник). Я нашел необходимым усмехнуться тоже, после чего он стал гораздо сговорчивее.

(Начальник.) Нынче экономический интерес на первом плане и вознаграждение неминуемо.

Дорога решена на Харьков.[2]

Крокодил и чиновник.

Я добр от природы, но не могу не раздражаться при неестественностях.

(Карамзинский слог.) Ледрю-ролленовского чего-нибудь подпустите.

Главное либеральнее. Отыщите либеральную черту и воспользуйтесь ею. Я упру на гуманность. Книгопродавцы дают деньги. *Записки из Крокодила.*

Карикатура г. Степанова (генерал и дворник), стих «Искры» Всеволода Крестовского (отличаются пылкостью) в «Сыне отечества». Восточный квиетизм чиновника несравненно ниже цивилизаторской палки немца и его супруги.

*Зайцев*: Вы не имеете права требовать от него даже жизни. К тому же вы, наверно, почернели, а след⟨овательно⟩, стали похожи на негра, и след⟨овательно⟩, должны уступить высшей расе западноевропейца.

— Вантрилок ⟨?⟩

— И прилично ли ему, как какому-нибудь юноше, в его летах идти и осматривать крокодила (а впрочем, я желал бы тоже посмотреть). Да, я знал его, он был всегда легкомыслен. Вообще в этом трудно сообразиться. Примера не было.

— Да ведь и крокодила живого не было...

— Да! Если хотите, это справедливо и может служить даже точкой опоры, что с появлением живых крокодилов ... Командировать же чиновника в недра крокодила для каких-нибудь особых поручений и невозможно-с и ... и нелепо-с. Согласитесь сами: какие могут быть туда поручения?

---

[1] *Текст:* И хотя ∾ боль... — *вписан поперек листа в левой нижней части.*

[2] *Текст:* Боюсь ∾ на Харьков. — *вписан поперек листа в левой верхней части.*

— Для естественного, так сказать, изучения-с. Нынче всё пошли естественные науки ... И для сообщения фактов-с.

— Т. е. это по части статистики ... Ну, это уже я не знаю. Я не философ. Мы и без того завалены фактами, по правде сказать, не знаем, что с ними делать. Притом же эта статистика опасна. Вы знаете: я исполнитель. Я бы *душою* рад, но ... [1] Нынче лежа на боку нельзя служить-с, и я начальника беспокоить не стану-с. Прежде всего спешу вас предуведомить, что я вам в этом деле сторона. Прежде всего возьмите во внимание, что я не начальство, я человек частный, Андрей Осипович — в, подавать и ходатайствовать по начальству об этом факте не намерен. Это только личное мое мнение. Осип Федорович числится за границей — ну и довольно с него. Пусть осматривает европейские земли. Не было примера-с. Пример небывалый-с, новый. Надобно время сообразиться. И так уж обличают нас в «Ведомости», прилагая к нам мужицкую пословицу, что у бабы волос долог, а ум короток. Это на нас, это прямо на нас. Этой пословицей они хотели щегольнуть народностью.

— А я хочу-с не издавать «Волос», чтоб все говорили обратное, т. е. что у бабы ум долог, а волос короток.

— Т. е. у нас, а не у бабы.

— Ну да, у нас, разумеется. Не у бабы же... Да и нейдут к бабе короткие волосы.

— Вы всё возражаете, [2] так либеральнее, прошу вас.

— Итак, ты спокоен.

— Люди дикие любят независимость, люди мудрые ищут спокойствия.

Ему хочется показать, что он Сократ. Слышал тоже, что Кузьма Прутков хочет писать по поводу этого приключения повесть под названием «*Лиза и медь*».

(Это не совсем вероятно, потому что Кузьма Прутков умер еще третьего года, о чем благородным образом известил в «Современнике» тогда же собственный племянник его поручик Вескобойников 2-й, и приложено было посмертное сочинение его: «Опрометчивый турка... или Приятно ли быть внуком».)

— Лучше уж: у волоса ум долог, а у бабы ум короток.

— Ну да... именно ... только как же у волоса ум? Какой же у волоса ум? А по-моему, лучше, у «Волоса» ум долог.

— Нет, у бабы.

— Ну, я, по правде, не литератор, а вы знаете народность, как-нибудь поболтайте, только либеральнее, либеральнее.

— Ступайт. Влезайт опять ... Але, марш!

— Но, однако ж, как легко принимает рутина известные убеждения, с какой хитростью присваивает их к своим подлым

---

[1] *Далее было*: И потом

[2] *Далее зачеркнуто:* и хотите показать вашу образованность

наклонностям и как расчетливо пользуется. Он ел бифштекс, я боялся его, а в крокодиле я уже не боялся.

N3. Сделали членом Геогр⟨афического⟩ общества, потому что быть в недрах важнее, чем открыть истоки Нила.

Не глист, нигилист. Сначала-то был глист, а потом нигилист.

N3. Wiesb⟨aden⟩.

Трагическое так же смешно, как и комическое, боюсь смешного.[1]

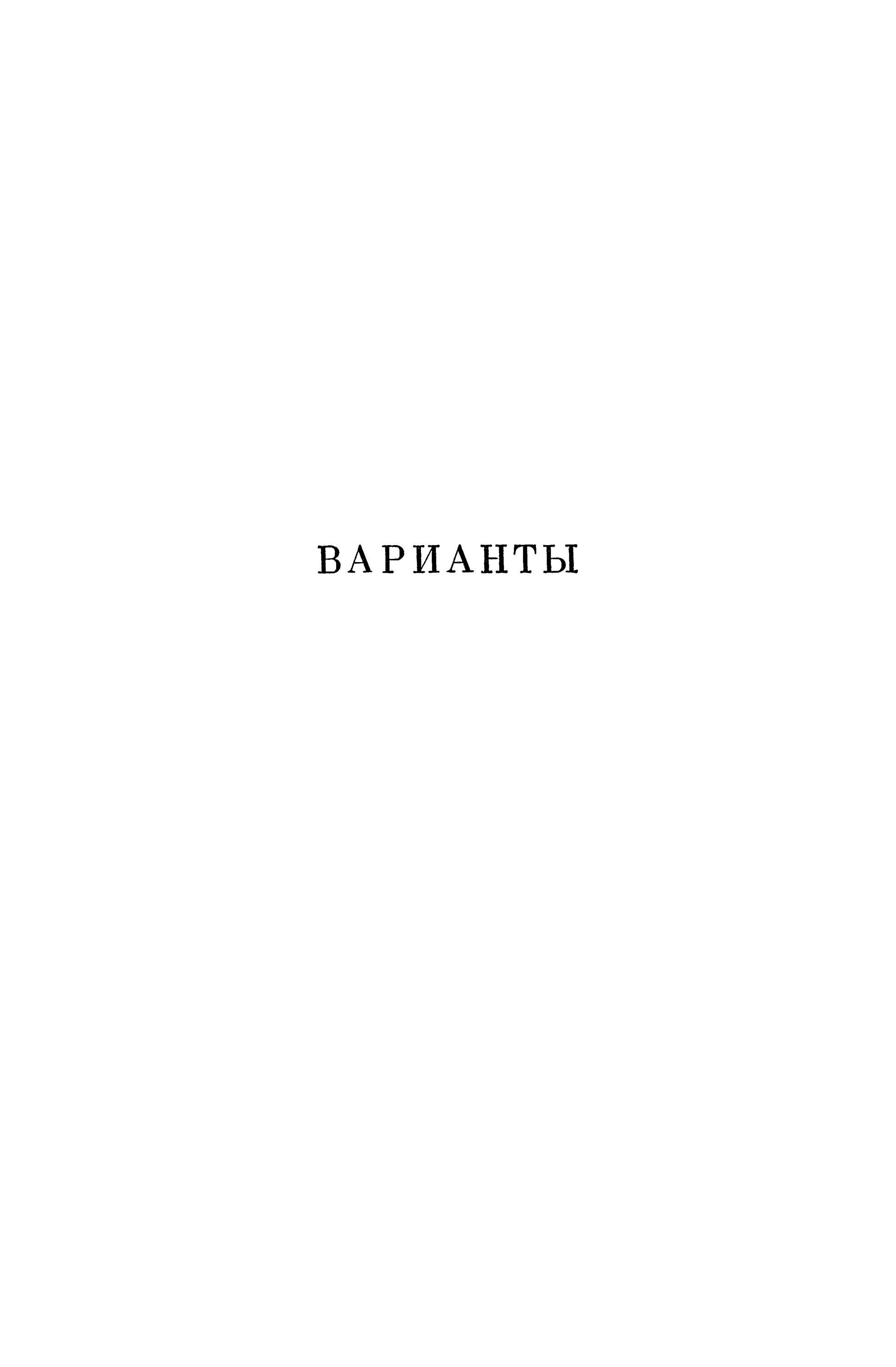
Сначала нигилистка: Я пришла спросить у вас о структуре ⟨?⟩ крокодила. Скажите мне, как вы думаете об эманципации и верите ли в бога, и, наконец, что бишь я хотела спросить? Да! Вы читали «Подводный камень»?

— Мне надо просмотреть три труда. И дома меня ждут в ящике.

— Я приду.

---

[1] *Фраза:* Трагическое ∾ смешного. — *вписана поперек левой стороны листа.*



# ВАРИАНТЫ

## СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ

(Стр. 5)

*Варианты прижизненных изданий (Вр)*

*Стр. 6.*

3–4 и систематическое одиночество / и в систематическое одиночество
4 он и бывает / он и бывал
31 понадобилось жильца / надобилось жильца
46–47 о его превосходительстве / и о его превосходительстве

*Стр. 7.*

19 весьма делового / весьма деловитого
32 называя себя / называл себя

*Стр. 8.*

20–21 гуманность первое дело / гуманность, гуманность первое дело

*Стр. 10.*

15 Он действительно / Он девствительно

*Стр. 11.*

11 мы встречаем, например / мы встречаем, например, с вами

*Стр. 13.*

33 а я вы-дер-жу / а я, я вы-дер-жу

*Стр. 18.*

19–20 таил от нас, отнекивался / таил от нас и отнекивался

*Стр. 19.*

37 точно на смотру / отрывисто, точно на смотру

*Стр. 20.*

17 во что бы ни стало / во что бы то ни стало

*Стр. 21.*

4–5 поздравьте вином / проздравьте вином
32 выпейте и поздравьте / выпейте и проздравьте

*Стр. 27.*

27 они и забыли / они и позабыли

*Стр. 28.*

1 он держал / он уж держал

*Стр. 29.*

16 одно к другому / одно к одному

*Стр. 35.*

19 Пселдонимовых осталось / Пселдонимовых оставалось

*Стр. 36.*

28 бедствовавшая лет десять / бедовавшая лет десять

*Стр. 40.*

43 взяв лично на себя ответственность / взяв лично на себя всю ответственность

*Стр. 41.*

19–20 которые ушли до копейки / которые все ушли до копейки

## ЗИМНИЕ ЗАМЕТКИ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

(Стр. 46)

*Варианты прижизненных изданий (Вр)*

*Стр. 46.*
1–2 *После:* Зимние заметки ∽ впечатлениях — Фельетон за всё лето
6 мои заграничные впечатления / все мои заграничные впечатления
20–21 в два с половиною месяца / только в два с половиною месяца

*Стр. 49.*
36 будет с ошибками / будет с большими ошибками

*Стр. 54.*
3 Дело-то я буду делать / Дело-то буду делать

*Стр. 63.*
26 ничего никогда не случится / ничего никогда не будет и ничего не случится

*Стр. 67.*
25 даже озабоченным видом / даже несколько озабоченным видом

*Стр. 68.*
37 Как-то тянет к тому / Как-то, знаете, тянет к тому

*Стр. 69.*
42 отчего-то становится страшно / отчего-то действительно становится страшно

*Стр. 72.*
26 испитую и избитую / испитую и, кажется, избитую

*Стр. 76.*
2–3 везде то же самое / везде то же, то же самое

*Стр. 82.*
10 лучше его и нет ничего / лучше его уж и нет ничего

*Стр. 83.*
18 первая и главная свобода / первая и самая главная свобода

*Стр. 87.*
23 объявляет всей Франции / объявляет назавтра всей Франции

*Стр. 89.*
24 стало вдруг смешно / стало вдруг ужасно смешно

## ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

(Стр. 99)

*Варианты прижизненных изданий (Э)*

*Стр. 99.*
28 В этом отрывке / В этом первом отрывке
30 В следующем отрывке / В следующих отрывках
31 *После:* его жизни. — Таким образом, этот первый отрывок должно считать как бы вступлением к целой книге, почти предисловием.

*Стр. 100.*
15 в минуту / в минуты

*Стр. 106.*
3 Как будто / И как будто

*Стр. 107.*
4 и народных начал / и от народных начал
7 не принесет стонами / не принесет своими стонами

*Стр. 124.*

2 По поводу мокрого снега / Повесть по поводу мокрого снега

41 ненавидел свое лицо / ненавидел мое лицо

*Стр. 129.*

37 *После:* Письмо было так сочинено, — было так благородно

46–47 благодарю всевышнего / благодарю всевышнего за это

*Стр. 130.*

47 Разумеется / **Ну**, разумеется

*Стр. 131.*

43 с первого разу, зря / с первого разу, вдруг, зря

47 *После:* я ль не намеревался, — я ль не примеривался, я ль не прицеливался

*Стр. 138.*

6–7 кивая на меня / кивая на меня головой

*Стр. 139.*

42 от глупости / от глупости, от неопытности

45 напускной циничности / наружной напускной циничности

*Стр. 141.*

33 в мутную мглу / в мутную, желтую мглу

*Стр. 145.*

14–15 гусар Коля / гусарик Коля

*Стр. 147.*

7 не обращали внимания / не обращали на меня никакого внимания

*Стр. 150.*

46 вскликнул я / вскрикнул я

*Стр. 151.*

21 Где же они / Где, где же они

21 спросил я кого-то / спросил я у кого-то

31 Я оглядывался / Я оглядывался кругом

*Стр. 155.*

36 Уж никогда / Уж никогда теперь

*Стр. 157.*

46 али простить / али его простить

*Стр. 161.*

11 что судьбу свою / что всю судьбу свою

*Стр. 162.*

5–6 игра увлекла меня / игра увлекала меня

*Стр. 166.*

14 и увидал / и вдруг увидал

33 И как мало, мало / И как мало, как мало

*Стр. 171.*

23 вдруг покраснела / вдруг ужасно покраснела

*Стр. 174.*

20 никогда тебе не прощу / никогда, никогда тебе не прощу

*Стр. 176.*

6 невероятно быть / что невероятно быть

# КРОКОДИЛ

(Стр. 180)

*Варианты прижизненных изданий*

*Стр. 180.*

1–7 Крокодил ~ и что из этого вышло / Необыкновенное событие,[1] или Пассаж в Пассаже, справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка, и что из этого вышло. *Семеном Стрижовым* доставлено.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

Редакция с удивлением печатает сей почти невероятный рассказ единственно в том уважении, что, может быть, и действительно всё это как-нибудь там случилось. В рассказе объясняется, что какой-то господин, известных лет и известной наружности, был проглочен находящимся в Пассаже крокодилом, весь без остатка, и не только остался после этого жив, но даже прожил в крокодиловых недрах невредимо и, по-видимому, охотно две недели; был в это время посещаем праздной и склонной к увеселениям публикой, входил в разговоры с посетителями, хлопотал о пенсии, часто переменял свое направление (и физически, т. е. переворачиваясь с боку на бок, и нравственно, в смысле поведения) и под самый конец, от праздности и от досады, стал философом. Такая отъявленная дичь была бы, разумеется, неестественна, если б чрезвычайно искренний тон автора не склонил редакцию в свою пользу. Кроме того, с величайшей подробностию цитуются почти все газетные статьи, даже стишки, даже яростная полемика, явившиеся в свет по поводу проглоченного господина. — Доставлен весь этот вздор в редакцию г-ном Федором Достоевским, ближайшим сотрудником и членом редакции, но настоящий автор рассказа до сих пор неизвестен. Однажды, в отсутствие г-на Достоевского из дому (по делам, до читателя не относящимся), явился в его квартиру некоторый неизвестный человек и оставил на его столе рукопись с небольшим письмом от себя, но без подписи. В письме этом он кратко, но напыщенно рекомендует свое сочинение и просит предать его гласности, напечатав в «Эпохе». Так как рассказ тоже никем не подписан, то редакция и уполномочила Федора Достоевского, для виду, подписать под ним свое имя и в то же время, в видах справедливости, изобрести приличный псевдоним и неизвестному автору. Таким образом, неизвестный автор и назван был Семеном Стрижовым — неизвестно почему. Что же касается до г-на Достоевского, то он с охотою подписал свое имя, справедливо рассуждая, что если повесть сия понравится публике, то ему же будет лучше, потому что подумают, что он сочинил; если же не понравится, то стоит ему только сказать, что не он сочинил, — и дело в шляпе.

Редакция не скрывает, впрочем, от публики одного чрезвычайно важного обстоятельства, именно: сколько она ни старалась, как ни разыскивала хоть чего-нибудь, что могло бы пролить какой-нибудь свет на это неслыханное пассажное происшествие, — ничто не помогало! Никто, решительно никто ни слова не слыхал и не читал о чем-нибудь, хоть капельку на это похожем, хотя и оказалось, что пассажных крокодилов многие ходили смотреть. Одним словом, проглоченного живьем господина, к величайшему сожалению и к величайшей досаде редакции, совсем не оказывалось. Пробовала редакция разыскать те номера газет и в них те статьи, которые были указаны автором; но, к удивлению своему, скоро приметила, что и газет с такими названиями у нас не имеется. В такой крайности нам оставалось

[1] Эта шутка не имеет ни малейшей связи с романом того же автора, о котором мы упоминали в объявлении об издании «Эпохи» в текущем году и который надеемся у нас напечатать в конце года.

только одно: всему поверить и решить, хотя и поневоле, но зато по совести, что незнакомец, сообщивший рукопись, не мог солгать и, стало быть, всё сообщенное им справедливо. Так мы и сделали, но тут же долгом считаем заявить, что если, на случай, всё это ложь, а не правда, то более невероятной лжи до сих пор еще не бывало в нашей литературе, кроме разве того всем известного случая, когда у некоего майора Ковалева однажды утром сбежал с лица его собственный нос и расхаживал потом в мундире и в шляпе с плюмажем в Таврическом саду и по Невскому. Во всяком случае редакция очень желала бы, чтобы и публика тоже всему поверила; ибо если она не поверит, то, стало быть, будет упрекать редакцию во лжи, — а это уж нам неприятно.

И однако же, — говорим искренно, хотя и не без смущения, — нашлись и в самой редакции люди, горячо восставшие на нас за то, что мы решились поверить такой (будто бы) отъявленной мистификации. С яростию обвиняло нас это меньшинство, несмотря на то, что мы сделали всё, что от нас зависело, для оправдания такого невероятного происшествия в глазах публики. Не оценив достаточно наших усилий, они кричали, очевидно удаляясь от предмета, что рассказ неизвестного не только противоречит естественным наукам, но даже и анатомии, что проглотить человека известных лет, может быть, вершков семи росту и, главное, образованного — невозможно крокодилу, и т. д., и т. д. — всего не перечтешь, что они накричали, да и не стоит, тем более что большинство голосов было в пользу редакции, а уж решено, что ничего нет лучше принципа большинства голосов для узнания истины. Тем не менее редакция, чтоб исполнить свой долг во всей добросовестности, склонило свое ухо и к этим возгласам. Немедленно из среды ее были командированы четыре непременных ее члена для отыскания правды в Пассаже. Требовалось от них, чтобы все они, в совокупности, вошли в крокодильную, познакомились с крокодилами и разыскали бы всё сами на месте. Командированные были: оба секретаря редакции, с портфелем и без портфеля, один критик и один романист. Не жалея издержек, редакция вручила каждому из них для уплаты за вход в крокодильную по четвертаку. Все четвертаки составляли неотъемлемую собственность редакции и были приобретены ею законным путем, без какого бы то ни было посредства какой-либо другой редакции.

Командированные члены возвратились все через час в величайшем негодовании. Мало того, не хотели даже говорить с нами, вероятно от досады, и смотрели все в разные стороны. Наконец, побежденные усиленно ласковым обращением редакции, согласились прервать молчание и объявили прямо, но всё еще довольно грубо, что нечего было их и посылать в Пассаж, что тут с первого взгляда видна вся нелепость, что крокодил не может проглотить целиком человека, но что, кто его знает, может быть, оно и могло как-нибудь там случиться. Такой резкий и даже, можно сказать, односторонний приговор сначала не на шутку взволновал редакцию. Тем не менее всё очень скоро и окончательно уладилось. Во-первых, если, «может быть, оно и могло как-нибудь там случиться», то, стало быть, и действительно могло случиться; а во-вторых, по исследованиям бывших в командировке оказалось ясным, что в рассказе неизвестного говорится отнюдь не о тех всем известных крокодилах, которые показываются теперь в Пассаже, а о каком-то другом, постороннем крокодиле, который тоже будто бы показывался в Пассаже, прожил в нем недели три или четыре и, как явствует из рассказа, увезен обратно на свою родину в Германию. Сей же последний крокодил, конечно, мог быть и больше и вместительнее теперешних двух крокодилов, а следственно, отчего ж бы он не мог проглотить известных лет господина, и тем более образованного?

Такое соображение окончательно разрешило все недоумения редакции. Главное — она победоносно отстояла повесть и печатает ее, хотя бы и очень могла без нее обойтись, имея уже достаточный комплект статей и ровно столько листов, сколько ею было первоначально обещано публике для каждого номера «Эпохи», но, не стесняясь этим обещанием, редакция прибавляет и эти лишние листы. Если уж завелись на свете «лишние люди», почему же не случиться в журнале и лишним листам?

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО СОЧИНИТЕЛЯ К Ф. ДОСТОЕВСКОМУ

Милостивый государь, спешу сообщить Вам, как члену редакции журнала «Эпоха», историю об одном из самых необыкновенных и даже, смею сказать, невероятных событий, которое может обогатить оригинальностью не только одну вашу «Эпоху», но даже и всю нашу эпоху. Прошу вас немедленно предать его гласности.

*Неизвестный сочинитель.*

ИСТОРИЯ О НЕОБЫКНОВЕННОМ СОБЫТИИ

*Стр. 185.*
9–10 я имел удовольствие / я и имел удовольствие

*Стр. 190.*
9 капиталы заведутся / капиталы большие заведутся

*Стр. 191.*
21 у меня в голове / в моей голове

*Стр. 198.*
2 одними великими идеями / одними этими великими идеями

*Стр. 203.*
13 и слышать / и слушать

# ИГРОК

(Стр. 208)

*Варианты наборной рукописи ($НР_1$ и $НР_2$)*

*Стр. 259.*
11–12 могла наделать каких-нибудь / *а.* наделает тоже каких-нибудь *б.* может наделать каких-нибудь ◇
16 пуант / pointe
17 Пуант, бабушка / Pointe, бабушка, — отвечала Полина
18 Ну пуант, так пуант / Ну pointe, так pointe
26 Тоже ведь / Она тоже ведь
28–29 Одна-то и нос на улицу / Она одна и нос-то на улицу
38 повторял Де-Грие генералу / шепнул Де-Грие генералу
39 *После:* fera des bêtises — nous devoir garder...
45 довольно эксцентрично / несколько эксцентрично
45 было чинно / было довольно чинно

*Стр. 260.*
18 Генерал был очень уныл / Генерал был озабочен и даже уныл
31 Лакей, стоявший / Лакей, стоящий

*Стр. 317.*
42–43 *Текст:* Надо им доказать... Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком. — *вписан.*
47 неужели уж я такой малый ребенок / неужели я маленький

*Стр. 317—318.*
48–1 что я сам погибший человек ∽ воскреснуть / *Начато:* что говорю! Вспомнить только

*Стр. 318.*
3 и я в один час ∽ изменить / я и могу в один час воскреснуть из мертвых
8 еще один гульден / еще гульден
13 будешь есть / буду есть ◇
17 я не посмел решиться?.. / я не решился?.. Завтра всё кончится!



# ПРИМЕЧАНИЯ

В пятый том входят художественные произведения, опубликованные в 1862—1866 гг.: «Скверный анекдот» (1862), «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863), «Записки из подполья» (1864), «Крокодил» (1865) и «Игрок» (1866). Кроме того, в томе помещены наброски и планы неосуществленных художественных произведений, относящихся к данному периоду. В разделе «Подготовительные материалы» печатаются сохранившиеся рукописные тексты к «Скверному анекдоту» и «Крокодилу». Подготовительные наброски к сатирическому стихотворению «Борьба нигилизма с честностью» (1873—1874 ), в том числе первая его редакция, озаглавленная «Офицер и нигилистка», которая относится к 1864—1865 гг., печатаются в XV томе. Роман «Преступление и наказание», задуманный и написанный в 1865—1866 гг., и все рукописные материалы, отражающие историю его создания, помещены в двух следующих — VI и VII томах.

Тексты произведений, опубликованных при жизни Достоевского, печатаются по последнему прижизненному изданию (*1865*), остальные — по автографам с устранением ошибок и неточностей прежних публикаций.

1862—1866 гг. были переломными в истории общественного движения шестидесятых годов, которое достигло высшей, критической точки в первый момент после отмены крепостного права, а затем под напором жестоких правительственных репрессий пошло на спад. Усиление политической реакции происходило на фоне развития буржуазных отношений в стране, обнищания широких народных масс.

Положение личности, жизнь общества и народа осложнялись в этих исторических условиях новыми социальными и морально-этическими аспектами и требовали разработки адекватных художественных методов их воплощения. Будучи писателем большого общественного темперамента, Достоевский стремился к прямому, публицистическому выражению своих идей, к борьбе за привлечение единомышленников. Вернувшись к литературному труду после длительного перерыва, он стал мечтать о журнальной трибуне.

Пребывание на каторге привело Достоевского к имевшему важное последствие для всей его дальнейшей деятельности выводу, что народ считает своими врагами «дворян», к которым относит всех образованных людей вне зависимости от того, крепостники они или революционеры, и коренным образом отличается от них по своему нравственному складу. Первоначальное развитие размышления Достоевского на эту тему получили в «Записках из Мертвого дома». На основе выводов, сделанных писателем из отраженных там размышлений, выросла теория «почвенничества», ставшая идеологической платформой «Времени» (1861—1863) и «Эпохи» (1864—1865).

Приступая к изданию журнала «Время», Достоевский надеялся сделать его независимым органом, призванным объединить вокруг себя все жизнедеятельные силы русского общества, которое пока что «ни к чему не готово», в силу того что «оно разъединено», для решения центральной, с точки зрения писателя, проблемы — преодоления разрыва между образованными сословиями и народом.

Опыт Западной Европы, которая путем революций пришла к торжеству буржуазии, поправшей лозунг «свобода, равенство, братство», некогда начертанный на ее знаменах, утвердил Достоевского в убеждении, что Россия должна идти иным путем, избежав как революции, так и буржуазного строя жизни. Перед русскими деятелями, полагал Достоевский, стоит задача добиться нравственного возрождения всех членов общества. Полемизируя с революционерами-демократами, он в записной книжке (1863—1864) писал: социалисты «заключают, что, изменив насильно экономический быт его (человека, — *Е. К.*), цели достигнут. Но человек изменится не от *внешних* причин, а не иначе как от перемены *нравственной*».

Носителем высшего нравственного начала Достоевский считал русский народ. В объявлении об издании журнала «Время» на 1863 г. перед образованной частью общества была поставлена цель «соединиться с народом вполне и как можно крепче», «нравственно стать с ним как одна единица».

В результате в условиях конкретной общественно-политической борьбы этого периода Достоевский то приближался к лагерю «Современника», то оказывался в стане его противников и идейных антагонистов. Достоевский не соглашался с тем, что в жизни народа в 1860-е годы начался новый период развития, чреватый революцией. Психологию русского народа и его моральные устои, вырабатывавшиеся веками, писатель ставил в зависимость от христианских идеалов, из которых «вырастет — как он полагал — братство». Особенной остроты полемика Достоевского с «Современником» достигла после ареста Чернышевского в 1862 г. и перемены состава редакции журнала.

В произведениях настоящего тома, создававшихся в атмосфере наивысшей активности Достоевского — литературного критика, публициста, вдохновителя журналов «Время» и «Эпоха», преломлялись в своеобразной художественной форме многие идеи, которые он пропагандировал в статьях того же периода.

В личной биографии писателя 1862—1866 гг. были годами одиночества, материальной нужды, тягостных утрат и разочарований. Умерла первая жена Достоевского, ушел из жизни любимый брат и помощник в практической журнальной деятельности Михаил Михайлович. После неуспеха «Эпохи» и ее закрытия Достоевский, который взял на себя долги брата и заботы о его семье, подвергался преследованиям кредиторов и оказался без средств к жизни. Драматически складывались его отношения с А. П. Сусловой, закончившиеся разрывом. Отказом выйти замуж за писателя ответила на его предложение А. В. Корвин-Круковская. Только осенью 1866 г. Достоевский получил надежду на семейное счастье, познакомившись с А. Г. Сниткиной, ставшей вскоре его женой и верным помощником.

В произведениях 1862—1866 гг. отразились события общественно-политической жизни России этого периода, раздумья Достоевского над судьбами Запада и России, сложные обстоятельства его личной биографии,

Хотя крепостное право было отменено, реформа, коснувшаяся только юридического и в определенной мере экономического положения русского общества, не привела, да и не могла, с точки зрения Достоевского, привести к глубокому нравственному перелому. Эта оценка писателем пореформенной действительности достаточно ясно выражена в рассказе «Скверный анекдот».

Основой для «Зимних заметок» послужили впечатления первой поездки Достоевского за границу, его остро критическое восприятие жизни буржуазной Европы. «Записки из подполья» отражали процесс формирования философской концепции автора. «Крокодил» был ярким документом общественно-литературной полемики, которую вел Достоевский в период «Эпохи». События частной жизни Достоевского улавливаются в сюжетных ситуациях «Игрока».

Произведения, входящие в том, разнообразны и по своим жанровым особенностям: «Скверный анекдот» — рассказ, продолжающий в какой-то степени традицию физиологических очерков натуральной школы и примыкающий к таким произведениям Достоевского 1840-х годов, как «Ползунков» и «Слабое сердце», но в то же время сближающийся новыми для автора элементами гротеска с сатирой Щедрина; «Зимние заметки о летних впечатлениях» — путевые очерки с ярко выраженной философско-публицистической окраской; «Записки из подполья» — своеобразная, насыщенная острой аналитической мыслью философская повесть-«парадокс»: сформулированные в первой части и приведенные в столкновение с «живой жизнью» во второй ее части тезисы обнаруживают свою шаткость и несостоятельность; «Крокодил» — сатирическая пародия, продолжающая в художественной форме темы журнальной публицистики Достоевского; наконец, «Игрок» — повесть о современном русском человеке, его «незавершенности», противоречиях его кипучей и страстной натуры, написанная в форме исповеди героя.

Несмотря на жанровое разнообразие, все эти произведения при их последовательном изучении позволяют обнаружить органическую непрерывность художественных поисков Достоевского, результатом которых было создание его больших социально-философских романов 1860—1870-х годов.

О создании романа Достоевский мечтал еще в 1840-х годах. «Неточка Незванова» была первым опытом в этом роде, оставшимся, однако, незаконченным из-за ареста и ссылки автора. Получив возможность печататься, Достоевский снова вернулся к прежнему намерению написать большой роман, о чем он не раз упоминал в письмах из Семипалатинска 1856—1859 гг. (см. наст. изд., т. III, стр. 490—492). После «Записок из Мертвого дома» и «Униженных и оскорбленных» опытом исканий в ином направлении явились «Записки из подполья», задуманные как психологический роман-биография героя, рассказанная им самим (см. ниже, стр. 377—378).

Этот замысел и насыщенные идеологическим материалом повести начала 1860-х годов вплотную подвели Достоевского к работе над «Преступлением и наказанием», где анализ картин «текущей» русской действительности, ее социальных и нравственных проблем объединился с огромной силой проникновения в глубины человеческого духа, широтой и мощью философской мысли.

Тексты данного тома подготовила Е. И. Кийко. Ею же написаны примечания и данная вступительная статья. В подготовке тома к печати принимала участие Г. В. Степанова.

Редактор тома — Е. И. Покусаев.

## СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ

(Стр. 5)

### Источники текста

*ЧЗ* — Черновые записи, озаглавленные Ф. М. Достоевским: «в „Несчастный случай“»; предварительные наброски к тексту. 1 л. Хранятся: *ГБЛ*, ф. 93, I.2.6, с. 64 (записная книжка 1860—1862 гг.); см.: *Описание*, стр. 118. Опубликовано: *ЛН*, т. 83, стр. 138.
*Вр*, 1862, № 11, отд. I, стр. 299—352.
*1865*, том II, стр. 171—192.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано во *Вр*, 1862, № 11, с подписью: Федор Достоевский (ценз. разр. — 12 ноября 1862 г.).

Печатается по тексту *1865* с устранением явных опечаток, а также со следующими исправлениями по *Вр:*

*Стр. 5, строки 19—20:* «который он никогда» вместо «которого он никогда».

*Стр. 5, строка 26:* «кушали чай» вместо «кушать чай».

*Стр. 8, строка 27:* «не могу» вместо «не мог».

*Стр. 11, строка 21:* «вот он и будет» вместо «вот и будет».

*Стр. 11, строка 33:* «отрывочно и бессвязно» вместо «отрывисто и бессвязно».

*Стр. 14, строка 28:* «мигом все ободрятся» вместо «потом все ободрятся».

*Стр. 19, строка 20:* «гости пошевеливались» вместо «гости пошевелились».

*Стр. 20, строки 7—8:* «не за красоту» вместо «за красоту» — по контексту (ср. также стр. 36, строки 40—43; стр. 37, строки 3—8).

*Стр. 22, строка 28:* «конфузливый» вместо «конфузный».

*Стр. 24, строка 45:* «она в своем праве» вместо «она во всем праве».

*Стр. 26, строка 26:* «всегда различите» вместо «различите».

*Стр. 32, строка 37:* «будто бы» вместо «как будто бы».

*Стр. 36, строка 47:* «возле маиньки» вместо «возле маменьки».

*Стр. 42, строка 4:* «незлобивые увещания» вместо «незлобливые увещания».

Первоначальное название — «Несчастный случай». Так озаглавлены предварительные наброски к тексту, сделанные в записной книжке (*ЧЗ*), среди страниц, заполненных планами переработки «Двойника», что позволяет датировать эту запись 1861 г. (см. наст. изд., т. I, стр. 485). Написан был рассказ, очевидно, осенью 1862 г., после возвращения Достоевского из-за границы.

При переиздании в *1865* текст подвергся незначительной стилистической правке.

В «Скверном анекдоте» Достоевский коснулся вопросов, оживленно обсуждавшихся в русской публицистике того времени в связи с отменой крепостного права.

Центральной в рассказе является фигура генерала Пралинского, считающего себя гуманным человеком и приверженцем новых либеральных идей. Однако случившееся с ним подтвердило предсказание «ретрограда», тайного советника Никифорова, что Пралинский «не выдержит» принятой на себя роли.

О том, что либеральные идеи «деловых» людей никак не соответствуют их «натуре», обнаруживающейся в поступках, которые противоречат принципам гуманизма, Достоевский уже писал в заметке «Образцы чистосердечия» (*Вр*, 1861, № 3). Образ Пралинского перекликается также и с сатирическими зарисовками деятелей эпохи реформ в «Сатирах в прозе» (1859—1862) Салтыкова-Щедрина. Особенно близки к герою из рассказа Достоевского Зубатов и Удар-Ерыгин. Очерк «К читателям», где названные персонажи «сконфузились» и вынуждены были объявить себя либералами, напечатан был во 2-м номере «Современника» за 1862 г., т. е. несколькими месяцами ранее, чем «Скверный анекдот». Впоследствии Салтыков-Щедрин создал героя (Вася Чубиков из мартовской хроники за 1864 г. «Наша общественная жизнь»), во взглядах которого произошла та же эволюция, что и у Пралинского. Не выдержав показного либерализма, Вася Чубиков воскликнул: «дисциплина, дисциплина и дисциплина» (*Салтыков-Щедрин*, т. VI, стр. 305—306). Пралинский же в финале «Скверного анекдота» твердил: «Нет, строгость, одна строгость и строгость» (ср.: *ЛН*, т. 83, стр. 41).

Следует отметить фразеологическую близость начальной фразы рассказа Достоевского и первых строк незавершенного романа Л. Толстого «Декабристы», где иронически характеризована эпоха подготовки реформ.

Работа над названным романом, три главы которого были опубликованы в 1884 г., началась в конце 1863 г. (см.: *Толстой*, т. 17, стр. 7; 469—470), т. е. год спустя после появления «Скверного анекдота». Ретроспективно оценивая атмосферу, царившую в России после вступления на престол Александра II, Толстой, так же как Достоевский и Салтыков-Щедрин, высмеял «порывы» либеральной части русского общества того времени.

Подчеркнув в «Скверном анекдоте», что высшая бюрократическая знать и консервативного, и либерального направлений в равной степени озабочена только тем, чтобы при проведении реформ иерархическая сущность отношений в обществе осталась неизменной, Достоевский занял позицию, близкую к «Современнику».

В то же время и в этом рассказе Достоевский продолжал полемику, которую он вел с революционно-демократическим, «обличительным» направлением в своих публицистических выступлениях.

Так, в написанном им объявлении об издании журнала «Время» в 1863 г. было сказано, что редакция отвергает «гнилость иных наносных осадков и исконной грязи», что она «рвется к обновлению» не меньше, чем «обличители», которые нападают на народ «за его грязь и уродство», но вместе с грязью редакция журнала «Время» не хочет выбросить «золото» и видит «спасенье в почве и народе», в то время как «обличители» народ «про себя презирают».

Объясняя там же общественную позицию редакции, Достоевский писал: «Мы, может быть, несравненно дальше и глубже идем, чем они, обличители наши, доказывая, что в иных *естественных* началах характера и обычаев земли русской несравненно более здравых и жизненных залогов к прогрессу и обновлению, чем в мечтаниях самых горячих обновителей Запада, уже осудивших свою цивилизацию и ищущих из нее исхода» (*Вр*, 1862, № 9, стр. 7).

В «Скверном анекдоте», как и во многих произведениях Достоевского 1840-х годов, изображена чиновничья среда. Однако конфликт между «его превосходительством» и «маленьким чиновником», «рублях на десяти в месяц жалованья», здесь приобрел большую социальную остроту. Псевдонимов

утратил черты безропотной покорности, свойственные Макару Девушкину («Бедные люди») и Васе Шумкову («Слабое сердце»): в его поведении чувствуется внутренняя вражда к генералу Пралинскому. В черновых записях к рассказу Достоевский подчеркнул ненависть Пселдонимова к его начальнику: «„А черт тебя возьми“ — проглядывало сквозь законный слой подобострастия, продавившийся на лице его» (см. стр. 322). Образ «маленького человека» обрисован в рассказе в тонах сурового реализма. По верному замечанию исследователя, трагикомический контраст между иллюзиями российского либерализма 1860-х годов (которые в известной мере в 1860—1861 гг. разделял и сам автор) и реальной жизнью с ее «нелепым и страшным кошмаром» «определяет структуру рассказа: ступенчатую композицию с катастрофическим провалом героя, а также всю атмосферу действия, напоминающую постыдное сновидение...» (*Назиров,* стр. 11). Художественно-идеологическое построение рассказа и его наименование «Скверный анекдот» удивительно точно выражают дух той эпохи русской жизни, которую Салтыков-Щедрин охарактеризовал как «эпоху конфуза» (*Салтыков-Щедрин,* т. III, стр. 266—267). Единственное светлое лицо в рассказе — мать Пселдонимова, простая русская женщина, бесконечно добрая и самоотверженная. Ее образ в какой-то мере предваряет образы Лизы («Записки из подполья») и Сони Мармеладовой («Преступление и наказание»). В «Записках из подполья» получил дальнейшее развитие и самый жанр рассказа-«парадокса», намеченный в «Скверном анекдоте», рассказа, в котором сталкиваются и противопоставляются друг другу отвлеченная логика и жизнь с ее сложным трагизмом.

Образ старика Млекопитаева явился новым вариантом «злого шута» типа Фомы Опискина («Село Степанчиково»), причем многие черты характера этого героя предвещали будущего человека «из подполья». Самая фамилия этого персонажа уже встречалась у Достоевского в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (*Вр,* 1861, № 1; см. наст. изд., т. XVIII). Здесь упоминается «некий муж по прозвищу Млекопитаев», который, живя за ширмами, «целую жизнь искал себе места и целую жизнь голодал с чахоточною женою, с худыми сапогами и голодными пятерыми детьми».

О преемственной связи рассказа «Скверный анекдот» с произведениями Достоевского 1840-х годов, а также об отражении в нем социально-политической обстановки начала 1860-х годов см.: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. Изд. «Наука», М., 1972, стр. 123—125. Особенно важно наблюдение В. С. Нечаевой о повторении в «Скверном анекдоте» ситуаций «Двойника», отнесенных, однако, теперь не к «бедному чиновнику», а к «генералу», что подчеркивает снисходительно-ироническое отношение автора к этому своему герою (внутреннее беспокойство и страх, ощущаемые Пралинским перед посещением квартиры Пселдонимова, задержка его на крыльце и т. д.).

В. С. Нечаева отметила также, что фамилия «Пселдонимов», возможно, представляет переделку фамилии «Псевдонимов», которую носит поэт в фельетоне (юмористическом разборе четырех книг Г. Гейне в переводе разных авторов), принадлежащем перу Д. Д. Минаева и помещенном в журнале братьев Достоевских «Время» (1861, № 1, отд. III, стр. 66—82).

Несмотря на очевидные художественные достоинства и актуальность темы, «Скверный анекдот» при жизни писателя не привлек внимания критики, если не считать беглого упоминания об этом рассказе, «замечательном блестящею отделкою», в статье Н. Н. Страхова «Наша изящная словесность», посвященной первому собранию сочинений Достоевского (*ОЗ,* 1867, № 2, стр. 553).

Стр. 7. ... *называя себя парлером...* — т. е. болтуном (франц. parleur).

Стр. 9. ...*нового вина и новых мехов...* — В Евангелии от Марка сказано: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые» (гл. II, ст. 22).

С т р. 11. *Насчет розог, гм... вопрос нерешенный...* — В 1859 г. Н. И. Пирогов, будучи в то время попечителем Киевского учебного округа, одобрил «Правила», допускающие сечение гимназистов розгами. Вступивший с Пироговым в полемику Добролюбов настаивал на отмене телесных наказаний не только в гимназиях, но и по отношению к крестьянам (см. его статьи «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», 1860 — *Добролюбов,* т. VI, стр. 7—32 — и «От дождя да в воду» — т. VII, стр. 133—160). В записной книжке Достоевского (1860—1862 — см. наст. изд., т. XVIII) сохранился набросок задуманной им и предназначавшейся для «Времени» полемической статьи против «Современника». Поддерживая требование об отмене телесных наказаний, Достоевский в то же время упрекал Добролюбова в неоправданной, по его мнению, резкости нападок на Пирогова. Статья Достоевского о Пирогове не была написана, напечатанная же во «Времени» (1862, № 4, Критическое обозрение, стр. 1—26) анонимная рецензия на собрание литературных и литературно-педагогических сочинений Н. И. Пирогова свидетельствует, что редактор журнала готов был согласиться с Добролюбовым, осудившим Пирогова (об этом см.: Г. М. Ф р и д л е н д е р. Новые материалы из наследия художника и публициста. *ЛН,* т. 83, стр. 102—103). После освобождения крестьян от крепостной зависимости необходимость пересмотра карательной системы возникла с особой остротой. Тогда же опять был поставлен вопрос об отмене телесных наказаний, обсуждавшийся в различных ведомствах и в печати. Не отменив полностью телесных наказаний, правительство издало закон от 17 апреля 1863 г., вводящий некоторые ограничения в их применение.

С т р. 13. *...последний день Помпеи...* — Герой рассказа пользуется здесь в переносном смысле названием картины К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» (1833), на которой изображены повергнутые в ужас фигуры жителей этого античного города, гибнущих от внезапно обрушившегося на них извержения вулкана.

С т р. 15. *Галантир* — холодное заливное из рыбы, мяса или дичи.

С т р. 15. *Бламанже* — вернее: бланманже (от франц. blanc — белый, manger — кушать, кушанье) — желе из молока с миндалем и сахаром.

С т р. 16. *...шен де дам, балансе!* (франц. chaîne de dames, balancez — букв.: цепь (или вереница) дам, переступайте с ноги на ногу (покачивайтесь)) — здесь: одна из фигур кадрили.

С т р. 17. *...гарун-аль-рашидское нашествие...* — Гарун по прозвищу Аль-Рашид, т. е. справедливый, — калиф, совершавший, по преданию, ночные прогулки по Багдаду, во время которых знакомился с жизнью подданных. После смерти (809 г.) стал героем различных песен и цикла сказок «Тысяча и одна ночь».

С т р. 20. *Шарме* (франц. charmé) — очарована.

С т р. 22. *Новый сонник-с есть-с, литературный-с.*— В шуточном «Соннике современной русской литературы», написанном Н. Ф. Щербиной в 1855—1857 гг. и распространявшемся во множестве списков, об И. И. Панаеве (1812—1862), журналисте, писателе и критике, соредакторе Некрасова по «Современнику», сказано: «Панаева Ивана во сне видеть — предвещает залить новый жилет кофеем или купить у Лепретра полдюжины голландских рубашек...» и пр. (Н. Ф. Щ е р б и н а. Полное собрание сочинений, СПб., 1873, стр. 332).

С т р. 22. *...новый лексикон издается, так, говорят, господин Краевский будет писать статьи...* — Речь идет об «Энциклопедическом словаре, составленном русскими учеными и литераторами». Первый том этого издания вышел в 1861 г. под редакцией стяжавшего себе славу издателя-эксплуататора А. А. Краевского, что вызвало возмущение в литературных кругах. В письме к И. С. Тургеневу от 17 сентября 1860 г. П. В. Анненков, отметив «огромное невежество Краевского», сообщил, что «на него опрокинулись пасквили, насмешки, позорные изобличения» (Труды Публичной библиотеки СССР им. Ленина, вып. III, 1934, стр. 96). Иронические выпады по поводу невежества А. А. Краевского содержатся также и в фельетоне самого Достоевского «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861). Начиная со

второго тома редактором «Энциклопедического словаря» стал П. Л. Лавров. Издание прекратилось в 1863 г. на шестом томе.

С т р. 22. «*Головешка*» — т. е. «Искра», сатирический журнал с карикатурами, редакторами-издателями которого в 1859—1864 гг. были Н. А. Степанов и В. С. Курочкин.

С т р. 24. *...рискну рыбку...* — Эта народная пляска описана И. С. Тургеневым в «Старых портретах» (1881): «Плясал Иван удивительно — особенно „рыбку". Грянет хор плясовую, парень выйдет на середину круга — да и ну вертеться, прыгать, ногами топотать, а потом как треснется оземь — да и представляет движения рыбки, которую выкинули из воды на сушь: и так изгибается и этак, даже каблуки к затылку подводит; а там как вскочит...» (*Тургенев, Сочинения,* т. XIII, стр. 26).

С т р. 24. *...ритурнель* (от франц. ritournelle) — повторение.

С т р. 26. *...всегда говорят: «Академические ведомости».* — «С.-Петербургские ведомости», ежедневная газета, право издания которой с 1728 г. было предоставлено Академии наук.

С т р. 26. *Фрыштик* (от нем. der Frühstück) — завтрак.

С т р. 27. *Фокин.* — Очевидно, имеется в виду один из «героев канкана», славившийся «по всему Петербургу своими антраша, доходившими до последней степени бесстыдства», имя которого называет в своих воспоминаниях А. М. Скабичевский (см.: А. М. С к а б и ч е в с к и й. Литературные воспоминания. Изд. «ЗиФ», М.—Л., 1929, стр. 242).

С т р. 33. *Салива* (франц. salive) — слюна.

С т р. 34. *...поддерживаете откупа...* — В данном случае речь идет о системе винных откупов.

С т р. 36. *Шуле* (нем. die Schule) — школа.

С т р. 37. *...выпить такую чашу желчи и оцта...* — Оцет — уксус. В Евангелии от Матфея сказано: «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью...» (гл. 27, ст. 34).

С т р. 41. *...приговоренные назавтра к торговой казни* — т. е. к публичному избиению кнутом на торговых площадях или в присутственных местах. В России торговая казнь была отменена в 1845 г.

С т р. 42. *Манкированный...* (от франц. manque) — неудавшийся.

## ЗИМНИЕ ЗАМЕТКИ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

(Стр. 46)

### Источники текста

*Вр,* 1863, № 2, отд. I, стр. 289—318 (гл. I—IV); № 3, отд. I, стр. 323—362 (гл. V—VIII).
*1865,* том II, стр. 229—256.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано во *Вр,* 1863, №№ 2, 3, с подписью: Федор Достоевский (ценз. разр. — 6 февраля и 8 марта 1863 г.).

Печатается по тексту *1865* с устранением явных опечаток, а также со следующими исправлениями по *Вр:*

*Стр. 48, строка 19:* «решил я» вместо «решал я».
*Стр. 48, строка 20:* «деды решали» вместо «деды решили».
*Стр. 49, строка 6:* «преодолей я себя» вместо «преодолей себя».
*Стр. 52, строки 23—24:* «так убаюкают» вместо «так убаюкивают».
*Стр. 54, строка 20:* «так уж и совсем» вместо «так уж совсем».
*Стр. 54, строка 38:* «закричит кто-нибудь» вместо «закричал кто-нибудь».

*Стр. 55, строка 5:* «постепенно ломилась» вместо «постоянно ломилась».
*Стр. 55, строка 7:* «всё это тут» вместо «всё тут».
*Стр. 55, строка 28:* «провраться от восторга» вместо «прорваться от восторга».
*Стр. 58, строка 22:* «гвоздит он, гвоздит ее» вместо «гвоздит ее».
*Стр. 59, строки 16—17:* «когда уж очень стоскуется» вместо «когда уж стоскуется».
*Стр. 68, строка 11:* «по заказу» вместо «по закону».
*Стр. 68, строки 18—19:* «как все довольны, как все стараются уверить себя, что довольны» вместо «как все довольны».
*Стр. 69, строка 34:* «диким и голодным» вместо «диким и голым».
*Стр. 73, строка 20:* «им нечем заплатить» вместо «нечем заплатить».
*Стр. 76, строка 44:* «а только так» вместо «и только так».
*Стр. 76, строка 45:* «и вошли» вместо «а вошли».
*Стр. 82, строка 6:* «Да, но он тогда» вместо «Да, он тогда».
*Стр. 84, строка 37:* «при казенном мешке» вместо «при казенном месте».
*Стр. 84, строки 39—40:* «не могу же я» вместо «не мог же я».

«Зимние заметки о летних впечатлениях» были написаны в течение зимы 1862/1863 г. При перепечатке во II томе Собрания сочинений 1865 г. журнальный текст их был подвергнут незначительной стилистической правке.

По жанру «Зимние заметки о летних впечатлениях» — своеобразные художественные очерки. Это — путевые записки. Мысль о создании произведения такого рода была подсказана Достоевскому, вероятно, его братом, который писал ему 18 июня 1862 г.: «Да написал бы ты в Париже что-нибудь для „Времени“. Хоть бы письма из-за границы» (*Д, Материалы и исследования,* стр. 535).

К предложению редакции журнала Достоевский отнесся весьма сочувственно. В письме к Н. Н. Страхову из Парижа от 26 июня (8 июля) 1862 г. он писал: «Мне приходится еще некоторое время пробыть в Париже, и потому хочу, не теряя времени, обозреть и изучить его, не ленясь ⟨...⟩ Не знаю, напишу ли что-нибудь? Если очень захочется, почему не написать и о Париже, но вот беда: времени тоже нет. Для порядочного письма из-за границы нужно все-таки дня три труда, а где здесь взять три дня?».

Приветствуя появление в 1857 г. отдельного издания «Писем об Испании» В. П. Боткина, Н. Г. Чернышевский писал, что «путешествия везде составляют самую популярную часть литературы» (*Чернышевский,* т. IV, стр. 222). Назвав лучшие книги этого рода, вышедшие в России в 1836—1846 гг., Чернышевский сетовал по поводу того, что в следующее десятилетие их было значительно меньше.

Автор «Зимних заметок о летних впечатлениях» продолжал, таким образом, сложившуюся уже в русской литературе традицию. Приступив к работе, Достоевский, вероятно, просмотрел некоторые из путевых очерков своих предшественников. Он внимательно перечитал «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина и «Письма из-за границы» Д. И. Фонвизина (см. примеч. к стр. 47, 48, 50 и др.). В поле зрения Достоевского находились и позднейшие многочисленные путевые очерки, письма из-за границы, статьи, в которых освещалась под разными углами зрения общественная, культурная и политическая жизнь Западной Европы. Так, во «Времени» были напечатаны путевые очерки Ап. Григорьева, Е. Тур, П. Новицкого; в «Современнике» — в 1858—1859 гг. «Парижские письма» и «Лондонские заметки» М. Михайлова, а в 1861 г. — статья «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» Н. В. Шелгунова и т. д. (см.: В. С. Н е ч а е в а. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. Изд. «Наука», М., 1972, стр. 170—171).

Систематическое и последовательное описание увиденного и перипетий путешествия не являлось главной задачей Достоевского. Записи путевых впечатлений в «Зимних заметках» перемежаются обобщенными публицистическими по форме очерками различных сторон жизни европейских стран, главным образом Франции и Англии, и раздумьями автора о судьбах Запада и России.

Непосредственным предшественником Достоевского в этом типе очерка был А. И. Герцен как автор «Писем из Франции и Италии» (1847—1852), цикла «Концы и начала» (1862—1863) и др. Нет оснований утверждать, что сюжет и композиция «Зимних заметок» определены структурой «Писем из Франции и Италии», тем не менее некоторая художественная и идейная преемственность между «Зимними заметками» и «Письмами из Франции и Италии», а также циклом «Концы и начала» существует, что отмечал и Н. Н. Страхов. Имея в виду Герцена, он утверждал, что «„Зимние заметки" отзываются несколько влиянием этого писателя» (*Биография*, стр. 240; ср.: *Долинин*, стр. 217—226).

Поездка за границу в 1862 г., впервые позволившая Достоевскому путем личных наблюдений ознакомиться с жизнью Германии, Франции и Англии, сыграла в его развитии роль, во многом сходную с ролью первых заграничных поездок Л. Толстого в 1850—1860-х годах, а «Зимние заметки», в которых отразились выводы, сделанные Достоевским в результате его путешествия, — с рассказом Толстого «Люцерн» (1857), выразившим столь же острое неприятие его автором основ современной ему буржуазной культуры.

Достоевский назвал свои путевые очерки «Зимние заметки о летних впечатлениях», подчеркнув тем самым, что они писались не непосредственно вслед за наблюдениями, почерпнутыми во время путешествия, а после того как эти наблюдения были осмыслены и дополнены ассоциациями, возникшими в связи с актуальными проблемами русской жизни. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» мы можем выделить страницы, воспроизводящие отдельные этапы путешествия и являющиеся как бы зарисовками с натуры. Это в главе I — впечатления от Берлина, Кельна и Дрездена, в главе IV — описание встречи в вагоне с французскими полицейскими сыщиками и порядков в парижских отелях, в главе V — зарисовки ночного Лондона, в главе VII — посещение Пантеона в Париже и др.

Эта часть заметок по художественной структуре генетически связана с жанром «физиологических» очерков, широко распространенных в европейской и русской литературе 1840-х годов (*Цейтлин*, стр. 291—293). В то же время Достоевский разрушал установившуюся в европейской литературе традицию бесстрастной констатации фактов в описаниях этого рода. Картины жизни стран Европы заставляли писателя задумываться над вопросами философско-исторического, социального и нравственно-этического характера, что придавало изложению публицистическую окраску. Значительная часть повествования посвящена, по собственному определению Достоевского, выяснению того, «каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались...» (стр. 55).

В «Зимних заметках» в той или иной форме прослеживается проблема взаимоотношения России и Запада начиная с XVIII в. Многие рассуждения на эту тему обобщали то, о чем писал уже сам Достоевский в публицистических и литературно-критических статьях 1860—1862 гг., в частности в «Ряде статей о русской литературе» (1861). Важным источником для создания этих глав были также материалы, содержавшиеся в статьях других авторов, печатавшиеся в журнале «Время» (см. примеч. к стр. 75, 83, 86, 95; ср. также: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. Изд. «Наука», М., 1972, стр. 171—174). Причем, как было уже отмечено исследователями, в этих разделах очерки часто принимают форму литературных пародий или литературных памфлетов (см.: В. Дороватовская-Любимова. Париж второй империи в пародии Достоевского. «Литературный критик», 1936, № 9, стр. 204—211). К памфлетным зарисовкам следует отнести характеристику французского парламента, собирательный портрет буржуа («Брибри и мабишь») и др.

Центральная проблема «Зимних заметок» — «Россия и Запад» — выдвинулась в 1861—1863 гг. в русской общественной жизни на одно из первых мест. Главный вопрос, который при этом возникал, заключался в том, пойдет ли Россия по пути буржуазного прогресса, как Западная Европа, и станет капиталистическим государством или ее развитие примет самобытные формы?

Указанный вопрос впервые встал перед русской общественной мыслью в 1840-е годы и получил в этот период различное освещение в сочинениях В. Г. Белинского, А. И. Герцена, западников — В. П. Боткина, К. Д. Кавелина, Т. Н. Грановского и славянофилов — И. В. Киреевского, Ю. Ф. Самарина, А. С. Хомякова и других. Как видно из показаний Достоевского на следствии по делу петрашевцев в 1849 г. (наст. изд., т. XVIII), вопрос этот уже в то время притягивал к себе внимание писателя. Но в 1860-х годах, после крестьянской реформы, в новой исторической обстановке, он приобрел для русской литературы и публицистики еще большую актуальность и социальную остроту.

Чернышевский изложил свою точку зрения по этому поводу в статьях «Антропологический принцип в философии» (1860), «О причинах падения Рима» (1861) и др. Связанная с этим же вопросом полемика между Герценом и Тургеневым привела к созданию цикла писем Герцена «Концы и начала» (1862—1863) и возникновению замысла романа Тургенева «Дым» (см.: *Тургенев, Сочинения,* т. IX, стр. 507—508).

В системе взглядов Достоевского проблема исторических перспектив развития России естественно вытекала из его размышлений о характере взаимоотношений между частью русского общества, получившей европейское образование, и народом. Под этим углом зрения Достоевский изучал различные аспекты политической и общественной жизни Запада и обсуждал свои впечатления с Герценом при встрече с ним в июле 1862 г. в Лондоне.

В письме к Н. П. Огареву от 17 (5) июля 1862 г. Герцен писал: «Вчера был Достоевский — он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиасмом в русский народ» (*Герцен,* т. XXVII, кн. 1, стр. 247). В последней фразе Герцен, несомненно, имел в виду «почвеннические» взгляды Достоевского, уже в течение полутора лет пропагандировавшиеся на страницах «Времени» и сформулированные в программных объявлениях об издании журнала на 1861 и 1862 гг.

В «Зимних заметках» Достоевский дал сатирические зарисовки общественных нравов Франции времени Наполеона III, воспроизвел страшные картины жизни пролетариев капиталистического Лондона, разоблачил лживость и лицемерие буржуазно-демократических «свобод» Европы, провозглашенных в результате революций, последовавших за французской буржуазной революцией XVIII в. Достоевский с сарказмом писал, что свободой в буржуазном обществе пользуется только тот, кто имеет миллион.

Сатирические картины капитализирующейся Европы, и в особенности Франции, созданные Достоевским, во многом перекликаются по своему настроению не только с публицистикой Герцена, но и с очерками на ту же тему Г. Гейне. Следы знакомства Достоевского с парижскими зарисовками Гейне и его книгой «Признания» (1853—1854) обнаруживаются по скрытым цитатам из нее в тексте «Зимних заметок» и по прямой отсылке к ней в «Записках из подполья» (см.: В. Комарович. Достоевский и Гейне. «Современный мир», 1916, № 10, стр. 97—107; см. также примеч. в наст. томе к стр. 89 и 122).

Отношение Достоевского к французской революции XVIII в. и к буржуазии, которая пришла к власти, осталось неизменным до конца его жизни, о чем свидетельствуют страницы «Дневника писателя» и статьи поздних лет (см.: *Фридлендер,* стр. 21). Так, в 1873 г. Достоевский писал, что следствие буржуазных революций «есть не обновление общества на новых началах, а лишь победа одного могучего класса общества над другим» (из № 51 журнала «Гражданин», 17 декабря 1873 г.) и что «новые победители (буржуа) оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов (дворян)... „Свобода, равенство и братство" оказались лишь громкими фразами и не более...».

Критика буржуазных нравов и социально-политических учреждений Западной Европы, антикапиталистическая тенденция, имели в русской литературе давнюю традицию: она сказалась уже в творчестве русских просветителей XVIII в. и, в частности, в сочинениях Фонвизина и была продолжена в XIX в. представителями демократического направления русской литературы. Если сопоставить, например, характеристики буржуазии из «Зимних

заметок» с суждениями, высказанными в той же связи Белинским (см.: *Белинский,* т. XII, стр. 448—452 и др., см. также примеч. к стр. 82) и даже «западником» Тургеневым, то в них обнаружится много общего (см., например: *Тургенев, Письма,* т. III, стр. 333; т. V, стр. 73). Отрицательное отношение Тургенева к французской буржуазии отразилось также в «Призраках», опубликованных в 1864 г. в журнале Достоевского «Эпоха», и в отрывке «Довольно» (см.: *Тургенев, Сочинения,* т. IX; ср.: А. Андреева. «Призраки» как исповедь Ив. С. Тургенева. «Вестник Европы», 1904, т. V, стр. 17—22).

В напечатанной одновременно с «Зимними заметками» статье Салтыкова-Щедрина «Драматурги-паразиты во Франции» также шла речь о Франции, которая под господством буржуазии утратила былые идеалы свободы и «внезапно упала в этом отношении на самую низшую ступень» (*Салтыков-Щедрин,* т. V, стр. 253).

Критика буржуазного Запада в 1860-х годах, как и в 1840-х, велась с различных общественно-политических позиций. В ней участвовали наряду с Герценом, Чернышевским, Щедриным также И. С. Аксаков и другие славянофилы. Существенным для определения позиции каждого участника спора было отношение к историческим перспективам развития европейских стран, а также к русскому общественно-политическому строю.

Чернышевский, например, не считал, что Европа исчерпала все возможности прогрессивного исторического развития и связывал ее будущее с активной ролью народных масс. Так же как и в России, масса народов самых передовых стран Запада, утверждал он, «не принимала деятельного, самостоятельного участия» в борьбе и только «готовится войти в историю» (*Чернышевский,* т. VII, стр. 618).

Иную точку зрения на перспективу европейской цивилизации высказал Герцен в «Концах и началах». Он доказывал там, что буржуазная Европа достигла в своем развитии «конца»: «Париж и Лондон замыкают том всемирной истории, — том, у которого едва остаются несколько неразрезанных листов» (*Герцен,* т. XVI, стр. 159). При этом Герцен выразил уверенность, что Россия, будущее которой он связывал с превращением крестьянской общины в социалистическую ячейку, избежит пройденного Европой буржуазного пути развития. «...почему же народ, самобытно развившийся, при совершенно других условиях, чем западные государства, с иными началами в быте, должен пережить европейские зады, и это — *зная очень хорошо, к чему они ведут?*» — спрашивал он (там же, стр. 198).

Достоевский своим собственным путем и исходя из иных идейных предпосылок, чем Герцен, пришел в «Зимних заметках» к заключению, близкому к выводам автора «Концов и начал» (см.: *Фридлендер,* стр. 26—33). Он также считал, что буржуазная цивилизация не только утратила способность к развитию, но, «напротив, в последнее время в Европе всегда стояла с кнутом и тюрьмой над всяким развитием» (стр. 61).

Критика буржуазной цивилизации в «Зимних заметках» по конкретности и остроте близка к демократической мысли эпохи. Но, осуждая с громадной силой центральный факт всей европейской социальной жизни — общественное неравенство, Достоевский в своих положительных выводах сближался со славянофилами. Писатель сводил в конечном счете современные ему социальные проблемы к национально-историческим.

Достоевский доказывал, что страсть к стяжательству охватила все слои европейского общества. Свой вывод — «идеала никакого» (письмо к Н. Н. Страхову от 26 июня (8 июля) 1862 г.) — Достоевский распространял и на буржуазию, и на пролетариат: «Да ведь работники тоже все в душе собственники: весь идеал их в том, чтоб быть собственниками и накопить как можно больше вещей» (стр. 78).

Достоевский утверждал, что «западная личность» (и рабочий и буржуа в равной степени) лишена братского начала, в то время как в русском народе живет инстинктивная тяга к общине, братству, согласию (стр. 79—80).

Признавая, что представление о «братстве», основанное «на чувстве, на натуре, а не на разуме», может породить мысль: «Ведь это даже как будто унижение для разума», — Достоевский тем не менее настаивал на тезисе: «Лю-

бите друг друга, и всё сие вам приложится» (там же). Выполнение этого евангельского завета может, по его мнению, гарантировать достижение всеобщего благополучия вернее, чем голос отвлеченного рассудка.

Достоевский со страстью доказывал: «...надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя и за это самое общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать всё и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно...» (стр. 80).

В этих суждениях автора «Зимних заметок» чувствуется полемика с эвдонистической моралью просветителей и, в частности, с Чернышевским, утверждавшим в работе «Антропологический принцип в философии», что «человек любит прежде всего сам себя», что даже в основе поступков людей, представляющихся бескорыстными, лежит «мысль о собственной, личной пользе» (*Чернышевский,* т. VII, стр. 281 и 283), хотя и выступающая в преобразованной, опосредствованной форме. Полемический отклик в «Зимних заметках» вызвал также тезис Чернышевского, что поведение человека обусловлено в первую очередь социальными причинами. Так, например, в той же работе «Антропологический принцип в философии» Чернышевский писал: «При известных обстоятельствах человек становится добр, при других — зол» (там же, стр. 264).

Достоевский считал, что поведение человека в обществе зависит не от одних «обстоятельств» и осознанной разумом личной выгоды, а диктуется прежде всего его «натурой», морально-этические основы которой формируются в определенных национально-исторических условиях тысячелетиями (стр. 78—80). Полемика с теорией «разумного эгоизма» Чернышевского была продолжена Достоевским в повести «Записки из подполья». Впервые сформулированное в «Зимних заметках о летних впечатлениях» представление о «сильно развитой личности», которая, будучи уверенной в своем праве быть личностью, «ничего не может и сделать другого из своей личности ⟨...⟩ как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями» (стр. 79), воплощено было писателем позднее в образах Сони Мармеладовой и князя Мышкина.

В «Зимних заметках» Достоевский откликнулся и на споры о «лишних людях» (см. примеч. к стр. 62). Он выразил уверенность, что «сердечный фразер, ⟨...⟩ совестливо тоскующий о своей бесполезности», вернется в Россию из Европы и «найдет, что делать, и станет делать» (стр. 62).

Философская проблематика «Зимних заметок» получила дальнейшее развитие в идеологических дискуссиях на страницах романов Достоевского 1860—1870-х годов. Многие социально-критические идеи последних сформировались на основе выводов, которые сделал писатель, познакомившись с различными аспектами жизни Западной Европы.

На особое, принципиальное значение, которое придавал «Зимним заметкам» сам автор, указывает тот факт, что он включил их, в отличие от других фельетонов и статей, напечатанных во «Времени», во второй том собрания своих сочинений, изданных в 1865—1866 гг.

Стр. 46. *...всё это я объехал ровно в два с половиною месяца!* — Достоевский уехал из Петербурга в Берлин 7 июня ст. ст. 1862 г., а вернулся около 14 сентября того же года.

Стр. 46. *...родители читали на сон грядущий романы Радклиф...* — Анна Радклиф (1764—1823), английская писательница, одна из создательниц жанра преромантического «готического» романа (или «романа ужасов и тайн»). В письме к Я. П. Полонскому от 31 июля 1861 г. Достоевский также писал, что романы Радклиф, которые он читал «еще восьми лет», пробудили в нем мечту побывать в Италии.

Стр. 47. *...«страна святых чудес»...* — Так назван Запад в стихотворении А. С. Хомякова «Мечта» (1834), основным мотивом которого является сожаление о «дальнем Западе», утратившем свое былое величие и «задернутом» «мертвенным покровом». Стихотворение заканчивается призывом «Проснися, дремлющий Восток!».

С т р. 47. *Кордонные* (от франц. cordon — шнурок) — прямые, вытянутые по шнуру.

С т р. 47. *Даже липы мне не понравились...* — Имеются в виду липы, растущие на одной из центральных улиц Берлина — Unter den Linden, привлекавшей уже внимание русских путешественников. Н. М. Карамзин писал, что она «в самом деле прекрасна. В средине посажены аллеи для пеших, а по сторонам мостовая» («Письма русского путешественника», Берлин, 30 июня 1789).

С т р. 47. *...берлинец пожертвует* ∾ *своей конституцией.* — Достоевский был в Берлине в напряженный момент так называемого конституционного конфликта 1861—1862 гг. Ирония его относится к членам парламента, при попустительстве которых прусское правительство постоянно нарушало конституцию.

С т р. 47. *фрески Каульбаха ...* — Речь идет о цикле монументальных картин символико-исторического содержания, украшающих лестницы Нового музея в Берлине. Фрески эти были созданы в 1845—1865 гг. немецким художником Вильгельмом Каульбахом (1805—1874).

С т р. 47. *...певец любви, Всеволод Крестовский.* — В начале 1860-х годов Всеволод Владимирович Крестовский (1840—1895) был известен как автор стихотворений и нескольких повестей. Достоевский познакомился с ним в конце 1859 г. у А. П. Милюкова (*Биография,* стр. 271; *Милюков,* стр. 238). Произведения В. В. Крестовского печатались в журналах «Время» и «Эпоха». Иронический отзыв Достоевского, неоднократно пародировавшего «эротические» стихи этого поэта относится, по-видимому, к циклу его лирических стихотворений и к пьесам, объединенным под названием «Испанские мотивы» (см. примеч. к стр. 332).

С т р. 48. *...ожидал от собора...* — Кельнский собор — крупнейший в Германии памятник готического зодчества; заложен в 1248 г., окончательное завершение многовековой, неоднократно прерывавшейся на длительные сроки постройки праздновалось только 15 октября 1880 г.

С т р. 48. *...когда учился архитектуре.* — Курс архитектуры Достоевский слушал в 1838—1842 гг. в Военно-инженерном училище, которое закончил в августе 1843 гг.

С т р. 48. *...«на коленях просить у него прощения»* ∾ *как Карамзин...* — Речь идет о водопаде, образуемом водами Рейна близ города Шафхаузен (Швейцария). Посетив вторично Рейнский водопад, Н. М. Карамзин писал: «Я наслаждался — и готов был на коленях извиняться перед Рейном в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением» («Письма русского путешественника», т. I, ч. 2, письмо от 14 августа 1789 г.).

С т р. 48. *Жан-Мария Фарина* (1686—1766) — итальянский химик и фабрикант, первый открывший производство одеколона. В Кельне находился филиал его фирмы, выпускающей знаменитую «Kölnisch Wasser» (букв.: кельнская вода), что отмечено во всех путеводителях по Германии.

С т р. 48. *...новый кельнский мост.* — Движение по новому, украшенному готическими башнями и статуями кельнскому мосту через Рейн было открыто в апреле 1861 г.

С т р. 49. *...мы тоже изобрели самовар...* — Едва ли не эта фраза Достоевского получила полемический отклик в романе Тургенева «Дым» (1867). Потугин говорит, что «даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы» (*Тургенев, Сочинения,* т. IX, стр. 233).

С т р. 49. *...в гиде Рейхарда...* — Рейхард Генрих (1751—1828) — немецкий писатель, автор путеводителя по Германии, выдержавшего в течение 1805—1861 гг. 19 изданий.

С т р. 49. *Нотр-Дам* — кафедральный собор Парижской богоматери (Notre-Dame de Paris), заложенный в XII в. и перестроенный в XIII в. В то время, когда Достоевский был в Париже, велась реставрация собора.

С т р. 49. *...Баль-Мабиль* ∾ *засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже...* — Правильнее Мабий — место, где устраивались публичные балы (Bal Mabille) с канканом и пр. Герцен в «Письмах из Франции и

Италии» (1847—1852) утверждал, что эти балы были доступны только для состоятельных буржуа (см.: *Герцен,* т. V, стр. 32). Мабий, как характерная принадлежность буржуазного Парижа, назван также в «Призраках» Тургенева.

С т р. 49. ...*в Риме* ∾ *собора Петра*... — Собор св. Петра был сооружен в XV—XVII вв. при участии крупнейших зодчих, скульпторов и художников Италии (Брунеллески, Микеланджело, Рафаэля и др.).

С т р . 49. *Собор св. Павла* — третий по величине в Европе, по архитектуре похож на собор св. Петра в Риме, постройка закончена в 1710 г. по проекту Христофора Врена, расположен в деловой части города — Сити.

С т р . 50. «*Рассудка француз не имеет* ∾ *для себя несчастье*». — Неточная цитата из письма Д. И. Фонвизина к П. И. Панину из Ахена от 18 (29) сентября 1778 г. У Фонвизина: «Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда может веселиться» (*Фонвизин,* т. II, стр. 480—481). Эта цитата из Фонвизина привлекла за два года до этого внимание Ап. Григорьева, который в статье «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина. I. Вступление. Народность и литература», напечатанной в № 2 журнала братьев Достоевских «Время» за 1861 г., с неодобрением писал, что Фонвизин «о целой великой нации» замечает только, «что „рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее несчастье“: в энциклопедистах видит он только людей жадных до денег из чужого кармана» (ср.: И. З. С е р м а н. Достоевский и Ап. Григорьев. *Достоевский и его время,* стр. 138—139).

С т р . 50. ...*отделывающие иностранцев фразы* ∾ *Белинский был в этом смысле тайный славянофил.* — Определяя свое отношение к характерным чертам европейских наций (как он их понимал), Белинский обычно отмечал и их достоинства, и недостатки. Например, в письме к В. П. Боткину от 2—6 декабря 1847 г. он писал: «Я уважаю расчетливость и аккуратность немцев ⟨...⟩ но не люблю их. А люблю я две нации — француза и русака...» (*Белинский,* т. XII, стр. 451). «Тайным славянофилом» Достоевский называет Белинского в значительной мере условно. В письме к А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г. он писал: «...никогда не поверю словам покойного Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством».

С т р . 50. ...*весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно* ∾ *это было в сорок шестом году.* — Увлечение Белинского идеями утопического социализма относится к 1841—1845 гг. В конце 1846 г. критик-демократ пришел к выводу, что «у себя, в себе, вокруг ⟨...⟩ должны мы искать — и вопросов и их решения» (*Белинский,* т. X, стр. 32; В. Л. К о м а р о в и ч. Идеи французских социальных утопий в мировоззрении Белинского. В кн.: Венок Белинскому. «Новая Москва», М., 1924, стр. 243—272). Социалисты-утописты Франции в 1846 г. были популярны в кружке Петрашевского, членом которого в начале 1847 г. стал и Достоевский. М. Е. Салтыков-Щедрин, также «примкнувший» в середине 1840-х годов к «безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции», впоследствии вспоминал, что из «Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд ⟨...⟩ лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век“ находится не позади, а впереди нас...» (*Щедрин,* т. XIV, стр. 161).

С т р. 50. ...*обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю-Роллен и т. д.* — Жорж Занд — псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен Дюдеван (1804—1876). Впоследствии в 1876 г. в «Дневнике писателя» (Июнь. «Несколько слов о Жорж Занде») Достоевский писал: «Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд, по крайней мере по моим воспоминаниям судя, заняла у нас сряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе». Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный публицист и социолог. При аресте у Достоевского была обнаружена книга Прудона «La célébration du dimanche» («Празднование воскресенья»), которую он, очевидно, взял из

библиотеки Петрашевского (см.: *Бельчиков,* стр. 214). В «Дневнике писателя» за 1873 г. («Одна из современных фальшей») Достоевский писал, что «статьи и брошюры Прудона стремились распространить между 〈...〉 голодными и ничего за душой не имевшими работниками, между прочим, и глубокое омерзение к праву наследственной собственности». Луи Блан (1811—1882) — один из последних представителей французских утопических социалистов, историк. В кружке Белинского особый интерес вызвала книга Луи Блана «Histoire de dix ans» («История десяти лет») (1841—1844), воспринятая как обвинительный акт против диктатуры буржуазии во Франции (см.: *Белинский,* т. XII, стр. 154; *Герцен,* т. II, стр. 284). В 1847 г. Белинский изменил свое отношение к Луи Блану. Достоевский брал читать «Историю десяти лет» из библиотеки Петрашевского (см.: *Бельчиков,* стр. 214). Ледрю-Роллен Александр Огюст (1808—1874) — французский политический деятель, мелкобуржуазный республиканец, адвокат по профессии, как и Луи Блан, член Временного правительства в 1848 г.

Стр. 50. *...Чаадаев ∾ негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал всё русское.* — Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — русский мыслитель, автор «Философических писем», из которых первое (всего восемь) было напечатано в 1836 г. в «Телескопе», что повлекло за собой закрытие журнала. Герцен оценил появление «Философического письма» Чаадаева как «вызов, знак пробуждения». По его мнению, «письмо разбило лед после 14 декабря». Герцен не согласился с Чаадаевым, утверждавшим, что прошлое России «было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет». Тем не менее он считал, что «душа» Чаадаева переполнена «скорбью», а не презрением ко «всему русскому», как предполагает здесь Достоевский (*Герцен,* т. VII, стр. 221—222). Чернышевский в статье, специально посвященной Чаадаеву (написанной в 1861 г., но не опубликованной при жизни), пришел к выводу, что автор «Философического письма» надеялся на лучшее будущее России, иначе «не говорил бы он так горько о нашем настоящем» (*Чернышевский,* т. VII, стр. 615). Внимание к Чаадаеву в начале 1860-х годов было привлечено публикацией в ноябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 г. воспоминаний о нем М. Н. Лонгинова. Достоевский на протяжении всего своего творческого пути проявлял живой интерес не только к историко-философским взглядам Чаадаева, но и к его личности. С именем Чаадаева связан замысел поэмы «Житие великого грешника» и создание образа Версилова в «Подростке».

Стр. 51. *Эйдткунен* — в XIX в. прусское местечко и железнодорожная станция близ русско-прусской границы.

Стр. 51. *...Бежать хотел в Швейцарию...* — строка из юмористического стихотворения Некрасова «Говорун. Записки петербургского жителя А. Ф. Белопяткина» (1843—1845).

Стр. 52. *Ведь это пророк и провозвестник.* — Намеченная здесь характеристика творчества Пушкина впоследствии была развернута Достоевским в речи о Пушкине («Дневник писателя» за 1880 г.), где сказано, что в появлении Пушкина «заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое».

Стр. 52. *Ведь не с неба же, в самом деле, свалилось к нам славянофильство ∾ основание этой затеи пошире московской формулы...* — Впервые о причинах возникновения славянофильской доктрины сказал еще в 1847 г. Белинский. Он расценивал появление славянофилов как свидетельство того, что «Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования», начатого Петром I, и для нее настало время «развиваться самобытно, из самой себя» (*Белинский,* т. X, стр. 19). Отмечая слабые стороны положительной программы славянофилов и отвергая их мистические предчувствия «победы Востока над Западом, которых несостоятельность слишком ясно обнаруживается фактами действительности», Белинский в то же время признавал, что в критике славянофилами русского европеизма есть много дельного, «с чем нельзя не согласиться хотя наполовину» (там же, стр. 17).

Стр. 52. *...на выставку в Лондон ...* — Речь идет о Всемирной выставке, которая в 1862 г. была открыта в Лондоне.

С т р. 53. ...*«о том, о сем, а больше ни о чем».* — Источником для этой крылатой фразы послужили, очевидно, слова Фамусова из «Горя от ума» Грибоедова: «...придерутся к тому, к сему, а чаще ни к чему, поспорят, пошумят и ... разойдутся» (д. II, явл. 4).

С т р. 53. ...*пошел отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами...* — В письмах 1777—1778 гг. из-за границы к П. И. Панину, в одном из которых содержалась фраза «рассудка француз не имеет» (см. примеч. к стр. 50), Фонвизин выразил отрицательное отношение к некоторым сторонам французских нравов. Полемизируя с французскими философами, «вся система» которых «состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимо от религии», Фонвизин писал П. И. Панину в сентябре 1778 г.: «Истинно, нет никакой нужды входить с ними в изъяснения, почему считают они религию недостойною быть основанием моральных человеческих действий и почему признание бытия божия мешает человеку быть добродетельным? Но надлежит только взглянуть на самих господ нынешних философов, чтоб увидеть, каков человек без религии, и потом заключить, как порочно было бы без оной всё человеческое общество» (*Фонвизин,* т. II, стр. 482). На «библейские тексты» Фонвизин ссылался в произведениях, написанных в последние годы жизни (на рубеже 1780—1790-х годов) и опубликованных посмертно — в «Рассуждении о суетности жизни человеческой» и «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях» (*Фонвизин,* т. II, стр. 79—105).

С т р. 53. ...*чтобы быть русскими* ∾ *изобрели себе балетный костюм...* — Так, славянофил К. С. Аксаков ходил в русских сапогах, в косоворотке, а на голове носил древнерусский головной убор — мурмолку, являвшуюся предметом постоянных насмешек в кругу западников (см., например: *Тургенев, Сочинения,* т. I, стр. 542—543). В объявлении об издании журнала «Время» в 1861 г. также говорилось о людях, которые, «надев на себя древний кафтан, бархатную поддевку и шелковую рубашку с золотыми галунами, воображают, что они соединились с народным началом» (*Вр,* 1861, № 1, От редакции).

С т р . 54. ...*словами старосты в одном из губернских очерков Щедрина...* — В «Губернских очерках» («Владимир Константинович Буеракин», 1857) староста, жалуясь на немца-управляющего, говорит: «Да больно уж немец осерчал: сечет всех поголовно, да и вся недолга! „На то, говорит, и сиденье у тебя, чтоб его стегать“...» (*Салтыков-Щедрин*, т. II, стр. 311).

С т р . 55. ...*написал тогда «Бригадира».* — В 1769 г.

С т р . 55. *«Умри, Денис, лучше ничего не напишешь», — говорил сам Потемкин.* — По свидетельству одного из первых биографов Фонвизина П. Вяземского, эти слова, как гласила молва, Потемкин произнес после первого представления «Недоросля», состоявшегося в 1782 г. (см.: П. В я з е м с к и й. Фонвизин. СПб., 1848, стр. 219; ср.: П. Н. Б е р к о в. Театр Фонвизина и русская культура. В сб.: Русские классики и театр. Изд. «Искусство», М.—Л., 1947, стр. 86—87).

С т р. 55. *Ляжет на горы, горы трещат* ∾ *Башни рукою за облак бросает.* — Неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Песнь Екатерине II на победы графа Суворова-Рымникского 1794 года». У Державина:

Ступит на горы, — горы трещат;
Ляжет на воды, — воды кипят;
Граду коснется, — град упадет;
Башни рукою за облак кидает.

С т р. 56. *Кузьма Прутков* ∾ *напечатал он в смеси в «Современнике» очень давно уже «Записки моего деда».* — В четвертом номере «Современника» за 1854 г. в «Литературном ералаше» были опубликованы «Выдержки из записок моего деда» К. Пруткова.

С т р. 56. *«Остроумный ответ кавалера де Монбазона.* — У Козьмы Пруткова этот отрывок назван иначе: «Что к чему привешено». Приведенный ниже текст является вольным пересказом подлинника (ср.: Козьма П р у т-

к о в. Полное собрание сочинений. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1965, стр. 162 («Библиотека поэта». Большая серия)).

С т р. 56. *«Остроумный ответ кавалера де Рогана.* — У Козьмы Пруткова рассказан другой анекдот о «всему свету известном герцоге де Рогане» под названием: «И великие люди иногда недогадливы бывали», напечатанный в «Искре» за 1860 г., № 31, стр. 331 (см.: Козьма П р у т к о в. Полное собрание сочинений, стр. 172). Герцог де Роган (1579—1638) — французский полководец, глава гугенотов.

С т р. 57. ...*«в добросовестном ребяческом разврате».* — Перефразировка строк из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838):

И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат.

С т р. 57. ...*«субдительный суперфлю».* — Слова Ноздрева («Мертвые души», гл. IV), означавшие у него, как пояснил Гоголь, «высочайшую точку совершенства».

С т р. 57. *Куртаг* (от нем. Courtag из франц. cour — двор и нем. Tag — день) — приемный день в царском дворце.

С т р. 57. ...*Отважно жертвуя затылком.* — Чацкий в «Горе от ума» (д. II, явл. 2) А. С. Грибоедова говорит:

Но между тем кого охота заберет,
Хоть в раболепстве самом пылком,
Теперь, чтобы смешить народ,
Отважно жертвовать затылком?

С т р. 57. ...*как североамериканец Южных штатов, текстами начнет защищать необходимость торговли неграми.* — В 1861 г. отделившиеся Южные Штаты Америки создали свою конституцию и избрали президента. В декларации мятежного правительства говорилось: «В основу нового союзного правительства положен тот великий принцип, что негры не равны белым, что их рабство является естественным, нормальным состоянием» (см.: А. В. Е ф и м о в. Очерки истории США. Изд. 2-е. Учпедгиз, М., 1958, стр. 324). Декларация американского рабовладельческого правительства в русских прогрессивных кругах была встречена с возмущением и неоднократно обсуждалась в периодической печати. В журнале «Время» политический обозреватель по этому поводу иронически писал: «Признавая Южные штаты, придется согласиться со всеми теми доводами, которыми блистало первое послание президента Южных штатов г. Джефферсона Девиса; он тогда уверял, что рабовладение есть единственная форма, при которой может развиваться цивилизация, что это так и по-божески и по-человечески!..» (*Вр*, 1862, № 1, Политическое обозрение, стр. 15).

С т р. 58. ...*У нас был нашего полку первой роты капитан* ∾ *терпеть капитанше?* — Отрывок из комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (д. IV, явл. II). Курсив в тексте принадлежит Достоевскому. Достоевский цитирует текст «Бригадира», по-видимому, по отдельному изданию (СПб., 1817 или М., 1828). В изданиях сочинений Фонвизина 1830—1850-х гг. в приведенной Достоевским цитате было отличие. Вместо: «изрядная-изрядная молодка» там печаталось «изрядная молодка».

С т р. 58. ...*не бьет, значит, не любит.* — Эта тема была развита в пародийной форме в одном из «Персидских писем» (1721) Монтескье. Делясь наблюдениями над нравами русских женщин, персидский посол в Москве сообщал своему другу в Париж: «Жена не верит, что сердце мужа принадлежит ей, если он ее не колотит» (письмо LI).

С т р. 58. ...*капитан Копейкин, «в некотором смысле кровь проливал».* — Неточная цитата из «Мертвых душ» Гоголя (гл. X, «Повесть о капитане Копейкине»).

С т р. 59. ...*душа — tabula rasa...* — Выражение, восходящее к сенсуалистической теории познания английского философа Д. Локка (1632—1704),

Опровергая теорию врожденных идей, Локк доказывал, что представления и понятия людей возникают в результате воздействия предметов внешнего мира на органы чувств человека.

С т р . 59. *Гомункул* (от лат. homunculus) — человечек, которого можно получить, по фантастическим представлениям средневековых алхимиков, искусственным путем.

С т р. 59. *...досталось же ему за Базарова.* — Речь идет о статьях, в которых автор «Отцов и детей» обвинялся в клевете на молодое поколение и, в первую очередь, о статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», напечатанной в мартовской книжке «Современника» за 1862 г. (см.: *Тургенев, Сочинения,* т. VIII, стр. 589—611). «Время» тогда же выступило в защиту Тургенева и созданного им образа Базарова. Сочувственное отношение к Базарову не помешало, однако, критику журнала, декларировавшего свои «почвеннические» взгляды, признать, что «нигилизм» «детей» побеждается «самой жизнью». Н. Страхов писал: «Базаров — это титан, восставший против своей матери земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей» (*Вр,* 1862, № 4, отд. II, стр. 81). Положительная оценка образа Базарова была высказана также Достоевским в не дошедшем до нас письме его к Тургеневу (см.: *Тургенев, Письма,* т. IV, стр. 358—359; *Достоевский и его время,* стр. 118—119).

С т р . 59. *Даже отхлестали мы его и за Кукшину...* — Кукшина — действующее лицо в романе И. С. Тургенева «Отцы дети» (1862).

С т р. 60. *...такими фельдфебелями цивилизации ...* — Это выражение, очевидно, было подсказано Достоевскому следующими словами Скалозуба («Горе от ума», д. IV, явл. 5):

Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Вольтеры дам,
Он в три шеренги вас построит,
А пикните, так мигом успокоит.

С т р . 60. *...сипа-мужик...* — Сипа (или сипа́к) в просторечии — грубый невежа, необразованный мужик, деревенщина.

С т р . 60. *...«Еще остатки варварства»...* — Имеется в виду заметка «Еще к характеристике Замоскворечья», где говорилось об «обычае московских купцов, достойном времен глубочайшего варварства...» («Современное слово», 1862, 14 ноября, № 134).

С т р . 61. *Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы...* — В записной книжке 1880 г. о Чацком в этой связи сказано: «Чацкий — декабрист. Вся идея его — в отрицании прежнего, недавнего, наивного поклонничества. Европы все нюхнули, и новые манеры понравились. Именно только манеры, потому что сущность поклонничества и раболепия и в Европе та же» (*Биография,* стр. 375). Образ Чацкого всплывал в сознании Достоевского всякий раз, когда он обращался к созданию оторванных от «почвы» героев. См., например, сравнение Версилова с Чацким в подготовительных материалах к «Подростку» (наст. изд., т. XIV).

С т р . 61. *Где оскорбленному есть чувству уголок...* — Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. IV, явл. 14).

С т р . 62. *...Чацкий был человек очень умный.* — Пушкин и Белинский считали, что умным был автор «Горя от ума», Грибоедов. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1856) писал о Чацком как о юноше «с умом и прекрасным сердцем» (*Чернышевский,* т. III, стр. 35). Ап. Григорьев, напечатавший о «Горе от ума» статью в журнале «Время», утверждал, что Чацкий «прежде всего — честная и деятельная натура, притом еще натура борца...» (*Вр,* 1862, № 8, отд. II, стр. 43). Точка зрения Достоевского только отчасти совпала с суждениями Ап. Григорьева. Достоевский обвинил Чацкого в бездеятельности и объяснил это «белоручничаньем». К «обломовцам» причислял Чацкого и Добролюбов.

С т р . 62. *...не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела. Этот пункт,*

*говорят, спорный...* — В данном случае Достоевский возражал Герцену, настаивавшему в статье «Лишние люди и желчевики» (1860) на необходимости разграничения тех, кто стал «лишним» в условиях николаевской реакции, и «вольноопределяющихся в лишние люди» (*Герцен*, т. XIV, стр. 317), т. е. современных бездеятельных героев. В то же время Достоевский отчасти соглашался с Герценом, утверждая, что среди «лишних людей» есть тип, «бывший ужасно полезным когда-то», хотя и «совершенно бесполезный теперь» (стр. 62). Названная статья Герцена открыла полемику по поводу «лишних людей», главными участниками которой были журналы «Колокол» и «Современник» (см. там же, стр. 317—327 и 572—576).

Стр. 62. *Попасть в Регулы* — т. е. стать героем. Регул Марк Атилий (III в. до н. э.) — римский политический деятель и полководец, прославившийся храбростью.

Стр. 62. *...отправился бы на восток, а не на запад.* — Намек на то, что Чацкий, в монологах которого отразились декабристские настроения, мог бы, как и они, быть сослан в Сибирь.

Стр. 62. *...Молчалина нет ∾ посвятил себя отечеству...* — Этим же приемом, перенесением общеизвестного литературного персонажа в другую эпоху и в другие условия, воспользовался впоследствии Салтыков-Щедрин, посвятивший «господам Молчалиным», преуспевшим на службе, первую часть своих сатирических очерков «В среде умеренности и аккуратности» (1874—1876). Имея в виду это произведение Салтыкова-Щедрина, Достоевский писал в октябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г., что он «...чуть не сорок лет знающий „Горе от ума“, только в этом году понял как следует один из самых ярких типов этой комедии, Молчалина» и что «разъяснил» ему этого героя Салтыков-Щедрин, «вдруг выведя его в одном из своих сатирических очерков» («Два самоубийства»).

Стр. 63. *«Он знает Русь, и Русь его знает».* — Эти слова Н. А. Полевого, взятые из предисловия к роману «Клятва при гробе господнем» (ч. I, М., 1832, стр. IX), были уже приведены Достоевским в одном из монологов Фомы Опискина в повести «Село Степанчиково» (1859 г., см. наст. изд., т. III, стр. 68).

Стр. 63. *...Рубенса ∾ три грации...* — Картина фламандского художника Пауля Петера Рубенса (1577—1640) «Три грации» (ок. 1639—1640) хранится в Мадриде в музее Прадо. Достоевский в Мадриде не был, но мог знать ее по репродукциям. Возможно, что здесь имеется в виду и другая картина Рубенса «Суд Париса» (1635), на которой тоже изображены три обнаженные богини (находится в лондонской Национальной галерее).

Стр. 63. *...бросаются на Сикстинскую мадонну...* — «Сикстинская мадонна» (1515—1519) Рафаэля (1483—1520) хранится в Дрезденской галерее. Достоевский очень любил «Сикстинскую мадонну», видя в ней «высочайшее проявление человеческого гения» (см.: *Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 148—149).

Стр. 69. *...обращение в антропофаги!* — Т. е. обращение в людоедов (от греч. antropos — человек и phagos — пожирающий).

Стр. 69. *...поклониться Ваалу.* — Ваал у семитических племен древней Сирии — бог неба, солнца, плодородия, поклонение которому принимало формы разнузданного разврата и требовало человеческих жертвоприношений; здесь в переносном смысле — бог приобретательства, наживы.

Стр. 69. *...чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами)...* — Первая подземная железная дорога (метрополитен) протяженностью 3.6 км была построена в Лондоне в 1860—1863 гг.

Стр. 69. *Вайтчапель* — правильнее Уайтчепель (Whitechapel) — район в восточной части Лондона, населенный в XIX в. рабочей беднотой.

Стр. 69. *Сити* — центральная часть Лондона, где сосредоточены банки, биржа, конторы акционерных компаний и другие учреждения, а также резиденция лорд-мэра.

Стр. 69. *Кристальный дворец* — хрустальный дворец (Crystal Palace), построен по проекту архитектора Дж. Пакстона в 1851 г. в Лондоне, а затем перенесен в 1853—1854 гг. в пригород Сиднем; служил главным павильоном

всемирных выставок, проходивших в Лондоне в 1851 и 1862 гг. (см. примеч. к стр. 113).

С т р. 69. *...едино стадо.* — Имеются в виду слова из Евангелия от Иоанна: «...и будет одно стадо и один пастырь» (гл. 10, ст. 16).

С т р. 70. *...что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса...* — Вавилон — столица древней Месопотамии, в VII в. до н. э. стал крупнейшим городом Передней Азии, прославился своими роскошными архитектурными сооружениями и «висячими садами». Апокалипсис (от греч. apokalypsis — откровение) — раннехристианское произведение, составляющее последнюю книгу Нового завета; содержит пророческие предсказания, касающиеся судеб мира и человечества.

С т р. 70. *...масса деревенеет и прихватывает китайщины...* — В середине XIX в. термины «китайщина», «китаизм» употреблялись для определения политического застоя в стране, когда низшие слои населения раболепно подчиняются деспотизму правящих кругов, когда, по словам Белинского, «всё держится на закоснелом обычае» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. XI, Пгр., 1917, стр. 157).

С т р. 70. *...вроде мормоновщины.* — Мормоны — члены религиозной организации, возникшей в США в 1830 г. «Пророки» мормонов проповедовали крайний мистицизм, суеверие и враждебность к прогрессу. Подробности об этой секте Достоевский мог почерпнуть из книги Жюля Реми «Путешествие в страну мормонов» (Jules R e m y. Voyage au pays des Mormons. Paris, 1860, 2 vol.), содержание которой было изложено в статье «Мормонизм и Соединенные Штаты», напечатанной в журнале «Время» (1861, № 10).

С т р. 71. *...еще долго не сбудется для них пророчество ∾ взывать к престолу всевышнего: «доколе, господи».* — В «Откровении Иоанна Богослова» (Апокалипсис) говорится, что после «великого дня гнева» множество избранных людей предстанут перед престолом «в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Обретя покой, «они не будут уже ни алкать, ни жаждать и не будет палить их солнце и никакой зной» (гл. 7). Обращение «Доколе, господи...» встречается во многих псалмах, а также в Книге пророка Аввакума: «Доколе, господи, я буду взывать — и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии — и ты не спасешь?» (гл. 1, ст. 2).

С т р. 71. *Лица точно из кипсеков.* — Кипсек (от англ. keepsake) — альбом изящных картинок, иногда с текстом.

С т р. 73. *...«Аз есмь воскресение и живот»...* — Слова Иисуса из Евангелия от Иоанна (гл. 11, ст. 25).

С т р. 73. *Английские поэты испокон веку любят воспевать красоту пасторских жилищ...* — Достоевский мог, в особенности, иметь здесь в виду роман О. Голдсмита (1728—1774) «Векфильдский священник» (1766), один из русских переводов которого вышел в 1847 г. В «Современнике» (1847, № 11) был тогда же опубликован анонимный критический разбор этого романа, написанный А. Д. Галаховым, как свидетельствуют воспоминания последнего («Исторический вестник», 1886, № 11, стр. 323—324).

С т р. 74. *...le tiers état c'est tout...* — См. примеч. к стр. 78.

С т р. 75. *...après moi le déluge...* — Фраза эта, ставшая крылатой, приписывается французскому королю Людовику XV (1710—1774).

С т р. 75. *...не смеет пикнуть слова о мексиканской экспедиции?* — Речь идет о вооруженной интервенции вначале (1861—1862) Англии, Испании и Франции, а с весны 1862 г. — только Франции в Мексику. Политические цели этой войны — свержение прогрессивного правительства и превращение Мексики в колонию, а также сопряженные с ней расходы — делали Мексиканскую экспедицию чрезвычайно непопулярной в широких слоях французского общества. В статье «Мексиканская экспедиция», напечатанной в «Политическом обозрении» журнала «Время», говорилось, что французские буржуа «забывают в числе расходов считать людей, которых Франция лишилась и еще вперед лишится» (*Вр*, 1862, № 7, стр. 33).

С т р. 75. *Эпузы* (франц. épouses) — супруги, жены.

С т р. 75. *...что фойе благоденствует...* — Фойе (франц. foyer) — здесь: домашний очаг.

Стр. 75. *Гантируются* (от франц. gant — перчатка) — носят перчатки.

Стр. 75. «*Жена, муж и любовник*» — роман Поль де Кока, в русском переводе вышел в Москве в 1833—1834 гг.

Стр. 76. *Jacques Bonhomme* — шутливое наименование французского крестьянина.

Стр. 76. *Сократ* (род. ок. 469 г., ум. в 399 г. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, учение которого отвергало многие общепризнанные воззрения его времени. Будучи приговоренным к смертной казни, Сократ умертвил себя ядом.

Стр. 76. *...для нашего Михайловского театра.* — Театр в Петербурге (ныне академический Малый оперный), в помещении которого проходили гастроли иностранных трупп, чаще всего французской комической оперы и оперетты.

Стр. 76. *...как лорда Девоншира...* — Достоевский имеет в виду представителей знаменитого старинного английского рода графов и герцогов. В 1862 г. титул герцога Девоншир носил Вильям Кавендиш, граф Бурлингтон (1808—1891).

Стр. 77. *...Грандисону, Алкивиаду, Монморанси...* — Грандисон — персонаж одноименного романа английского писателя Ричардсона (1689—1761), воплощение безупречной добродетели. Алкивиад (451—404 до н. э.) — афинский полководец; как пишет в его жизнеописании Плутарх, обладал величайшим искусством завоевывать любовь окружавших его людей. Монморанси — Достоевский имеет в виду древний воинственный род французских герцогов.

Стр. 77. *...какой-нибудь Адонис, Вильгельм Телль...* — Адонис — персонаж древнегреческой мифологии, отличавшийся необыкновенной красотой. Вильгельм Телль — бесстрашный герой швейцарской народной легенды, имя которого стало популярным после одноименной драмы (1804) Ф. Шиллера.

Стр. 77. *Галера* — гребное военное судно, существовавшее до конца XVIII в.; гребцами на галерах большей частью были осужденные на каторжные работы.

Стр. 77. *...в кодексе совершенно ясно обозначены пункты воровства из низкой цели, то есть из-за какого-нибудь куска хлеба...* — Это рассуждение, возможно, было написано под впечатлением истории осуждения Жана Вальжана, героя романа В. Гюго «Отверженные» (1862), который Достоевский впервые прочитал летом 1862 г. во Флоренции (*Биография,* стр. 244) и вторично просмотрел во время работы над этой частью «Зимних заметок» (см. письмо к А. Н. Милюкову от 2 января 1863 г.).

Стр. 78. *...разум оказался несостоятельным перед действительностью ∞ нет доводов чистого разума...* — Достоевский, очевидно, имеет в виду рационалистические теории, обосновывавшиеся в идеалистических философских учениях и подвергавшиеся в 30—60-х годах XIX в. критике позитивистов, отрицавших философию как науку, претендующую на обобщенный анализ явлений действительности.

В русской публицистике особый интерес к этим проблемам был вызван книгой П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии» (1860). С автором этой книги, развивавшим некоторые положения философии Канта, полемизировали Чернышевский («Антропологический принцип в философии» — 1860) и Писарев («Идеализм Платона» — 1861; «Схоластика XIX в.» — 1861). Говоря ниже о разуме Ивана и Петра, Достоевский имеет в виду следующее рассуждение Чернышевского, приведенное в названной выше статье: «...можно находить, что Иван добр, а Петр зол; но эти суждения прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще» (*Чернышевский,* т. VII, стр. 264). Аналогичное высказывание содержалось также в статье Писарева «Схоластика XIX в.»: «...воззрения не могут быть ни истинны, ни ложны: есть мое, ваше воззрение, третье, четвертое и т. д. Которое истинно? Для каждого свое...» (*Писарев,* т. I, стр. 135).

Стр. 78. *Профершпилился* (от нем. verspielen) — проиграл.

Стр. 78. *...аббат Сийес в своем знаменитом памфлете, что буржуа — это всё.* — Речь идет о Эммануэле Жозефе Сийесе (1748—1836), деятеле

французской буржуазной революции. В январе 1789 г. вышла его брошюра под названием «Что такое третье сословие?», в которой содержался этот ставший крылатой фразой афоризм. До революции Сийес был аббатом.

Стр. 78. *...провозгласили вскоре после него: Liberté, égalité, fraternité.* — Речь идет о лозунгах французской буржуазной революции XVIII в.

Стр. 80. *Любите друг друга, и всё сие вам приложится.* — Источником этого афоризма послужили библейские тексты. Ср.: «Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас» (Евангелие от Иоанна, гл. 15, ст. 12); «Ищите же прежде царства божия и правды его, и это всё приложится вам» (Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 33).

Стр. 81. *...«Каждый для всех и все для каждого» ∾ из одной всем известной книжки.* — На титульном листе книги французского утописта Этьенна Кабе (1788—1856) «Путешествие в Икарию» (1840) среди других лозунгов-эпиграфов значилось: «Tous pour chacun. Chacun pour tous» (Все для каждого. Каждый для всех). См.: Voyage en Icarie par M. Cabet. Paris, 1848.

Стр. 81. *...потянули основателя братства Кабета к суду.* — В 1847 г. Кабе купил в Америке землю и, переселив туда несколько сот французских рабочих, основал братство. В результате возникших раздоров Кабе был обвинен некоторыми членами братства, вернувшимися во Францию, в мошенничестве. Будучи заочно осужденным, Кабе приехал в Париж и добился пересмотра дела, закончившегося в 1851 г. полным его оправданием.

Стр. 81. *Фурьеристы, говорят, взяли свои последние девятьсот тысяч франков из своего капитала...* — Речь идет о фаланстерианской колонии «La Réunion» («Объединение»), основанной главой французских фурьеристов Виктором Консидераном (1808—1893) в Америке в штате Техас. Колония прекратила свое существование из-за разрушений, которым она подверглась во время гражданской войны 1861—1865 гг.

Стр. 81. *...в муравейнике всё так хорошо ∾ далеко еще человеку до муравейника!* — «Муравейником» назвал человеческое общество Вольтер в «Микромегасе» (1759). Но в данном случае Достоевский, очевидно, имеет в виду рассуждение Лессинга, приведенное Чернышевским в его работе «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» (1856—1857) и содержащее противопоставление человеческого общества муравейнику, где каждый занят полезной деятельностью: «тащит, пристраивает что-нибудь» — при этом муравьи не только не мешают друг другу, но даже помогают (см.: *Чернышевский,* т. IV, стр. 210; *Кирпотин,* стр. 414).

Стр. 82. *...буржуа торжествует ∾ он тогда еще боролся...* — В данном случае суждения Достоевского о буржуазии во многом совпадают с мыслями, которые развивал Белинский в конце 1847 года. Он писал, что при определении общественной роли буржуазии следует учитывать, на каком этапе своего развития она находится. «Буржуази в борьбе и буржуази торжествующая, — подчеркивал Белинский, — не одна и та же ⟨...⟩ Начало ее движения было непосредственное, ⟨...⟩ тогда она не отделяла своих интересов от интересов народа». Буржуазия тогда «выхлопотала права не одной себе, но и народу». Но она решила, иронически отмечал Белинский, «что народ с правами может быть сыт и без хлеба». На этом, т. е. на завоевании для народа «прав без хлеба», заканчивается, по мнению Белинского, прогрессивная роль буржуазии. Буржуазия не борющаяся, а торжествующая, «сознательно ассервировала народ голодом и капиталом» (*Белинский,* XII, 449).

Стр. 82. *Луи-Филипп* (1773—1850) — глава младшей линии династии Бурбонов, французский король с 1830 г., свергнутый февральской революцией 1848 г.

Стр. 82. *...разделался с ними на июньских баррикадах ружьем и штыком.* — Речь идет о восстании парижского пролетариата 23—26 июня 1848 г., которое В. И. Ленин назвал первой великой гражданской войной между пролетариатом и буржуазией (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 38, стр. 305). Восстание было жестоко подавлено правительственными войсками и отрядами буржуазной гвардии.

С т р. 82. *Наполеон III* (1808—1873) — французский император (1852—1870); племянник Наполеона I. Управлял в интересах крупной буржуазии и, попирая элементарные демократические свободы, в то же время демагогически заигрывал с трудящимися.

С т р. 83. *Вспомните один из ямбов Барбие...* — Имеется в виду поэма французского поэта Огюста Барбье (1805—1862) «Раздел добычи» (1830), вошедшая в сборник «Ямбы» (1831).

С т р. 83. *...пáдам до ног...* (польск. padam do nóg) — выражение, означающее: ваш покорный слуга; честь имею кланяться.

С т р. 83. *Толковали о Гарибальди* ∾ *недели за две до Аспромонте.* — Джузеппе Гарибальди (1807—1882) — народный герой, возглавивший борьбу за освобождение и объединение Италии «снизу», на демократических началах. Достоевский говорит о походе, предпринятом Гарибальди в июне 1862 г. с целью освобождения Рима от папской власти. 29 августа во время сражения с королевскими войсками близ Аспромонте Гарибальди был ранен, взят в плен и арестован. В журнале «Время», начиная с № 1 за 1861 г., регулярно печатались статьи о деятельности Гарибальди. Одна из них называлась «Гарибальди при Аспромонте и в Специи» (*Вр,* 1862, № 9, отд. II, стр. 84—107).

С т р. 84. *...он пользовался неограниченною и самою бесконтрольною властью.* — В сентябре 1860 г. войска Гарибальди при поддержке восставшего народа освободили юг Италии и вступили в Неаполь. Гарибальди был фактическим диктатором всей Южной Италии до 15 октября того же года, когда он передал освобожденную территорию под власть Савойской династии.

С т р. 84. *Даже глаза его разгорелись* ∾ *о двадцати миллионах франков.*— Присутствовавший при этом эпизоде Н. Н. Страхов в своих воспоминаниях о Достоевском пишет: «Помню до сих пор крупного француза, первенствовавшего в разговоре и, действительно, довольно неприятного. Но речам его придана в рассказе слишком большая резкость; и еще опущена одна подробность: на Федора Михайловича так подействовали эти речи, что он в гневе ушел из столовой, когда все еще сидели за кофе» (*Биография,* стр. 244—245).

С т р. 84. *Хаптурки* — т. е. грабители; слово образовано Достоевским от просторечного «хаптурá», что означает награбленное имущество (см.: *Даль,* т. IV).

С т р. 85. *...во Франции всё началось с Людовика XIV.* — Правление (1643—1715) французского короля Людовика XIV (1638—1715) ознаменовалось укреплением абсолютизма. Литература этой эпохи, основным направлением которой был классицизм, а также нравы французского дворянского общества оказали широкое воздействие на культурную и общественно-политическую жизнь европейских стран XVII—XVIII вв.

С т р. 86. *...как это во Франции могли случиться все эти маленькие шалости...* — Речь идет о французской буржуазной революции XVIII в.

С т р. 86. *...припоминает Тьера, Гизо, Одилона Барро.* — Тьер, Огюст (1797—1877) — французский государственный деятель, историк, по профессии адвокат. Достоевский имеет в виду его парламентскую деятельность при Луи Филиппе (1830—1851). 1851—1863 годы — период, когда Тьер временно отстранился от политической деятельности. Гизо, Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский историк и политический деятель, начавший свою карьеру при Наполеоне I; вышел в отставку после февральской революции 1848 г. Барро Одилон (1791—1873) — французский государственный деятель 1830—1840-х годов.

С т р. 86. *... в законодательном корпусе содержится шесть либеральных депутатов...*— Обсуждение политики правительства в законодательном корпусе (т. е. в парламенте) стало возможным после специального декрета, изданного Наполеоном III 24 ноября 1860 г. Буржуазно-республиканская оппозиция в законодательном корпусе была представлена «группой пяти». Пародируя ход заседания и прения во французском парламенте, Достоевский оперировал главным образом фактами, сообщавшимися в политическом обозрении мартовского номера «Времени» за 1862 г. (см. стр. 9—41). Утверждение Достоевского, что в законодательном корпусе только шесть либеральных депутатов, также, очевидно, почерпнуто оттуда (см. там же, стр. 17). Общая характери-

стика законодательного корпуса как послушного орудия в руках Наполеона III перекликается с точкой зрения В. Гюго, выраженной им в памфлете «Наполеон малый» (1852) (см.: В. Дороватовская-Любимова. Париж Второй империи в пародии Достоевского. «Литературный критик», 1936, № 9, стр. 206).

Стр. 87. *Принц Наполеон,* Жозеф Бонапарт (1822—1891) — двоюродный брат Наполеона III, сенатор; выступал с речами, рассчитанными на сенсационный успех.

Стр. 89. *Jules Favre* — Фавр Жюль (1809—1880) французский политический деятель, адвокат по профессии. С конца 1850-х годов — один из лидеров буржуазно-республиканской оппозиции. Отрывок из судебной речи — пародия на ораторский стиль Ж. Фавра (см. В. Дороватовская-Любимова. Париж Второй империи в пародии Достоевского. «Литературный критик», 1936, № 9, стр. 206—207).

Стр. 89. *В своих трагедиях он достигнул великого, хотя Франция уже имела Корнеля.* — Первая трагедия Вольтера (1694—1778) «Эдип» (1718) сделала его знаменитым и заставила говорить о нем как о достойном преемнике Корнеля (1606—1684), крупнейшего представителя классической трагедии.

Стр. 89. *...Jean Jacques, l'homme de la nature et de la vérité!* — Источником для этого сжатого определения личности Жан-Жака Руссо (1712—1778) являются следующие слова из первой книги его «Исповеди» (1782—1789): «Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi» (Я хочу показать своим собратьям человека в его истинной природе — и этим человеком буду я). Пользуясь этой декларацией Руссо для обобщенной его характеристики, Достоевский, вероятно, следовал примеру Гейне. Говоря о том, что никому не удавалось до сих пор написать искреннюю автобиографию, Гейне в десятой части второго тома французского издания своей книги «О Германии» («Признания», 1853—1854) добавлял: «... ni le Genevois Jean-Jacques Rousseau; surtout ce dernier qui, tout en s'appelant l'homme de la vérité et de la nature, n'etait au fond pas moins mensonger et dénaturé que les autres» (ни женевцу Жан-Жаку Руссо, — в особенности последнему, который, называя себя человеком природы и правды, в сущности, был не менее лжив и извращен, чем другие).

Стр. 89. *Из этих двух великих людей ∾ называл первого просто дураком.*— Разногласия между Руссо и Вольтером усугублялись их взаимной антипатией. Руссо разоблачил Вольтера как «антихристианина» в «Письмах, написанных с горы» (1764); последний ответил памфлетом «Мнение граждан» (1764) и сделал Руссо героем сатирической поэмы «Гражданская война в Женеве» (1768).

Стр. 89. *Маршал Ланн.* — Жан Ланн, герцог де Монтебелло (1769—1809), один из выдающихся полководцев наполеоновской армии.

Стр. 90—91. *Буржуа, если заговорит высоким слогом ∾ моя жена...* — На эту характерную черту речи французского буржуа до Достоевского обратил внимание Бальзак, который в очерке 1840 г. «Бакалейщик» (2-й вариант) писал: «В каком квартале ни производили бы вы опыт, никогда бакалейщик не произнесет легкомысленно: „моя жена", но скажет: „моя супруга". В словах „моя жена" подразумеваются нелепые, странные, низкопробные идеи, подменяющие божественное создание вещью. У дикарей — жены, а у цивилизованных народов — супруги» (*Бальзак,* т. 15, стр. 91).

Стр. 93. *Блазированный* (от франц. blasé) — пресыщенный.

Стр. 93. *Le Russe est sceptique et moqueur ∾ не принадлежа ни к какой нации.* — Достоевский имеет в виду, в частности, ряд замечаний о русских, высказанных французским путешественником А. де Кюстином в книге «Русские в 1839» (ср. : La Russie en 1839 par le Marquis de Custine, seconde edition. Paris, 1843, t. I, p. 303; t. II, p. 90, 100 и др.). В 1847 г. в серии фельетонов «Петербургская летопись» Достоевский полемизировал с книгой Кюстина (см. примеч. к т. XVIII наст. издания).

Стр. 94. *...я не претендую, как Лесажев бес, снимать крыши с домов.* — Речь идет об Асмодее, персонаже романа французского писателя Алена Рене

Лесажа (1668—1747) «Хромой бес» (1707). Достоевский вспомнил этот роман не случайно. Лесаж изобразил замаскированными под испанцев французских буржуа, которые, с его точки зрения, не что иное, как «воры из третьего сословия», и аристократов, погрязших в паразитической и распутной жизни.

Стр. 95. *Мелодрама не умрет, покамест жив буржуа.* — Пародийная характеристика французской драматургии времен Наполеона III, типичными представителями которой были Эмиль Ожье (1820—1889), Викторьен Сарду (1831—1908), Франсуа Понсар (1814—1867) и др., совпадала с оценкой творчества этих писателей в статьях Чернышевского (см. т. II, стр. 368—369), Салтыкова-Щедрина (т. V, стр. 250—264) и авторов, напечатавших свои обзоры в журнале «Время» (см.: А. П. Бибиков. 1) Как решаются нравственные вопросы современной французской драмой. *Вр*, 1862, № 2; 2) Литературное движение во Франции. *Вр*, 1863, № 3).

## ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

(Стр. 99)

### Источники текста

*Э*, 1864, № 1—2, стр. 497—519 (I. Подполье); № 4, стр. 293—367 (II, Повесть по поводу мокрого снега).
*1865*, том II, стр. 193—228.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в *Э*, 1864, №№ 1—2,4, с подписью: Федор Достоевский (ценз. разр. — 20 марта и 3 июня 1864 г.).

Печатается по тексту *1865* с устранением явных опечаток, а также со следующими исправлениями по *Э:*

*Стр. 100, строки 40—41:* «Да-с, умный человек» вместо «Да-с, человек».

*Стр. 104, строка 14:* «усиленно сознающая мышь» вместо «усиленная сознающая мышь».

*Стр. 106, строка 1:* «и у меня» вместо «у меня».

*Стр. 126, строка 27:* «всему уступить, со всеми поступить политично» вместо «всему уступить, политично».

*Стр. 132, строка 10:* «чтобы только так» вместо «чтобы так».

*Стр. 132, строка 17:* «Дело было в том» вместо «Дело в том».

*Стр. 139, строка 11:* «о каторжных годах» вместо «о каторжных домах».

*Стр. 141, строка 6:* «чудовищно преувеличиваю» вместо «чудовищно увеличиваю».

*Стр. 141, строки 36—37:* «по городости своей» вместо «по глупости своей» (*по контексту*).

*Стр. 161, строки 4—5:* «королевной смотрела» вместо «королевой смотрела».

*Стр. 163, строки 43—44:* «чтоб и я видел» вместо «чтоб я видел».

*Стр. 178, строки 19—20:* «всё время» вместо «во всё время».

Замысел «Записок из подполья» определился, вероятно, в конце 1862 г., в период обдумывания и писания «Зимних заметок о летних впечатлениях»: в путевых очерках Достоевского сжато сформулирован один из основных пунктов философской исповеди героя «Записок» — мысль о невозможности построить человеческую жизнь «на разумном основании» (см. стр. 78—81). Первоначально это должен был быть «большой роман» под названием «Исповедь» (название это впервые встречается в письме Достоевского к брату из Твери от 9 октября 1859 г., но тогдашний замысел, охарактеризованный в т. III наст. изд., стр. 491—494, вряд ли можно отождествить с замыслом 1862—1863 гг.). В объявлении «От редакции» на обложке декабрьской книжки

«Времени» 1862 г. и в первом номере за 1863 г. редакция извещала читателей, что новое произведение Ф. М. Достоевского «Исповедь» появится в журнале в ближайшее время (*Вр,* 1862, № 12; 1863, № 1). Впервые на связь замысла «Исповеди» с «Записками из подполья» указал В. Л. Комарович (см.: «Былое», 1924, № 23, стр. 31).

Заменив первоначальное название «Исповедь» на «Записки из подполья» и напечатав первую их часть в № 1—2 «Эпохи» за 1864 г., Достоевский не отказался еще от намерения создать большое по объему произведение. В журнальной публикации «Подполья» в подстрочном примечании к названию автор сообщал, что вслед за первым отрывком, который является «как бы вступлением», последуют другие, и все вместе они составят «целую книгу» о жизни героя (см. варианты прижизненных изданий к стр. 99). Замысел этот в полном объеме не был осуществлен. Вслед за первой частью была написана и напечатана только «Повесть по поводу мокрого снега», завершившая «Записки из подполья». Автор при этом сообщил, что «здесь еще не кончаются „записки“», но он решил, что на этом «можно и остановиться» (стр. 179).

При следующей публикации (*1865*) Достоевский убрал из текста все указания на то, что «Записки из подполья» составят «целую книгу» и перенес определение жанра «повесть», первоначально относившееся только ко второму отрывку, в подзаголовок ко всему произведению. В это же время в тексте повести были сделаны незначительные стилистические исправления (см. варианты прижизненных изданий). После издания *1865* при жизни Достоевского «Записки из подполья» не перепечатывались.

Основная работа над первой частью («Подполье») пришлась на январь—февраль 1864 г. Достоевский в это время из-за болезни жены жил в Москве. Эта часть повести была предназначена для первой книги «Эпохи» (1864), которая не могла без нее выйти в свет, так как в портфеле редакции из художественных произведений были только «Призраки» Тургенева. Оправдывая задержку повести болезнью жены и собственными недомоганиями, Достоевский в то же время признавался в письме к брату от 9 февраля 1864 г.: «Не скрою от тебя,что и писанье у меня худо шло. Повесть вдруг мне начала не нравиться. Да и я сам там сплошал. Что будет, не знаю». Вторая часть «Записок из подполья», которую в письмах к брату Достоевский именует просто «повесть», создавалась в марте—мае 1864 г. 5 марта 1864 г. писатель обещал М. М. Достоевскому: «примусь уж за повесть». Но собственная болезнь и тяжелое состояние жены, умиравшей от туберкулеза, задерживали работу. 20 марта Достоевский, наконец, сообщил в Петербург: «Сел за работу, за повесть». В том же письме к брату шла речь и о творческих затруднениях. «Гораздо трудней ее писать, чем я думал, — жаловался Достоевский. — А между тем непременно надо, чтоб она была хороша, *самому мне* это надобно. По тону своему она слишком странная, и тон резок и дик: может не понравиться; следовательно, надобно, чтоб поэзия всё смягчила и вынесла».

К творческим трудностям прибавилась еще забота приспосабливать написанное к цензурным требованиям, которые иногда ставили писателя в тупик. Так, получив первый двойной номер «Эпохи», где было напечатано «Подполье», и обнаружив там, помимо «ужасных опечаток», цензурные искажения в тексте, Достоевский писал 26 марта 1864 г. брату Михаилу: «Да что они, цензора-то, в заговоре против правительства, что ли? 〈...〉 уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, т. е. надерганными фразами и противореча самой себе. Но что же делать? Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду*, — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа, — то запрещено...»

Первая половина апреля 1864 г. прошла в напряженной работе над повестью. 2 апреля 1864 г. Достоевский сообщал брату: «Повесть растягивается. Иногда мечтается мне, что будет дрянь, но, однако ж, я пишу с жаром, не знаю, что выйдет. Но все-таки в том дело, что она потребует много времени». В письме к М. М. Достоевскому от 13 апреля уже был изложен общий план повести: «Повесть разделяется на 3 главы, из коих каждая не менее $1^1/_2$ печат. листов, 2-я глава находится в хаосе, 3-я еще не начиналась, а 1-я обделыва-

ется. В 1-й главе может быть листа 1 $^1/_2$, может быть обделана вся дней через 5. Неужели ее печатать отдельно? Над ней посмеются, тем более что без остальных 2-х (главных) она теряет весь свой сок. Ты понимаешь, что такое переход в музыке. Точно так и тут. В 1-й главе, по-видимому, болтовня, но вдруг эта болтовня в последних 2-х главах разрешается неожиданной катастрофой».

В журнале эта часть повести — «По поводу мокрого снега» — заняла около пяти печатных листов и состояла не из трех, а из десяти небольших глав.

Последовавшая 15 апреля 1864 г. смерть Марьи Дмитриевны Достоевской приостановила работу, в связи с чем редакция «Эпохи» вынуждена была в 3-м (мартовском) номере журнала (вышел в свет 8 мая 1864 г.) поместить уведомление о том, что «продолжение повести Ф. М. Достоевского „Записки из подполья" по случаю болезни автора отложено до следующей книги».

Дописывалась повесть, вероятно, в мае, после переезда Достоевского в Петербург и была напечатана в № 4 «Эпохи», который вышел в свет 7 июня 1864 г.

«Записки из подполья» органически связаны как с предшествовавшим творчеством Достоевского, и в особенности с «Зимними заметками о летних впечатлениях», так и с последовавшими за ними романами, начиная с «Преступления и наказания» и кончая «Братьями Карамазовыми».

Образ «человека из подполья» явился результатом многолетних раздумий писателя и не переставал его волновать до конца жизни.

Некоторые психологические черты этого героя улавливаются уже в облике Голядкина («Двойник»). Обращает на себя внимание, что герои «Двойника» и «Записок из подполья» служат оба в канцелярии одного и того же столоначальника Антона Антоновича Сеточкина. Перенесение его имени из повести 1840-х годов в «Записки из подполья» можно объяснить тем, что в 1862—1864 гг., когда уже создавались «Записки», Достоевский продолжал думать над планом переработки «Двойника», в связи с чем между замыслами обеих повестей в сознании писателя устанавливалась определенная внутренняя связь (см. об этом в примеч. к «Двойнику», в т. I наст. изд., стр. 484—486). Фома Опискин («Село Степанчиково») и Млекопитаев («Скверный анекдот») также имеют схожие черты с «подпольным» героем, общая же философская концепция человека этого типа изложена была в «Зимних заметках». Это — «книжник», «мечтатель», «лишний человек», утративший связь с народом и осужденный за это автором-шестидесятником, стоящим на «почвеннических» позициях.

Проблема «лишних людей», на смену которым шли новые герои-деятели, активно обсуждалась в русской публицистике на рубеже 1860-х годов. Проявлял к ней интерес и Достоевский. Так, имея в виду Чацкого и последовавших за ним «лишних людей», Достоевский писал в «Зимних заметках»: «Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Это факт, против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела» (стр. 62).

Аналогичная мысль развивалась и в программах «Времени». Так, в объявлении об издании журнала в 1863 г., напечатанном в сентябре (цензурное разрешение — 14 сентября) 1862 г., т. е. в пору возникновения замысла «Записок из подполья», говорилось: «Мы долго сидели в бездействии, как будто заколдованные страшной силой. А между тем в нашем обществе начала сильно проявляться жажда жить. Через это-то самое желание жить общество и дойдет до настоящего пути, до сознания, что без соединения с народом оно одно ничего не сделает».

«Человек из подполья» в тексте повести не назван «лишним». Однако в подстрочном примечании к заглавию «Подполье» сказано, что в повести выведен «перед лицо публики» «один из характеров протекшего недавнего времени ⟨...⟩ один из представителей еще доживающего поколения» (стр. 99). Сопоставим это со следующим рассуждением в объявлении об издании «Эпохи» на 1865 г.: «Мы видим, как исчезает наше современное поколение, само собою, вяло и бесследно, заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих „лишних людей". Разумеется, мы говорим только об из-

бранных из „лишних людей“ (потому что и между „лишними людьми“ есть избранные); бездарность же и до сих пор в себя верит и, досадно, не замечает, как уступает она дорогу новым, неведомым здоровым русским силам, вызываемым, наконец, к жизни» («Эпоха», 1864, № 8, ценз. разр. — 22 октября 1864 г.). Из параллельного прочтения этих текстов ясно, что, создавая «подпольного» героя, Достоевский имел в виду показать самосознание представителя одной из разновидностей «лишних людей» в новых исторических условиях.

Герой «Записок» говорит о себе: «Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. ⟨...⟩ Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего времени» (стр. 125). Подобное трагическое мироощущение Достоевский считал характерной чертой «избранных» «лишних людей». Это видно из его отзыва о «Призраках» Тургенева, которые Достоевский прочитал в период работы над «Записками из подполья». В «Призраках» — писал Достоевский Тургеневу 23 декабря 1863 г. — «...много реального. Это реальное — есть *тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время,* уловленная тоска». В беспредельной тоске «подпольного парадоксалиста» в его словах: «Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся» (стр. 105) — есть мотивы, близкие суждениям, высказанным Тургеневым и в «Поездке в Полесье» (1857), а затем в стихотворении в прозе 1881 г. «Молитва» (см.: *Тургенев, Сочинения,* т. VII, стр. 51, т. XIII, стр. 197; ср. также: А. Батюто. Тургенев романист. Изд. «Наука», Л., 1972, стр. 53—54).

Задумав произведение, в центре которого должен был стоять «исповедующийся» «лишний человек», Достоевский не мог не учесть опыта своих предшественников, создавших классические образцы этого типа, а также суждения критиков, объяснивших историческую сущность и закономерность появления «лишних людей».

Герой «Записок из подполья» по своему психологическому облику ближе всего стоит к «русским гамлетам» Тургенева, к «Гамлету Щигровского уезда» (1849) и к Чулкатурину из «Дневника лишнего человека» (1850). Эта общность была отмечена еще Н. Страховым, который в 1867 г. в статье, посвященной выходу в свет Собрания сочинений Достоевского 1865—1866 гг., писал: «Отчуждение от жизни, разрыв с действительностью ⟨...⟩ эта *язва,* очевидно, существует в русском обществе. Тургенев дал нам несколько образцов людей, страдающих этой язвою; таковы его „Лишний человек“ и „Гамлет Щигровского уезда“ ⟨...⟩ Г-н Ф. Достоевский, в параллель тургеневскому Гамлету, написал с большою яркостию своего „подпольного“ героя...» (*ОЗ*, 1867, № 2, Наша изящная словесность, стр. 555).[1]

В некотором отношении традиционен у Достоевского и прием развенчания «лишнего человека», которому противопоставлена героиня с цельным характером и глубокой, способной к самоотверженной любви натурой.

Чувство собственной «отчужденности» находит себе аналогию и у героев повести Н. Г. Помяловского «Молотов» (1861); ср. со словами «подпольного человека»: «Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (стр. 174) — следующие слова Дорогова за чтением газеты в названной повести: «Антонелли, Кавур, Виктор-Эммануил... а пропадай они совсем — мне-то что до них за дело? Вот честное слово, провались Италия сквозь землю, я и не поморщусь» (Н. Г. Помяловский. Полное собрание сочинений, т. I. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 155). Эти совпадения, вероятно, можно объяснить тем, что мысли, высказываемые героем «Записок» Достоевский считал своеобразной «филосо-

---

[1] Ср.: Г. А. Бялый. О психологической манере Тургенева (Тургенев и Достоевский). *РЛ,* 1968, № 4, стр. 34—50. О чертах, позволяющих в известной мере сблизить героя «Записок» с Печориным, см.: В. И. Левин. Достоевский, «подпольный парадоксалист» и Лермонтов. Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1972, № 2, стр. 142—156.

фией времени» (см. об этом: Р. Г. Назиров. Об этической проблематике повести «Записки из подполья». *Достоевский и его время,* стр. 151).

Первоначально «Записки из подполья» были названы «Исповедью». Это название, возможно, указывает на связь замысла повести с «Исповедью» Руссо. «Подпольный человек», так же как и герой Руссо, беспощадно откровенен в изображении самых неблаговидных своих поступков и их низменных побуждений (ср.: *Чирков,* стр. 48). Об интересе Достоевского к «Исповеди» Руссо, проявившемся именно в период обдумывания и создания повести, свидетельствуют как косвенные упоминания о ней в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см. примеч. к стр. 89), так и полемические выпады против ее автора в самих «Записках из подполья». А. Л. Бем считал, что Достоевский назвал свою повесть по ассоциации со следующими словами Альбера из «Скупого рыцаря» Пушкина: «...пускай отца заставят Меня держать, как сына, не как мышь, Рожденную в подполье» (О Достоевском, II, сборник статей под ред. А. Л. Бема. Прага, 1933, стр. 17). В подтверждение этой гипотезы можно привести слова «парадоксалиста», который сравнивает себя с «усиленно сознающей мышью», обреченной на прозябание «в мерзком, вонючем подполье» (стр. 104).

В «Записках из подполья» отразились также авторские переживания юношеских лет. Так, описание периода пребывания подпольного героя в учебном заведении (см. стр. 139—140) несомненно навеяно впечатлениями, вынесенными Достоевским из стен Инженерного замка (на этот факт впервые указал А. С. Долинин; см.: *Д, Письма,* т. IV, стр. 454).

Однако совпадение некоторых деталей в биографии героя и автора, его создавшего, не дает, разумеется, никаких оснований для их отождествления, как это сделал Н. Н. Страхов, назвавший в известном, полном враждебности к Достоевскому письме, адресованном Л. Н. Толстому, от 28 ноября 1883 г., в числе типов, созданных Достоевским и наиболее похожих на него самого, героя «Записок из подполья». [1]

Сопоставление «Записок из подполья» со статьями Достоевского 1861—1864 гг. и «Зимними заметками о летних впечатлениях», проделанное А. П. Скафтымовым, со всей очевидностью убеждает в том, что «герой подполья воплощает в себе конечные результаты „оторванности от почвы“, как она рисовалась Достоевскому», и потому этот персонаж «не только обличитель, но и обличаемый» (*Скафтымов,* стр. 102, 103 и 323), не герой, но «антигерой», по выражению самого автора.

Сущность образа подпольного человека впоследствии была вскрыта и Достоевским, который в черновом наброске «Для предисловия» (1875), отвечая критикам, высказавшимся по поводу напечатанных частей «Подростка», писал: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости ⟨...⟩ Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!» Достоевский утверждал в заключение, что «причина подполья» кроется в «уничтожении веры в общие правила. „*Нет ничего святого*“» (наст. изд., т. XIV).

«Записки из подполья» — произведение, открывшее новый этап в развитии таланта его автора. Здесь впервые применен принцип построения образа центрального героя, который впоследствии обусловил своеобразие художественной структуры романов Достоевского. Взаимоотношения «подпольного человека» и окружающей действительности в этой повести является результатом (пользуясь термином Б. М. Энгельгардта) его «идеологического отношения к миру» (*Сб. Достоевский, II,* стр. 93), а каждая его мысль воспринима-

---

[1] См.: Толстовский музей, т. II. СПб., 1914, стр. 309; ср.: Л. Гроссман. Путь Достоевского. Л., 1924, стр. 188—192; А. С. Долинин. Достоевский и Суслова. *Сб. Достоевский, II,* стр. 160; В. Л. Комарович. Мировая гармония Достоевского. «Атеней», кн. 1—2, 1924, стр. 121, 130—131.

ется как «реплика незавершенного диалога» и «напряженно живет на границах с чужою мыслью, с чужим сознанием» (см. : *Бахтин*, стр. 55—56).

Не будучи единомышленником героя, Достоевский наделил рассуждения его такой силой «доказательности», какой впоследствии отличались монологи Раскольникова, Ставрогина и братьев Карамазовых. Этот прием был столь необычен для современников, что даже искушенная в вопросах литературы и хорошо знавшая Достоевского А. П. Суслова не поняла его и, прочитав первую часть «Записок из подполья», писала их автору: «Что ты за скандальную повесть пишешь? ⟨...⟩ мне не нравится, когда ты пишешь цинические вещи. Это к тебе как-то не идет...» (*Сб. Достоевский, II*, стр. 269).

Неоднократно (и обоснованно) высказывалась мысль, что основным противником, с которым Достоевский полемизирует в «Записках из подполья», является Чернышевский как автор романа «Что делать?». [1] Созданный Достоевским трагический тип человека с разорванным сознанием, натура которого отвергает доводы разума, не укладывался в рамки этической концепции Чернышевского, основанной на рационалистическом осознании человеком своей «выгоды» как социального, общественного существа. Но важно учесть и то, что «Записки из подполья» были задуманы еще до выхода в свет «Что делать?». Появившийся же в 1863 г. роман Чернышевского мог повлиять на формирование прежнего замысла, уже, очевидно, предполагавшего полемику с теорией «разумного эгоизма», начатую в «Зимних заметках», и подтолкнуть Достоевского к его осуществлению. Автор «Записок из подполья» возражает как Чернышевскому, так и мыслителям, являвшимся его идейными предшественниками и последователями. Достоевский видел в Чернышевском продолжателя неприемлемой для него просветительской концепции человека, основы которой были заложены французскими философами XVIII в., в частности Руссо и Дидро (см.: А. Григорьев. Достоевский и Дидро. *РЛ*, 1966, № 4, стр. 97—99).

Основной полемический тезис, сформулированный Достоевским еще в «Зимних заметках» и направленный против рационализма и оптимизма просветителей, сводился к следующему: социализм не может быть осуществлен на принципе разумного договора личности и общества по формуле «каждый для всех и все для каждого» потому, что, как утверждал Достоевский, «не хочет жить человек и на этих расчетах ⟨...⟩ Ему всё кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля» (стр. 81).

Вся первая часть повести, «Подполье», является развитием этого положения. Многие рассуждения «подпольного парадоксалиста» являются полемически заостренными истолкованиями теории «разумного эгоизма». Исследователи обычно учитывали лишь один источник этих рассуждений: они находили параллели им в статьях Чернышевского и его романе «Что делать?». Между тем Достоевский заставлял своего героя спорить и с другими участниками общественно-политической борьбы начала шестидесятых годов, причем — различных лагерей. В повести есть полемические намеки на суждения В. А. Зайцева, в статьях которого звучало упрощенное, вульгарно-материалистическое истолкование идей Чернышевского и западноевропейских передовых мыслителей 1860-х годов (см. примеч. к стр. 105).

Достоевский отнесся с неодобрением и к антинигилистическому роману А. Ф. Писемского «Взбаламученное море», напечатанному в «Русском вестнике» за 1863 г., о чем можно судить по его письму от 19 ноября 1863 г. к М. М. Достоевскому: «Разбор Чернышевского романа и Писемского произвел бы большой эффект и, главное, подходил бы к делу. Две противоположные идеи, и обеим по носу. Значит, правда». Неудивительно поэтому, что в «Записках из подполья» обнаруживается полемика с публицистикой «Русского вестника». Например, рассуждение героя повести о том, что жизнь человеческую нельзя рассчитать по формуле «дважды два — четыре» (см. стр. 113, 118—119),

---

[1] См.: Н. Л. Бродский. Н. Г. Чернышевский и читатели 60-х годов. «Вестник воспитания», 1914, № 9, стр. 155—179; Ч. Ветринский. Н. Г. Чернышевский. Пгр., 1923, стр. 141—143; В. Комарович. Мировая гармония Достоевского, стр. 124—130.

направлено против М. Н. Каткова, который в одной из статей писал: «Математическая формула таится под явлениями жизни, и она необходима для их уразумения...» Приведя эту цитату в статье «По поводу элегической заметки „Русского вестника"» (1861), Достоевский спрашивал М. Н. Каткова: «А вы знаете ее, эту формулу? Что же вы нам ее не откроете, коли знаете?»

Оперируя тезисами и понятиями, близкими в отдельных случаях к философским идеям Канта, Шопенгауэра (см.: *Кирпотин*, стр. 482—497), Штирнера,[1] герой «Записок из подполья» утверждает, что философский материализм просветителей и взгляды представителей утопического социализма, равно как и абсолютный идеализм Гегеля,[2] неизбежно ведут к фатализму и отрицанию свободы воли, которую он ставил превыше всего. «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, — говорил он — свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту» (стр. 113).

Анализируя в «Феноменологии духа»[3] образ племянника Рамо — героя известного романа-диалога Дидро, Гегель высказал мысль, что этот отрицательный персонаж, воплощающий «разорванное» создание своей эпохи, в то же время является носителем иронической диалектики, которая приводит в движение застывшие, рассудочные категории просветительских теорий XVIII в., обнаруживая внутреннюю подвижность и текучесть «добра» и «зла», «разума» и «безумия», относительность этих и других социальных и моральных представлений. То же самое в известной мере, по мысли Г. М. Фридлендера, применимо к герою Достоевского.[4] При ироническом, скептическом характере диалектики изображенного Достоевским носителя нового типа «извращенного», «разорванного» сознания (свойственного, в понимании автора, представителям XIX в.) в ней есть не только парадоксальное, но и рациональное начало. Достоевский сознает абстрактность и известную оторванность от жизни всех тех версий просветительской этики, которые основывались на представлении, что общественные интересы выводятся из интересов отдельной личности «головным», отвлеченно-логическим путем. Исторически достигнутый уровень социального и нравственного развития общества при этом не учитывался. Достоевский верно ощущал также абстрактность тех форм утопического социализма его эпохи, в которых будущее человечества изображалось в виде «хрустального дворца», символизирующего некий надысторический «идеал», застывшую, неподвижную картину, близкую идеалистическому гегелевскому представлению о «конце истории».[5] Однако эта критика утопизма и рациона-

---

[1] О совпадении многих сторон индивидуалистического мировосприятия «подпольного» человека с идеями книги Макса Штирнера «Единственный и его достояние» (1845) см.: Н. Отверженный (Н. Г. Булычев). Штирнер и Достоевский. Изд. «Голос труда», М., 1925, стр. 28—38. — Высказывалась также точка зрения, что аргументы «подпольного» человека о «свободе хотения» близки некоторым положениям, развитым в статьях Н. Н. Страхова (см.: А. С. Долинин. Ф. М. Достоевский и Н. Н. Страхов. В кн.: *Шестидесятые годы,* стр. 240).

[2] Подпольный «парадоксалист» не желает мириться с обоснованной Гегелем объективной закономерностью всего существующего (см.: *Кирпотин,* стр. 482—494). Для него «все действительное неразумно, все неразумное действительно» (Р. Г. Назиров. Об этической проблематике повести «Записки из подполья». *Достоевский и его время,* стр. 151).

[3] См.: Гегель. Сочинения. Т. IV. Феноменология духа. М., 1959, стр. 278—289.

[4] Впервые «Записки из подполья» с «Племянником Рамо» сопоставил В. Розанов в своей книге «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». (СПб., 1894, стр. 27).

[5] Зачатки критики с подобной точки зрения социалистических утопий 1840-х годов, в частности идей Фурье, можно обнаружить уже в показаниях Достоевского на следствии по делу петрашевцев (см. наст. изд., т. XVIII).

листической этики приобретает в устах «антигероя» «Записок из подполья» всеотрицающий характер, выливается в проповедь безграничного индивидуализма и скептицизма, отрицающих не только социальные утопии и близкое демократам-шестидесятникам рационалистическое обоснование этики, но и вообще идею активного, творческого преобразования человеком существующей общественной жизни.

Заставляя своего героя в качестве «головного», теоретического тезиса проповедовать доведенную до логического предела программу крайнего индивидуализма, Достоевский наметил уже в первой части «Записок из подполья» и возможный, с его точки зрения, выход из этого состояния. Воображаемый оппонент «подпольного человека» говорит ему: «Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца — полного, правильного сознания не будет» (стр. 122). Очевидно, в доцензурном варианте эта мысль была развита еще более определенно. По утверждению автора, места, где он «вывел потребность веры и Христа» (см. выше), были запрещены. О том, что имел в виду Достоевский, говоря о «потребности веры и Христа», можно судить по заметкам в записной тетради (1864—1865 гг.), сделанным вскоре после опубликования «Подполья». Упрекая «социалистов-западников» в том, что они, заботясь только о материальном благополучии человека, «дальше брюха не идут», Достоевский писал: «Есть нечто гораздо высшее бога-чрева. Это — быть властелином и хозяином даже себя самого, своего *я*, пожертвовать этим *я*, отдать его — всем. В этой идее есть нечто неотразимо-прекрасное, сладостное, неизбежное и даже необъяснимое 〈...〉 социалист не может себе представить, как можно добровольно отдавать себя за всех, по его — это безнравственно. А вот за известное вознаграждение — вот это можно 〈...〉 А вся-то штука, вся-то бесконечность христианства над социализмом в том и заключается, что христианин (идеал), всё отдавая, ничего себе сам не требует» (см. наст. изд., т. XIX, «Социализм и христианство»).

Второй части «Записок из подполья» — «По поводу мокрого снега» — в качестве эпиграфа предпосланы стихи Некрасова «Когда из мрака заблужденья» (1845). Тема этого стихотворения варьируется и в повести, где она подвергается, однако, глубокому переосмыслению, как и темы жоржсандовских повестей 1850-х годов, — переосмыслению, включающему в себя сочувственное и одновременно полемическое отношение к ним. Конфликт между Лизой — носительницей «живой жизни», и «мертворожденным» «небывалым общечеловеком», «парадоксалистом» из подполья кончается нравственной победой героини. Ее простая человечность посрамляет героя и обнаруживает в нем черты страдающего и затравленного человека, озлобленность и мстительность которого являются лишь внешней позой, доставляющей ему самому внутренние страдания. В облике этой героини нашли отражение некоторые черты «сильно развитой личности», о которой Достоевский писал еще в «Зимних заметках» (см. стр. 79) и представление о которой в конце 1864 г., т. е. после опубликования «Записок из подполья», дополнилось новыми штрихами. Так, в подстрочном редакционном примечании к статье Н. Соловьева «Теория пользы и выгоды», которое, как есть основания считать, принадлежит Ф.М. Достоевскому (на этот факт впервые указал А. П. Скафтымов; см.: *Скафтымов*, стр. 333), сказано: «Чем выше будет сознание и самоощущение своего собственного лица, тем выше и наслаждение жертвовать собой и всей своей личностью из любви к человечеству. Здесь человек, пренебрегающий своими правами, возносящийся над ними, принимает какой-то торжественный образ, несравнимо высший образ всесвятного, хотя бы и гуманного кредитора, благоразумно, хотя бы и гуманно, занимающегося всю свою жизнь определением того, что мое и что твое» (*Э*, 1864, № 11, стр. 13).

Многое из того, что в этой повести только намечено, было развито в последующих романах Достоевского, и в частности в первом из них, в «Преступлении и наказании».

Вышедшая в свет в конце марта 1864 г. первая часть «Записок из подполья» тотчас же обратила на себя внимание революционно-демократического лагеря. Щедрин включил в свое обозрение «Литературные мелочи» «драматическую

быль» — памфлет «Стрижи». Высмеивая в сатирической форме участников журнала «Эпоха», он под видом «стрижа четвертого, беллетриста унылого» изобразил Ф. М. Достоевского. «Стриж четвертый», излагая содержание своего нового произведения, говорит: «Записки ведутся от имени больного и злого стрижа. Сначала он говорит о разных пустяках: о том, что он больной и злой, о том, что всё на свете коловратно, что у него поясницу ломит, что никто не может определить, будет ли предстоящее лето изобильно грибами, о том, наконец, что всякий человек дрянь и до тех пор не сделается хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь, и в заключение, разумеется, переходит к настоящему предмету своих размышлений. Свои доказательства он почерпает преимущественно из Фомы Аквинского, но так как он об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику. Затем следует обстановка рассказа. На сцене ни темно, ни светло, а какой-то серенький колорит, живых голосов не слышно, а слышно сипение, живых образов не видно, а кажется, как будто в сумраке рассекают воздух летучие мыши. Это мир не фантастический, но и не живой, а как будто кисельный. Все плачут, и не об чем-нибудь, а просто потому, что у всех очень уж поясницу ломит...» (*Салтыков-Щедрин,* т. VI, стр. 493).

Пародия Щедрина — единственный непосредственный отклик на «Записки из подполья». Интерес критики к этой повести пробудился уже после опубликования романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

Н. Н. Страхов в названной выше статье «Наша изящная словесность» подчеркивал, что «подпольный человек» «со злобой относится к действительности, к каждому явлению скудной жизни, его окружающей, потому что каждое такое явление его обижает как укор, как обличение его собственной внутренней безжизненности» (*ОЗ,* 1867, № 2, стр. 555). Отметив исключительность образа «подпольного человека», являвшегося, по терминологии Достоевского, «антигероем», Страхов писал: «Тем не менее нельзя не признать, что такие люди действительно существуют. Но они составляют предел нравственного растления и душевной слабости при сохранении ясности ума и сознания. Чаще же встречаются и легче могут быть признаны читателями явления, не досягающие этого предела, всевозможные переходные формы от истинно живых людей к этому пределу» (там же, стр. 555—556). Заслугу Достоевского критик видел в том, что он, сумев «заглянуть в душу подпольного героя, с такою же проницательностью умеет изображать и всевозможные варьяции этих нравственных шатаний, все виды страданий, порождаемых нравственною неустойчивостью» (там же).

Высокую оценку «Запискам из подполья» дал также Ап. Григорьев. В письме к Н. Н. Страхову от 18 (30) марта 1869 г. Достоевский вспоминал, что Григорьев похвалил эту повесть и сказал ему: «Ты в этом роде и пиши».

Впоследствии «Записки из подполья» привлекли особое внимание Н. К. Михайловского, посвятившего их разбору специальный раздел в статье «Жестокий талант» (1882). Михайловский считал, что герой этой повести является одним из первых в творчестве Достоевского «мучителей», в натуре которого «каждое проявление жизни осложняется жестокостью» (*Михайловский,* стр. 195). Упрекнув Достоевского в том, что он не раскрыл причин озлобления «подпольного человека», Михайловский писал: «На этот счет в повести есть только общие фразы, лишенные определенного содержания, вроде того, например, что подпольный человек отвык от „живой жизни“ и прилепился к жизни „книжной“» (там же, стр. 191).

Не приняв содержащееся в повести «почвенническое» по своей сущности объяснение жестокости героя, Михайловский приписал Достоевскому стремление оправдать и даже возвеличить «подпольного человека». Критику казалось, что автор «Записок из подполья» развивал тезис, будто «любовь и тиранство растут, цветут и дают плоды рядом, даже переходя друг в друга», и видел в этом проявление «законов природы» (там же, стр. 194—195).

Первые переводы «Записок из подполья» на иностранные языки появились в середине 1880-х годов.

С конца XIX в. постепенно рос интерес к этой повести. Мироощущение «подпольного человека», генетически связанного с «лишними людьми», ко-

торые появились на общественно-политической и литературной арене России в 1840—1850-х гг., в то же время заключало в себе ростки позднейшего буржуазного индивидуализма и эгоцентризма. Художественное открытие Достоевского, впервые указавшего на социальную опасность превращения «самостоятельного хотения» личности в «сознательно выбираемый ею принцип поведения», на рубеже XIX и XX вв. получило подтверждение в ницшеанстве, а позднее в некоторых направлениях экзистенциализма.[1]

«Весь Ф. Нитчше для меня в „Записках из подполья“, — утверждал Горький. — В этой книге — ее всё еще не умеют читать — дано на всю Европу о⟨бо⟩снование нигилизма и анархизма. Нитчше грубее Д⟨остоевского⟩» (Из архива А. М. Горького. *РЛ*, 1968, № 2, стр. 21). Борясь с эстетизацией бунта «подпольного человека», Горький, однако, в условиях своего времени не проводил четкого раздела между «анархизмом побежденного», как он определил общественную позицию героя повести (см.: *Горький*, т. 25, стр. 308), и идейными исканиями самого Достоевского.

Стр. 101. *Покиватель.* — Это слово, очевидно, образовано Достоевским от просторечного «киватель»; так назывался человек, который кивает головой, перемигивается или дает скрытно знаки кому-либо (см.: В. И. Даль. Толковый словарь, т. II).

Стр. 102. ...«всего прекрасного и высокого»... — Сочетание понятий «прекрасное и высокое» восходит к эстетическим трактатам XVIII в. (см., например: Э. Бёрк. Философское исследование о происхождении наших представлений о высоком и прекрасном (1756); И. Кант. Наблюдение над чувством высокого и прекрасного (1764) и др.). После переоценки эстетики «чистого» искусства в 1840—1860-х годах это выражение приобрело иронический оттенок.

Стр. 104. *...l'homme de la nature et de la vérité.* — См. примеч. к стр. 89.

Стр. 105. *Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел...* — Интерес к вопросу о происхождении человека в начале 1864 г. обострился в связи с выходом в Петербурге в русском переводе книги последователя эволюционной теории Ч. Дарвина Томаса Генри Гексли (1825—1895) «О положении человека в ряду органических существ». Не исключена возможность, что эта фраза героя является откликом на вызывавшие полемику статьи В. А. Зайцева, в которых он вслед за К. Фохтом писал о происхождении разных рас людей от различных пород обезьян (см.: *Зайцев*, т. I, стр. 497—498).

Стр. 106. *...со всевозможными Вагенгеймами ∾ перестанут болеть ваши зубы...* — Речь идет о зубных врачах Вагенгеймах (см. стр. 120). Судя по «Всеобщей адресной книге Санкт-Петербурга», в середине 1860-х годов в Петербурге было восемь зубных врачей по фамилии Вагейнгейм; вывески, их рекламирующие, были распространены по всему городу.

Стр. 107. *...как человек, «отрешившийся от почвы и народных начал», как теперь выражаются.* — Выражение, взятое в кавычки, характерно для статей журналов «Время» и «Эпоха». Ср., например, объявления об издании журнала «Время» в 1861, 1862, 1863 гг. или статью Ф. М. Достоевского «О новых литературных органах и о новых теориях» (*Вр*, 1863, № 1).

Стр. 107. *Шенапан* (франц. chenapan) — негодяй.

Стр. 109. *Художник, например, написал картину Ге. ∾ Автор написал «как кому угодно»...* — Здесь полемический выпад против М. Е. Салтыкова-Щедрина, напечатавшего сочувственный отзыв о картине Н. Н. Ге (1831—1894) «Тайная вечеря» (см.: *С*, 1863, № 11, «Наша общественная жизнь»). Эта картина, показанная впервые на осенней выставке Академии художеств в 1863 г., вызвала разноречивые толки. Впоследствии Достоевский упрекал Н. Н. Ге в преднамеренном смешении «исторической и текущей» действитель-

---

[1] Об этом см.: Э. Ю. Соловьев. Экзистенциализм и научное познание. Изд. «Высшая школа», М., 1966, стр. 135—138; ср. также Existentialism from Dostoevsky to Sartre. Ed. by W. Kaufmann, N. Y., 1957.

ности, отчего, по его мнению, «вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм» («Дневник писателя», 1873, IX, «По поводу выставки»). «Как кому угодно» — статья Щедрина, напечатанная в «Современнике» за 1863 г., № 7. См.: *Салтыков-Щедрин,* т. VI, стр. 148—149, 407—445 и примеч., стр. 617—622.

Стр. 110. *Сандальный нос* — т. е. нос пьяницы.

Стр. 111. *...ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается...* — В двухтомном труде английского историка и социолога Генри Томаса Бокля (1821—1862) «История цивилизации в Англии» высказана мысль, что развитие цивилизации ведет к прекращению войн между народами (см.: Т. Бокль. История цивилизации в Англии, т. I. СПб., 1863, стр. 141—146). Г. М. Фридлендер сделал предположение, что место в труде Бокля,где изложена эта идея,привлекло особое внимание Достоевского потому, что там шла речь о России и о Крымской войне (см.: *Фридлендер,* стр. 22).

Стр. 112. *Вот вам Наполеон — и великий, и теперешний.* — Имена французских императоров — Наполеона I (1769—1821) и Наполеона III (1808—1873) — названы в связи с тем, что периоды правления того и другого ознаменовались большим количеством войн, которые вела Франция.

Стр. 112. *Вот вам Северная Америка...* — В 1861—1865 гг. в Северной Америке шла война между Северными штатами и поднявшими мятеж рабовладельческими Южными штатами.

Стр. 112. *Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн...* — Немецкое герцогство Шлезвиг-Гольштиния с 1773 г. фактически стало провинцией Дании. В 1864 г. шла прусско-датская война, закончившаяся присоединением этой территории к Пруссии.

Стр. 112. *...Атиллы да Стеньки Разины...* — Атилла (год рожд. неизв., ум. в 453 г.) — вождь племени гуннов, возглавлявший опустошительные военные походы на территории Римской империи, Ирана и Галлии. Разин Степан Тимофеевич (год рожд. неизв., ум. 1671 г.) — донской казак, возглавивший крестьянскую войну в России 1667—1671 гг. Фигура С. Разина привлекла в эти годы к себе особое внимание в связи с выходом в 1858 г. книги Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина», где говорилось о поголовном истреблении им помещиков. Ср. характеристику С. Разина в «Призраках» Тургенева (*Тургенев, Сочинения,* т. IX, стр. 96), напечатанных в той же книге «Эпохи», что и первая часть «Записок из подполья».

Стр. 112. *Клеопатра* (69—30 гг. до н. э.) — царица Египта из династии Птоломеев; имя ее часто упоминалось в русской печати в 1861 г. в связи с полемикой, вызванной чтением в Перми на литературном вечере женой чиновника Толмачева монолога Клеопатры из «Египетских ночей» Пушкина (см. статью Ф. М. Достоевского «Ответ „Русскому вестнику"» (1861)).

Стр. 112. *...он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши...* — Имеется в виду следующее рассуждение французского философа-материалиста Дидро (1713—1784) в его сочинении «Разговор Даламбера и Дидро» (1769): «Мы — инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства — клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа и которые часто сами по себе ударяют». Впоследствии В. И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1908) сослался именно на это место из «Разговора Даламбера и Дидро» как на пример глубокого, хотя и механистического обоснования материальной природы ощущений (см.: А. Григорьев. Достоевский и Дидро (к постановке проблемы). *РЛ,* 1966, № 4, стр. 97). «Подпольный герой» говорит о том, что он «человек, а не фортепьянная клавиша» и в других местах повести (см., например, стр. 117).

Стр. 113. *Тогда выстроится хрустальный дворец.* — См. примеч. к стр. 69. Намек на «Четвертый сон Веры Павловны» в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Здесь описано «чугунно-хрустальное» здание-дворец, в котором, как это представлялось и Ш. Фурье (см. его «Теорию всемирного единства», 1841), живут люди социалистического общества. Моделью для изображения этого дворца послужил хрустальный дворец в Лондоне (см.: Е. По-

к у с а е в. Н. Г. Чернышевский. Очерк жизни и деятельности. Изд. 4, Саратов, 1967, стр. 207—208).

С т р. 113. *...прилетит птица Каган...* — О птице Каган, приносящей людям счастье, Достоевский услышал впервые на каторге, о чем свидетельствует запись № 90 в «Сибирской тетради» (см. наст. изд., т. IV, стр. 315).

С т р. 116. *...колосс Родосский*∼г-н *Анаевский свидетельствует о нем...* — Колосс Родосский — бронзовая статуя Гелиоса, бога солнца, высотою в 31 м, изваянная в 280 г. до н. э. и считавшаяся одним из семи чудес света; стояла в гавани древнегреческого города Родоса. А. Е. Анаевский (1788—1866) — автор литературных поделок, бывших предметом постоянных насмешек в журналистике 1840—1860-х годов, — в брошюре, названной им «Энхиридион любознательный» (СПб., 1854), писал: «Колосс Родосский созижден, некоторые писатели уверяют, Семирамидою, а другие утверждают: он воздвигнут не рукою человеческою, а природою» (стр. 96).

С т р. 122. *...Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны* ∾ *Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди...* — Во втором томе книги «О Германии», в «Признаниях» (1853—1854), Гейне писал: «Составление собственной характеристики было бы работой не только неудобной, но попросту невозможной 〈...〉 при всем желании быть искренним, ни один человек не может сказать правду о самом себе». Там же Гейне утверждал, что Руссо в своей «Исповеди» «делает лживые признания для того, чтобы скрыть под ними истинные проступки» или из тщеславия (см.: Г. Г е й н е. Собрание сочинений, т. 9. ГИХЛ, М., 1959, стр. 90—91); ср. примеч. к стр. 89.

С т р. 124. *По поводу мокрого снега.* — Еще П. В. Анненков в статье «Заметки о русской литературе» отметил, что «сырой дождик и мокрый снег» являются непременными элементами петербургского пейзажа в повестях писателей «натуральной школы» и их подражателей (*С*, 1849, № 1, отд. III, стр. 10).

С т р. 126. *...охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами...* — Имеются в виду образцовый хозяин — помещик Костанжогло, изображенный Гоголем во втором томе «Мертвых душ» (1852), и Петр Иванович Адуев из романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (1847), отличавшийся здравым смыслом и практической деловитостью.

С т р. 126. *...свезут в сумасшедший дом в виде «испанского короля»...* — Испанским королем считал себя Поприщин в повести Гоголя «Записки сумасшедшего» (1835).

С т р. 128. *...офицер вершков десяти росту...* — По установившейся традиции в XIX в. рост обозначался вершками, которые отмерялись сверх двух аршин. Следовательно, рост этого офицера был два аршина (71 см×2 = 142 см) десять вершков (4.45 см × 10 = 44.5 см); всего около 186 см.

С т р. 128. *...как поручик Пирогов у Гоголя, — по начальству.* — Поручик Пирогов в повести Гоголя «Невский проспект» (1835), после того как он был высечен оскорбленным мужем — немцем ремесленником, хотел жаловаться генералу и одновременно «подать письменную просьбу в Главный штаб».

С т р. 128. *Штафирка* (от нем. stafieren — отделывать) — подкладка или борт подкладки в ботинках, юбках; здесь — презрительное наименование штатских.

С т р. 129. *...в абличительном виде...* — «Абличительный» вместо «обличительный» здесь и ниже употреблено в ироническом смысле; ср. стр. 22.

С т р. 130. *Мизер* (франц. misère) — нищета, убожество.

С т р. 131. *Суперфлю* (франц. superflu — лишний, бесполезный) — здесь: изысканная; в этом смысле это слово было употреблено Ноздревым в «Мертвых душах» Гоголя (см. примеч. к стр. 57).

С т р. 131. *...бонтоннее...* — т. е. более соответствующие вкусу хорошего общества (от франц. bon ton — хороший тон).

С т р. 133. *...получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий...* — Эта мечта «подпольного» героя возродилась позднее в «ротшильдовской» идее Подростка, который тоже хотел, скопив огромное

богатство и насладившись могуществом, отдать свои миллионы людям (см. «Подросток», ч. I, глава пятая, раздел III).

С т р. 133. *...заключают в себе ∾ чего-то манфредовского...* — здесь: чего-то гордого, возвышенного. Манфред — герой одноименной драматической поэмы Байрона (1817), в которой нашла отражение философия «мировой скорби».

С т р. 133. *...разбиваю ретроградов под Аустерлицем...* — Здесь и ниже герой представляет себя в роли Наполеона I. В данном случае имеется в виду победа Наполеона I под Аустерлицем 20 ноября (2 декабря) 1805 г. над объединенными русско-австрийскими войсками. В мечтах героя исследователи обнаружили некоторую перекличку с историей Икара в социально-утопическом романе Кабе «Путешествие в Икарию» (1840). Филантроп-преобразователь в утопии Кабе — также разбивает коалицию королей-ретроградов в битве при Аустерлице (см.: В. Л. К о м а р о в и ч. Юность Достоевского. «Былое», 1924, № 23, стр. 37).

С т р. 134. *...папа соглашается выехать из Рима в Бразилию...* — Конфликт Наполеона I с папой Пием VII, в результате которого Наполеон I был отлучен в 1809 г. от церкви, а папа Пий VII в течение пяти лет был фактическим узником французского императора, закончился возвращением в 1814 г. Пия VII в Рим.

С т р. 134. *...бал для всей Италии на вилле Боргезе...* — Очевидно, имеется в виду празднование в 1806 г. основания Французской империи, которое было приурочено к 15 августа, дню рождения Наполеона I. Вилла Боргезе в Риме, основанная в первой половине XVIII в., украшенная изящными постройками, фонтанами и статуями, принадлежала в это время Камилло Боргезе, за которым была замужем сестра Наполеона I Полина. Озеро Комо расположено в Итальянских Альпах.

С т р. 134. *...у Пяти углов...* — Место в Петербурге, где сходятся Загородный проспект, Чернышев переулок (ныне ул. Ломоносова), Разъезжая и Троицкая улицы (последняя — ныне ул. Рубинштейна).

С т р. 134. *Толковали про акциз...* — т. е. о государственном налоге на продукты широкого потребления, в данном случае, очевидно, на вино.

С т р. 136. *Droit de seigneur* — средневековый феодальный обычай, так называемое право первой ночи, по которому крепостная крестьянка обязана была проводить первую брачную ночь со своим господином.

С т р. 139. *Меня сунули в эту школу ∾ уже задумывающегося, молчаливого и дико на всё озиравшегося.* — Рассказ «подпольного» героя о пребывании в школе и о его взаимоотношениях с товарищами предваряет повествование Аркадия Долгорукова о годах, проведенных им в пансионе Тушара (см. «Подросток», т. XIII).

С т р. 145. *...ненавижу клубничку и клубничников.* — Под «клубничкой» гоголевский Ноздрев («Мертвые души») подразумевал любовные похождения. Здесь, возможно, имеется в виду также бульварный листок «Петербургская клубничка. Не для детей», выходивший в 1862 г. и цинично проповедовавший беспринципность (см.: Н. И. К р а в ц о в. Сатирическая журналистика 60-х годов. В кн.: Шестидесятники. ГИХЛ, М.—Л., 1933, стр. 420).

С т р. 146. *Гальбик* — азартная карточная игра.

С т р. 150. *...всё это из Сильвио и из «Маскарада» Лермонтова.* — Сильвио — главный персонаж повести А. С. Пушкина «Выстрел» (1830), вся жизнь которого была посвящена идее мести. В конце повести он восторжествовал над своим противником. В драме «Маскарад» аналогичная роль принадлежит Неизвестному.

С т р. 167. *И в дом мой смело и свободно Хозяйкой полною войди!* — Заключительные строки стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья» (1845).

С т р. 167. *...сложенный ижицей...* — т. е. треугольником (ижица — последняя буква церковно-славянской и старой русской азбуки, обозначающая звук «и»).

С т р. 168. *Шамбр-гарни* (франц. chambres-garnies) — меблированные комнаты.

## КРОКОДИЛ

(Стр. 180)

Источники текста

*ЧН*₁ — Черновой набросок рассказа «О муже, съеденном крокодилом». Датируется серединой 1864 г. Хранится: *ЦГАЛИ*, ф. 212. 1. 3, с. 8 (в обратном направлении; рабочая тетрадь 1864—1865 гг.); см.: *Описание*, стр. 101. Опубликован: *ЛН*, т. 83, стр. 215.

*ЧН*₂ — Черновой набросок текста (стр. 206, строки 29—40), среди записей к статье «Каламбуры в жизни и литературе» (1864). Датируется сентябрем—октябрем 1864 г. Хранится: *ЦГАЛИ*, ф. 212. 1. 3, с. 67 (рабочая тетрадь 1864—1865 гг.). Опубликован: *ЛН*, т. 83, стр. 213.

*ЧН*₃ — Черновые наброски, планы и стихотворные пародии под названием «Неслыханное приключение или, вернее сказать: пассаж в Пассаже, состоящий в том, как некий почтенный господин пассажным крокодилом был проглочен живьем и что из этого вышло. *Семеном Захожим* доставлено». Датируются январем—февралем 1865 г. Хранятся: *ЦГАЛИ*, ф. 212. 1. 4, с. 113—135 (рабочая тетрадь 1864—1865 гг.); см.: *Описание*, стр. 101. Опубликованы: *ЛН*, т. 83, стр. 258—272.

*Э*, 1865, № 2, отд. III, стр. 1—40.

*1865*, том II, стр. 156—170.

Впервые напечатано в *Э*, 1865, № 2, с подписью: Федор Достоевский (ценз. разр. — 13 марта 1865 г.; книга вышла в свет 22 марта).

Печатается по тексту *1865* с устранением явных опечаток, а также со следующими исправлениями по *Э*:

*Стр. 196, строка 35:* «беспрерывно глотать» вместо «глотать».
*Стр. 200, строки 47—48:* «я ошень умна» вместо «ошень умна».
*Стр. 202, строка 18:* «он уж успел» вместо «он успел».

В «Дневнике писателя» за 1873 г. («Нечто личное») Достоевский рассказал о том, что в 1864 г. в «Петербурге в Пассаже какой-то немец показывал за деньги крокодила» и этот факт натолкнул его на мысль «написать одну фантастическую сказку, вроде подражания повести Гоголя „Нос“». Что происшествие в Пассаже своей необычностью напоминает случай с майором Ковалевым, было отмечено и в предисловии к журнальной публикации рассказа (см. стр. 344—346). По утверждению Достоевского, его замысел носил характер «литературной шалости». «Представилось, — писал он, — действительно, несколько комических положений, которые мне захотелось развить».

Парадоксальный характер повествования о «необыкновенном событии» в петербургском Пассаже был подчеркнут и шутливым эпиграфом, который Достоевский предпослал рассказу: «Ohè, Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert?». История возникновения и распространения во Франции этого популярного шуточного обращения изложена в статье М. П. Алексеева «Об одном эпиграфе у Достоевского» (см.: Проблемы теории и истории литературы. Изд. Моск. университета, 1971, стр. 367—373). Возглас этот, являющийся, по определению Э. Гонкура, «механическим рефреном», неизменно вызывал смех именно благодаря своей абсурдности.

Общая идея рассказа «О муже, съеденном крокодилом», отражающая основную комическую коллизию, была сформулирована Достоевским в середине 1864 г., о чем свидетельствует предварительный набросок сюжета (см. *ЧН*₁).

В той же рабочей тетради содержится набросок текста об Афимье Скапидаровой, «которая сломала себе ногу» (*ЧН*₂). Запись эта, сделанная среди черновых заготовок к статье об А. А. Краевском «Каламбуры в жизни и в литературе» (*Э*, 1864, № 10) и первоначально, вероятно, тоже предназна-

чавшаяся для этой же статьи, может быть датирована сентябрем—октябрем 1864 г.

В рабочей тетради среди предварительных набросков к «Преступлению и наказанию» содержатся планы, заметки, а иногда и черновые заготовки к тексту рассказа, получившего уже первоначальное заглавие «Неслыханное приключение или, вернее сказать: пассаж в Пассаже, состоящий в том, как некий почтенный господин пассажным крокодилом был проглочен живьем и что из этого вышло. *Семеном Захожим* доставлено» (*ЧН*$_3$). Записи эти, не имеющие характера связного и последовательного изложения, могли быть сделаны в течение января—начала марта 1865 г., что устанавливается фактом упоминания в автографе журнала «Будильник», издание которого началось с января 1865 г., и цензурным разрешением номера «Эпохи» (13 марта), в котором был напечатан рассказ. Семен Захожев уже упоминался Достоевским среди более ранних записей в этой же тетради как автор «записок» «Об отношениях к женщине» (см. наст. изд., т. XIX).

Замысел «Крокодила» связан с полемическими статьями Достоевского 1863—1864 гг., что убедительно доказывают и черновые материалы.

Исследователи уже отмечали связь этого рассказа со статьей Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» (1864) (см.: Н. Ф. Б е л ь ч и к о в. Чернышевский и Достоевский. (Из истории пародии). «Печать и революция», 1928, № 5, стр. 44—45). Из предварительных планов и набросков ясно, что с самого начала Достоевский предполагал в своем рассказе подвергнуть сатирическому пародированию современные ему периодические издания. Как и в публицистических статьях, в «Крокодиле» «почвенническая» идеология его автора противопоставлена другим литературно-общественным направлениям.

При осмеянии демократической журналистики Достоевский воспользовался материалами полемики между «Современником» и «Русским словом». О ней он уже писал в статье «Раскол в нигилистах». Арестованный в 1862 г., Н. Г. Чернышевский в этой дискуссии участия не принимал, но обе спорящие стороны, каждая по-своему, излагали его идеи[1]. В соответствии с этим в «Крокодиле» начатый ранее спор с Чернышевским перерос в полемику Достоевского с последователями и толкователями философско-эстетических, социально-экономических и исторических воззрений автора «Что делать?» и «Эстетических отношений искусства к действительности».

Создавая фигуру главного героя рассказа, либерального чиновника, проглоченного крокодилом, Достоевский стремился сделать его похожим на «нигилиста» из лагеря «Русского слова», как он был охарактеризован Салтыковым-Щедриным в статьях, направленных против этого журнала. Так, в обозрении «Наша общественная жизнь» в 1-м номере «Современника» за 1864 г. Салтыков-Щедрин утверждал, что «нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты...» (*Салтыков-Щедрин,* т. VI, стр. 234). В черновых набросках к «Крокодилу» также несколько раз упоминается о том, что проглоченный чиновник боится прослыть нигилистом (стр. 328, 329). После того как он все-таки становится — под влиянием Зайцева, который его «ломает», нигилистом «поневоле», потому что, с его точки зрения, «всякий нигилист — нигилист поневоле» (стр. 329), он раскаивается, «распускает нюни. Плачет, малодушничает, просит хоть на половинном окладе» оставить его на службе стр. 328; ср. также стр. 326: «Когда вылез: — Примут ли на службу? Правда, меня показывали за деньги. Но кто же не показывает теперь себя за деньги?»). В дополнение — проглоченный чиновник был озабочен, чтобы его пребывание в крокодиле не было расценено как выпад против «министров» или «каких-нибудь лиц» (стр. 328, 329).

---

[1] Этапы этой полемики и ее идейные истоки прослежены в статье Б. П. Козьмина «Раскол в нигилистах» (см.: Из истории революционной мысли в России. Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 20—67). Ср.: *Борщевский,* стр. 359—389; Е. П о к у с а е в. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратов, 1957, стр. 170—177.

Рассуждения Ивана Матвеевича о «выгоде», об общей пользе, о естественных науках также в большинстве случаев пародируют высказывания по этому же поводу сотрудников «Русского слова» — Д. И. Писарева, а чаще — В. А. Зайцева.

Так, Иван Матвеевич говорит: «Я буду распространять естественные науки» (стр. 326). И в другом месте: «Так и должен делать всякий. Я должен стоять за то, чтоб мне было как можно выгоднее, и если общество сознает о выгоде других экономических отношений, мы и соединимся на равных правах» (стр. 333).

Эти и другие аналогичные рассуждения пародируют высказывания Писарева о необходимости популяризации «европейских идей естествознания и антропологии». В статье «Цветы невинного юмора» (*РСл*, 1864, № 2), направленной против Салтыкова-Щедрина, Писарев писал: «Если естествознание обогатит наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякого рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вместе с тем выучатся понимать как свою собственную пользу, так и потребности того мира, который их окружает. Тогда они поймут, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою» (*Писарев*, т. II, стр. 363—364).

После того как Иван Матвеевич декларировал общность экономической «выгоды» личности и общества, его друг высказывает сомнение: «Да ведь нужно знать, в чем настоящая выгода?» А если человек «не захочет» принять новые экономические отношения? В ответ на это Иван Матвеевич бросает: «Принудим». И далее между друзьями происходит следующий разговор: «Ты стоишь за принуждение? — Разумеется. Крепкая и сильная администрация — 1-е дело. Кто же пойдет сам собою в крепостное рабство?» (стр. 333).

Разговор этот о принудительном навязывании «выгоды» пародирует, как можно думать, следующее место из рецензии Зайцева, напечатанной в № 7 «Русского слова» за 1863 г.: «Народ груб, туп и вследствие этого пассивен ⟨...⟩ Поэтому благоразумие требует, не смущаясь величественным пьедесталом, на который демократы возвели народ, действовать энергически против него, потому что народ ⟨...⟩ не может по неразвитию поступать сообразно с своими выгодами; если сознана необходимость навязывать насильно народу образование, то я не могу понять, почему ложный стыд перед демократическими нелепостями» мешает «признать необходимость насильного дарования ему другого блага ⟨...⟩ — свободы» (*Зайцев*, т. I, стр. 96).

В рукописных набросках к «Крокодилу» Достоевский пародировал еще одно рассуждение В. Зайцева, вызвавшее энергичный отпор «Современника» (1864, № 11—12; 1865, № 1), «Искры» (1865, № 8), «Будильника» (1865, № 18) и др. Так, в тетради сделана следующая запись: «*Зайцев.* Вы ⟨т. е. проглоченный чиновник⟩ не имеете права требовать от него ⟨т. е. от немца, владельца крокодила⟩ даже жизни. К тому же вы, наверно, почернели, а следовательно, стали похожи на негра и, следовательно, должны уступить высшей расе западноевропейца» (стр. 336).

В данном случае Достоевский имеет в виду рецензию В. Зайцева на книгу Жан Луи Армана Катрфажа (1810—1892) «Единство рода человеческого» (рус. пер.: М., 1864), опубликованную в «Русском слове» (1864, № 8), в которой высказывалась мысль, что неравенство рас якобы обусловлено естественноисторическими причинами. В рецензии была фраза, которую Достоевский в черновых набросках повторил почти дословно: «Опыт доказал, — писал В. Зайцев, — что американцы ⟨речь идет о туземном населении⟩ и океанийцы не могут требовать от белых даже жизни» (*Зайцев*, т. I, стр. 232).

Содержащееся в черновых набросках пародийное противопоставление «пользы», «выгоды», материальных благ, распространение которых связывается с развитием цивилизации, искусству также направлено против журнала «Русское слово» и прежде всего против Зайцева.

В рукописи сказано: «Немец, показывая крокодила, вносит цивилизующие начала и несравненно полезнее Рафаэля» (стр. 327). И в другом месте: «Чем хозяин крокодила ниже Мурильо?» (стр. 329). Обе эти записи имеют источником следующие рассуждения Зайцева: «Польза и искусство — поня-

тия взаимно исключающиеся, а теперь общество находится еще в таком положении, что ему вредно всё, что бесполезно ⟨...⟩ Лучшие театральные пьесы, пьесы Мольера, Шекспира, Шиллера и др., все-таки не приносят никакой пользы» («Русское слово», 1864, № 12). И в другом месте: «Произведения искусств есть ложный признак цивилизации и скорее может быть отрицательным, а не положительным ее достоинством. А из наук только те должны считаться критериумом цивилизованной нации, которые способствуют увеличению материального благосостояния страны» (*РСл,* 1865, № 1; *Зайцев,* т. I, стр. 307—308).

Полемика с зайцевской вульгарно-материалистической точкой зрения на потребности человеческой личности отразилась в диалоге Ивана Матвеевича и его друга о «выгоде». Друг говорил: «Да ведь выгода не в одном хлебе. Одного хлеба мало для счастья», а Иван Матвеевич ему возражал и доказывал, что главное быть сытым (стр. 331). Этой темы Достоевский уже коснулся в статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» (1864). Пародируя суждения критиков демократического лагеря, Достоевский там писал: «Знайте же, что брюхо — это всё, а всё прочее, почти без исключения, — роскошь, и даже бесполезная роскошь! К чему политика, к чему национальности, к чему бессмысленные почвы, к чему искусство, к чему даже наука, — если не сыто брюхо».

При всем том нужно иметь в виду, что Достоевский, первый заговоривший о «расколе в нигилистах», в полемических целях не делал особого различия во взглядах спорящих сторон. С его точки зрения, представители обоих лагерей — и «Современника» и «Русского слова» — исходили в своих эстетических концепциях из трактата Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». В подстрочном примечании к «Необходимому заявлению» (1864) Достоевский указал, что «знаменитый пункт — „о яблоке натуральном и яблоке нарисованном“» составляет «почти всю сущность нигилистического воззрения на искусство».

Слова героя «нужна только одна сигара, а всё прочее вздор», очевидно, метят в «особенного человека» Рахметова из романа «Что делать?», который имел только одну слабость: он курил хорошие сигары, мотивируя это следующим образом: «без сигары не могу думать» (*Чернышевский,* т. XI, стр. 202).

С журналом «Русское слово» Достоевский полемизировал не только тогда, когда имел в виду статьи Зайцева или Писарева. Его внимание привлекла также статья историка А. П. Щапова (печатавшегося одновременно и в журнале «Время») «О влиянии гор и моря на характер поселений» (*РСл,* 1864, № 3), в которой изучение вопросов истории народа связывалось с достижениями естествознания того времени. Особенно большое внимание в этой статье Щапов уделял роли географической среды. Несомненным откликом на эти работы Щапова является запись в черновых набросках, обозначенная Достоевским знаком N3. По поводу происшествия в Пассаже, писал Достоевский, «проглоченного господина» «сделали членом Географического общества, потому что быть в недрах важнее, чем открыть истоки Нила» (стр. 338).

В черновых набросках помимо «Русского слова» так или иначе затронуты и другие демократические издания: «Современник», «Искра», «Будильник». В первом варианте отброшенного затем предисловия к рассказу упомянуты сотрудники редакции Игдев (И. Г. Долгомостьев) и «естествоиспытатель» Косица (Н. Н. Страхов, названный Писаревым «русским натуралистом»). Первый обещал доставить «учено-полемическую статью», а второй — решить, «глотают ли своих сотрудников крокодилы» или «это может быть только где-нибудь на планетах пока». Редакция, опасаясь, что «статья сия будет направлена против „Современника“, прилично отказалась» (стр. 334). В данном случае Достоевский имел в виду статью Н. Н. Страхова «Жители планет» (*Вр,* 1861, № 1), которая в свое время была высмеяна в «Искре», а ее автор был изображен «в фантастическом костюме жителя планет» (см.: «Искра», 1863, № 1, стр. 7—15).

В заметках, озаглавленных «Журнальные споры о крокодиле. „Волос“ и „Известия“», под номером двенадцатым значится: «Современная ассоциация крокодила с чиновником; впрочем, мы поговорим об этом, когда настанут

новые экономические отношения ⟨...⟩ а теперь это дает нам повод написать еще, 55-ю статью, об ассоциации рабочих во Франции» (стр. 324). Сказанное здесь несомненно имеет отношение к статье Ю. Г. Жуковского «Историческое развитие вопроса о рабочих ассоциациях во Франции», напечатанной в «Современнике» за 1864 г. (№№ 4 и 6).

В обозрении «Наша общественная жизнь» (*С*, 1864, № 1), написанном Салтыковым-Щедриным, наряду с другими выпадами против сторонников «Русского слова», изображена нигилистка, с завистью рассматривающая «жертву общественного темперамента» роскошную Шарлотту Ивановну (*Салтыков-Щедрин*, т. VI, стр. 232). Очевидно, именно этот анекдот, рассказанный Салтыковым-Щедриным и вызвавший возмущение редакции «Русского слова», и имел в виду Достоевский, когда в черновиках к «Крокодилу» сделал следующую помету: «Вы как экономически обеспеченный человек представляете пункт зависти» (стр. 330).

Содержащееся в черновике пародийное стихотворение «В долину слез гражданства» (там же) также метило в «Современник». В нем высмеяны стихи, напечатанные в «Современнике» (1864, № 2) за подписью Ив. Г. М. (Гольц-Миллер), уже ставшие предметом насмешливой реплики Н. Н. Страхова «О том, как слезы спят в равнине» в апрельском номере «Эпохи» за 1864 г. (см.: Н. Страхов. Из истории литературного нигилизма. СПб., 1890, стр. 378).

В шуточном стихотворении (стр. 330)

Не гуманно совсем и не мило
Утеснять так собой,
Эксплуатировать так крокодила,
И пришлось крокодилу не в мочь,
Дай же руку подняться помочь —

последняя строка взята Достоевским из стихотворения того же Ив. Г. М., напечатанного в «Современнике» (1864, № 8) под названием «Отверженная» и высмеянного уже Н. Н. Страховым в заметке «О злобно раскрытых объятиях» (*Э*, 1864, № 8; ср.: Н. Н. Страхов. Из истории литературного нигилизма, стр. 483—484).

Упомянутый в набросках издатель «Семейного круга» (1859—1861) и «Санкт-Петербургского вестника» (1861—1862) публицист Лев Логинович Камбек тоже имел непосредственное отношение к журнальной полемике этих лет. Имя Лев Камбек в сочетании с рифмой «век» (в прямом смысле и как название периодического издания) постоянно присутствовало в различных стихотворных пародиях (см., например, «Искра», 1862, № 1, стр. 16), в том числе и у самого Достоевского (см. «Опять молодое перо», *Вр*, 1863, № 3: «Век и Век и Лев Камбек»).

Ведя в 1860-х годах дискуссию с демократическими журналами, Достоевский в то же время не менее ожесточенно полемизировал с консервативными и либеральными органами. Журнал «Время» на всем протяжении своего существования беспощадно разоблачал политическую позицию «Русского вестника», издатель которого М. Н. Катков в статье Ф. М. Достоевского «Щекотливый вопрос» (*Вр*, 1862, № 10) осуждался за карьеризм, стяжательство, за претензии на «либерализм», укладывающийся в формулу «два шага вперед и три назад».

Говоря об англоманских пристрастиях Каткова в статье «О новых литературных органах и о новых теориях» (*Вр*, 1863, № 1), Достоевский утверждал, что «скорее систему Фурье можно у нас ввести, чем идеалы г. Каткова». Издаваемую Катковым газету «Московские ведомости» Достоевский неоднократно называл «московскими теймсами». Продолжение этой полемики обнаруживается и в «Крокодиле». Причем если в черновых набросках эта тема только намечена: «„Теймс“ решает, что нам нужно среднее сословие, стало быть, капитал...» (стр. 329), то в окончательном тексте речь «капиталиста» Игнатия Прокофьича целиком построена на пародировании статей Каткова (стр. 189—190), а одна его фраза является почти цитатой из статьи Достоевского, на-

правленной против Каткова. В основном тексте «Крокодила»: «Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки» (стр. 189). Ср. в статье «О новых литературных органах и о новых теориях»: «Чем виноваты мы, что ему мерещится поклонение лордам, раздробление собственности на личном начале, вместо нашего дворянства маркизы и лорды...».

В черновых набросках содержатся также выпады против либеральных западнических теорий, одним из глашатаев которых была газета «Голос» (в рукописи, как и в основном тексте, — «Волос»), редактировавшаяся А. А. Краевским. А. А. Краевский в черновиках назван несколько раз. Например: «Тот век видел Александра Андреевича Чацкого. Наш век видел Андрея Александровича Краевского» (стр. 329); «Краевский и Загуляев (газета «Волос»). Совпадает с квиетизмом» (стр. 332) и др. Причем имя Краевского у Достоевского во всех случаях ассоциируется со стремлением к наживе, прикрытым либеральными рассуждениями.

Характеризуя «либерализм» газеты Краевского, Достоевский сделал помету: «Ледрю-ролленовского чего-нибудь подпустить» (стр. 336). Не исключена возможность, что в данном случае Достоевский собирался посвятить «Голосу» несколько иронических строк, аналогичных тем, которые ему запомнились из статьи Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь» (*С*, 1863, №№ 1, 2). Там, высмеивая показной либерализм Краевского, Салтыков-Щедрин писал: «...если я вижу человека, таинственно пробирающегося в редакцию газеты „Голос“, тут я прямо говорю себе: нет, это человек неблагонамеренный, ибо в нем засел Ледрю-Роллень. И напрасно Андрей Александрович Краевский будет уверять меня, что Ледрю-Роллень был, да весь вышел...» (*Салтыков-Щедрин*, т. VI, стр. 10).

Таким образом, чиновник, проглоченный крокодилом, должен был в своих речах пародировать различные враждебные Достоевскому-«почвеннику» идеологические концепции. При этом, попав в брюхо к крокодилу, он не только не унывает, но, наоборот, неоднократно заявляет, что пребывание там — лучшее время его жизни: «Я чувствую наконец, что это (в крокодиле) нормальное мое состояние. Никогда еще я не был более счастлив и спокоен духом, как теперь, удаленный от всех предрассудков» (стр. 330).

Смысл этого заявления прояснится, если вспомнить, что Достоевский упрекал всё русское образованное общество в отрыве от «живой жизни», от «почвы». В соответствии с этим его герой ощутил себя способным создавать новые теории и общественные системы только тогда, когда вполне изолировался от окружающей действительности: «Теперь я могу мечтать об улучшении судьбы всего человечества и, наученный опытом, давать уроки» (стр. 327).

Та же мысль развита в окончательном тексте рассказа. Иван Матвеевич, попав в чрево крокодила, говорит: «Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею — чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну всё и буду новый Фурье» (стр. 194). Здесь очевиден намек также и на роман «Что делать?», содержащий социально-экономическое обоснование и фантастические картины будущего общества, художественно и идеологически неприемлемые для автора «Записок из подполья». После выхода в свет романа Чернышевского в течение ряда лет в русских журналах демократического направления оживленно обсуждались социально-утопические идеи Фурье (ср. примеч. к стр. 194).

В журнальный текст рассказа не вошли некоторые из намеченных в черновых записках тем. Сохранив основные направления полемических ударов, Достоевский уделил в печатном тексте «Крокодила» по сравнению с черновиками меньшее место полемике с демократическими журналами. В предисловии к рассказу Достоевский указал, что его автором является Семен Стрижов, откликнувшись таким образом на памфлет Салтыкова-Щедрина, в котором сотрудники журнала «Эпохи» названы были стрижами (см. стр. 384—385).

В черновых записях было намечено сюжетное завершение рассказа. Предполагалось, что чиновник в конце концов должен был «вылезти» из крокодила (см. стр. 326), к великому неудовольствию немца, который, пытаясь водворить его обратно, кричал: «Ступайт! Влезайт опять... Але, марш!» (стр. 337). По одной из неосуществленных версий, чиновник вызвал ревность немца, влюбившись в «муттер» (стр. 326).

При прохождении через цензуру «Крокодил» привлек внимание цензора С. И. Лебедева, который в связи с этим сделал доклад на заседании Петербургского цензурного комитета 17 марта 1865 г. (сообщено И. Г. Ямпольским). В протоколе заседания имеется следующая запись:

«„Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже". В статье рассказывается, что чиновник был проглочен крокодилом, жил в утробе его невредимо и сделался философом. По мнению цензора, если исключить означенное место, статью можно бы дозволить к печати, ибо за сим представляющиеся в статье политические намеки устраняются. Определено: согласно с докладом цензора статью с означенным исключением к напечатанию дозволить» (*ЦГИА*, ф. 777, оп. № 27, № 509, лл. 104—104 об.).

Следует отметить, что в черновых записях «проглоченный чиновник», называя себя философом, говорил: «Что такое философ? Слово „философ" у нас на Руси есть слово бранное и означает: дурак» (стр. 329). В опубликованном тексте герой мечтает стать «новым Фурье» (стр. 194) и уж если не Сократом, то Диогеном (стр. 199), в журнальном варианте рассказа говорится еще, что он «от праздности и от досады стал философом» (стр. 345). Какое «означенное» цензором «место» было исключено из «Крокодила», неясно.

При перепечатке рассказа в Собрании сочинений (*1865*) Достоевский опустил предисловие и внес в текст незначительные стилистические исправления. В это же время рассказ получил название «Крокодил», а его прежнее название «Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» было перенесено в подзаголовок.

Появление рассказа в печати вызвало ряд резких полемических откликов.

«Искра» напечатала стихотворение Д. Д. Минаева «Ужасный пассаж, или Истинное повествование о том, как один господин важного сана обратился в водолаза и что от этого произошло», в котором высмеивался сюжет рассказа. В заметке, сопровождавшей это стихотворение, было сказано: «Люди, привыкшие во всем доискиваться задней мысли, пожалуй, и в этом пасхальном рассказе будут искать *чего-то*, но увы! не найдут ничего, кроме „бесконечного созерцания" и поприщинской веселости» («Искра», 1865, № 14. подпись: Литературное домино).

Еще резче отозвался о «Крокодиле» рецензент газеты «Голос», который выдвинул против Достоевского обвинение, что его рассказ представляет памфлет на недавно осужденного Чернышевского. «Голос» писал: «Совета нашего, конечно, г. Ф. Достоевский не примет, но мы все-таки посоветовали бы ему остановиться на четвертой главе этого крайне бестактного рассказа, о котором ходят уже толки, весьма неблагоприятные для репутации журнала „Эпоха" и для самого г. Достоевского, как автора... Мы говорим собственно о крокодиле и о господине, проглоченном крокодилом, а равно и о хорошенькой супруге господина, кокетке, радующейся, что мужа крокодил проглотил и отказывающейся следовать за ним в утробу крокодила ⟨...⟩ Все это, г. Достоевский, не может быть выкуплено плохонькими остротами насчет „Волоса" и „С.-Петербургских известий": вы будете всеми осуждены наверно, и друзьями и недругами...» («Голос», 1865, 3 апреля, № 93).

Занятый делами, связанными с ликвидацией «Эпохи» (журнал прекратил свое существование на февральской книжке, вышедшей в конце мая 1865 г., в которой был напечатан «Крокодил»), преследуемый кредиторами, Достоевский оставил выпад газеты А. А. Краевского без ответа.

Поскольку толкование «Крокодила» как аллегории, в которой осмеяна личная судьба Чернышевского, разделялось и рядом сотрудников «Современника», о чем Достоевскому в начале 1866 г. сообщил Н. А. Некрасов (А. П. Милюков. Ф. М. Достоевский. *РС*, 1881, № 5, стр. 42; «Дневник

писателя» за 1873 г., IV. Нечто личное), Достоевский, став редактором «Гражданина», выступил с опровержением этой версии.

Изложив историю своего знакомства с Н. Г. Чернышевским и указав на доброжелательный характер их личных взаимоотношений, Достоевский отверг взведенное на него обвинение в надругательстве над трагической участью Чернышевского. Он писал: «Значит, предположим, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого „несчастного"; мало того — написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательства: в аллегории? Но принесите мне что хотите... „Записки сумасшедшего", оду „Бог", „Юрия Милославского", стихи Фета — что хотите, и я берусь вам вывести тотчас же ⟨...⟩ что тут именно аллегория о франко-прусской войне или пашквиль на актера Горбунова...» («Дневник писателя» за 1873 г., IV. Нечто личное).

Несмотря на опровержение Достоевского, версия, что в лице героя «Крокодила» представлен осужденный Чернышевский, получила широкое распространение в последующей критике и научной литературе. Публикуемые в настоящем томе черновые материалы к «Крокодилу», дающие возможность проследить работу Достоевского над этим рассказом от истоков его замысла, не содержат, однако, прямых намеков на то, что проглоченный чиновник и его жена — это карикатуры на реальные единичные лица.[1]

Желая доказать, что в образе Ивана Матвеевича высмеян Чернышевский, а в образе его жены — О. С. Чернышевская, некоторые исследователи усматривали сходство внешнего облика героя рассказа с Чернышевским и высказывали предположение, что история героя, проглоченного крокодилом и после этого выступающего в роли проповедника «новых» идей, могла ассоциироваться у автора с личной биографией Чернышевского, создавшего свой роман «Что делать?» после ареста, в крепости, и напечатавшего его в 1863 г. в «Современнике». Однако внешнее сходство героя с Чернышевским сомнительно, а многие развиваемые Иваном Матвеевичем взгляды, как было показано выше, являются пародией на идеи, представлявшиеся Достоевскому общим достоянием либерального, демократического и даже консервативного лагерей. Самая версия об аллегорическом смысле «Крокодила» была выдвинута в газете Краевского, высмеянного в рассказе наряду с другими деятелями тогдашней журналистики и лично раздраженного против Достоевского. Таким образом, рассказ нужно рассматривать в плане более широкой полемики Достоевского с публицистами различных общественно-политических направлений 1860-х годов, не сводя его содержания к личному выпаду против автора «Что делать?».

Следует учесть и то, что определившиеся в 1860-х годах идейные расхождения между Достоевским и демократическим лагерем усилились в начале 1870-х годов, после появления «Бесов». В «Дневнике писателя» за 1873 г. Достоевский многократно затрагивал основные пункты этих расхождений, не затушевывая их. В этих условиях появление в «Гражданине» главы «Нечто личное» с напоминанием о находившемся в Вилюйске Чернышевском и с открытым заявлением о том, что Достоевский как «бывший ссыльный и каторжный» не мог сочувствовать его ссылке, было несомненно актом гражданского мужества. Тем менее у нас оснований для того, чтобы отождествлять позицию Достоевского с позицией реакционной прессы, приветствовавшей расправу правительства над Чернышевским, в момент писания «Крокодила».

Стр. 183. *...о мейн аллерлибстер Карльхен! Муттер...* (нем. O mein allerliebster Karlchen! Mutter!) — о мой милейший Карльхен! Матушка!

Стр. 183. Ганц (нем. ganz) — весь.

Стр. 183. *Унзер Карльхен ∾ вирд штербен!* (нем. Unser Karlchen ∼ wird sterben!) — Наш Карльхен, наш милейший Карльхен умрет!

---

[1] К аналогичному выводу пришла Л. М. Розенблюм. Она также считает, что материалы записных книжек подтверждают справедливость слов Достоевского, отрицавшего в «Дневнике писателя» памфлетную направленность «Крокодила» (см.: *ЛН*, т. 83, стр. 45—46).

С т р. 183. ...*дас вар мейн зон ∾ айнцигер зон!* (нем. das war mein Sohn ∾ einziger Sohn!) — это был мой сын, это был мой единственный сын!

С т р. 184. ...*господин Лавров читал публичную лекцию...* — Петр Лаврович Лавров (1823—1900), ученый и философ, один из вождей и теоретиков революционного народничества, выступал с публичными лекциями в зале Пассажа в пользу Литературного фонда. Особенный общественный резонанс имели его три лекции «О современном значении философии», прочитанные в ноябре 1860 г.

С т р. 184. ...*карикатуры г-на Степанова.* — Николай Александрович Степанов (1807—1877), художник-карикатурист, редактор и издатель сатирических журналов демократического направления «Искра» и «Будильник».

С т р. 184. ...*не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах.* — Намек на следующее рассуждение В. Зайцева, содержащееся в его рецензии на книгу Я. Молешотта «Учение о пище», напечатанной в 8-й книжке «Русского слова» за 1863 г.: «...люди, принужденные обстоятельствами питаться веществами, содержащими в себе самое ничтожное количество фосфорного жиру ⟨...⟩ обнаруживают самое вредное влияние на умственные способности» (*Зайцев*, т. I, стр. 101).

С т р. 185. *Фуфциг* (нем. fünfzig) — пятьдесят.

С т р. 185. *Гот зей данк!* (нем. Gott sei dank!) — слава богу!

С т р. 186. ...в «Петербургских известиях» и в «Волосе». — Имеются в виду газеты «С.-Петербургские ведомости», редактировавшиеся в 1863—1874 гг. В. Ф. Коршем, и «Голос», редактором-издателем которого был А. А. Краевский.

С т р. 188. ...*в Швейцарию... на родину Вильгельма Телля.* — См. примеч. к стр. 77.

С т р. 190. «*Сын отечества*» — ежедневная политическая, литературная и ученая газета, основанная в 1862 г. в Петербурге.

С т р. 194. ...*буду новый Фурье.* — Шарль Фурье (1772—1837), французский социалист-утопист, идеи которого обсуждались в русских журналах начала 1860-х годов особенно оживленно после выхода в свет романа Чернышевского «Что делать?» (см.: *Салтыков-Щедрин*, т. VI, стр. 407—445 и 681—687, а также стр. 290—329 и 655—665 — статьи «Как кому угодно» и «Наша общественная жизнь» за март 1864).

С т р. 195. ...*хуже какого-нибудь Гарнье-Пажесишки...* — Гарнье-Пажесс, Луи Антуан (1803—1878) — французский буржуазный политический деятель, участник революций 1830 и 1848 гг., с 1864 г. — член законодательного корпуса.

С т р. 195. *Пандан* (франц. pendant) — подобие, соответствие.

С т р. 195. ...*энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского...* — См. примеч. к стр. 22.

С т р. 195. *Premier-политик* (от франц. — первый) — здесь: передовая статья.

С т р. 195. ...*если справедливо называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Мюссе...* — Сравнение издателя-дельца А. А. Краевского с французским поэтом-романтиком А. Мюссе (1810—1857) имеет иронический смысл.

С т р. 195. *Евгения Тур* — псевдоним русской писательницы и автора публицистических статей Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир (урожденная Сухово-Кобылина, 1815—1892), в литературном салоне которой собирались писатели и ученые.

С т р. 198. *Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок...* — Измененная цитата из повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница» (1802). У Карамзина: «Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок: а нет порядка без власти самодержавной».

С т р. 201. *Гоф-рат* (нем. Hofrat — надворный советник) — здесь: чиновник.

С т р. 204. ...«*Листок*», *газетка без всякого особого направления...* — Имеется в виду «Петербургский листок. Газета городской жизни и литературы», основанный в 1864 г. и выходивший ежедневно.

С т р. 204. *Борель* — владелец дорогого ресторана в Петербурге, славившегося изысканной кухней.

С т р. 204. *Ихневмон* — хищное млекопитающее животное, обитает в приречных зарослях тростника Северной Африки и Передней Азии.

С т р. 205. *Французы, наехавшие с Лессепсом...* — Речь идет о пребывании французского инженера-дельца и дипломата Лессепса (Фердинанд Мари, 1805—1894) в Африке в связи с началом в 1859 г. работ по прорытию Суэцкого канала.

С т р. 206. *Дома новы, но предрассудки стары* — слова Чацкого в комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (д. II, явл. 4).

С т р. 322. *Газета «Весть»* — политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1863—1870 гг.; в 1863—1864 — еженедельно; издателями-редакторами были В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов.

С т р. 324. *Folichon* — шаловливый, шутливый (*франц.*); здесь: веселая, игривая песенка.

С т р. 324. *«Волос»* и *«Известия»* — см. примеч. к стр. 186.

С т р. 324. *Кладут яйцы спора; Кастельфидардо, наборщик.* — В газете А. А. Краевского «Голос» Гарибальди был назван «героем Кастельфидаро» (1864, № 288, 18/30 октября). «СПб. Ведомости» обвинили редактора «Голоса» в «нелиберальной» оценке деятельности Гарибальди и уличили его в невежестве (нужно было: «герой Калатафимы»). Оправдываясь, А. А. Краевский объяснил искажение названия города, где Гарибальди одержал в мае 1860 г. победу над неаполитанским генералом Ланди, «ошибкой наборщика» («Голос», 1864, 21 октября/2 ноября, № 29). Достоевский об этой ошибке Краевского писал в статье «Каламбуры в жизни и в литературе» (1864).

С т р. 324. *Fandango* — см. примеч. к стр. 332.

С т р. 324. *Степанов* — см. примеч. к стр. 184.

С т р. 324. *«Чайник»* — имеется в виду сатирический журнал с карикатурами «Будильник», издававшийся в 1865—1871 гг. в Петербурге два раза в неделю; издатель-редактор Н. А. Степанов.

С т р. 326. *...утопил уж «Читальню»...* — Речь идет о журнале «Библиотека для чтения», редактором-издателем которого с 1864 г. стал П. Д. Боборыкин. «Библиотека для чтения» прекратила свое существование на № 8 за 1865 г.

С т р. 326. *Читали: «Откуда», «Покуда», «Накануне», «Послезавтра»...* — Пародийное воспроизведение названий романа Н. С. Лескова «Некуда» (1864) и романа И. С. Тургенева «Накануне» (1860).

С т р. 326. *Это всё я написал.* — Слова Хлестакова из «Ревизора» Гоголя.

С т р. 326. *Роман «Как?».* — Вероятно, имеется в виду роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

С т р. 326. *Достал стишки: «Офицер и нигилистка».* — Очевидно, Достоевский предполагал ввести в текст «Крокодила» сатирическое стихотворение «Офицер и нигилистка» (см. наст. изд., т. XV и вводную статью, стр. 351).

С т р. 326. *Стрижи, стрижи.* — «Стрижами» М. Е. Салтыков-Щедрин назвал сотрудников «Эпохи» (см. стр. 384—385).

С т р. 327. *Если у гусей нет теток ∾ предрассудок.* — В данном случае Достоевский высмеивал попытку отождествить законы животного мира и человеческого общества. Ср. эту сентенцию со следующими строками первой редакции стихотворения «Офицер и нигилистка»:

В природе есть ли кринолины?
Иль предрассудком дорожа,
Идет ли гусь на именины?
Ну есть ли тетки у ежа?

С т р. 327. *«Своевременный»* — т. е. журнал «Современник», редактировавшийся с 1863 г. (после смерти И. И. Панаева) до запрещения в 1866 г. одним Н. А. Некрасовым.

С т р. 327. *«Радные выписки», привесок к «Волосу».* — Имеется в виду

журнал «Отечественные записки» и газета «Голос», издававшиеся А. А. Краевским.

Стр. 327. *Зайцев,* Варфоломей Александрович (1842—1882) — критик и публицист, с 1863 г. сотрудник «Русского слова».

Стр. 328. *Crocodillo — слово итальянское...* — Соединение французского названия крокодила (crocodile) с итальянским (coccodrillo).

Стр. 329. *Мурильо,* Бартоломе Эстеван (1617—1682) — выдающийся испанский живописец.

Стр. 329. *«Теймс»* («The Times») — английская газета консервативного направления, издающаяся в Лондоне с 1785 г.

Стр. 329. *...Польша ... «Волос» ∾ Катков.* — Михаил Никифорович Катков (1818—1887) — консервативный публицист, издатель журнала «Русский вестник» (совместно с П. М. Леонтьевым) и редактор газеты «Московские ведомости». Общий контекст комментируемого отрывка позволяет предположить, что Достоевский имел в виду здесь полемику 1863—1864 гг. по польскому вопросу между «Московскими ведомостями» М. Н. Каткова и «Голосом» А. А. Краевского. Салтыков-Щедрин в «Нашей общественной жизни» за декабрь 1863 г. заметил, что спорящие стороны затеяли этот турнир «только для собственной потехи», так как принципиальных разногласий между ними не было (см.: *Салтыков-Щедрин,* т. VI, стр. 211).

Стр. 330. *...фельетонист «Русского инвалида».* — «Русский инвалид» — официальный орган военного министерства, редактировавшийся в 1861—1863 гг. Н. Г. Писаревским. Не исключена возможность, что под «фельетонистом „Русского инвалида"» Достоевский имел в виду А. Ф. Гильфердинга, поместившего в этом журнале статью «За что борются русские с поляками» («Русский инвалид», 1863, 30 марта, № 71), вызвавшую ряд полемических откликов.

Стр. 330. *Милюков,* Александр Петрович (1817—1897) — писатель, литературный критик и педагог, близкий знакомый Ф. М. Достоевского, посвятивший ему в книге воспоминаний «Литературные встречи и знакомства» (1890) специальный раздел. В восьмом номере журнала «Эпоха» за 1864 г. был напечатан рассказ Милюкова «Посмертные записки одного скитальца».

Стр. 331. *Опять приходил В—в.* — Возможно, речь идет о Воскобойникове Николае Николаевиче (1838—1882), публицисте, сотруднике «Библиотеки для чтения», «Московских ведомостей», подписывавшемся криптограммой В—ов.

Стр. 332. *Загуляев,* Михаил Андреевич (1834—1900) — журналист, сотрудник «Отечественных записок», «Голоса» и «Сына отечества».

Стр. 332. *«Русское слово»* — ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в Петербурге с 1859 по 1866 г.; в 1863—1866 гг. — издатель-редактор Г. Е. Благосветлов.

Стр. 332. *Fandango* (фанданго) — испанский танец. Под этим названием В. В. Крестовский (1840—1895) объединил два стихотворения («Чуть с аккордом двух гитар» и «В дальней Африке, весною») из цикла «Испанские мотивы». Здесь и ниже (стр. 333—334) содержатся пародии Достоевского на эти стихи.

Стр. 334. *Эспартеро,* Бальдомеро (Espartero, 1793—1879) — испанский государственный деятель, имя которого часто встречалось в русских периодических изданиях.

Стр. 334. *...Игдев ∾ статья сия будет направлена против «Современника».* — Игдев — литературный псевдоним Ивана Григорьевича Долгомостьева (ум. 1867), журналиста и переводчика, сотрудника «Времени» и «Эпохи». Достоевский здесь имеет в виду некоторые факты своей полемики с «Современником», в которой принял участие и И. Г. Долгомостьев (см. статью Ф. М. Достоевского 1864 г. «Необходимое заявление», наст. изд., т. XIX; *Салтыков-Щедрин,* т. VI, стр. 571).

Стр. 336. *Дорога решена на Харьков.* — В 1864—1865 гг. широко обсуждался вопрос, в каком направлении экономически выгоднее прокладывать дорогу Москва — Одесса: через Харьков или через Киев (см., например, *С,* 1864, № 2, Внутреннее обозрение, стр. 255—259).

С т р. 336. *Карикатура г. Степанова (генерал и дворник)...* — Речь идет о карикатуре, помещенной в № 1 «Будильника» за 1865 г. под названием «„Будильник" разоряется на подарки». Там генералу преподносят в дар «дворницкую метлу», чтобы он мог осуществить высказанное им намерение: «У меня нигилистов не будет — всех вымету».

С т р. 337. *...повесть под названием «Лиза и медь».* — В публикации *ЛН* напечатано «Лиза и мед» (*ЛН*, т. 83, стр. 272). Однако в автографе слово «медь» отчетливо написано через «ѣ» и с мягким знаком на конце (мѣдь). Возможно, Достоевский допустил описку, и название надо читать «Лиза и м⟨едв⟩едь».

С т р. 337. *Поручик Воскобойников 2-й* ∾ *Приятно ли быть внуком».* — «Посмертное» сочинение Козьмы Петровича Пруткова «Опрометчивый турка, или Приятно ли быть внуком» было опубликовано в приложении к «Современнику» за 1863 г., № 4, «Свисток», № 9, стр. 54, не «отставным поручиком Воскобойниковым», а другим «племянником» — Калистратом Ивановичем Шерстобитовым (см.: Козьма П р у т к о в. Полное собрание сочинений. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1965, стр. 272 и 342—345 («Библиотека поэта»)).

С т р. 338. *Вы читали «Подводный камень»?* — Имеется в виду роман М. В. Авдеева «Подводный камень» («Современник», 1860, №№ 10 и 11), в котором затрагивались некоторые проблемы женской эмансипации. В журнале «Время» (1861, т. 1, Критическое обозрение, стр. 35—45) на этот роман была помещена отрицательная рецензия.

## ИГРОК

(Стр. 208)

### И с т о ч н и к и т е к с т а

*НР*$_1$ — Отрывок наборной рукописи: «мне этого барона покажи на гулянье ∾ Появление бабушки у рулетки произвело глубокое...». Копия рукою А. Г. Достоевской с поправками Ф. М. Достоевского; 2 листа. Хранится: *ИРЛИ*, ф. 100, № 29451. ССХб. 7; см.: *Описание*, стр. 92.

*НР*$_2$ — Отрывок наборной рукописи: «Тут теперь главное Швейцария ∾ Завтра, завтра всё кончится». Копия рукою А. Г. Достоевской с поправками и подписью Ф. М. Достоевского; 1 лист. Хранится: *ИРЛИ*, ф. 100, № 29451. ССХб. 7; см.: *Описание*, стр. 93.

*1866*, стр. 5—63.

Печатается по тексту первой публикации *1866* с исправлением следующих опечаток:

*Стр. 236, строки 35—36:* «адвокаты при уголовных процессах» вместо «адвокаты при условных процессах».

*Стр. 292, строка 16:* «место у стола» вместо «место у стула».

*Стр. 293, строки 19—20:* «я забирал деньги» вместо «я разбирал деньги».

Замысел «Игрока» возник еще осенью 1863 г. В письме к Н. Н. Страхову от 18(30) сентября 1863 г. из Рима Достоевский писал: «Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос в журналах. Всё это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека однако же многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и *не смеющего не верить,* восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокаивает себя тем, что ему *нечего делать* в России и потому жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. ⟨...⟩ Главная же штука

в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на *рулетку*. Он — игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец. (Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности). Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность *риска* и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он третий год играет по игорным домам на рулетке».

Тогда же Достоевский набросал план рассказа, объем которого должен был быть не менее $1^1/_2$ печатных листов, и даже начал его писать, но бросил, так как «жарко и, во 2-х, — писал он в том же письме Страхову, — приехал в такое место, как Рим, *на неделю*; разве в эту неделю, *при Риме*, можно писать?»

Летом 1865 г., теснимый кредиторами, Достоевский вынужден был продать «спекулянту» и «довольно плохому человеку» Ф. Т. Стелловскому право на издание собрания своих сочинений. «Но в контракте нашем была статья, — рассказывал Достоевский в письме к А. В. Корвин-Круковской от 17 июня 1866 г., — по которой я ему обещаю для его издания приготовить роман, не менее 12-ти печатных листов, и если не доставлю к 1-му ноября 1866 г. (последний срок), то волен он, Стелловский, в продолжение девяти лет издавать даром, и как вздумается, всё, что я ни напишу, безо всякого мне вознаграждения».

Увлеченный работой над «Преступлением и наказанием» Достоевский не принимался за новый роман до начала октября 1866 г. Когда же времени на выполнение обязательства осталось меньше месяца, он вынужден был пригласить стенографистку Анну Григорьевну Сниткину (ставшую впоследствии его женой) и продиктовал ей текст романа в течение 26 дней, с 4 по 29 октября. Можно предположить, что у Достоевского уже были к этому времени приготовлены какие-то черновые варианты текста или подробные планы романа, что и сделало возможным создание «Игрока» в столь короткий срок. О том, что Достоевский намеревался приступить к работе над «Игроком» еще летом 1866 г., свидетельствует его письмо к А. В. Корвин-Круковской от 17 июня 1866 г. «Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь, — сообщалось там, — написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером, и кончить к сроку» (см. примеч. А. С. Долинина. *Д, Письма*, т. I, стр. 585).

В своих воспоминаниях А. Г. Достоевская рассказала, как писался «Игрок» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 47 и др. Ср. также: *Биография,* стр. 290—293 и *Милюков,* стр. 43—45). До ее прихода Достоевский делал черновые наброски, затем с 12 до 4 часов дня с небольшими перерывами диктовал А. Г. Сниткиной текст, который она дома расшифровывала и переписывала набело. Сохранившиеся отрывки текста «Игрока», записанные рукою А. Г. Сниткиной и ставшие наборной рукописью, свидетельствуют, что перед сдачей романа издателю Достоевский еще раз подверг рукопись правке (см. варианты $HP_1$ и $HP_2$). Рукопись романа, переданного 1 ноября 1866 г. Стелловскому, была названа «Рулетенбург» (т. е. «Город рулетки»). Однако издатель потребовал, чтобы название это было заменено на «какое-нибудь другое, более русское» (см. письмо Достоевского к В. И. Губину от 8/20 мая 1871 г.). Достоевский согласился, и роман был напечатан в III томе Полного собрания сочинений Достоевского, изданного Ф. Стелловским (СПб., 1866), под названием «Игрок»; с того же набора был сделан отдельный оттиск.

В центре повествования — «игрок», один из типов «заграничных русских». Рядом с ним изображена семья русского генерала, тоже из «заграничных русских». Эта семья принадлежит к числу «случайных семейств», выбитых из привычного жизненного уклада крестьянской реформой, художественному исследованию которых Достоевский посвятил свои последующие романы. Множество таких русских семейств за границей Достоевский наблюдал еще во время своей первой поездки по Европе в 1862 г., о чем он писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см. стр. 62—63). По приведенным в октябрьском номере «Русского вестника» за 1862 г. данным, только в 1860 г. за границу отправилось 275 582 русских.

В корреспонденциях «Из Парижа» Касьянова (И. Аксаков), печатавшихся в газете «День» (1863, 23 марта, № 12 и 20 апреля, № 16), русские, живущие за границей, были названы «гулящими людьми». Это определение вызвало возражение Салтыкова-Щедрина, который в хронике «Наша общественная жизнь» в майской книжке «Отечественных записок» за 1863 г. утверждал, что «гулящими людьми» можно назвать только «отцов», которые не прочь «устроить крепостное право, где бы то ни было» (*Салтыков-Щедрин,* т. VI, стр. 108).

Достоевский, как это видно из приведенного выше письма к Страхову, внимательно следил за журнальной полемикой по поводу «заграничных русских».

Задуманный им тогда же рассказ должен был отразить его точку зрения на этот вопрос.

В чем-то Достоевский был согласен с Салтыковым-Щедриным. «Игрок» — это представитель «детей». Он «не стыдится своего отечества» (*Салтыков-Щедрин,* т. VI, стр. 109). В то же время Достоевский охарактеризовал героя как человека «изверившегося» и не желающего искать себе дела в России, как и другие «заграничные русские», о которых И. Аксаков в одной из корреспонденций из Парижа писал, что, «влекомые широким сочувствием собственно ко всему человечеству», они бегут из России, «богатой делом всякого рода» («День», 1863, 23 марта, № 12, стр. 3).

Характерно, что тему «русские за границей» — хотя и в ином ключе — тогда же разработал И. С. Тургенев в романе «Дым» (1867), написанном и опубликованном почти одновременно с «Игроком» Достоевского (см.: *Тургенев, Сочинения,* т. IX, стр. 518).

Перипетии любви героя, состоящего на службе в семействе генерала в качестве домашнего учителя, и падчерицы генерала Полины во многом повторяют сложную историю отношений Достоевского и Аполлинарии Прокофьевны Сусловой. В одном из писем Достоевский писал о ней: «Она требует от людей *всего*, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт» (Н. П. Сусловой, от 19 апреля 1865 г.). Эти слова в полной мере можно отнести и к Полине. Некоторые сюжетные мотивы в «Игроке», как об этом свидетельствует дневник А. П. Сусловой, были подсказаны Достоевскому реальными событиями. Так, увлечение Полины французом Де-Грие, ее желание вернуть ему какие-то деньги — художественно преображенные факты биографии А. П. Сусловой (см.: А. П. Суслова. Годы близости с Достоевским. Изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1928, стр. 47—60 и др. Ср.: А. Бем. «Игрок» Достоевского. (В свете новых биографических данных). «Современные записки», Париж, 1925, кн. XXIV, стр. 379—392).

Автору «Игрока» была близка и другая страсть главного героя, Алексея Ивановича, — к игре. О своем увлечении рулеткой во время поездок за границу Достоевский постоянно сообщал близким. В одном из писем к В. Д. Констант от 20 августа (1 сентября) 1863 г. из Парижа, рассказывая об удачной игре в Висбадене, Достоевский писал: «... в эти четыре дня присмотрелся к игрокам. Их там понтирует несколько сот человек, и, честное слово, кроме двух, не нашел умеющих играть. Все проигрываются до тла, потому что не умеют играть. Играла там одна француженка и один английский лорд; вот эти так умели играть и не проигрались, а напротив, чуть банк не затрещал. Пожалуйста, не думайте, что я форсю, с радости, что не проиграл, говоря, что знаю секрет, как не проиграть, а выиграть. Секрет-то я действительно знаю; он ужасно глуп и прост и состоит в том, чтоб удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться. Вот и всё...».

«Теория» игры на рулетке автора романа, развитая в цитированном письме, совпадает с рассуждениями на эту же тему его героя Алексея Ивановича, в особенности в последней главе (см. стр. 318). А. Г. Достоевская вспоминает, что когда в процессе работы над романом обсуждались судьбы героев, то «Федор Михайлович был вполне на стороне „игрока“ и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе. Уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своею жизнью и тем не менее

не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 65).

Созданный Достоевским образ «игрока» имел длинную литературную родословную. Перечень произведений мировой литературы, в которых разработан сюжет азартной игры, может быть бесконечным. Назовем здесь только те из них, которые имели непосредственное отношение к замыслу Достоевского. Сам Достоевский указал на связь романа с пушкинскими традициями. При этом нужно иметь в виду не только названные им «Маленькие трагедии», но и «Пиковую даму». С «Пиковой дамой» «Игрока» сближают некоторые детали сюжета (см.: А. Б е м. Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского. «Slavia», 1929, т. VIII, вып. 2, стр. 302—311). Впрочем, пушкинский Германн одержим единой страстью, стремлением к богатству, которое даст ему власть над людьми; Алексей Иванович, выиграв двести тысяч, тут же их растрачивает. И в этом Достоевский видел проявление чисто русской черты характера.

В числе литературных предшественников Достоевского следует назвать также Лермонтова как автора «Маскарада» (1835). Эта драма была в поле зрения Достоевского в период, когда обдумывался и писался «Игрок», о чем свидетельствует упоминание о «Маскараде» в «Записках из подполья». Автор «Игрока», вероятно, был знаком и со статьей Ф. Дершау «Из записок игрока». Статья была напечатана в апрельской книжке «Русского слова» за 1859 г., в этом же журнале месяцем раньше появился «Дядюшкин сон» (см.: *Гроссман, Биография,* стр. 283). Известное значение — в числе других импульсов к созданию русского варианта игрока — могли иметь для Достоевского также персонажи гофмановских героев-игроков, а также начальный эпизод «Шагреневой кожи» (1831) Бальзака. Достоевскому, несомненно, был знаком и русский перевод очерка Теккерея «The Kicklebury on the Rhine» («Кикильбюри на Рейне») (1850), который под названием «Английские туристы» появился в той же книжке «Отечественных записок» (1851, № 6, отд. VIII, стр. 106—144), что и комедия брата писателя Михаила Михайловича Достоевского «Старшая и меньшая» (сообщено В. А. Тунимановым). Помимо заглавия очерка переводчик (А. Бутаков) переделал и наименование, данное Теккереем вымышленному немецкому курортному городку с игорным домом, Rougetnoirebourg (т. е. город красного и черного) на Рулетенбург. Именно так назван город и в «Игроке». Кроме того, обнаруживается некоторая аналогия между авантюристкой Бланш и «принцессой де Магадор» (madame la Princesse de Magador) в очерке Теккерея, оказавшейся французской модисткой. Следует отметить также, что и у Достоевского (см. стр. 264—265) и у Теккерея (см.: *ОЗ*, 1851, № 6, отд. VIII, стр. 128) крупье во время игры произносят одни и те же французские фразы, а англичане в обоих произведениях живут в отеле «Четырех времен года».

При работе над образом Алексея Ивановича у Достоевского, очевидно, возникали какие-то ассоциации и с «Дубровским» Пушкина. Троекуров называет молодого Дубровского, попавшего в его дом в роли француза-гувернера, «учителем», вкладывая в это слово уничижительный смысл. Алексей Иванович тоже уничижительно именует себя «учителем» в тех случаях, когда хочет подчеркнуть свое зависимое положение. Не случайно и в повести Пушкина (глава XI) и в «Игроке» (стр. 240 и др.) слово «учитель» приведено во французской транскрипции (outchitel).

«Игрок», как и другие произведения этого периода, связан с публицистическими статьями Достоевского 1861—1864 гг. и, в особенности, с «Зимними заметками о летних впечатлениях» (см.: В. Д о р о в а т о в с к а я - Л ю б и м о в а. Французский буржуа. (Материалы к образам Достоевского). «Литературный критик», 1936, № 9, стр. 211—213). Связь эта сказывается прежде всего в том, что в художественной структуре «Игрока» существенную роль играет стремление автора противопоставить современную ему Россию Европе. Многие образы в этом романе являются как бы иллюстрацией выводов, которые в публицистической форме были выражены Достоевским в его отчете о первой поездке за границу. Алексей Иванович — своеобразный вариант молодых людей, о которых Достоевский сказал в «Зимних заметках»,

что они вслед за Чацким, не найдя себе дела в России, уехали в Европу и там «чего-то ищут» (стр. 62). Но этот персонаж противопоставлен в то же время барону фон Вурмергельму и Де-Грие; «игрок» не хочет «поклоняться немецкому идолу» (стр. 225), не желает посвятить свою жизнь накоплению богатства.

Характеры француза, немца, англичанина, по мнению Достоевского, в ходе исторического развития этих стран отлились в известную законченную «форму»; русский же национальный характер находится еще в процессе развития: отсюда внешняя «бесформенность» натур Алексея Ивановича и Полины, отсюда же и свойственное русскому человеку стремление преодолеть узость сложившихся на Западе общественных форм, в чем писатель видел историческое преимущество России, залог того, что в недалеком будущем она сможет отыскать пути к более высоким общечеловеческим идеалам (см. об этом: История русского романа, т. II. Изд. «Наука», М.—Л., 1964, стр. 221—224). В связи с этим в идейно-художественной концепции романа важное значение имел не лишенный символики образ русской «бабушки» Антониды Васильевны.

Де-Грие и mademoiselle Бланш — это те из парижан, о которых с таким сарказмом Достоевский писал в главах «Опыт о буржуа» и «Брибри и мабишь». Называя маркиза-самозванца, мошенника и ростовщика Де-Грие именем благородного героя романа восемнадцатого века «Манон Леско» Прево (см.: В. Дороватовская-Любимова, стр. 212—213), Достоевский иронически выставлял степень нравственного падения французской буржуазии, утратившей былые идеалы и ставшей на путь стяжательства.

Фигура англичанина мистера Астлея,[1] вызывающего симпатию и у Алексея Ивановича, и у «бабушки», и у Полины, напоминает добрых и благородных героев из романов Диккенса, творчество которого Достоевский высоко ценил (см.: И. Катарский. Диккенс в России. Изд. «Наука», М., 1966, стр. 357—401). С другой стороны, взаимоотношения мистера Астлея и Полины психологически созвучны истории главных героев первого романа Ж. Санд «Индиана» (1832; русск. перевод — 1833). Сходство усиливается тем, что благородный и преданно любящий Индиану персонаж этого романа Ральф — англичанин, противопоставлен его сопернику — французу Раймону. Образ мистера Астлея, обрисованный Достоевским только общими контурами, соответствует также бытовавшему в русской демократической среде представлению об англичанах. Салтыков-Щедрин в упомянутой выше хронике «Наша общественная жизнь» (май, 1863 г.) писал, что путешествующий англичанин «везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной тип со всеми его сильными и слабыми сторонами» (*Салтыков-Щедрин,* т. VI, стр. 105; ср. со словами Теккерея в очерке, названном в русском переводе «Английские туристы»: «Мы везем с собою всюду нашу нацию; мы на своем острове, где бы мы ни находились». — *ОЗ*, 1851, № 6, отд. VIII, стр. 122).

Достоевский, работая над «Игроком», вложил в уста Алексея Ивановича отдельные рассуждения, которые впоследствии были повторены в «Преступлении и наказании» (ср., например, стр. 236 и стр. 408 в т. VI наст. изд.).

«Игрок» неоднократно подвергался сценической обработке и прочно вошел в репертуар драматических театров. В 1916 г. С. С. Прокофьев на сюжет «Игрока» написал оперу, которая тогда же была поставлена в Санкт-Петербургском императорском Мариинском театре.

Стр. 210. *Тонировал* (от франц. ton) — задавал тон.

Стр. 211. *Монсиньор* — с XIX в. титул католических архиепископов (и епископов) во Франции.

---

[1] Имя Астлея заимствовано было Достоевским из романа Э. Гаскел «Руфь», перевод которого печатался в журнале «Время», 1863, № 4, стр. 144 (см.: *Фридлендер,* стр. 203).

С т р. 211. *...в канцелярию посольства святейшего отца в Париже...* — Рим был до 1870 г. административным центром Папской области, которая имела своих дипломатических представителей в других государствах.

С т р. 211. *«Opinion nationale»* — французская ежедневная политическая газета, орган либеральных бонапартистов, основана в 1859 г. А. Геруле м (Ad. Gueroult), выходила в Париже до 1879 г.

С т р. 212. *...отрывки из «Записок» генерала Перовского...* — В отрывке «Из записок» Перовского рассказывается, что во время отступления из Москвы в 1812 г. французы расстреливали русских пленных, отстававших от колонны из-за слабости и истощения (*РА*, 1865, № 3, стр. 278—279). — Перовский, Василий Алексеевич (1794—1857) — граф, генерал-адъютант, участник Отечественной войны 1812 г., позднее — оренбургский военный генерал-губернатор.

С т р. 222. *Шато́* (франц. château) — замок.

С т р. 225. *Фатер* (нем. Vater) — отец.

С т р. 226. *...барон Ротшильд или Гоппе и Комп. ...* — Джемс Ротшильд (1792—1868) — глава банкирского дома. Под Гоппе, очевидно, имеется в виду другой банкирский дом в Амстердаме.

С т р. 230. *...петух, le coq gaulois.* — Галльский петух — символ Франции и французской национальности.

С т р. 233. *Это баронесса Вурмергельм.* — Возможно, что баронессе была дана фамилия Вурмергельм по ассоциации с фамилией секретаря президента Вурма, одного из самых отрицательных героев драмы Шиллера «Коварство и любовь» (см.: М. С. А л ь т м а н. Иностранные имена героев Достоевского. В кн.: Русско-европейские литературные связи. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 21).

С т р. 234. *Гейн!* (нем. gehen) — убирайтесь!

С т р. 247. *...с историческим именем что-то вроде Барберини...* — Барберини — знаменитая римская княжеская фамилия, представители которой завоевали известность еще в XIII в.

С т р. 260. *...стол с trente et quarante ...* — Стол для карточной игры «тридцать и сорок» (см. стр. 294).

С т р. 275. *Du lait, de l'herbe ∾ et la vérité!* — Об этом Достоевский писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см. стр. 94—95).

С т р. 277. *Фурор* (от франц. fureur, итал. furore) — ярость, неистовство.

С т р. 282. *...романы Поль де Кока...* — Поль де Кок, Шарль (1794—1871) — французский писатель, автор нравоописательных романов из жизни буржуазии, широко популярных в середине XIX в.

С т р. 282. *...обзывали друг друга «ла́йдаками».* — Лайдак (польск. łaidak) — негодяй, мошенник.

С т р. 286. *...как шут Балакирев.* — Имеется в виду Иван Александрович Балакирев (1699—1763 гг.). Приписываемые ему анекдоты вышли в Москве в 1839 г. отдельной книжкой и пользовались широкой известностью (см.: *Белинский,* т. III, стр. 116—117. Ср. наст. изд., т. I, стр. 496).

С т р. 293. *...madame Blanchard ...* — Мари Бланшар (1778—1819), жена одного из первых воздухоплавателей, неоднократно сама поднималась в воздух; погибла во время пожара, возникшего на воздушном шаре от пламени фейерверков, которые она пускала.

С т р. 301. *Mon fils, as-tu du coeur ∾ Tout autre ...* — реплики героев в трагедии Корнеля «Сид» (1636) (см. д. I, явл. 5).

С т р. 302. *...et après le déluge!* — см. примеч. к стр. 75.

С т р. 305. *Гомбург* — до 1866 г. главный город ландграфства Гессен-Гомбург, один из наиболее модных в то время немецких курортов. До начала 1870-х годов в нем существовали игорные дома, которые Достоевский посещал во время пребывания в этом городе в октябре 1863 г. (см.: А. П. С у с л о в а. Годы близости с Достоевским. Изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1928, стр. 66—67) и в мае 1867 г. (см. письмо к А. Г. Достоевской от 5 (17) мая 1867).

Стр. 306. *Thérèse-philosophe.* — Имеется в виду героиня книги эротического содержания «Thérèse-philosophe, ou Mémoires pour servir á l'histoire de D. Dirrag et de M-lle Eradice» La Haye (1748), 2 part., которая упоминается также в черновых планах «Бесов» и «Жития великого грешника» (см. наст. изд., т. XI). Книга вышла анонимно. Высказывались предположения, что ее автором мог быть Монтиньи (Montigny) или маркиз Д'Аржан (I.-B. de Boyer d'Argens). См.: Dictionnaire des ouvrages anonymes par A.-E. Barbier. Paris, t. IV, 1964, p. 707.

## БРАК

(Стр. 319)

Печатается по автографу: *ЦГАЛИ,* ф. 212.1.4, с. 131. Опубликовано: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 342.

Датируется концом 1864 — началом 1865 г. по месту положения в тетради (запись сделана среди заметок к «Крокодилу» — *ЧН*₃).

Героиня романа, как указал Достоевский, должна была быть похожей на княжну Катю из «Неточки Незвановой» (см. наст. изд., т. II). Замысел остался неосуществленным.

## РОСТОВЩИК

(Стр. 320)

Печатается по автографу: *ЦГАЛИ,* ф. 212.1.5, с. 210. Публикуется впервые.

Датируется началом 1866 г. по месту положения в тетради: запись сделана на с. 10; предыдущая с. 8 датирована 14 февралем 1866 г. Замысел остался неосуществленным.

Прототипами героев, очевидно, должны были стать граф В. А. Соллогуб и М. Ю. Виельгорский. Над фамилией одного из персонажей, Данилова, указан, очевидно, его прототип, фамилию которого, дополнив, можно прочитать и как Чернышевский, и как Чернышев.

С Владимиром Александровичем Соллогубом (1814—1882), беллетристом, близким в 1840-х годах к кругу Белинского, Достоевский познакомился в 1846 г. В «Воспоминаниях» В. А. Соллогуба содержится краткий рассказ о посещении его литературного салона Достоевским.

Салон известного музыканта-дилетанта Михаила Юрьевича Виельгорского Достоевский посещал в 1840-х годах в Петербурге. В начале 1846 г. на вечере у Виельгорских с Достоевским случился припадок, что послужило темой для эпиграммы И. С. Тургенева и Н. А. Некрасова «Послание Белинского к Достоевскому» (ср.: *Тургенев, Сочинения,* т. I, стр. 360—361).

Тема ростовщичества всегда волновала Достоевского. Она затрагивалась в романе «Преступление и наказание», работа над которым заканчивалась в том же 1866 г., в первой черновой редакции «Идиота» (1867), в неосуществленном замысле, условно названном «Роман о князе и ростовщике» (1870), в романе «Подросток» (1875) и др.

## СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ [1]

### *Места хранения рукописей*

*ГБЛ* — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
*ИРЛИ* — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).
*ЦГАЛИ* — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
*ЦГИА* — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

### *Печатные источники*

*Бальзак* — О. Бальзак. Собрание сочинений, тт. I—XV. Гослитиздат, М., 1951—1955.
*Бахтин* — М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е. Изд. «Художественная литература», М., 1972.
*Белинский* — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIII. Изд. АН СССР, М., 1953—1959.
*Бельчиков* — Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. Изд. «Наука», М.—Л., 1971.
*Биография* — Биография, письма и заметки из записной книжки с портретом Ф. М. Достоевского и приложениями. СПб., 1883 (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. I).
*Борщевский* — С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. Гослитиздат, М., 1956.
*Вр* — «Время» (журнал).
*Герцен* — А. И. Герцен. Собрание сочинений, тт. I—XXX. Изд. АН СССР — «Наука», М., 1954—1965.
*Горький* — М. Горький. Собрание сочинений, тт. I—XXX. Гослитиздат, М., 1949—1955.
*Гроссман, Биография* — Л. П. Гроссман. Достоевский. Изд. 2-е, испр. и доп. Изд. «Молодая гвардия», М., 1965.
*Гроссман, Жизнь и труды* — Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Изд. «Academia», М.—Л., 1935.
*Даль* — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, тт. I—IV. Госиздат иностр. и нац. словарей, М., 1955.
*Д, Материалы и исследования* — Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. А. С. Долинина. Изд. АН СССР, Л., 1935.
*Добролюбов* — Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений, тт. I—IX. Гослитиздат, М.—Л., 1961—1964.
*Долинин* — А. С. Долинин. Последние романы Достоевского. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1963.
*Достоевская, А. Г. Воспоминания* — А. Г. Достоевская. Воспоминания. Изд. «Художественная литература», М., 1971.
*Достоевский и его время* — Достоевский и его время. Изд. «Наука», Л., 1971 (Институт русской литературы АН СССР).
*Д, Письма* — Ф. М. Достоевский. Письма, тт. I—IV. Под ред. А. С. Долинина. ГИЗ — «Academia» — Гослитиздат, Л.—М., 1928—1959.

---

[1] В список не включены сокращения, совпадающие с сиглами, указанными в источниках текста к каждому произведению.

*Зайцев* — В. Зайцев. Избранные сочинения, т. I. Изд. Общества политкаторжан, М., 1934.
*Кирпотин* — В. Я. Кирпотин. Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821—1859). Гослитиздат, М., 1960.
*ЛН* — «Литературное наследство», тт. 1—83. Изд. АН СССР — «Наука». М., 1931—1971. Издание продолжается.
*Милюков* — А. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890.
*Михайловский* — Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи. Гослитиздат, М., 1957.
*Назиров* — Р. Г. Назиров. Социальная и этическая проблематика произведений Ф. М. Достоевского 1859—1866 годов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филолог. наук. М., 1966.
*ОЗ* — «Отечественные записки» (журнал).
*Описание* — Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957 (Библиотека СССР им. В. И. Ленина — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР — Институт русской литературы).
*Писарев* — Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах. Гослитиздат, М., 1955—1956.
*РА* — «Русский архив» (журнал).
*РЛ* — «Русская литература» (журнал).
*РС* — «Русская старина» (журнал).
*РСл* — «Русское слово» (журнал).
*С* — «Современник» (журнал).
*Салтыков-Щедрин* — М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений, тт. I—XII. Изд. «Художественная литература», М., 1965—1971 (издание продолжается).
*Сб. Достоевский, II* — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сборник второй. Изд. «Мысль», Л.—М., 1924.
*Скафтымов* — А. П. Скафтымов. «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского. «Slavia», 1929, т. VIII, вып. 1, стр. 101—117; вып. 2, стр. 312—334.
*Толстой* — Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, тт. 1—90. Гослитиздат. М., 1928—1958.
*Тургенев, Письма* — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма в тринадцати томах, тт. I—XIII. Изд. АН СССР — «Наука», М.—Л., 1961—1968.
*Тургенев, Сочинения* — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Сочинения в пятнадцати томах, тт. I—XV. Изд. АН СССР — «Наука», М.—Л., 1960—1968.
*Фонвизин* — Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений, тт. I—II. Гослитиздат, М.—Л., 1959.
*Фридлендер* — Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. Изд. «Наука», М.—Л., 1964.
*Цейтлин* — А. Г. Цейтлин. Становление реализма в русской литературе. Русский физиологический очерк. Изд. «Наука», М., 1965.
*Чернышевский* — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Гослитиздат, М., 1939—1953.
*Чирков* — Н. М. Чирков. О стиле Достоевского. Проблематика, идеи, образы. Изд. «Наука», М., 1967.
*Шестидесятые годы* — Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. Изд. АН СССР, М.—Л., 1940.
*Щедрин* — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, тт. I—XX. ГИХЛ, М.—Л., 1933—1941.
*Э* — «Эпоха» (журнал).
*1865* — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Вновь просмотренное и дополненное самим автором издание. Изд. Ф. Стелловского. Т. II. СПб., 1865.
*1866* — То же, т. III, СПб., 1866.

# СОДЕРЖАНИЕ

*Печатается по постановлению*
*Редакционно-издательского совета*
*Академии наук СССР*

*

*Редакционная коллегия*

*В. Г. БАЗАНОВ (главный редактор),*
|*В. В. ВИНОГРАДОВ*|, *Ф. Я. ПРИЙМА,*
*Г. М. ФРИДЛЕНДЕР (заместитель главного редактора),*
*М. Б. ХРАПЧЕНКО*

Тексты подготовила и примечания составила
*Е. И. КИЙКО*

Редактор V тома *Е. И. ПОКУСАЕВ*

*

**ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**Том V**

Редактор издательства *К. Н. Феноменов*
Оформление художников *С. Н. Тарасова* и *Л. А. Яценко*
Технический редактор *М. Н. Кондратьева*
Корректоры *Р. Г. Гершинская, А. И. Кац* и *Ф. Я. Петрова*

Сдано в набор 21/IV 1972 г. Подписано к печати 12/I 1973 г. Формат бумаги $60\times90^1/_{16}$. Бумага № 1. Печ. л. $25^1/_2+1$ вкл. ($^1/_8$ печ. л.)=25.62 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 29,5. Изд. № 4139. Тип. зак. № 287. Тираж 200 000. *Цена 2 р. 30 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, Менделеевская линия, д. 1

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Ленинград, Гатчинская ул., 26.